

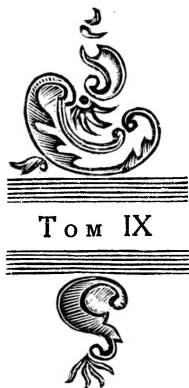


Н Е М Е Ц К А Я   Л И Т Е Р А Т У Р А

# ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ  
Н. Я. БЕРКОВСКОГО,  
П. С. ВИНОГРАДСКОЙ И И. К. ЛУШПОЛА



А С А Д Е М И А  
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

**ГЕНРИХ ГЕЙНЕ**

# **ЛЮТЕЦИЯ**

**ПЕРЕВОД А. В. ФЕДОРОВА  
КОММЕНТАРИИ Г. ГОРДОНА  
РЕДАКЦИЯ М. А. ЛИФШИЦА**



**А С А Д Е М І А  
1936**

*Фронтиспис и виньетки на титульных  
листах — гравюры на дереве Л. С. Хи-  
жинского, переплет, суперобложка и  
заставки по его же рисункам*





# **Л Ю Т Е Ц И Я**

**СТАТЬИ**

**О ПОЛИТИКЕ, ИСКУССТВЕ И НАРОДНОЙ ЖИЗНИ**





## ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ

Эта книга содержит ряд писем, которые я писал для «Аугсбургской Газеты» с 1840 по 1843 год. В виду важных причин я издал их несколько месяцев тому назад у гг. Гоффмана и Кампе в Гамбурге, отдельной книгой, под заглавием «Лютеция», и соображения не менее существенные побуждают меня теперь издать это собрание и на французском языке. Вот эти причины и соображения. Так как письма эти появлялись в «Аугсбургской Газете» анонимно и не избегли значительных сокращений и изменений, я опасался, как бы после моей смерти их не издали в этой искаженной форме, или даже вперемежку со статьями, совершенно чуждыми моему перу. Чтобы избежать такого посмертного злоключения, я предпочел сам издать эти письма в их подлинном виде. Но спасая таким образом еще при жизни по крайней мере добрую славу моего слога, я, к несчастью, дал в руки недоброжелательству оружие для нападений на добрую славу моей мысли: лингвистические пробелы в знании немецкого языка, встречающиеся порой даже у самых образованных французов, дали некоторым из моих соотечественников обоего пола возможность уверить многих лиц, будто в моей книге «Лютеция» я оклеветал весь Париж и злыми шутками унизил все, что пользуется во Франции наибольшим уважением. Таким образом, для меня было нравственной потребностью — как можно скорее издать в свет французский перевод моей книги и дать моей прекрасной и драгоценной подруге Лютеции воз-

возможность самой судить о том, как я отзываюсь о ней в книге, которую я назвал ее именем. Если в том или ином месте я невольно вызвал ее неудовольствие слишком резким выражением или неудачным замечанием, она не должна обвинять меня в недостатке симпатии, а только в недостатке культуры и такта. Прекрасная Лютеция, не забывай моей национальности: хотя среди моих соотечественников я один из самых лощеных, все же я не в силах совершенно отречься от моей природы; вот почему ласки моих тевтонских лап могли порой обидеть тебя, и, быть может, не один камень бросил я тебе в голову с единственным намерением — отогнать от тебя муху! Надо, кроме того, принять во внимание, что сейчас, когда я очень болен, я не мог с достаточной заботливостью и достаточной ясностью ума причесать мою фразу; по правде говоря, немецкое издание моей книги гораздо менее растрепано и космато, чем издание французское. В первом слог всюду смягчал неровности содержания. Тяжко, очень тяжело, когда в столь неприличном костюме приходится идти свидетельствовать свое почтение изящной богине берегов Сены, меж тем как там, дома, в немецком комод, лежат прекраснейшие платья и не один роскошно вышитый жилет.

Нет, дорогая Лютеция, я никогда не хотел оскорбить тебя, и если злые языки стараются уверить тебя в противном, не верь подобной клевете. Никогда не сомневайся, красавица моя, в моей искренней нежности, совершенно бескорыстной. Разумеется, ты еще слишком красива, чтобы бояться, что тебя могут полюбить за что-нибудь другое, кроме твоих прекрасных глаз.

Я только что упомянул, что письма, из которых составлена моя книга «Лютеция», появлялись анонимно в «Аугсбургской Газете». Правда, они были помечены особой буквой, но она отнюдь не могла служить решительным доказательством того, что я был их автор. Я подробно разъяснил это обстоятельство в заметке, приложенной к немецкому изданию моей книги, и здесь я приведу из нее главное место:

Редакция «Аугсбургской Газеты» имела обыкновение подписывать мои статьи одной только буквой, так же как и статьи других анонимных авторов, чтобы удовлетворить административным нуждам, например, для удобства бухгалтерии, но вовсе не для того, чтобы, словно легко отгадываемую шараду, полуконфиденциально подсказать почтенной публике имя автора. Так как только редакция, а отнюдь не истинный автор, несет ответственность за всякую анонимную статью и так как редакция отвечает за свою газету не только перед тысячеголовым миром читателей, но нередко и перед совершенно безголовыми властями; так как ей приходится бороться с бесчисленными трудностями, материальными и моральными, то надо было дать ей право приспособлять к своим насущным потребностям всякую принимаемую статью и по своему усмотрению черкать ее, сокращать, словом, производить с ней всякого рода манипуляции; ведь надо было дать ей это право, хотя бы от этого терпели серьезный ущерб личные взгляды, а порой, увы! и стиль автора. Умный публицист должен, ради дела, идти на горькие уступки грубой необходимости. Есть немало темных маленьких газет, в которых мы вполне могли бы с пылом и негодованием излить наше сердце, но у этих газет очень убогая и не имеющая никакого значения публика; и писать в этих газетах было бы то же самое, что в трактате бахвалиться перед его завсегдатаями, подобно большей части наших великих патриотов. Мы поступаем гораздо умнее, когда, умерив нашу горячность, а порою даже скрываясь под маской, трезвыми словами высказываемся в газете, которая по праву называется «Всеобщей Газетой», листы которой попадают во все страны света и в руки стольких тысяч читателей. Здесь, даже подвергнувшись самым прискорбным искажениям, слово может оказать благотворное влияние; самый скудный намек превращается порой в плодотворное семя на почве, неведомой нам самим. Если бы меня не одушевляла эта мысль, право же, я бы никогда не

обрек себя на ужасную пытку — писать для «Всеобщей Аугсбургской Газеты». Так как я всегда был совершенно убежден в верности и честности благородного, любимого моего друга, соратника моего в течение более двадцати восьми лет, редактировавшего «Всеобщую Газету», то я терпеливо сносил муку этих переделок и изменений, которым он подвергал мои статьи; ведь я всегда видел честные глаза друга, который, казалось, хотел сказать раненому товарищу: «А я разве лежу на ложе из роз?»

Выпуская теперь в свет под собственным именем эти письма, давно уже напечатанные без всякой подписи, я, конечно, имею право платить только те долги, которые не превышают стоимости наследства, как обычно в сомнительных случаях поступают наследники. Я ожидаю от справедливости читателя, что он примет во внимание все те трудности времени и места, с которыми приходилось бороться автору, когда он в первый раз печатал эти письма. Я беру на себя полную ответственность за правильность всего сказанного мною, но отнюдь не за выражения, в которых это было сказано. Тому, кто придирается к словам, легко будет увидеть в моих письмах, если он покопается в них, множество противоречий, много легкомысленного и даже как будто бы отсутствие твердых убеждений. Но тот, кто уловит дух моих слов, всюду увидит самое строгое единство мысли и неизменную привязанность к делу человечества, к демократическим идеям революции. Местные *затруднения*, о которых я только что упомянул, чинились цензурой, и притом цензурой двойной, ибо цензура, которой занималась редакция «Аугсбургской Газеты», была еще более стеснительна, чем официальная цензура баварских властей. Ладейю моей мысли я часто бывал принужден украшать флагами, эмблемы которых отнюдь не являлись истинным выражением моих политических и общественных взглядов. Но газетный контрабандист мало заботился о цвете того лоскута, который висел на мачте и с которым ветер затевал рез-

вые игры: я думал только о добром грузе, который вез с собою и хотел доставить в гавань общественного мнения. Могу похвалиться тем, что мне очень часто удавались такие предприятия, и не надо придирааться к средствам, которыми я пользовался порой для достижения цели. Зная традиции «Аугсбургской Газеты», я не мог не знать, например, что она всегда ставила себе задачей — не только с величайшей быстротой доводить до сведения публики все современные события, но также со всеми подробностями отмечать их на своих столбцах словно в космополитическом архиве. Поэтому мне постоянно приходилось заботиться о том, чтобы облечь в форму факта все, на что мне хотелось намекнуть публике, — и самое событие, и мое суждение о нем, — словом, все, что я думал и чувствовал. И с этой целью я не колебался влагать свои собственные мнения в уста других людей, или даже придавал моим мыслям форму параболы. Вот почему в этих письмах столько иносказаний и арабесок, символический смысл которых понятен не для всех и которые поверхностному читателю могли бы показаться ворохом мещанской болтовни и пустословия. При моих стараниях, направленных на то, чтобы всегда преобладала форма факта, мне также важно было выбрать тон, которым можно было бы сообщать самые щекотливые вещи. Всего удобнее в этом отношении был тон равнодушшия, и я не стеснялся пользоваться им. Тут представлялась и косвенная возможность дать не один полезный совет и сделать не одно полезное исправление. Республиканцы, которые жалуются, что у меня нет охоты помогать им, упустили из виду, что в течение двадцати лет я, во всех моих статьях, каждый раз, при всякой необходимости, защищал их достаточно серьезно и что в моей книге «Лютетия» я подчеркивал их нравственное превосходство, постоянно обличая подлое и смешное высокомерие и полное ничтожество господствующей буржуазии. Они не очень-то понятливы, эти славные республиканцы, о которых, впрочем,

я раньше был лучшего мнения. Что касается ума, то я считал, что их духовная ограниченность только притворство, что республика играет роль Юния Брута, что этой притворной глупостью она усиливает беспечность и непредусмотрительность монархии и таким образом завлекает ее в западню. Но после февральской революции я понял свое заблуждение, я увидел, что республиканцы в самом деле очень честные люди, не умеющие притворяться, и что они в действительности такие, какими казались.

Если уж республиканцы представляли для корреспондента «Аугсбургской Газеты» тему весьма щекотливую, то еще более щекотливую тему представляли социалисты, или — назовем чудовище его настоящим именем — коммунисты. И все же мне в «Аугсбургской Газете» удалось затронуть и этот вопрос. Многие письма были отвергнуты редакцией газеты, помнившей старую поговорку: «Не надо рисовать чорта на стене». Но она не могла уничтожить все мои сообщения, и, как я уже сказал, я находил возможность касаться на ее осторожных столбцах предмета, страшное значение которого было в то время совершенно неизвестно. Я нарисовал чорта на стене моей газеты, или, как выразился один весьма остроумный человек, я сделал ему прекрасную рекламу. Коммунисты, рассеянные одиночками по всем странам света и не имевшие точного понятия о своих общих стремлениях, узнали из «Аугсбургской Газеты», что они существуют на самом деле; при этом они также узнали свое настоящее имя, тогда еще неизвестное многим из этих бедных найденышей старого общества. Из «Аугсбургской Газеты» рассеянные по свету общины коммунистов черпали достоверные сведения о непрестанных успехах их дела; к великому своему удивлению, они узнали, что они менее всего слабая маленькая община, что они самая сильная партия в мире; что день их, правда, еще не настал, но что спокойное ожидание не есть потеря времени для людей, которым принадлежит будущее. Это признание,

что будущее принадлежит коммунистам, я сделал с бесконечным страхом и тоской, и увы! это отнюдь не было притворством. Действительно, только с отвращением и ужасом думаю я о времени, когда эти мрачные иконоборцы достигнут власти: грубыми руками беспощадно разрушат они все мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу; они разобьют все те фантастические игрушки и безделушки искусства, которые так любил поэт; они уничтожат мои лавровые рощи и будут сажать там картофель; лилии, которые не трудились и не пряли, а все же одевались так, как не одевался и царь Соломон во славе своей, будут вырваны из почвы общества, если только не захотят взять в руки веретено; розы, эти праздные невесты соловьев, подвергнутся такой же участи; соловьи, эти бесполезные певцы, будут изгнаны, и увы! из моей «Книги Песен» бакалейный торговец будет делать фунтики, в которые будет сыпать кофе или нюхательный табак для старух будущего. Увы! Все это я предвижу, и несказанная печаль овладевает мной при мысли, что победоносный пролетариат угрожает гибелью моим стихам, которые исчезнут вместе с романтическим старым миром. И все же, честно сознаюсь, этот самый коммунизм, столь враждебный моим вкусам и склонностям, держит мою душу во власти своих чар, которым я не в силах противиться; два голоса в моей груди говорят в его пользу, два голоса, которые не хотят замолчать, которые в сущности, быть может, являются не чем иным, как внушением дьявола, — но, как бы то ни было, я в их власти, и никакие заклинания не в силах их побороть.

Ибо первый из этих голосов — голос логики. «Дьявол-логик!» — говорит Данте. Страшный силлогизм околдовал меня, и если я не могу опровергнуть посылку, что «все люди имеют право есть», я вынужден подчиниться и всем выводам, вытекающим из нее. Думая об этом, я боюсь лишиться рассудка, я вижу, как все демоны истины, торжествуя, пляшут вокруг

меня, и наконец, великодушное отчаяние охватывает мое сердце, и я восклицаю: «Приговор давно уже произнесен, оно обречено, это старое общество! Да свершится правосудие! Да будет он разрушен, этот старый мир, где невинность погибала, где благоденствовал эгоизм, где люди эксплуатировали друг друга! Да будут разрушены до основания эти дряхлые мавзолеи, где царили обман и несправедливость! И да будет благословен тот бакалейный торговец, что будет некогда изготавливать пакетики из моих стихотворений и всыпать в них кофе и табак для бедных старушек, которым в нашем теперешнем мире несправедливости, может быть, приходилось отказывать себе в подобных удовольствиях — *fiat justitia, pereat mundus!*» \*

Второй из этих повелительных голосов, которыми я зачарован, еще могущественнее и еще демоничнее, ибо это голос ненависти, ненависти, возбуждаемой во мне партией, страшнейшим противником которой является коммунизм и которая поэтому есть также наш общий враг. Я говорю о партии так называемых представителей национальности в Германии, об этих притворных патриотах, патриотизм которых состоит в отвращении ко всему иноземному и к соседним народам и которые каждый день изрыгают свою желчь — прежде всего на Францию. Да, к этим обломкам или потомкам тевтоманов 1815 года, которые только подновили свой старый костюм ультрагерманских шутов и немного укоротили себе уши, я всегда чувствовал ненависть и всегда боролся с ними, и теперь, когда меч падает из моих рук — рук умирающего, я утешен сознанием, что коммунизм, которому они первые попадутся на дороге, нанесет им последний удар; и конечно, не ударом палицы уничтожит их гигант, нет, он просто раздавит их ногой, как давят жабу. Это будет началом. Из ненависти к сторонникам национализма я мог бы почти влюбиться в коммунистов. Это, во всяком случае, не

\* Пусть погибнет мир, но свершится правосудие!

# L u t e z i a.

---

## B e r i c h t e

über

Politik, Kunst und Volksleben

von

H e i n r i c h   H e i n e.

---

E r s t e r   T h e i l.

---

H a m b u r g.

H o f f m a n n   u n d   C a m p e.

1854.

Титульный лист первого издания  
«Лютеции» 1854 г.



лицемеры, у которых на устах вечно религия да христианство; правда, у коммунистов нет религии (не бывает совершенных людей), коммунисты даже безбожники (что, разумеется, великий грех), но главный догмат, проповедуемый ими, — это самый неограниченный космополитизм, всемирная любовь — любовь ко всем народам, братское равенство всех людей, свободных граждан земного шара. Этот основной догмат — тот же, который некогда проповедывало евангелие, так что по духу коммунисты в гораздо большей мере христиане, чем наши так называемые германские патриоты, тупые поборники узкого национализма.

Я говорю слишком много, во всяком случае больше, чем позволяют мне благоразумие и боль в горле, от которой я страдаю сейчас. Поэтому прибавлю только два слова, чтобы кончить. Думаю, я достаточно ясно указал на те неблагоприятные обстоятельства, при которых мне приходилось писать статьи о Лютеции. Кроме препятствий местных, мне, как я уже сказал, приходилось бороться и с трудностями исторического момента. Что касается этих трудностей, вызванных временем, когда я писал эти письма, то умный читатель легко составит себе о них понятие; ему стоит только взглянуть на дату статьи и вспомнить, что в ту пору господствовала в Германии как раз национальная, или так называемая патриотическая, партия. Июльская революция несколько оттеснила ее в глубь политической сцены, но воинственные фанфары французской прессы 1840 года дали этим галлофобам прекрасный случай — снова выступить вперед; и они запели песню о «свободном Рейне». Во время Февральской революции эти крики были заглушены возгласами более благоразумными, но возгласы эти, в свою очередь, должны были вскоре утихнуть, когда наступила великая европейская реакция. Сейчас в Германии националисты и все мерзкое охвостье 1815 года еще раз достигли власти и воют с разрешения господина бургомистра и других высоких властей страны. Что же, войте! День придет,

и роковая пята раздавит вас. С этой уверенностью я могу спокойно уйти из этого мира.

А теперь, дорогой читатель, я, насколько это было в моих силах, дал тебе возможность судить о единстве мысли и об истинном духе этой книги, которую с доверием предлагаю всем честным людям.

*Генрих Гейне*

Париж, 30 марта 1855.

## **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**





## ПОСВЯЩЕНИЕ

Его сиятельству, князю Пюклер-Мускау

Путешественники, когда посещают здания, замечательные как исторические памятники или как произведения искусства, имеют обыкновение писать на стенах каждый свое имя, более или менее четко, смотря по тем письменным принадлежностям, которыми они располагают. Сентиментальные души кропают еще несколько патетических строк рифмованных или нерифмованных чувств. Вдруг среди этой чащи надписей внимание наше привлекают два имени, вырезанные одно подле другого; год и число подписаны внизу; имя и дата заключены в овальную гирлянду, которая должна изображать дубовый или лавровый венок. Если же люди, которым принадлежат эти имена, известны позднейшему посетителю, он радостно восклицает: «смотри-ка!» и глубокомысленно замечает при этом, что, значит, эти двое не были друг другу чужды, что они по крайней мере хоть раз стояли один подле другого на том же самом месте, что и во времени и в пространстве встретились они, эти люди, которые так подходили друг к другу. — И вот насчет обоих начинаются комментарии, которые нам легко отгадать, но которые мы не хотим повторять здесь.

Посвящая вам эту книгу, мой славный, родственник мне по духу современник, и тем самым как бы вырезывая на фасаде ее наши имена, я радостно следую игривой прихоти моего духа, и если есть у меня определенная побудительная причина — это не что

инное, как вышеупомянутое обыкновение путешественников. — Да, путешественниками были мы на земном шаре, это была наша земная специальность, и те, кто придут после нас и увидят в этой книге венок, которым я обвил наши имена, по крайней мере, с точностью определят дату нашей земной встречи и смогут сколько угодно рассуждать о том, в какой степени походили друг на друга автор «Писем умершего» и корреспондент «Лютеции».

Мастер, которому я посвящаю эту книгу, знает свое дело и знает неблагоприятные условия, при которых писал автор. Он знает ложе, на котором увидели свет детища моего духа, аугсбургское прокрустово ложе, на котором порой отрезали им слишком длинные ноги, а нередко даже и голову. Говоря не фигурально, книга эта состоит большею частью из корреспонденций, которые я много лет тому назад печатал в «Аугсбургской Всеобщей Газете». Многие из них сохранились у меня в черновиках, по которым теперь для нового издания я реставрировал вышущенные или измененные места. К сожалению, состояние моих глаз не позволяет мне уделить много внимания этим реставрациям; я не мог разобраться как следует в старых пропыленных горах бумаги. Тут, а равно и в статьях, которые я прямо отсылал, не делая предварительных набросков, я, насколько это было возможно, по памяти восполнял пробелы и устранял внесенные изменения; там же, где стиль, а еще более смысл, казался мне чуждым, я старался, по крайней мере, спасти артистическую честь, красоту формы, совершенно опуская эти места. Но уничтожение этих мест, где безумный красный карандаш, повидимому, слишком уж свирепствовал, коснулось только несущественного, отнюдь не суждений о фактах и людях, которые часто могли быть и ошибочны, но все же должны были быть воспроизведены в точности, чтобы не утратился колорит того времени. Присоединив без единого изменения целый ряд ненапечатанных статей, вовсе не подвергавшихся цензуре, я путем искусного

расположения всех этих монографий образовал целое, представляющее верную картину периода, столь же значительного, сколь и интересного.

Я говорю о том периоде, который в годы правления Луи-Филиппа называли «парламентским», — очень характерное название, знаменательность которого сразу же поразила меня. 9 апреля 1840 года я писал следующие строки, которые можно прочесть в первой части этой книги: «Весьма характерно, что с некоторых пор французское правительство называют не конституционным, а парламентским правительством. Министерство первого марта сразу же было окрещено этим именем».

Важнейшие prerogatives короны были в то время уже присвоены парламентом, то есть палатой, и вся государственная власть перешла постепенно в ее руки. Нельзя отрицать, что и король, со своей стороны, также был одержим стремлениями узурпатора: он желал управлять сам, независимо от прихоти палаты и министров, и в этом стремлении к неограниченной власти он все же старался соблюсти законную форму. Поэтому Луи-Филипп имеет право утверждать, что он никогда не нарушал законность, и, конечно, суд присяжных истории совершенно оправдывает его от обвинения в незаконных деяниях и сможет признать его виновным разве лишь в чрезмерной хитрости. Палате, которая по крайней мере умно прикрывала законной формой свои покушения на королевские привилегии, грозил бы, конечно, приговор гораздо более суровый, если бы в качестве смягчающего обстоятельства нельзя было сослаться на то, что это вызывалось неограниченным властолюбием короля; она может сказать, что боролась с ним, стараясь обезоружить его и взять в собственные руки диктатуру, которая в его руках могла стать губительной для государства и свободы. Поединок между королем и палатой составляет содержание парламентского периода, и обе партии к концу его так устали и ослабели, что в изнеможении опустились на землю, едва только на арене появился новый претендент. 24 февраля

1848 года они пали почти в одно и то же время: монархия — в Тюильрийском дворце, а несколько часов спустя — парламент в соседнем Пале-Бурбон. Победителям, доблестной февральской черни, право же, не пришлось тратить свое геройство, и они едва могут похвалиться тем, что видели в лицо своих врагов. Старого порядка они не убивали, они только положили конец его призрачной жизни: король и палата умерли потому, что давно были мертвы. Оба эти бойца парламентского периода напоминают мне изображение, виденное мной когда-то в Мюнстере, в большой зале ратуши, где был заключен Вестфальский мир. Вдоль стен там стоят рядами, словно скамьи в церкви, деревянные сидения, на спинках которых мы видим всякого рода юмористическую резьбу. На одном из этих деревянных сидений изображены две фигуры, увлеченные поединком; они — в рыцарских латах и подняли уже свои огромные мечи, готовые рубить друг друга... Но странное дело! Обоим недостает самого главного, именно — голов, и кажется, что в пылу битвы они отрубили друг другу головы и все еще, не замечая своей взаимной безголовости, продолжают сражаться.

Расцветом парламентского периода было министерство 1 марта 1840 года и начальный период министерства 29 ноября 1840 года. Первое все еще должно представлять особый интерес для немцев, ибо в то время Тьер барабанным боем вовлек наше отечество в великое движение, пробудившее политическую жизнь Германии; нас, как народ, Тьер снова поставил на ноги, и немецкая история будет помнить эту его высокую заслугу. Также и яблоко раздора, восточный вопрос, уже дает о себе знать в дни этого министерства, и мы в самом ярком свете видим эгоизм той британской олигархии, которая натравливала нас тогда на французов. Убеждением всей моей жизни было, что честная и великодушная, до фанфаронства великодушная Франция — наш естественный и поистине самый надежный союзник, и патриотическая потребность — показать моим осле-

пленным соотечественникам вероломное тупоумие французедов и рейнских песнопевцев — придавала, быть может, порой слишком уж страстный колорит моим статьям о министерстве Тьера, в частности, когда речь шла об англичанах; но время было крайне опасное, и молчание наполовину уже означало предательство.

Мои парижские статьи не доведены до катастрофы 24 февраля, но на каждой странице уже видна ее неизбежность, и я все время предсказываю ее с той пророческой болью, которую мы встречаем в древней эпосе, где пожар Трои не является концом, но таинственно потрескивает уже в каждом стихе. Я описал не грозу, но грозовые тучи, которые носили ее в своем лоне и надвигались, пугающе-мрачные. Я часто и с полной определенностью говорил о демонах, которые таились в нижних слоях общества и должны были вырваться из мрака, лишь только настанет пора. Этих чудовищ, которым принадлежит будущее, в то время рассматривали только в уменьшительное стекло, и тут они в самом деле напоминали сумасшедших блох... но я показал их в натуральную величину, и тут они скорее оказались похожими на самых страшных крокодилов, когда-либо подымавшихся из речной тины.

Для того чтобы оживить печальные корреспонденции, я сплетал их с картинами из мира искусства и науки, танцевальных зал хорошего и дурного общества, и если среди этих арабесок я рисовал порой слишком уж карикатурную рожу какого-нибудь виртуоза, то делал это не с целью причинить сердечное огорчение давно забытому рыцарю фортепиано или барабана, но затем, чтобы представить картину того времени в малейших ее оттенках. Честный дагерротип должен столь же верно воспроизводить муху, как и горделивейшего коня, а мои корреспонденции — это книга исторических дагерротипов, где каждый день оставлял свою собственную копию и где вносящий порядок дух художника, путем сочетания этих картин, создал произведение, в котором изображенное само служит свидетель-

ством своей достоверности. Поэтому книга моя — создание природы и вместе с тем искусства. И если в настоящее время она, пожалуй, удовлетворяет обыкновенным потребностям читающей публики, то позднейшему историографу она во всяком случае сможет послужить историческим источником, который, как я сказал, содержит в себе залог своей достоверности. В этом отношении мои «Французские дела», имеющие тот же характер, уже заслужили самую высокую оценку, и французы, занимающиеся историей, неоднократно пользовались их французским переводом. Я отмечаю это для того, чтобы произведение мое могло заслужить прочное признание и чтобы читатель был тем снисходительнее, замечая в нем тот фривольный *esprit* \*, который наши ядрено-немецкие — я сказал бы даже: дубово-немецкие — соотечественники ставили в упрек также и автору «Писем умершего». Посвящая ему мою книгу, я по поводу того *esprit*, который заключен в ней, могу заметить о себе, что приношу сов в Афины.

Но где находится в настоящую минуту высокочтимый и достолюбезный «Умерший»? Куда адресовать мою книгу? Где он? Где пребывает он, или, вернее, где скачет он, где рыщет он, романтический Анахарсис, фешенебельнейший из всех чудаков, Диоген верхом, перед которым изящный грум несет фонарь, чтобы он мог искать человека? — Где разыскивает он его — в Сандомире или Сандомихе, где сильный ветер, дующий из Бранденбургских ворот, задувает его фонарь? Или на горбатой спине верблюда трусит он рысью по песчаной аравийской пустыне, а впереди бежит длинноногий гут-гут, которого немецкие драго-маны называют секретарем посольства, фон-удодом, — дабы возвестить повелительнице своей, царице Савской, прибытие высокого гостя, ибо старая баснословная особа поджидает всемирно-известного туриста в Эфиопии, в прекрасном оазисе, где она хочет отзавтракать

\* дух, ум, остроумие

с ним и пококетничать в тени пальм-опахал, среди плещущих фонтанов, как некогда покойная леди Эсфирь Стенхоп, знавшая также немало умных загадок... А пророс \*: в мемуарах, изданных каким-то англичанином по смерти этой знаменитой султанши пустыни, я не без удивления прочитал, что, когда ваше сиятельство посетили ее на Ливане, знатная дама говорила также и обо мне и высказала мнение, будто я — основатель новой религии. О господи! Вот тут я и убедился, как плохо осведомлены обо мне в Азии!

Да, где же теперь этот жадный до странствий Везде и Нигде? Корреспонденты монгольской газеты утверждают, что он едет в Китай, желая посмотреть на китайцев, пока не поздно и пока этот фарфоровый народ еще окончательно не разбили грубые руки рыжеволосых варваров. Ах! У бедного его фарфорового императора с трясущейся головой сердце уже разбилось от скорби! — «Calcutta Advertiser», повидимому, не склонна доверять этому известию монгольской газеты, и напротив, уверяет, что англичане, подымавшиеся недавно на Гималаи, видели, как князь Пиюклер-Миускау пролетал по воздуху на крыльях грифа. Эта газета замечает, что сиятельный путешественник направлялся, вероятно, к горе Каф, собираясь сделать визит живущей там птице Симургу и побеседовать с нею о допотопной политике. — Но старый Симург, старейшина дипломатов, экс-визирь стольких султанов, из времен более древних, чем времена Адама, султанов, которые все носили белые мундиры и красные штаны, — не проводит ли он летние месяцы в своем замке Иоганнисберг на Рейне? Вино, которое рождается там, я считал всегда самым лучшим, и крайне умной птицей считал я владельца Иоганнисберга; но уважение мое еще увеличилось с тех пор, как мне стало известно, что он чрезвычайно любит мои стихи и рассказывал однажды вашему сиятельству, что порою при чтении их он про-

\* Кстати

ливал слезы. Мне бы хотелось, чтоб он как-нибудь для разнообразия почитал стихи моих собратьев по Парнасу, нынешних политических поэтов; конечно, при чтении их он плакать не станет, но тем веселее будет смеяться.

Однако мне все еще неизвестно с полной точностью местопребывание «Умершего», самого живого из всех умерших, который пережил столько живых лишь по названию. — Где он теперь? На западе или на востоке? В Китае или в Англии? В нанкинских иль манчестерских штанах? В Передней Азии иль в задней Померании? В Кюриц или в Тимбукту послать мне мою книгу, *poste restante*? \* — Все равно, где бы он ни был — всюду преследуют его самые радостно-чистосердечные, самые тоскливо-безумные приветствия преданного ему

*Генриха Гейне*

Париж, 23 августа 1854.

\* до востребования



# I

Париж, 25 февраля 1840

Чем ближе стоишь к особе короля, собственными глазами наблюдая его действия, тем легче обмануться насчет мотивов его поступков, насчет его тайных намерений, его желаний и стремлений. В школе революционных деятелей он научился той современной хитрости, тому политическому иезуитству, которыми якобинцы превосходили порой учеников Лойолы. Эти благоприобретенные качества дополняются в нем еще драгоценным запасом унаследованного притворства, традиций предков, французских королей, тех старейших сынов церкви, которым, в отличие от других монархов, гораздо большую гибкость придавало священное масло Реймса, в которых всегда было больше лисьего, нежели львиного, и всегда в большей или меньшей степени обнаруживался характер священнослужителя. Заученные и унаследованные *simulatio* и *dissimulatio* \* сочетаются в Луи-Филиппе еще и с естественной склонностью к этим свойствам, так что почти невозможно сквозь благожелательную жирную оболочку, сквозь улыбающееся мясо разглядеть тайные мысли. Но если бы даже нам и удалось заглянуть в самую глубину королевского сердца, мы бы достигли этим не слишком многого, ибо в сущности антипатия или симпатия к личностям никогда не определяет поступков Луи-Филиппа, он повинуетя только силе обстоятельств (*la force des choses*), необходимости. Всякое субъективное побуж-

\* лицемерие и притворство

ждение он отвергает почти с жестокостью, он суров к самому себе, и если он и не самодержавный властелин, то все же он властелин над самим собою, он очень объективный король. То обстоятельство, любит ли он Гизо больше или меньше, нежели Тьера, не имеет поэтому особого политического значения; он будет пользоваться услугами того или другого, смотря по тому, в котором из них будет нуждаться в данную минуту, не раньше и не позже. Поэтому я, право же, не могу сказать с определенностью, который из этих двух людей всего более приятен или неприятен королю. Я думаю, он не одобряет ни того ни другого, и притом из зависти, ибо сам он, тоже министр, видит в них своих всегдашних соперников и, в сущности, боится, как бы за ними не признали более крупного политического дарования, чем за ним самим. Говорят, Гизо ему более по сердцу, нежели Тьер, так как он пользуется известной непопулярностью, которая нравится королю. Но пуританский покров Гизо, его надменная подозрительность, доктринерский поучительный тон, угловато-кальвинистский нрав не могут пленять короля. В Тьере он наталкивается на противоположные особенности: на необузданное легкомыслие, на дерзкую прихотливость, на откровенность, которая почти оскорбительно контрастирует с его скрытным, замкнутым, непрямодушным характером и поэтому также не может особенно нравиться ему. К тому же король любит говорить, порой любит даже пускаться в бесконечную болтовню, что весьма удивительно, так как скрытные натуры обычно скупы на слова. Оттого-то ему должен особенно не нравиться Гизо, который никогда не спорит, а все время поучает и, наконец, доказав свой тезис, строго выслушивает ответную речь короля и даже одобрительно кивает головой, как будто перед ним стоит школьник, хорошо отвечающий урок. С Тьером королю еще труднее: этот вовсе не дает ему говорить, захваченный потоком собственной речи. Она течет, не останавливаясь, словно из бочки, у которой

открыли кран, но вино — всегда драгоценное. Тут никто не скажет и слова, и только тогда, когда господин Тьер бреется, можно достичь того, чтоб он спокойно вас выслушал. Только пока бритвенный нож касается его горла, господин Тьер молчит и внимает чужим речам.

Не подлежит сомнению, что, уступая желаниям палаты, король поручит господину Тьеру образование нового министерства и вверит ему, как представителю совета, также и портфель министра иностранных дел. Это легко предвидеть. Но можно с полной уверенностью предсказать, что новое министерство не будет долговечно и что в одно прекрасное утро господин Тьер сам даст королю удобный случай снова удалить его и призвать на его место господина Гизо. Господин Тьер, такой проворный и ловкий, всегда обнаруживает великий талант, когда ему надо взобраться на *mât de sosagne* \* власти; но еще талантливее соскальзывает он вниз, и в то время, когда нам кажется, что он совершенно спокойно сидит на вершине своего могущества, он неожиданно соскальзывает вниз так ловко, так мило, так весело, так гениально, что мы прямо готовы аплодировать этому новому фокусу. Господин Гизо не столь ловок, когда ему приходится лезть на гладкую мачту. Тяжеловесно и с трудом взбирается он наверх, но, раз достигнув цели, он уже крепко цепляется за нее своими сильными лапами; на вершине власти он всякий раз держится дольше, чем его расторопный соперник; даже можно сказать, что его беспомощность не позволяет ему спуститься и что надо сильно расшатать мачту, чтобы ему легче было скатиться вниз. Быть может, в эту минуту уже разосланы телеграммы, в которых Луи-Филипп объясняет иностранным кабинетам, что силой обстоятельств он вынужден сделать министром несносного для него Тьера вместо Гизо, который был бы ему гораздо более приятен.

Королю теперь будет стоять большого труда укротить антипатию иноземных держав к Тьеру. Эта погоня

\* призовая мачта

за их одобрением — нелепая идиосинкразия. Он считает, что от внешнего мира зависит и спокойствие внутри государства, и мало внимания уделяет последнему. Он, перед взглядом которого должны бы дрожать все Трояны, Титы, Марки-Аврелии и Антонины этой земли, включая в число их и Великого Могола, — он унижается перед ними и, точно школьник, жалобно причитает: «Пощадите меня! Простите, что я, так сказать, поднялся на французский трон, что отважнейший и умнейший народ, я хотел сказать — тридцать шесть миллионов мятежников и безбожников, — выбрали меня своим королем. Простите, что я поддался соблазну и из нечестивых рук бунтовщиков принял корону и принадлежащие к ней коронные бриллианты... Я был неопытен, я получил дурное воспитание еще в детстве, когда госпожа Жанлис по складам обучала меня правам человека... У якобинцев, доверивших мне почетный пост привратника, я тоже не мог научиться чему-нибудь хорошему... Дурное общество испортило меня, в особенности маркиз Лафайет, желавший сделать из меня лучшую республику... Но я исправился с тех пор, я раскаиваюсь в заблуждениях моей молодости, и я прошу: простите меня, будьте милосерды и дайте мне мир!» Нет, так не выражался Луи-Филипп, ибо он горд, благороден, умен, но все же таков был краткий смысл его длинных речей и еще более длинных писем, почерк которых, когда я недавно увидел его, показался мне в высшей степени оригинальным. Если некоторые почерки называют «мушиными лапками» (*pattes de mouches*), то почерк Луи-Филиппа можно было бы назвать «таучьими ножками»; он именно похож на тенеобразные, длинные, страшно тонкие ножки так называемых пауков-портных; вытянутые вверх и вместе с тем крайне тощие буквы производят причудливо-смешное впечатление.

Даже лица, наиболее близкие к королю, порицают его уступчивость по отношению к иноземным державам, но никто не осмеливается вслух произнести какой-нибудь упрек. Этот кроткий, добродушный, домашний Луи-

Филипп требует от своих такого слепого послушания, какого самый яростный тиран мог бы добиться лишь путем величайших жестокостей. Уважение и любовь связывают язык его семье и друзьям; это — беда, а ведь вполне возможны такие случаи, когда возражение или даже явный протест мог бы иметь благотворное влияние на личную волю короля. Сам наследный принц, рассудительный герцог Орлеанский, молча склоняет голову перед отцом, хотя замечает его ошибки и, повидимому, предчувствует прискорбные конфликты или даже страшную катастрофу. Он будто бы сказал однажды кому-то из приближенных, что жаждет войны, предпочитая лишиться жизни в волнах Рейна, чем в какой-нибудь грязной канаве Парижа. Благородный рыцарственный герой переживает меланхолические минуты и рассказывает тогда, как его тетка, герцогиня Ангюлемская, негильотинированная дочь Людовика XVI, хриплым вороньим голосом предрекла ему раннюю гибель, когда, во время своего последнего бегства, в июльские дни, повстречалась вблизи Парижа с возвращавшимся принцем. Странно, несколько часов спустя принц попал в плен к республиканцам, которые угрожали ему расстрелом, и только чудом избег этой участи. Наследный принц всеми любим, он привлек к себе все сердца, и утрата его была бы более чем пагубна для нынешней династии. Популярность его, быть может, единственная ее гарантия. Правда и то, что он — один из благороднейших и драгоценнейших цветков, возросших на почве Франции, этого «прекрасного человеческого сада».

## II

Париж, 1 марта 1840

Нынче Тьер — в полном блеске своей удачи. Я говорю: нынче, — я не ручаюсь за завтра. — Что Тьер теперь министр, настоящий, единовластный, могущественный министр, в этом нельзя сомневаться, хотя многие лица, скорее из лукавства, чем по убеждению,

не желают этому верить, пока не увидят в Монитере черным по белому подписанные приказы. Они говорят, что все возможно при медлительности монархического Фабия Кунктатора; ведь в мае прошлого года сделка разошлась в ту минуту, когда Тьер уже взял в руку перо для подписи. Но на сей раз я убежден, что Тьер — министр; «поклониться в этом я готов, но не держать пари», — сказал однажды Фокс в подобном же случае. Теперь мне хочется знать, в какой срок популярность его снова будет уничтожена. Республиканцы видят в нем сейчас новый оплот монархии и, разумеется, не станут его щадить. Великодушные несвойственно им, и республиканская добродетель не отвергает союза с ложью. Уже завтра старые клеветы высунут из самых затхлых дыр свои змеиные головки и будут мило извиваться. Бедным коллегам тоже плохо придется. «Масленичное министерство!» — кричали уже вчера вечером, когда было названо имя министра просвещения. В словах этих есть доля правды. Если бы не опасения, внушенные тремя днями масленицы, пожалуй не было бы такой спешки с образованием министерства. Но сегодня уже воскресенье, в эту минуту по улицам Парижа уже движется шествие *boeuf gras* \*, и завтра и послезавтра — дни наиболее опасные для общественного спокойствия. Народ в эти дни предается дикому, отчаянному веселью, безумие его угрожающе необузданно, и опьяненные свободой рады пить брудершафт с обычными пьяными, чье опьянение вызвано простым вином. Маскарад против маскарада, а новое министерство, — быть может, маска, надетая королем ради карнавала.

### III

Париж, 9 апреля 1840

Сейчас, когда страсти несколько остыли и мыслящее благоразумие постепенно вступает в свои права, вся-

\* Буквально: «жирный бык» (см. комментарии).

кий сознается, что спокойствию Франции угрожала бы великая опасность, если бы так называемым консерваторам удалось свергнуть нынешнее министерство. Разумеется, члены его в настоящее время лучше всех других могут управлять государственным экипажем. Король, сидя внутри этого экипажа, и Тьер, сидя на козлах, должны теперь быть единодушны, так как, несмотря на разницу в их положении, они подвержены одинаковой опасности катастрофы. Лично они уже примирились давно. Различие остается только политическое. Однако, при всем их теперешнем единодушии, при самом искреннем желании короля сохранить министерство, в душе он все же никак не может отрешиться от этого политического различия, потому что король ведь — представитель высшей власти, интересы и права которой — в постоянном столкновении с захватническими вождедениями палаты. В самом деле, если говорить правду, все поведение палаты мы, в согласии с истиной, должны назвать жаждой захватов; она же и все время была нападающей стороной, по всякому поводу она стремилась ограничить права высшей власти, повредить ее интересам, и король лишь оказывал вполне естественное сопротивление. Хартия, например, давала королю право выбирать себе министров, теперь же эта прерогатива — только видимость, ироническая, смеющаяся над монархией формула, ибо в действительности выбирает министров палата и она же дает им отставку. И весьма характерно, что с некоторых пор французское правительство называют не конституционным, а парламентским правительством. Министерство первого марта сразу же было окрещено этим именем, и как на деле, так и на словах, это ограбление короны, права которой передали палате, было официально провозглашено и санкционировано.

Тьер — представитель палаты, он — выбранный ею министр, и в этом отношении он не может быть совсем по сердцу королю. Таким образом, высочайшая немилость, как уже сказано выше, касается не самой лич-

ности министра, а принципа, который благодаря его избранию вступил в свои права. Мы думаем, что палата не будет продолжать борьбу за этот принцип, ибо это, в сущности, тот же избирательный принцип, конечным следствием которого является республика. Династические герои оппозиции, равно как и те консерваторы, которые при решении вопроса о дотации поддались личным страстям и дали повод к упрекам в самых смехотворных промахах, прекрасно видят, куда ведут они, эти выигранные палатой битвы.

Отказ в дотации, вернее, та немая ирония, с которой был сделан этот отказ, является не только оскорблением монархии, но также и глупой несправедливостью; ибо, постепенно отвоевывая у короны всякую действительную власть, надо было, по крайней мере, вознаградить ее внешним блеском и скорее возвысить, чем унижить ее моральный авторитет в глазах народа. Какая непоследовательность! Вы хотите иметь монарха и скряжничаєте в расходах на горностаи и золото! Вы пугаетесь республики и наносите публичное оскорбление королю, как вы поступили, решая вопрос о дотации! А они ведь не хотят республики, все эти благородные рыцари денег, эти бароны промышленности, эти избранники собственности, эти энтузиасты спокойного обладания, представляющие большинство во французской палате. Республика внушает им страх, еще более лютый, чем самому королю; они дрожат перед ней гораздо сильнее, чем Луи-Филипп, который при-  
вык к ней уже в молодости.

Долго ли продержится министерство Тьера? Вот в чем теперь вопрос. Человек этот играет жуткую роль. Он распоряжается не только всеми военными силами могущественнейшего государства, но также и всеми войсками революции, всем пламенем и всем безумием наших дней. Не выводите его из его мудрой веселости в роковые лабиринты страсти, ничего не кладите ему поперек дороги, ни золотых яблок, ни грубых чурбанов!.. Вся королевская партия должна бы радоваться

своему счастью, что палата выбрала именно Тьера, государственного деятеля, выказавшего в последних прениях все свое политическое величие. Да, в то время как другие — только ораторы или администраторы или дипломаты или герои добродетели, Тьер является всем этим вместе, даже героем добродетели, но только все эти дарования не являются у него резко отграниченными специальностями, а подчиняются его государственному гению и поглощаются им. Тьер — государственный деятель: он — один из умов, получивших от природы дар управления. Природа создает государственных деятелей, как создает и поэтов, две разновидности, очень не похожие друг на друга, однако равно необходимые, ибо человечество должно быть воодушевляемо и управляемо. Людей, от природы одаренных поэтическим талантом или искусством управления, сама же природа и побуждает проявлять эти дарования, и это стремление мы отнюдь не должны путать с тем мелким тщеславием, которое менее даровитых подстрекает надоедать всему миру элегическим рифмоплетством или прозаическими тирадами.

Я указал, что Тьер именно в последней речи выказал величие государственного деятеля. Быть может, звонкие фразы Берье произвели на слух широкой публики более пышное впечатление; но этот оратор находится в таком же отношении к этому государственному деятелю, как Цицерон к Демосфену. Когда Цицерон произносил на Форуме свои речи, слушатели находили, что никто не умеет говорить лучше Марка Туллия; но когда говорил Демосфен, афиняне восклицали: «Война Филиппу!» Когда Тьер кончил свою речь, депутаты, вместо всяких похвал, открыли свои кошельки и дали ему требуемые деньги.

Кульминационным в этой речи Тьера было слово «transaction» \* — слово, которое наши газетные политики поняли очень плохо, но в котором, на мой взгляд,

\* соглашение

заключен глубочайший смысл. Разве исконной задачей великих государственных мужей было что-либо иное, кроме соглашения, сделки между принципами и партиями? Когда приходится управлять стоя между двумя враждующими партиями, надо пытаться достигнуть соглашения. Разве мог бы мир двигаться вперед, разве мог бы он даже спокойно оставаться на месте, если бы после диких потрясений не приходили мужественные повелители и не восстанавливали блаженного спокойствия среди усталых и страждущих борцов — как в области мысли, так и в области внешнего мира явлений? Да, и в мире мысли сделки тоже необходимы. То, что в Германии триста лет тому назад явилось в образе реформации и протестантской церкви, разве это не было сделкой между римско-католической традицией и человечески-божественным разумом? То, что во Франции пробовал сделать Наполеон, пытаясь примирить людей старого режима и их интересы с новыми людьми и новыми интересами революции, — разве это не было сделкой? Он дал этой сделке название «fusion» \* — тоже слово, полное смысла, представляющее целую систему. За две тысячи лет до Наполеона другой великий государственный муж, Александр Македонский, измыслил подобную же систему слияния, пожелав соединить Запад с Востоком путем браков между победителями и побежденными, обмена нравов, сплава идей. Нет, до такой высоты не могла подняться Наполеонова система слияния, он умел примирять лишь интересы и личности, но не идеи, и это был великий недостаток, и в этом была также причина его падения. Сделает ли господин Тьер такой же промах? Мы готовы опасаться, что сделает. Господин Тьер способен говорить с утра до полуночи, неустанно, вечно сверкая новыми мыслями, новыми молниями ума, забавляя, поучая, ослепляя слушателя, — я сказал бы: фейерверк вслух! И все же он лучше понимает мате-

\* слияние, соединение

риальные, а не идеальные потребности человечества; ему неведомо последнее звено цепи, которое соединяет земные явления с небом: у него нет чутья к великим социальным установлениям.

#### IV

Париж, 30 апреля 1840

«Скажи мне, что ты посеял сегодня, и я предскажу тебе, что ты завтра пожнешь!» Об этой пословице рассудительного Санчо размышлял я на днях, после того как посетил несколько мастерских в предместьи Сен-Марсо и увидел там, что читают рабочие — самая здоровая часть низшего класса. А нашел я там несколько новых изданий речей старого Робеспьера, также и памфлеты Марата, выпусками по два су, «Историю революции» Кабе, ядовитые пасквили Корменена, «Учение и заговор Бабефа», сочинение Буонаротти — всё книги, которые как бы пахнут кровью; и песни слышал я там, которые, казалось, созданы были в аду и припевы которых свидетельствовали о самом яростном возбуждении. Нет, в наших нежных сферах невозможно составить себе понятие о демонических звуках, что царят в этих песнях, их надо слышать собственными ушами, например, в тех чудовищных мастерских, где обрабатывают металлы и где под звуки песни полунагие упорные люди ударяют в такт большими железными молотами по вздрагивающим наковальням. Подобный аккомпанемент чрезвычайно эффектен, равно как и освещение, — когда гневные искры вылетают из горна. Здесь все — страсть и пламя!

Плод этого сева, республика, рано или поздно грозит взойти на почве Франции. Мы в самом деле должны этого опасаться; но в то же время мы убеждены, что этот республиканский строй отнюдь не может быть долговечен в отчизне кокетства и тщеславия. И даже если предположить, что национальный характер французов

вполне совместим с республиканизмом, все же республика, в том виде, как о ней грезят наши радикалы, не могла бы долго продержаться. Жизненная основа подобной республики таит уже зародыш своей ранней смерти; она должна умереть в своем расцвете. Какое бы устройство ни имело государство, оно держится не одним лишь единодушием и патриотизмом народной массы, как думают обычно, — оно держится духовной мощью великих личностей, управляющих им. А ведь мы знаем, что в подобной республике царит ревнивый дух равенства, который оттесняет все выдающиеся индивидуальности, даже делает их немислимыми, и что, следовательно, во времена бедствия во главе государства станут лишь кум-кожевник да кум-колбасник. Этот органический порок является причиной неизбежной гибели подобных республик, как только они вступают в решительную борьбу с олигархиями и автократиями, полными энергии и возглавляемыми крупными индивидуальностями. А что это должно случиться, как только во Франции будет провозглашена республика, — не подлежит сомнению.

Меж тем как спокойствие, которым мы теперь наслаждаемся, весьма благоприятствует распространению республиканских учений, в среде самих республиканцев оно разрушает все узы единодушия; недоверчивый дух этих людей должен быть занят делом, иначе они вовлекаются в колкие споры и препирательства, которые переходят в озлобленную вражду. В них мало любви к друзьям и много ненависти к тем, которые силой прогрессивной мысли склоняются к противоположным взглядам. Они весьма щедры на обвинения в честолубии, если даже не в продажности. Они в своей ограниченности никогда не понимают, что их прежних союзников заставляет отдаляться от них различие в убеждениях. Не будучи в силах понять рациональные причины этого отдаления, они сразу вопят о денежных мотивах. Эти вопли характерны. Республиканцы — в вечной ссоре с деньгами; все, что

с ними случается худого, они приписывают влиянию денег; и в самом деле, их противникам деньги служат баррикадой, оплотом и оружием, пожалуй даже, деньги — настоящий их противник, нынешний Питт, нынешний Кобург, и они осыпают их бранью на старый санкюлотский лад. В сущности, ими руководит правильный инстинкт. Той новой доктрины, которая все социальные вопросы рассматривает с высшей точки зрения и представляет столь же блистательное отличие от вульгарного республиканства, как пурпурная мантия императора от серой куртки равенства, — ее нашим республиканцам не стоит особенно бояться; ибо так же, как и они, толпа далека от этой доктрины. Толпа, высший и низший плебс, благородное буржуазное сословие, буржуазная знать, все эти сановники милой посредственности очень хорошо понимают республиканство — учение, которое не требует больших предварительных познаний, которое в то же время отвечает всем их малейшим чувствам и опошляющим думам и которое они признали бы всенародно, если бы тем самым не пришлось вступить в столкновение с деньгами. Каждый талер — храбрый боец против республиканцев, и каждый дукат — Ахилл. Поэтому республиканец с полным правом ненавидит деньги, и если враг этот попадает в его руки, ах! тогда победа оказывается еще горше поражения: республиканец, овладевший деньгами, перестает быть республиканцем.

Что симпатии, возбуждаемые республиканством, все-таки постоянно подавляются денежными интересами, — это я заметил на днях, в разговоре с одним весьма просвещенным банкиром, который с величайшей горячностью сказал мне: «Кто же оспаривает преимущества республиканского строя? Я сам порою — совсем республиканец. Видите ли, когда я опускаю руку в правый карман брюк, в котором находятся мои деньги, прикосновение к холодному металлу вызывает во мне дрожь, я опасаясь за свою собственность, я чувствую, что настроен монархически; наоборот, когда я опускаю руку

в левый карман, который пуст, тогда сразу исчезает всякий страх, и я весело насвистываю Марсельезу и голосую за республику!»

Подобно республиканцам, легитимисты также стараются воспользоваться для посева нынешним мирным временем, и на тихой почве провинции сеют они главным образом свои семена, из которых должно возрасти их спасение. Больше всего надежд возлагают они на ту пропаганду, которая через школу и путем влияния на сельский люд надеется восстановить авторитет церкви. Вместе с верой отцов должны войти в почет и права отцов. Поэтому дамы из высшего общества, словно *ladies patronesses* \* религии, выставляют напоказ свой набожный образ мыслей, повсюду вербуют души для неба и своим изящным примером заманивают в церкви всю знать. И церкви никогда не были так переполнены, как в дни последней Пасхи. Расфранченное благочестие особенно устремилось в церкви Сен-Рок и Нотр-Дам-де-Лоретт; здесь блистали самые мечтательно-изящные туалеты, здесь благочестивый денди черпал освященную воду рукою в белой лайковой перчатке, здесь молились грации. Долго ли будет так? И религиозность эта, если ей суждено стать модой, не будет ли подвержена быстрым превращениям моды? Румянец этот — признак ли здоровья?.. «У господ бога сегодня большой прием», — сказал я приятелю в прошлое воскресенье, заметив толпы народа у церквей. «Эти визиты — прощальные», — отвечал неверующий.

Мы знаем теперь те драконовы зубы, которые сеют республиканцы и легитимисты, и нас не удивит, если семена эти вдруг вырвутся из земли в образе бойцов, одетых в латы, и станут друг друга душить или брататься друг с другом. Да, это возможно: ведь есть же тут ужасный священник, надеющийся кровожадными словами своей веры соединить служителей костра и служителей гильотины.

\* дамы-патронессы

Меж тем все взоры прикованы к драме, которая на поверхности Франции разыгрывается более или менее поверхностными актерами. Я говорю о палате и о министерстве. Настроение первой, равно как поведение второго, — вот, бесспорно, предметы величайшей важности, ибо раздор в палате мог бы ускорить катастрофу, которая кажется то близкой, то далекой. Отсрочить этот пожар насколько возможно — вот задача наших нынешних правителей. Они ничего иного не хотят, ни на что другое не надеются, они предвидят неизбежную «гибель богов» — и это явствует из каждого их поступка, из каждого их слова. В одной из своих последних речей Тьер с почти наивной честностью сознался, что он мало полагается на ближайшее будущее и что надо перебиваться со дня на день; у него — чуткое ухо, и он уже слышит вой Фенриса — волка, возвещающего царство Гелы. Отчаяние перед неизбежным не толкнет ли его на какой-либо внезапный, чрезмерно резкий поступок?

## V

Париж, 30 апреля 1840

Вчера вечером, после долгих ожиданий, после почти двухмесячных откладываний со дня на день, раздражающих сверх меры и любопытство и нетерпение публики, — вчера вечером, наконец, на сцене Французского театра представлена была драма Жорж Занд «Козима». Невозможно составить себе понятие о том, как в течение нескольких недель все знаменитости столицы, все, кто славится здесь своим званием, происхождением, талантом, пороками, богатством, словом, — чем-нибудь замечателен, старались найти способ, чтобы присутствовать на этом спектакле. Слава автора так велика, что любопытство было напряжено до крайней степени; однако не одно лишь любопытство, также и другие интересы играли здесь роль.

Заранее были известны те происки, те интриги, та злонамеренность, которые составили заговор против автора и вступили в союз с самой низкой завистью его собратьев по перу. Смелый автор, возбудивший своими романами одинаковое негодование и в аристократии и в буржуазном сословии, должен был, дебютируя в качестве драматурга, публично понести наказание за свои «безбожные и безнравственные принципы»; ибо, как я писал вам на этих днях, французская знать смотрит на религию как на оплот против грозно надвигающихся ужасов республиканства и покровительствует ей, чтобы поднять уважение к себе и защитить свои головы, тогда как буржуазия тоже считает, что антиматримониальные доктрины Жорж Занд грозят опасностью ее голове, а именно — грозят неким украшением в виде рогов, от которого женатый буржуа — национальный гвардеец откажется с такой же охотой, с какой он стремится к кресту Почетного легиона.

Автор прекрасно понял опасность своего положения и в пьесе своей избежал всего, что могло бы вывести из себя аристократических рыцарей религии и буржуазных оруженосцев морали, легитимистов политики и брака; поборник социальной революции, решавшийся в своих писаниях на самые отчаянные вещи, он замкнулся на сцене в самые скромные пределы, и главной его целью было — не провозглашать в театре свои принципы, но завладеть театром. Мысль, что это может ему удасться, возбудила, однако, большие опасения среди известного сорта малых людишек, которым вполне чужды упомянутые выше религиозные, политические и моральные различия и которые чтут только самые низкие интересы ремесла. Это — так называемые драматические авторы, образующие во Франции, так же как и у нас в Германии, совершенно особый класс и не имеющие ничего общего как с настоящей литературой, так и со знаменитыми писателями, которыми гордится нация. Последние, за немногими исключениями, стоят очень далеко от театра, — с той лишь разницей, что у нас

крупные писатели сами с гордым пренебрежением отворачиваются от мира подмостков, тогда как во Франции они от души желали бы работать для сцены, но махинации упомянутых драматических авторов гонят их оттуда. И, в сущности, нельзя обижаться на малых людишек за то, что они, как могут, обороняются против натиска великих. Чего вам надо от нас, — кричат они, — оставайтесь в вашей литературе и не лезьте к нашим суповым мискам! Вам — слава, нам — деньги! Вам — длинные статьи, полные восхищения, признательность возвышенных умов, высшая критика, которая нас, бедных, не хочет знать. Вам — лавры, нам — жаркое! Вам — опьянение поэзией, нам — пена шампанского, которое мы весело прихлебываем в обществе главарей клаки и самых приличных дам. Мы едим, мы пьем, нам аплодируют, нас освистывают и забывают, меж тем как вас чествуют в обозрении «Старого и Нового света» \*, и вы голодаете в чаянии самого величавого бессмертия!

В самом деле, театр доставляет этим драматическим авторам блистательнейшее благополучие; большая часть их богатеет, живет в довольстве и спокойствии, тогда как величайшие писатели Франции, разоряемые бельгийскими контрафакциями и нищим состоянием книжной торговли, прозябают в безотрадной нищете. Не вполне ли естественно, что порой они томятся по золотым плодам, зреющим за огнями ramпы, и протягивают к ним руку, как недавно Бальзак, которому это так плохо удалось! Если уже и в Германии есть тайный оборонительный и наступательный союз посредственностей, эксплуатирующих театр, то подобное же явление, но в еще более постыдной форме, имеет место и в Париже, где скопляется вся эта мерзость. И притом малые людишки здесь так деятельны, так ловки, так неутомимы в своей борьбе с великими, и особенно в борьбе с гением, который всегда стоит одиноко,

\* «Revue de deux Mondes»

несколько неуклюж и, между нами говоря, слишком уж мечтательно-ленив!

Какой же прием встретила драма Жорж Занд, величайшего писателя, которого родила новая Франция, жутко одинокого гения, которого оценили и у нас в Германии? Был ли прием решительно плохой или сомнительно благоприятный? Честно говоря, я не могу ответить на этот вопрос. Уважение к великому имени парализовало, может быть, не один злой умысел. Я ожидал худшего. Все противники автора назначили друг другу свидание в огромном зале Французского театра, вмещающего больше двух тысяч человек. Дирекция предоставила автору около ста сорока билетов, для раздачи друзьям; полагаю, однако, что, разбросанные женской прихотью, лишь немногие из них попали в надлежащие, аплодирующие руки. Об организованной клaque не было и речи; всегдашний шеф ее предложил свои услуги, но был отвергнут гордым автором «Лелии». Так называемых римлян, которые, сидя в середине партера под большой люстрой, всегда столь смело аплодируют, когда разыгрывается пьеса Скриба или «Анжело», вчера не было видно во Французском театре.

Об исполнении рецензируемой драмы я, к сожалению, могу дать лишь самый отрицательный отзыв. За исключением знаменитой Дорваль, которая вчера играла не хуже, но и не лучше обычного, все актеры выступляли напоказ свою монотонную посредственность. Герой пьесы, некий господин Бовалле, играл, говоря библейскими словами, «как свинья с золотым кольцом в носу». Жорж Занд, казалось, предвидел, как мало может ждать его драма от мимических способностей актеров, несмотря на все уступки, сделанные их прихотям, и в разговоре с другом-немцем он сказал, шутя: «Видите ли, французы — все прирожденные комедианты, и каждый из них более или менее блестяще играет в свете свою роль; но те среди моих соотечественников, у кого меньше всего способностей к благородному

искусству сцены, те посвящают себя театру и становятся актерами».

Когда-то я заметил, что общественная жизнь во Франции, система представительного правления и политическая деятельность поглотили лучшие актерские таланты французов, и поэтому на настоящей сцене можно найти только посредственности. Впрочем, это касается только мужчин, но не женщин; французская сцена богата первостепенными актрисами, и новое поколение, пожалуй, превосходит старое. Мы восхищаемся крупными, исключительными талантами, которые могут развиваться и которые здесь тем многочисленнее, что несправедливые законы, мужская узурпация закрыли для женщин дорогу ко всем политическим должностям и званиям и они не могут применять свои дарования на подмостках Пале-Бурбон и Люксембурга. Своему стремлению к публичности они удовлетворяют лишь в общественных домах искусства или публичных домах веселья и становятся либо актрисами, либо лоретками, или же и тем и другим одновременно, потому что здесь, во Франции, два эти ремесла не столь строго разграничены, как у нас в Германии, где комедиантки часто принадлежат к числу самых порядочных особ и нередко отличаются хорошим мещанским поведением: у нас общественное мнение не изгоняет их, как париев, из общества, и напротив, они встречают любезный прием в дворянских домах, на вечерах толерантных еврейских банкиров и даже в иных честных мещанских семьях. Здесь же, во Франции, где искоренено столько предрассудков, проклятие церкви все еще тяготеет над актерами; на них все еще смотрят как на отверженных, а так как люди всегда становятся дурными, если с ними дурно обращаются, то, за немногими исключениями, актеры попрежнему пребывают здесь в состоянии блистательно-грязного цыганства. Такия и добродетель редко спят здесь на одном ложе, и даже знаменитейшая Мельпомена опускается порой со своего кутурна, сменяя его на распутные туфельки Филины.

Здесь существует определенная цена на всех красивых актрис, а те, которых ни за какую определенную цену не достать, конечно, самые дорогие. Молодых актрис большей частью содержат моты или богатые *parvenus* \*, и, наоборот, собственно содержанки, так называемые *femmes entretenues* \*\*, испытывают страстное желание показаться на сцене, желание, в котором соединяется и тщеславие и расчет, потому что там они лучше всего могут выставить напоказ свое тело, обратить на себя внимание знатных сластолюбцев и вместе с тем заслужить восхищение более широкой публики. Особы эти, выступающие главным образом в маленьких театрах, обычно вовсе не получают жалованья, напротив, они сами каждый месяц платят директорам определенную сумму за разрешение выступать на их сцене. Поэтому здесь редко знаешь, где актриса и куртизанка поменялись ролями, где кончается комедия и снова начинается приятная действительность, где пятистопный ямб переходит в четвероногое распутство. Эти амфибии искусства и порока, эти Мелузины берегов Сены представляют, конечно, опаснейшую часть любовного Парижа, где проказничает столько прелестных чудовищ. Горе неопытному, попадающему в их сети! Но горе и тому, кто опытен, тому, кто знает, что у прелестного чудовища — отвратительный рыбий хвост, и все же не в силах противиться волшебству и идет на верную гибель, побежденный, быть может, именно сладострастием внутреннего ужаса, роковой прелестью блаженной смерти, сладостной бездны!

Женщины, о которых здесь идет речь, — не злы и не коварны; большею частью они даже чрезвычайно добры; они вовсе не такие лживые и жадные, как думают о них; напротив, порой это даже прямодушнейшие и благороднейшие создания; все их нечистые поступки имеют источником потребности минуты, нужду и тщеславие.

\* ВЫСКОЧКИ

\*\* женщины, живущие на содержании

славию; вообще они не хуже прочих дочерей Евы, которых от падения, все более глубокого, предохраняет жизнь, полная достатка, бдительность родни или благосклонность судьбы. Для этих женщин характерна некая жажда разрушения, которой они одержимы, и не только во вред любовнику, но и во вред тому человеку, которого они действительно любят, и большей частью во вред самим себе. Эта жажда разрушения тесно сплетается с дикой, безумной, страстной жаждой наслаждений, минутных наслаждений, которые не терпят и дня отсрочки, не допускают и мысли о завтрашнем дне и вообще смеются над всеми опасениями. Они выжимают у возлюбленного последний су, доводят его до того, что он закладывает даже свою будущность, — лишь бы насладиться радостным мгновением; они заставляют его расточать даже те ресурсы, которые им самим могли бы пойти на пользу, порою они виноваты и в том, что он учитывает свою честь, точно вексель, — словом, они разоряют возлюбленного с самой жуткой поспешностью и страшной добросовестностью. Монтескье в своем «*Esprit des lois*» \* пытался где-то охарактеризовать сущность деспотизма, сравнивая деспотов с теми дикарями, которые, когда захотят насладиться плодами какого-нибудь дерева, тотчас же хватаются за топор и срубают самое дерево, затем спокойно усаживаются вокруг ствола и, спеша полакомиться, поедая плоды. Я применил бы это сравнение к упомянутым дамам. После Шекспира, проникновенно показавшего нам образ одной из этих женщин в лице Клеопатры, которую я как-то назвал *reine entretenue* \*\*, — с величайшей верностью изобразил их, конечно, наш друг Оноре де-Бальзак. Он описывает их так, как натуралист описывает породу животных или патолог — болезнь: без наставительной цели, без любви или отвращения. Наверно, ему никогда не приходило в голову

\* «Дух законов»

\*\* царица-содержанка

скрашивать подобные явления или же реабилитировать их, чего не допустили бы ни искусство, ни нравственность.

### П О З Д Н Е Й Ш А Я   з а м е т к а

(1854)

Отчет о первом представлении драмы, возбуждающей любопытство уже благодаря славному имени автора, должен быть написан и отослан с большой поспешностью, чтобы зложелательные оценки и клеветнические толки не могли его опередить. Поэтому в предшествующей статье совершенно отсутствует подробная оценка писателя, или, вернее, писательницы, сделавшей первый драматургический опыт, который совершенно не удался ей, так что чело, привыкшее к лавровым венкам, на этот раз было увенчано весьма роковыми терниями. Восполняя этот пробел в нашем отчете необходимыми сведениями, мы приводим здесь из монографии, написанной несколько лет тому назад, некоторые замечания о личности, или, вернее, впечатлениях от личности Жорж Занд. Вот они.

«Как известно, Жорж Занд — псевдоним, *nom de guerre* \* прекрасной амазонки. При выборе этого имени ею руководило отнюдь не воспоминание о несчастном Занде, убийце Коцебу, единственного комического автора среди немцев. Это имя наша героиня выбрала потому, что оно — первый слог имени Сандо; так звали ее возлюбленного, почтенного писателя, не сумевшего, однако, с целым своим именем достичь такой знаменитости, какой достигла его любимая с одной лишь частью этого имени, которую она, смеясь, оставила себе, когда покинула Сандо. Настоящее имя Жорж Занд — Аврора Дюдеван; это фамилия ее законного супруга, а он вовсе не миф, как можно было бы подумать, а

\* прозвище

живой дворянин из провинции Берри, которого я однажды имел удовольствие видеть собственными глазами. Я видел его даже у его супруги, уже разведенной с ним в то время, в ее маленькой квартире на Набережной Вольтера, и то обстоятельство, что я видел его именно там, уже само по себе так достопримечательно, что, говоря словами Шамиссо, я сам мог бы показывать себя за деньги. У него было невыразительное, филистерское лицо, и не казался он ни злым, ни грубым; но я сразу же понял, что сыровато-прохладная будничность, этот фарфоровый взгляд, эти монотонные китайские пагодообразные движения могли бы быть очень приятны для женщины заурядной, но женщине с более глубокой душою они могли, в конце концов, внушить боязнь и даже преисполнить ее такого ужаса и трепета, что заставили бежать.

«Фамилия родителей Занд — Дюпен. Она дочь человека незнатного, сына знаменитой, но теперь забытой танцовщицы Дюпен. Эта Дюпен, говорят, была дочерью маршала Морица Саксонского, который и сам принадлежал к сотням внебрачных детей, оставленных курфюрстом Августом Сильным. Мать Морица Саксонского была Аврора Кенигсмарк, и Аврора Дюдеван, названная по имени своей прародительницы, тоже дала своему сыну имя Морис. Этот сын и дочь ее Соланж, вышедшая замуж за скульптора Клезингера, — единственные дети Жорж Занд. Она всегда была превосходная мать, и я нередко по целым часам просиживал на уроках французского языка, которые она давала своим детям, и жаль, что не присутствовала на них вся Académie française \*, так как она могла бы извлечь из них большую пользу.

Жорж Занд, величайшая писательница, — вместе с тем красивая женщина. Она даже исключительно красива. Лицо ее, так же, как и гений, обнаруживающийся в ее произведениях, можно скорее назвать прекрасным,

\* Французская академия.

чем интересным; интересное лицо — это всегда мило-видное или остроумное отклонение от типа красоты, а черты Жорж Занд являют печать именно греческой правильности. Черты эти, однако, не резки, и их смягчает чувствительность, покрывающая их словно скорбным вуалем. Лоб — невысок, и чудные темнокаштановые вьющиеся волосы, разделенные пробором, падают до плеч. Глаза немного тусклы, во всяком случае не блестящи, и, быть может, огонь их померк от слез или же перешел в ее произведения, которые по всему миру распространили пламя пожара, озарили не одну безотрадную темницу, но, пожалуй, зажгли гибельным огнем и не один мирный храм добродетели. У автора «Лелии» — тихие, кроткие глаза, не напоминающие ни о Содоме, ни о Гоморре. Нос ее — это не эмансипированный орлиный нос и не остроумничающий вздернутый носик; это — вполне обыкновенный прямой нос. На губах ее обычно играет добродушная улыбка, но улыбка эта не особенно привлекательна; немного отвисшая нижняя губа обличает усталую чувственность. Подбородок — полный, но пропорциональный и красивый. Плечи тоже прекрасны, даже великолепны. Также руки и ноги, очень маленькие. Прелесть груди пусть описывают другие современники; я признаюсь в моей некомпетентности. Остальная часть тела, по видимому, немного толста, по крайней мере слишком коротка. Лишь голова носит печать идеала, напоминая благороднейшие памятники греческого искусства, и в этом смысле один из наших друзей, пожалуй, имел основание сравнивать прекрасную женщину с мраморной статуей Венеры Милосской, выставленной в нижних залах Лувра. Да, Жорж Занд прекрасна, как Венера Милосская, она даже превосходит ее некоторыми свойствами: например, она много моложе. Физиономисты, утверждающие, что голос человека служит самым несомненным выражением его характера, оказались бы в большом затруднении, если бы в голосе Жорж Занд они захотели найти выражение ее необыкновен-

ной задушевности. Голос ее — тускл и вял, лишен металла, но нежен и приятен. Естественность ее речи придает ему некоторую прелесть. Способностей к пению у ней нет и следа; Жорж Занд поет разве что с браваурностью прекрасной гризетки, которая еще не позавтракала или почему-либо не в голосе. Голос Жорж Занд так же неблестящ, как и то, что она говорит. В ней нет и следа брызжущего остроумия ее соотечественниц, но также нет и следа их болтливости. В основе этой склонности к молчанию лежит, однако, не скромность и не сочувствие к речи собеседников, заставляющее погружаться в нее. Жорж Занд немногословна, но скорее из высокомерия, так как считает собеседника недостойным того, чтобы расточать перед ним свой ум, — или, пожалуй, из эгоизма, так как старается из его речи впитать все лучшее, чтобы переработать затем в своих книгах. Что Жорж Занд, из скупости, умеет ничего не дать в разговоре, но всегда что-нибудь взять, — на эту черту как-то обратил мое внимание Альфред де-Мюссе. «У нее благодаря этому большое преимущество перед всеми нами», сказал Мюссе, который, долгое время будучи *cavalier servente* \* этой дамы, имел полную возможность основательно изучить ее.

«Жорж Занд никогда не скажет остроты, да и вообще она одна из самых неостроумных французенок, каких я знаю. Когда говорят другие, она слушает их с милой, порою странной улыбкой, и чужие мысли, воспринятые и переработанные ею, выходят из реторты ее ума гораздо более драгоценными. Она очень чуткая слушательница. Охотно также слушается она советов своих друзей. При нецерковном направлении ее ума, у ней, разумеется, нет духовного отца; но так как женщины, даже столь эмансипированные, все же нуждаются в мужском руководстве, в мужском авторитете, то у Жорж Занд есть нечто вроде литературного *directeur de con-*

\* дамский угодник, верный служитель дам

science \* — в лице философского капуцина Пьера Леру. К сожалению, он очень пагубно влияет на ее талант, побуждая ее пускаться в смутные бредни и отдаваться полувыношенным идеям, вместо того чтобы служить ясной радости ярких и четких образов, искусству для искусства. Гораздо более светские обязанности возложила Жорж Занд на нашего многолюбимого Фредерика Шопена. Этот великий композитор и пианист долго был ее *cavalier servente*; незадолго до его смерти она отпустила его в отставку; правда, в последнее время должность его превратилась в синекуру.

«Не знаю, как мой друг Генрих Лаубе мог некогда во «Всеобщей Газете» вложить мне в уста утверждение, гласившее, что тогдашним любовником Жорж Занд был гениальный Франц Лист. Ошибка Лаубе, вероятно, была вызвана ассоциацией идей, по которой он спутал имена двух одинаково знаменитых пианистов. Пользуясь случаем оказать истинную услугу доброму имени, вернее, эстетической репутации этой дамы, заверяю моих немецких соотечественников в Вене и Праге, что если там какой-нибудь презренный косноязычный сочинитель романсов, безымянное насекомое, расхвастается, будто он находился в интимных отношениях с Жорж Занд, то это — презренная клевета. У женщины бывают разные идиосинкразии, и даже есть женщины, глотающие пауков; но я не встречал женщины, которая глотала бы клопов. Нет, этот хвастливый клоп никогда не был по вкусу Лелии, и она только изредка терпела его подле себя, потому что он был уж слишком настойчив.

«Как я уже упомянул, Альфред де-Мюссе долго был другом сердца Жорж Занд. Странное совпадение: величайший французский прозаик и величайший среди нынешних французских поэтов (во всяком случае, величайший после Беранже), пылая страстной любовью друг к другу, долгое время составляли увенчанную

\* духовный отец

лаврами чету. Жорж Занд в прозе и Альфред де-Мюссе в стихах, действительно, превосходят столь прославленного Виктора Гюго, который с жутким упрямством, с почти безумной настойчивостью, убедил французов, а потом и себя, что он — величайший поэт Франции. Была ли это в самом деле его навязчивая идея? Во всяком случае, мы ее не разделяем. Странно! Свойство, которого больше всего ему недостает, есть именно то, которое выше всего ценится французами и принадлежит к их прекраснейшим особенностям. Свойство это — вкус. Так как у всех своих писателей они встречают вкус, то, быть может, в полном отсутствии его у Виктора Гюго они как раз и видят оригинальность. Для нас самое нестерпимое в нем — отсутствие того, что мы, немцы, называем естественным: он — неестественен, фальшив, и часто одна половина стиха старается обогатить другую; он страшно холоден, словно чорт, который, по словам ведьм, холоден, как лед, даже и в самых страстных своих излияниях; воодушевление его — лишь фантасмагория, расчет без любви; вернее, он любит только самого себя; он эгоист, и, что еще хуже, он гюгоист. Мы видим тут скорее жестокость, чем силу, дерзкий железный лоб и, при всем богатстве фантазии и остроумия, беспомощность выскочки или дикаря, который неумело, сверх всякой меры, разукрасил себя золотом и драгоценными камнями и потому смешон; словом, варварская причудливость, пронзительная дисгармония и самое жуткое уродство! Кто-то сказал о таланте Виктора Гюго: *«C'est un beau bossu!»* \* Смысл этих слов глубже, чем думают те, кто прославляет превосходство Гюго.

«Я хочу указать здесь не только на то, что герои его романов и драм обременены горбами, но что и сам он умственно горбат. Наше новое учение о тождестве признает законом природы, что внутреннему, духовному облику человека соответствует и внешний его, телес-

\* «Это красивый горбун!»

ный облик. Я с этой мыслью приехал во Францию и однажды сознался моему издателю Эжену Рандюэлю, который также был издателем Гюго, что, заранее составив себе понятие об этом последнем, я немало был удивлен, когда в Викторе Гюго увидел человека, не отягощенного горбом. «Да, изъян в нем незаметен», — рассеянно заметил Рандюэль. «Как? — воскликнул я, — значит, он в самом деле не без того?» — «Не вполне», — был смущенный ответ, и после многих настояний друг Рандюэль сознался мне, что раз утром он застал господина Гюго в ту минуту, когда он менял рубашку, и тут-то заметил, что одно из его бедер, кажется, правое, так неправильно выступает вперед, как это бывает только у людей, про которых народ говорит, будто у них есть горб, но только неизвестно, где он находится. Народ с остроумной наивностью называет таких людей неудавшимися, фальшивыми горбунами, подобно тому, как альбиносов он называет белыми маврами. Зnamenательно, что именно от издателя поэта не укрылся этот изъян. «Никто не может быть героем в присутствии своего камердинера», — говорит пословица, и даже величайший писатель не всегда окажется героем в присутствии своего издателя, этого подкарауливающего камердинера его ума; издатели слишком часто видят нас в нашем человеческом неглиже. Во всяком случае, меня очень развеселило открытие Рандюэля, так как оно спасает идею моей немецкой философии, а именно, что тело есть зримый дух и что духовные изъяны обнаруживаются и телесно. Я должен решительно опровергнуть ошибочное предположение, будто обратное тоже должно иметь место: что тело человека всегда есть зримый дух и что внешнее уродство позволяет заключить и об уродстве внутреннем. Нет, и в самых искаленных оболочках мы часто находим прямые прекрасные души, и это тем понятнее, что телесные изъяны обычно вызваны физической причиной и нередко также бывают результатом небрежного ухода или болезни, следующей за рождением. Напротив, изъяны души являются

на свет вместе с нею, и таким образом у французского поэта, в котором все фальшиво, есть и фальшивый горб.

«Мы облегчим себе оценку произведений Жорж Занд, если скажем, что они представляют решительную противоположность произведениям Виктора Гюго. У первого автора есть все, чего недостает второму: у Жорж Занд — правда, естественность, вкус, красота и вдохновение, и все эти свойства связаны между собой строжайшей гармонией. У гения Жорж Занд прекрасные, дивно округленные бедра, и все, что она чувствует и думает, дышит глубокомыслием и прелестью. Слог ее — откровение гармоничной и чистой формы. Но что касается материала ее произведений, ее сюжетов, которые нередко можно было бы назвать плохими сюжетами, то я воздержусь здесь от какого бы то ни было замечания и предоставляю эту тему ее врагам».

## VI

Париж, 7 мая 1840

В сегодняшних парижских газетах приводится донесение королевско-императорского австрийского консула в Дамаске королевско-императорскому генеральному консулу в Александрии — касательно дамасских евреев, мученичество которых заставляет нас вспомнить самые темные дни средневековья. В то время как мы в Европе подвергаем поэтической переработке сказки средних веков и развлекаемся теми жутко-наивными преданиями, которые нашим предкам внушали немалую боязнь; в то время как у нас лишь в стихах и романах говорится о тех ведьмах, волках-оборотнях и евреях, служителях сатаны, которым нужна кровь благочестивых христианских детей; в то время, как мы смеемся и забываем, — там, на Востоке, начинают скорбно вспоминать о древнем суеверии и строить очень серьезные физиономии, полные самого мрачного гнева и

смертельного отчаяния муки! И тем временем палач истязает еврея, и еврей на скамье пыток сознается, что ему ради приближавшегося праздника Пасхи нужно было немного христианской крови, чтобы обмокнуть в ней сухие пасхальные хлеба, и что ради этой цели он зарезал старого капуцина! Турок глуп и мерзок и рад предоставить в распоряжение христиан свои палки и орудия пытки, лишь бы их пустили в ход против преследуемых евреев; ибо ему ненавистны обе секты, и на тех и на других он смотрит, как на собак, он называет их этим почетным именем и радуется, конечно, когда гяур-христианин дает ему возможность с некоторым видом законности помучить гяура-еврея. Но погодите, если это будет выгодно паше и если ему больше нечего будет бояться вооруженного влияния европейцев, — тогда он выслушает и обреченную собаку, и она обвинит наших братьев-христиан бог знает в чем! Нынче — наковальня, на завтра — молот!

Но для друга человечества это всегда будет источником глубокой скорби. Подобные явления — несчастия, последствия которых нельзя предугадать. Фанатизм — заразный недуг, который распространяется в самых различных формах и, в конце концов, начинает яриться и на нас самих. Французский консул в Дамаске граф Ратти-Мантон дал повод обвинять себя в таких вещах, которые вызвали здесь всеобщий крик ужаса. Это он прививал Востоку суевение Запада и распространял среди черни Дамаска сочинение, обвиняющее евреев в умерщвлении христиан. Эта дышащая ненавистью книга, которую граф Мантон получил от своих духовных друзей с целью распространения, заимствована из «*Bibliotheca prompta a Lucio Ferragio*», и в ней содержится вполне определенное утверждение, что евреям для праздника Пасхи нужна христианская кровь. Благородный граф остерегся повторить связанное с этим средневековое предание, гласящее, будто евреи для той же цели крадут и освящен-

ные дары и вонзают в них булавки, пока не станет течь кровь, — злодеяние, о котором в средние века стало известно не только вследствие клятвенных показаний свидетелей, но также и вследствие того, что над еврейским домом, где распяты были украденные дары, встало яркое сияние. Нет, неверные, магометане, никогда бы этому не поверили, и граф Мантон, в интересах своей миссии, должен был прибегнуть к менее чудотворным измышлениям. Я сказал: в интересах своей миссии, и предоставляю более глубоко обдумать эти слова. Господин граф лишь с недавних пор в Дамаске; шесть месяцев тому назад его можно было видеть в Париже, этой кузнице всех прогрессивных, но также и всех ретроградных союзов. — Здешний министр иностранных дел, господин Тьер, который совсем недавно старался выказать себя не только мужем гуманным, но даже и сыном революции, в отношении дамасских событий проявляет удивительную вялость. По словам сегодняшнего «Moniteur», в Дамаск уже отправлен вице-консул, который должен произвести следствие над тамошним французским консулом. Вице-консул! Наверное, какое-нибудь подчиненное лицо из соседней местности, без имени и без гарантии беспристрастной независимости!

## VII

Париж, 14 мая 1840

Официальное сообщение, касающееся перенесения смертных останков Наполеона, произвело здесь действие, превзошедшее все ожидания министерства. Национальное чувство возбуждено до самых бездонных своих глубин, и великий акт справедливости, удовлетворение, которое дается великану нашего столетия и должно обрадовать все благородные сердца земного шара, представляется французам началом реабилита-

ции их оскорбленной народной чести. Наполеон — их point d'honneur \*.

Однако, умный председатель совета, который так удачно умеет щекотать и эксплуатировать национальное тщеславие наших милых кехенейн, зевак сенских берегов, проявляет большое равнодушие — и даже не только равнодушие — в вопросе, где речь идет уже не об интересах одной страны или одного народа, но об интересах самого человечества. Отсутствие ли проницательности или же либерального чувства позволило ему явно стать на сторону французского консула, которому в дамасской трагедии приписывается позорнейшая роль? Нет, господин Тьер — человек весьма гуманный и проницательный, но он также и государственный человек, он нуждается не только в революционных симпатиях, ему нужны помощники всякого рода, он должен вступать в сделки, ему необходимо большинство в палате перов; в качестве правительственного средства он может воспользоваться духовенством, именно той частью духовенства, которая, ничего не ожидая больше от старшей линии Бурбонов, примкнула к теперешнему правительству. К этой части духовенства, которую называют *clergé rallié* \*\*, принадлежит очень много ультрамонтанов; их орган — газета под названием «Univers»; спасения церкви они ожидают от господина Тьера, он же в них ищет опоры. Граф Монталамбер, самый деятельный член благочестивой компании, а с 1 марта — еще и сеид господина Тьера, — видимый посредник между сыном революции и отцами веры, между бывшим редактором «National» и нынешними редакторами «Univers», которые на столбцах своей газеты изо всех сил стараются уверить мир, что евреи пожирают старых капуцинов и что граф Ратти-Мантон — порядочный человек. Граф Ратти-Мантон — друг, а, может быть,

\* дело чести.

\*\* Буквально: «присоединившееся (т. е. примирившееся) духовенство».

только орудие в руках друзей графа Монталамбера — был прежде французским консулом в Сицилии, где дважды обанкротился и откуда его убрали. Потом он был консулом в Тифлисе, который он тоже должен был покинуть, и притом по причинам не особенно почтенного свойства; я хочу лишь заметить, что русский посланник в Париже, граф Пален, решительно объявил тогда здешнему министру иностранных дел графу Моле, что в случае, если господин Ратти-Мантон не будет отозван из Тифлиса, русское правительство удалит его с позором. Дрова, которыми хотят разжечь огонь, не следовало бы брать от такого гнилого дерева!

## VIII

Париж, 20 мая 1840

Господин Тьер стяжал себе новые лавры той убедительной ясностью, с которою он изложил в палате самые сухие и самые запутанные вопросы. Положение банков, равно как алжирские дела и сахарный вопрос, с полной наглядностью были нам представлены в его речи. Этот человек все знает; жаль, что он не занялся немецкой философией; он и в нее сумел бы внести ясность. Но кто знает! Если обстоятельства заставят его заняться Германией, он о Гегеле и Шеллинге будет говорить так же поучительно, как о сахарном тростнике и свекловице.

Однако для интересов Европы торжественное возвращение земных останков Наполеона важнее, чем коммерческие, финансовые и колониальные вопросы, обсуждаемые в палате. Событие это продолжает занимать здесь все умы, как самые возвышенные, так и самые низкие. Меж тем как внизу, в народе, все ликует, все веселится, все горит и воспламеняется, — вверх, в более холодных общественных сферах, толкуют об опасности, которая с каждым днем все приближается со стороны св. Елены и ставит Париж под угрозу похо-

ронного торжества, вызывающего большую тревогу. Да, если бы прах императора завтра же можно было схоронить под сводом Dôme des Invalides \*, то еще можно было бы ожидать, что у теперешнего министерства хватит силы предотвратить бурный взрыв страстей, возможный при этой церемонии. Но будет ли у него еще эта сила через шесть месяцев, в то время, когда гроб-триумфатор станет подыматься по Сене? Во Франции, шумной стране движения, за шесть месяцев могут произойти самые странные вещи. Тьер тем временем, может быть, снова окажется частным человеком (чего мы очень желали бы), или станет очень непопулярен как министр (чего мы очень опасаемся), или Франция впутается в войну, — и тогда из пепла Наполеона могут брызнуть искры, совсем близко от кресла, покрытого красным трутом!

Может быть, господин Тьер создал эту опасность, чтобы сделать себя незаменимым, так как все ведь верят в его искусство — успешно преодолевать всякую опасность, созданную им самим. Или в бонапартизме он ищет блистательного прибежища на тот случай, если когда-нибудь ему придется совсем порвать с орлеанизмом? Господин Тьер очень хорошо знает, что если бы, вернувшись в низины оппозиции, он помог низвергнуть нынешний трон, у власти стали бы республиканцы и за лучшую услугу оплатили бы ему худшей неблагодарностью; в самом благоприятном случае они тихонько оттолкнули бы его в сторону. Споткнувшись об эти грубые булыжники добродетели, он легко мог бы свернуть себе шею и к тому же подвергнуться осмеянию. Но подобных вещей ему нечего опасаться со стороны бонапартизма, если он поможет его восстановлению. А во Франции легче основать бонапартистское правление, чем республику.

Французы, при всех своих республиканских свойствах, вполне бонапартисты по природе. Им недостает

\* Гробница Наполеона в Доме инвалидов в Париже.

простоты, умеренности, внутреннего и внешнего спокойствия; они любят войну ради войны, даже в годы мира жизнь их — только шум и борьба; и стар и млад рады забавляться барабанным боем и пороховым дымом, трескучими эффектами всякого рода.

Польстив врожденному бонапартизму французов, господин Тьер приобрел среди них исключительнейшую популярность. Или он стал популярен потому, что сам он — маленький Наполеон, как назвал его недавно один немецкий корреспондент. Маленький Наполеон! Маленький готический собор! Ведь готический собор именно тем и возбуждает в нас изумление, что он так колоссален, так велик. В уменьшенном виде он теряет всякий смысл. Господин Тьер, разумеется, нечто большее, чем такой крошечный соборик. Своим умом он превосходит всех окружающих его, хотя многие среди них — высокого духовного роста. Никто не может померяться с ним, и в борьбе с ним самой хитрости приходится отступить. Он — самая умная голова во Франции, хотя утверждают, что он сам признается в этом. В прошлом году, во время министерского кризиса, он, с обычной своей поспешностью в речах, будто бы сказал королю: «Ваше величество думаете, что вы — самый умный человек в этой стране, но я знаю здесь другого человека, который еще гораздо умнее, и человек этот — я!» Говорят, хитрый Филипп ответил ему: «Вы заблуждаетесь, господин Тьер; если бы это было так, вы бы этого не сказали». Но как бы то ни было, господин Тьер прохаживается сейчас по апартаментам Тюильри с сознанием своего величия, как всемогущий министр орлеанской династии.

Долго ли продержится его всемогущество? Не надломан ли он втайне уже и теперь — вследствие необычайного напряжения? Голова его поседела прежде времени, на ней, наверное, не отыщется больше ни одного черного волоса; и чем дольше он властвует, тем больше исчезает его зазорное здоровье. В легкости, с которой он двигается, теперь есть даже что-то зловещее. Но все

же эта легкость необычайна и достойна удивления, и как ни легки и подвижны остальные французы, в сравнении с Тьером все они кажутся неуклюжими немцами.

## IX

Париж, 27 мая 1840

О кровавом дамаском деле северогерманские газеты напечатали ряд сообщений, из которых одни помечены Парижем, другие — Лейпцигом, но все, вероятно, вышли из-под одного и того же пера и, служа интересам известной клики, должны направить на ложный путь мнение немецкой публики. Мы оставили в тени личность корреспондента и мотивы, руководившие им, мы воздержимся также и от всякого рассмотрения дамаских событий; мы позволим себе только внести несколько поправок в то, что было сказано здешними евреями и здешней прессой по поводу этих событий. Но даже ставя себе эту задачу, мы руководимся скорее интересами истины, чем интересами личными; а что касается здешних евреев, то возможно, что наше свидетельство будет скорее против них, чем в их пользу. Право, я охотней похвалил бы французских евреев, чем стал бы осуждать их, если бы они действительно, как сообщали упомянутые северогерманские газеты, проявили горячее сочувствие к своим несчастным единоверцам в Дамаске и не побоялись никаких денежных жертв для спасения чести своей оклеветанной религии. Но было не то. Евреи во Франции уже слишком давно эмансипированы, чтобы племенная связь не ослабела в очень значительной степени, они почти совсем потонули, вернее — растворились во французской национальности; они совершенно такие же французы, как все другие, и поэтому тоже испытывают приступы энтузиазма, которые продолжаются двадцать четыре часа, а если солнце сильно греет — даже и три дня! — И это касается лучших. Многие из них еще посещают

еврейское богослужение, механически соблюдают внешние обряды, сами не зная почему, по старой привычке; внутренней веры нет и следа, ибо и в синагоге, так же как и в христианской церкви, острая кислота вольтеровской критики оказала свое разрушительное действие. Для французских евреев, так же как и для остальных французов, золото — кумир дня и промышленности — господствующая религия. В этом смысле здешних евреев можно было бы разделить на две секты: секту *rive droite* \* и секту *rive gauche* \*\*; названия эти связаны с двумя железными дорогами, которые ведут в Версаль, одна — вдоль правого берега, другая — вдоль левого берега Сены, и возглавляются двумя знаменитыми финансовыми раввинами, столь же резко враждующими друг с другом, как некогда в древнем граде Вавилоне рабби Самаи и рабби Гиллель.

Великому раввину *rive droite*, барону Ротшильду, мы должны отдать справедливость в том отношении, что к дому Израилеву он выказал симпатию гораздо более благородную, чем его многоученый антагонист, великий раввин *rive gauche*, господин Бенуа Фульд, который, в то время как в Сирии по наущению французского консула пытали и душили братьев его по вере, с невозмутимым душевным спокойствием, достойным Гиллеля, произнес в палате французских депутатов несколько красивых речей о конверсии рент и банковском дисконте.

Участие, которое здешние евреи проявили к дамасской трагедии, свелось к весьма незначительным манифестациям. Израильская консистория собиралась и совещалась с обычной вялостью всех корпораций; единственным результатом этих совещаний было мнение, что документам процесса следует придать гласность. Господин Кремьё, знаменитый адвокат, давно уже по-

\* правого берега

\*\* левого берега

свящающий свое великодушное красноречие не только евреям, но также угнетенным всяких вероисповеданий и всяких догматов, взял на себя их обнародование, и, за исключением одной прелестной женщины и нескольких молодых ученых, господин Кремьё, конечно, единственный человек в Париже, деятельно вступившийся за дело Израилево. С величайшей готовностью жертвуя своими личными интересами, презирая подкарауливающее коварство, он бесстрашно выступил против самых злобных обвинений и вызвался даже ехать в Египет — в случае, если бы дело дамасских евреев было отдано на суд паши Мехмета-Али. Лживый корреспондент упоминавшихся выше северогерманских газет делает инсинуации на счет «Лейпцигской Всеобщей Газеты», с подлым коварством замечая вскользь, что возражение, которым господину Кремьё удалось в здешних газетах разрушить лживые отчеты миссии, было напечатано им, как объявление, за обычную в этих случаях плату. Мы знаем из надежного источника, что редакции газет выражали готовность поместить это возражение совершенно безвозмездно, но для этого нужно было ждать несколько дней, и лишь в виду требований скорейшего напечатания некоторые редакции взяли деньги из расчета за один добавочный газетный лист, деньги, право же, не особенно значительные, если принять во внимание денежные средства еврейской консистории. Денежные силы евреев, в самом деле, велики, но опыт учит, что скупость их еще гораздо больше. Один из самых высоко ценимых членов здешней консистории — ценят его именно в тридцать миллионов — господин В. де-Ромильи не дал бы, пожалуй, и ста франков, если бы к нему пришли с подпиской на спасение всего его племени! Тому, кто подымет голос в защиту евреев, приписываются самые грязные денежные побуждения; это — старая, жалкая, но все еще не вышедшая из употребления выдумка; я убежден, что род Израилев никогда не давал денег, если только ему насильно не вырывали зубов, как во времена Валуа. Перелистывая недавно

«Histoire des Juifs» \* Баснажа, я от души смеялся над наивностью, с которой автор, обвиненный противниками в том, что он получал деньги от евреев, защищался против подобного упрека; я верю ему на слово, когда он меланхолически заявляет: «Le peuple juif est le peuple le plus ingrat qu'il y ait au monde!» \*\* Конечно, порой бывали случаи, что тщеславию удавалось раскрыть законопаченные карманы евреев, но щедрость их оказывалась тогда еще более омерзительной, чем их скряжничество. Один бывший прусский подрядчик, который, в соответствии с своим еврейским именем Моисей, принял более благозвучную фамилию, назвавшись бароном Дельмар (ведь Моисей значит: «вынутый из воды», в итальянском переводе — «del mare»), основал здесь недавно воспитательное заведение для детей обедневших дворян и затратил на это больше полутора миллиона франков — благородный поступок, поставивший его так высоко в мнении сенжерменского предместья, что даже самые гордые вдовствующие старухи и самые насмешливые молодые девицы больше не издеваются над ним вслух. А пожертвовал ли этот дворянин из племени Давидова хоть один грош при подписке в пользу евреев? Я готов ручаться, что и другой вынутый из воды барон, разыгрывающий в благородном предместье роль *gentilhomme catholique*\*\*\* и великого писателя, чи деньгами своими, ни пером не принял участия в деле своих соплеменников. Здесь я должен высказать замечание, может быть, самое горькое. Среди крещеных евреев есть много таких, которые из трусливого лицемерия поносят Израиль еще более злобно, чем его природные враги. Также и некоторые писатели, стараясь, чтобы не вспомнили о их еврейском происхождении, или очень дурно отзываются о евреях или совсем молчат о них. Это — известное, прискорбно-

\* «История евреев»

\*\* «Еврейский народ — самый неблагодарный народ на свете!».

\*\*\* католического дворянина

комическое явление. Но полезно, особенно сейчас, обратиться на это внимание публики, так как не только в упоминавшихся северогерманских газетах, но даже и в гораздо более влиятельной газете можно было найти намеки на то, что все, писавшееся в пользу дамасских евреев, исходило из еврейских источников, что австрийский консул в Дамаске — еврей, что там и все прочие консулы, за исключением французского, — сплошь евреи. Мы знаем эту тактику, мы уже познакомились с нею в связи с «Молодой Германией». Нет, все консулы в Дамаске — христиане, и даже тамошний австрийский консул не еврей. Порукой тому служит бесстрашие и резкость, с которою он выступил на защиту евреев против французского консула; что представляет собою последний, покажет время.

## X

Париж, 30 мая 1840

Toujours lui! \* Наполеон и снова Наполеон! Он — непрестанная тема разговоров с тех пор, как возвещено о его посмертном возвращении в отчизну и особенно с тех пор, как палата приняла столь жалкое решение насчет необходимых издержек. Это — новая глупость, которую надо поставить рядом с отказом в дотации герцогу Немурскому. Вследствие упомянутого решения палата оказывается в опасном противоречии с симпатиями французского народа. Свидетель бог, что причиной было скорее малодушие, чем злоба. Сначала большинство в палате отнеслось к перенесению праха Наполеона с таким же воодушевлением, как и весь народ; но постепенно она перешла к противоположному умонастроению, приняв в расчет возможные опасности и услышав грозное ликование бонапартистов, которое и в самом деле звучало не очень успокоительно. Тогда и вра-

\* Всегда он!

гов императора выслушали более благосклонно, и этим неблагоприятным расположением духа воспользовались как настоящие легитимисты, так и нерешительные роялисты, более или менее ловко выступив против Наполеона с давней закоренелой злобой. Так, «Gazette de France» представила нам целую антологию из ругательств, направленных против Наполеона, а именно — выдержки из сочинений Шатобриана, господи де-Сталь, Бенижамена Констана и т. д. У нашего брата, привыкшего в Германии к яствам более тяжелым, это вызывало улыбку. Было бы забавно, пародируя утонченность грубостью, поставить рядом с этими французскими цитатами такое же количество аналогичных мест из немецких авторов грубиянского периода. «Батюшка Ян» действовал навозными вилами, которыми колол корсиканца куда более свирепо, чем какой-нибудь Шатобриан, орудовавший легкой и сверкающей модной шпаженкой. Шатобриан и батюшка Ян! Какие контрасты и все же какое сходство!

Но если Шатобриан был пристрастен в своем суждении об императоре, то последний проявил еще большее пристрастие, когда на св. Елене с уничтожающим презрением отозвался об иерусалимском пилигриме. А именно он сказал: «C'est une âme rampante qui a la manie d'écrire des livres» \*. Нет, Шатобриан — не низкая душа, он всего только шут, и притом грустный шут, тогда как другие — веселы и забавны. Он мне всегда напоминает меланхолического шута Людовика XIII. Кажется, его звали Анжели, он носил куртку черного цвета, а также и черный колпак с черными погремушками и отпускал печальные шутки. Для меня в пафосе Шатобриана есть всегда что-то комическое; в нем мне все время слышится позвякивание черных бубенчиков. Но искусственное уныние, аффектированные думы о смерти становятся подконец столь же противны, сколь и однообразны. Ходят слухи, что он занят сейчас статьей

\* «Это низкая душа, у которой мания писать книги»

о перенесении Наполеонова праха. Вот, в самом деле, отличный случай для него — выложить все свои ораторские иммортели и крепы, всю помпу своей похоронной фантазии; памфлет его превратится в писанный катафалк, здесь не будет недостатка в серебряных слезах и траурных свечах, ибо он чтит императора с тех пор как тот умер.

Госпожа де-Сталь теперь тоже стала бы прославлять Наполеона, если б появлялась еще в салонах земных. Уже при возвращении императора с острова Эльбы, во время Ста дней, она была непрочь воспеть хвалу тирану и только ставила условием, чтобы предварительно ей выплатили те два миллиона, которые Франция будто бы должна была ее покойному отцу. Но когда император не дал ей этих денег, у ней не оказалось нужного вдохновения для предложенных хвалебных песен, и Коринна симпровизировала тирады, которые на этих днях так услужливо повторила «Gazette de France»: «Point d'argent, point des suisses!»\* — Что слова эти применимы также и к ее соотечественнику Бенжамену Констану, это, увы! нам слишком хорошо известно. — Но довольно освещать личности, поносившие императора. Достаточно того, что госпожа де-Сталь умерла, Б. Констан умер и Шатобриан, так сказать, тоже умер: по крайней мере, как он давно уверяет нас, он занят исключительно своими похоронами, и его «Mémoires d'outre tombe»\*\*, которые он выпускает частями, не что иное, как похоронное торжество, которым, в ожидании окончательной смерти, он сам распоряжается, подобно императору Карлу V. Словом, на него тоже можно смотреть как на мертвеца, и в своей статье он имеет право говорить о Наполеоне как о равном.

Однако не только упомянутые выдержки из старых авторов, но также и речь, которую в палате депутатов

\* «Не будет денег, не будет и швейцарцев».

\*\* «Воспоминания с того света».



Г. Гейне

*С рисунка карандашом неизвестного  
художника конца 1847 г.*



господин де-Ламартин сказал о Наполеоне, или, вернее, против Наполеона, неприятно меня поразила, хотя все в этой речи — правда. Нечестны задние мысли, и оратор говорил правду в интересах лжи. Правда, тысячу раз правда, что Наполеон был враг свободы, деспот, венчаный эгоизм и что прославление его — дурной, опасный пример. Правда, что у него не было гражданских добродетелей какого-нибудь Байльи, какого-нибудь Лафайета, и он попираал ногами законы и законодателей, чему и теперь еще есть кой-какие живые доказательства в люксембургской больнице. Но не этому Наполеону, не герою 18 брюмера, не богугромовержцу честолюбия должны посвящать вы блистательнейшие погребальные игры и памятники! Нет, дело идет о том, чтобы прославить человека, который был представителем молодой Франции перед старой Европой: в лице его одерживал победы французский народ, в лице его он был унижен, в лице его он чтит и славит самого себя — и это чувствует каждый француз, и потому-то он забывает все темные стороны покойного и прославляет его *quand même* \*, и палата своей несвоевременной скаредностью сделала крупную ошибку. — Речь господина де-Ламартина явилась образцовым произведением, полным коварных цветов, тонкий яд которых одурманил не одну слабую голову; но недостаток честности скудно прикрывается красивыми словами, и министерство скорее должно радоваться, чем огорчаться, что враги его так неловко выдали свои антинациональные чувства.

## XI

Париж, 3 июня 1840

Парижские газеты читаются и по ту сторону Рейна, как и вообще во всем мире, и там принято отрицать

\* во что бы то ни стало

всякие заслуги отечественной прессы — в сравнении с прессой французской, достоинства которой преувеличиваются сверх меры. Правда, здешние газеты кишат местами, которые у нас в Германии вымарал бы и самый снисходительный цензор; правда, статьи во французских газетах пишутся лучше и бывают построены более логично, чем в газетах немецких, где автор еще должен создавать свой политический язык, с трудом пробиваясь сквозь девственные леса своих идей; правда, француз лучше умеет редактировать свои мысли и разоблачает их на глазах у публики до самой явственной наготы, тогда как немецкий журналист, скорее от застенчивости, чем от страха перед смертельным красным карандашом, старается окутать свои мысли вуалями всяческой неопределенности; и все же, если судить о французской прессе не по ее внешности, если заглянуть в ее внутреннюю жизнь, в конторы ее редакций, надо будет сознаться, что она страдает особым видом неволи, который совершенно чужд немецкой прессе и, быть может, пагубнее нашей зарейнской цензуры. Затем надо будет сознаться, что ясность и легкость, с которой француз приводит в порядок и излагает свои мысли, имеет источником сухую односторонность и механическое ограничение, гораздо более опасное, чем цветущая неясность и беспомощное многословие немецкого журналиста; по этому поводу — короткое замечание:

Французская пресса в известной мере — олигархия, стнюдь не демократия; ибо основание французской газеты связано с такими расходами и трудностями, что издавать газету под силу только лицам, имеющим возможность рисковать самыми большими суммами. Обычно поэтому деньги на основание газеты дают капиталисты или вообще промышленники; при этом они спекулируют на сбыт газеты, если ей, как органу известной партии, удастся приобрести влияние, или же у них есть задняя мысль — впоследствии, как только газета приобретет достаточное число подписчиков, с еще большей выго-

дой продать ее правительству. Таким образом, обреченные служить целям уже имеющихся партий или министерства, газеты впадают в зависимость, ограничивающую их, и, что еще хуже, в односторонность при всяких сообщениях, в узкую партийность, по сравнению с которой препятствия, представляемые немецкой цензурой, должны бы казаться веселыми гирляндами из роз. Главный редактор французской газеты — кондотьер, защищающий и укрепляющий на ее столбцах интересы и стремления той партии, которая обещала ему хороший сбыт или денежную субсидию. Его помощники, его офицеры и солдаты повинуются с военной субординацией и дают своим статьям требуемое направление и окраску, и поэтому газеты приобретают то единство и точность, которой мы издали не можем вполне удивиться. Здесь царит строжайшая дисциплина в мыслях и даже в выражениях. Если какой-нибудь невнимательный сотрудник не расслышит слов команды, если он напишет не совсем так, как гласил приказ, то главный редактор станет резать его статью по живому, с военной беспощадностью, какой не найти ни у одного немецкого цензора. Немецкий цензор тоже ведь немец, и при своей благодушной многосторонности он охотно внимает разумным доводам; но главный редактор французской газеты — практически односторонний француз, имеющий свое определенное мнение, которое он раз навсегда сформулировал себе определенными словами или которое его доверители передали ему в готовом, сформулированном виде. Если б кто-нибудь пришел и принес ему статью, не совпадающую с целями его издания или хотя бы касающуюся темы, не особенно интересной для той публики, органом которой служит газета, редактор строго возвратил бы ее с сакраментальными словами: «Cela n'entre pas dans l'idée de notre journal» \*. Таким образом, поскольку каждая из здешних газет имеет свою определенную

\* «Это не входит в задачи нашей газеты»

политическую окраску и свой определенный круг идей, вполне понятно, что тот, кто мог бы сказать что-либо выступающее за пределы этого круга идей и притом не имеющее окраски той или иной партии, не нашел бы органа для изложения своих взглядов. Да, чуть только вы отклонитесь от обсуждения интересов нынешнего дня, так называемых злободневных тем, чуть только вы станете развивать мысли, чуждые банальным вопросам партий, чуть только вы пожелаете говорить хотя бы об интересах человечества, редакторы здешних газет с иронической вежливостью возвратят подобную статью; а так как с публикой здесь можно говорить лишь через посредство газет или газетной рекламы, то хартия, разрешающая каждому французу обнаружение его мыслей путем печати, является горькой насмешкой для гениальных мыслителей, космополитов, и для них фактически вовсе не существует свободы печати: — «Cela n'entre pas dans l'idée de notre journal».

Предшествующие замечания могут, пожалуй, объяснить некоторые непонятные явления, и я предоставляю немецкому читателю черпать из них всякого рода полезные сведения. Но прежде всего они должны разъяснить, почему французская пресса не высказалась так решительно в пользу дамасских евреев, как этого, наверно, ожидали в Германии. Да, корреспондент «Лейпцигской Газеты» и более мелких северогерманских газет собственно не согрешил против истины, когда радостно сообщал, что французская пресса не выказала по этому случаю особой симпатии к Израилю. Но честная душа благоразумно остереглась вскрыть причину этого явления, которая просто-напросто состоит в том, что председатель Совета министров господин Тьер с самого начала принял сторону графа Ратти-Мантон, французского консула в Дамаске, и высказал свое мнение по этому поводу редакторам всех газет, которые находятся в его распоряжении. Конечно, среди этих журналистов есть много честных и очень честных людей, но теперь они

с военной дисциплиной повинуются команде этого генералиссимуса общественного мнения, в приемной которого они каждое утро собираются, чтобы принять l'ordre du jour \*, и, наверное, не могут без смеха смотреть друг на друга; французские гаруспики не умеют так хорошо управлять мускулами своего лица, как гаруспики римские, о которых говорит Цицерон. На своих утренних аудиенциях господин Тьер с видом полнейшего убеждения уверяет, что евреи на празднике Пасхи лакают христианскую кровь, *chacun à son goût* \*\*, что это — дело решенное, все показания свидетелей подтвердили, что дамаский раввин зарезал патера Фому и выпил его кровь, — мясо же, вероятно, съели младшие служители синагоги; и в этом следует видеть печальное суеверие, религиозный фанатизм, который еще царит на Востоке, тогда как евреи Запада стали гораздо гуманнее и просвещеннее и некоторые из них отличаются отсутствием предрассудков и изысканным вкусом, например, господин фон-Ротшильд, который, правда, не перешел в христианскую веру, но тем ревностнее обратился к христианской кухне и взял к себе в услужение величайшего христианского повара, любимца Талейрана, бывшего епископа Отенского. — Примерно так рассуждал сын революции к величайшему негодованию своей мамы, которая порой багровеет от гнева, слыша подобные речи развратного сына или даже видя, как он водит знакомство с ее злейшими врагами, например, с графом Монталамбером, младоиезуитом, известным в качестве самого деятельного орудия ультрамонтанской шайки. Этот предводитель так называемых неокатоликов редактирует фанатическую газету «Univers», — газету, в которой пишут столь же умно, сколь и коварно; граф тоже обладает умом и талантом, но он — редкостная помесь дворянской надменности и романтического ханжества, и это

\* суточный приказ по войскам

\*\* каждый — по своему вкусу

сочетание всего наивнее сказывается в его легенде о святой Елизавете, венгерской принцессе, которую он, *entre parenthèses* \*, объявляет своей кузиной; она, как оказывается, исполнена была такого страшного христианского смирения, что своим благочестивым языком лизала паршивейшим нищим их чирья и струпья и даже из чистейшего благочестия пила собственную мочу.

После таких указаний станет вполне понятен антилиберальный язык этих оппозиционных газет, которые в другое время били бы тревогу, кричали бы караул, негодуя на фанатизм, вновь раздутый на Востоке, и на того мерзавца, который в качестве французского консула позорит там имя Франции.

Несколько дней тому назад господин Бенуа Фульд поднял и в палате депутатов вопрос о поведении французского консула в Дамаске. Таким образом, я прежде всего должен взять назад упрек, вырвавшийся у меня по адресу этого депутата в одной из моих предшествующих корреспонденций. Я никогда не сомневался в уме, в умственных способностях господина Фульда; я тоже считал его одним из величайших дарований во французской палате; но я сомневался в его сердце. Когда люди, о которых я судил несправедливо, на деле опровергают мои обвинения, мне так приятно чувствовать себя пристыженным. Требования господина Фульда свидетельствовали о большом уме и чувстве собственного достоинства. Лишь весьма немногие газеты напечатали выдержки из его речи; министерские газеты не поместили и этих выдержек, но с тем большей подробностью сообщили возражения Тьера. В «*Moniteur*» я прочел их полностью. Выражение: «*La religion à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir*» \*\*, должно было сильно поразить немца. Ответ господина Тьера был шедевром коварства: прибегая к уклончивости, к умолчанию того, что ему будто бы известно, к притворно-

\* между прочим, в скобках

\*\* «Религия, к которой я имею честь принадлежать»

боязливой сдержанности, он отлично сумел бросить на своих противников тень подозрения. Слушая его, действительно можно было поверить, что любимое кушанье евреев — мясо капуцинов. — Но нет, о великий историк и маленький богослов, нет, ни на Востоке, ни на Западе Ветхий Завет не позволяет исповедующим его вкушать столь грязную пищу; отвращение, которое внушает евреям кровь, составляет их отличительную особенность, оно сказывается в главных догматах их веры, во всех их врачебных правилах, в их очистительных обрядах, в их основном учении о чистом и нечистом, в этом космогонически-глубокомысленном откровении материальной чистоты в животном мире, которое представляет как бы физическую этику и которое совершенно не было понято Павлом, отвергнувшим его как басню. — Нет, потомки Израиля, чистого, избранного народа-жреца, не едят ни свиного мяса, ни старых францисканцев, они не пьют ничьей крови, так же как не пьют и своей собственной мочи, не в пример святой Елизавете, пратётушке графа Монталамбера.

Самое прискорбное обстоятельство, обнаружившееся в этом кровавом дамасском вопросе, — то незнание восточных дел, которое мы замечаем у нынешнего председателя совета [министров], блистательное невежество, которое может привести его к опаснейшим промахам, если разрешения или подготовки к разрешению потребует не этот маленький сирийский вопрос о крови, а гораздо более важный мировой кровавый вопрос, тот роковой, зловещий вопрос, который мы называем восточным. Суждение господина Тьера обычно бывает правильно, но его послышки часто совершенно неосновательны; это фантазмы, высиженные в фанатическом солнечном зное монастырей Ливана и других притонов суеверия. Ультрамонтанская партия посылает к нему своих эмиссаров, и они рассказывают ему небылицы о могуществе римско-католических христиан на Востоке, а между тем восстание этих жалких латинян, право же, не выманило бы ни одного турецкого пса из

его фаталистической конуры. Господин Тьер думает, что Франции, исконному старшине латинян в делах веры, удастся когда-нибудь с их помощью одержать победу на Востоке. В этом отношении гораздо лучше осведомлены англичане; они знают, что эти жалкие обломки средневековья, отставшие от цивилизации на несколько столетий, опустились еще гораздо ниже, чем их властители турки и что в случае падения османского государства, а пожалуй, и еще раньше, дело могут решить люди, исповедующие греческую веру. Верховный глава этих греческих христиан — не тот бедный малый, который носит сан патриарха константинопольского и чей предшественник был в Константинополе позорно повешен между двумя собаками; нет, их верховный глава — всемогущий русский царь, император и папа всех исповедующих святую православную греческую веру; он — их Мессия, одетый в броню, который освободит их от ига неверных, бог пушечного грома, который некогда водрузит победное знамя на башнях великой византийской мечети; да, это их политическое, равно как и религиозное убеждение, и они грезят о мировом греко-российско-православном господстве, простирающем свои длани с Босфора на Европу, Азию и Африку. И, что всего ужаснее, греза эта — не мыльный пузырь, лопающийся от дуновения ветра; в ней таится возможность осуществления, оскалившая свои зубы и превращающая нас в камни, словно голова Медузы!

Слова, сказанные Наполеоном на св. Елене, что мир в близком будущем превратится или в американскую республику или в русскую всемирную монархию, — весьма неутешительное пророчество. Какая перспектива! В самом благоприятном случае — умереть республиканцем от монотонной скуки! Бедные потомки!

Выше я отметил, что англичане гораздо лучше французов осведомлены в восточных делах. Сейчас, более чем когда бы то ни было, Левант кишит британскими агентами, которые о каждом бедуине, даже о каждом верблюде, бредущем через пустыню, наводят справки.

Сколько цехинов в кармане у Мехмет-Али, сколько кишков в животе этого вице-короля Египта, — все это знают совершенно точно в канцеляриях Даунинг-стрита. Тут не верят чудесным басням благочестивых мечтателей; тут верят лишь в факты и числа. Но не только на Востоке, — Англия и на Западе имеет самых надежных агентов, и среди них мы нередко встречаем людей, которые со своими тайными поручениями соединяют обязанности корреспондента лондонской аристократической или министерской газеты; последние от этого не хуже осведомлены. При молчаливости британцев публика редко узнает о ремесле этих тайных корреспондентов, которые остаются неизвестными даже высшим сановникам Англии; только министр иностранных дел знает их и передает это знание своему преемнику. Заграничный банкир, если он должен произвести какой-нибудь платеж английскому агенту, никогда не узнает его имени, он только получает предписание — выплатить определенную сумму лицу, которое удостоверяет свои права, предъявив карточку с обозначением на ней известного номера.

#### П О З Д Н Е Й Ш А Я   з а м е т к а

(Май 1854)

Предшествующая статья не была принята редакцией «Всеобщей Газеты», и мы печатаем ее здесь по старым черновикам, случайно сохранившимся. Из этой статьи явствует, сколь незаслужен был упрек, сделанный в более ранней статье депутату Бенуа Фульду; но, как мы показываем, нам в то время совсем не приходило в голову, что мы совершаем несправедливость. Также не приходило нам в голову оскорблять личность упомянутого депутата и цитировать с этой целью насмешливые слова газеты «National». Страстные друзья господина Бенуа Фульда (а какой богач не окружен стаей друзей, страстно отстаивающих его честь!), правда,

утверждали тогда, будто в конце какой-то статьи «Всеобщей Газеты», помеченной той же буквой, что и мои статьи, следовательно, приписываемой мне, они прочли злостную цитату из «National», которая касалась генерал-прокурора Гебера и господина Бенуа Фульда и в которой говорилось, «что последний был единственным лицом в палате, протянувшим руку генерал-прокурору, и что видом своим он напоминал речь какого-то *accusateur public* \*, произносящего приговор. Право же, слабое понятие о моем характере и моем уме составили себе эти милые люди, которые могли подумать, что я посмел бы нападать на такого человека, как Б. Фульд, если бы стрелы мне приходилось заимствовать из дурацкого колчана «National»! Такое предположение в самом деле было оскорбительно для автора «Путевых картин»! Нет, эта цитата, эта пошлость вышла не из-под моего пера, и уж в отношении господина Гебера я не позволил бы себе тогда никакого неприличия, по вполне понятным причинам. Я никогда не желал иметь дела с зловещей особой генерал-прокурора, чьи таинственные полномочия шире полномочий министра; есть особы, о которых вовсе не следует упоминать, если не занимаешься специально ремеслом демагога и не жаждешь славы узника. Я говорю это теперь, когда подобное объяснение не может быть превратно истолковано моими отважными и воинственными товарищами. В то время, когда появилась статья с глупой цитатой из «National», я воздержался от всяких разъяснений; я никому не мог предоставить права привлечь меня к ответу за статью, появившуюся анонимно и помеченную только буквой, которой не я помечал свои статьи, а редакция, с целью удовлетворить административным нуждам, например, для удобства бухгалтерии, но отнюдь не для того, чтобы *sub rosa* \*\*, словно легко отгадываемую шараду, подсказать почтенной публике

\* публичный обвинитель

\*\* Буквально: «под розой» (см. комментарии).

имя автора. Так как только редакция, а отнюдь не истинный автор, несет ответственность за всякую анонимную статью; так как редакция отвечает за свою газету не только перед тысячеголовым миром читателей, но нередко и перед совершенно безголовыми властями; так как ей приходится бороться с бесчисленными трудностями, материальными и моральными, — то надо же было дать ей право приспособлять к своим насущным потребностям всякую принимаемую ею статью и по своему усмотрению черкать ее, сокращать, словом, производить с ней всякого рода манипуляции, чтобы сделать статью удобопечатаемой, хотя бы от этого и терпели серьезный ущерб личные взгляды, а порой, увы! и стиль автора. Писатель, который является действительно политическим писателем, должен ради дела, за которое он борется, идти на всякие горькие уступки грубой необходимости. Есть немало темных маленьких газет, в которых мы вполне могли бы с пылом и негодованием излить наше сердце, но у этих газет очень убогая и не имеющая никакого значения публика, и писать в этих газетах было бы то же самое, что в трактире или в кофейне бахвалиться перед ее завсегдатаями, подобно большей части наших великих патриотов. Мы поступаем гораздо умнее, когда, умерив нашу горячность, а порою даже скрываясь под маской, трезвыми словами высказываемся в газете, которая по праву называется всеобщей и всемирной газетой и во всех странах имеет сотни тысяч читателей, черпающих из нее поучение. Здесь, даже подвергнувшись самым прискорбным искажениям, слово может оказать благотворное влияние; самый скудный намек превращается порой в плодотворное семя на почве, не ведомой нам самим. Если бы меня не одушевляла эта мысль, право же, я бы никогда не обрек себя на ужасную пытку — писать для «Всеобщей Газеты». Так как я всегда был совершенно убежден в верности и честности благородного и любимого друга моей юности и моего соратника, редактирующего эту газету, то я терпеливо переносил

страшную муку переделок и изменений, которым он подвергал мои статьи; — ведь я видел всегда честные глаза друга, который, казалось, хотел сказать раненому: «А разве я лежу на ложе из роз?» Этого смелого бойца немецкой прессы, который ради своих убеждений уже в юности вытерпел тюрьму и нищету, его, который столько сделал для распространения общепользных знаний, лучшего средства эмансипации, и вообще для политического блага своих сограждан, сделал гораздо больше, чем тысячи хвастливых горланов, — его эти горланы обвинили в рабологии, и радикальная чернь наградила «Всеобщую Газету» ругательным названием «Аугсбургская публичная девка».

Но я отдаюсь здесь течению, которое может унести меня слишком далеко. Ограничусь указанием на то, какого рода неволю переносил я ради высших патриотических соображений, когда писал для «Аугсбургской Газеты». В этом отношении я нередко встречал непонимание даже в сферах, где обычно господствует понятливость. Так, например, было с упомянутой выше цитатой из «National», по ошибке приписанной мне. Так как я не люблю страдать невинно, то мне в конце концов пришла злополучная мысль — в самом деле решиться на то государственное преступление, в котором меня обвиняли, и во время выборов в Тарбе депутату Верхних Пиренеев пришлось поплатиться за мое неудовольствие. Так как я в конце концов сам сознаюсь во всякой несправедливости, то к собственному стыду отмечу здесь, что человек, в котором я отрицал все способности, вскоре после этого выказал себя государственным деятелем самого выдающегося значения. Это меня обрадовало.

## XII

Париж, 12 июня 1840

Бедных парижан бомбардирует сейчас письмами кавалер Спонтини, желая во что бы то ни стало напомнить публике о своей забытой персоне. У меня в эту

минуту перед глазами циркуляр, который он рассылает редакторам всех газет, но ни один из них не хочет его печатать из уважения к человеческому здравому смыслу и былой славе Спонтини. Смешное здесь граничит с великим. Эта прискорбная слабость, выражающаяся, или, вернее, изливающая свой гнев самым причудливым слогом, в равной мере достойна внимания врача и внимания лингвиста. Врач найдет здесь печальное проявление тщеславия, которое все неистовее разгорается в мозгу, по мере того как угасают в нем более благородные умственные силы, а лингвист увидит, какой получается забавный жаргон, если упрямый итальянец, который с трудом научился во Франции чуть-чуть говорить по-французски, усовершенствует этот так называемый француско-итальянский язык, двадцать пять лет прожив в Берлине, благодаря чему прежняя тарабарщина окажется напшигованной причудливыми сарматскими варваризмами. Циркуляр помечен февралем, однако недавно снова прислан в Париж, ибо синьор Спонтини прослышал, будто здесь опять собираются ставить его знаменитое произведение, в чем он усматривает только ловушку; но этой ловушкой он хочет воспользоваться, чтобы его вызвали сюда. А именно, после патетической декламации, направленной против его врагов, он прибавляет: «Et voilà justement le nouveau piège que je crois avoir deviné, et ce qui me fait un impérieux devoir de m'opposer, me trouvant absent, à la remise en scène de mes opéras sur le théâtre de l'Académie royale de musique, à moins que je ne sois officiellement engagé moi-même par l'administration, sous la garantie du Ministère de l'Intérieur, à me rendre à Paris, pour aider de mes conseils créateurs les artistes (la tradition de mes opéras étant perdue), pour assister aux répétitions et contribuer au succès de la «Vestale», puisque c'est d'elle qu'il s'agit» \*. А среди

\* «Вот именно та новая ловушка, которую я, кажется, угадал; поэтому, будучи в отсутствии, я считаю своим неперменным дол-

этих Спонтийских болот это еще единственное место, где под ногами — твердая почва; лукавство высовывает здесь длинные уши. Спонтини непременно хочет покинуть Берлин, где ему стало невольно, с тех пор, как там ставятся оперы Мейербера; год назад он на несколько недель приезжал в Париж и с утра до полуночи бегал ко всяким влиятельным особам, добиваясь, чтобы его скорее вызвали сюда. Так как здесь большинство считало его уже давно умершим, то его внезапное появление, точно явление призрака, вызвало немалый испуг. В лукавом проворстве этого скелета действительно было нечто жуткое. Господин Дюпоншель, директор Большой оперы, совсем не допустил его к себе и в ужасе воскликнул: «Пусть эта интригующая мумия оставит меня в покое; мне уже достаточно приходится терпеть от интриг живых людей!» А между тем, господин Шлезингер, издатель Мейерберовых опер, — ибо свой визит к господину Дюпоншелю кавалер возвестил заранее через посредство этого доброго и честного человека, — пустил в ход все свое исполненное убедительности красноречие, чтобы представить Спонтини в самом благоприятном свете. Выбрав себе этого достойного посредника, господин Спонтини проявил всю свою проницательность. Проявлял он ее и при других обстоятельствах: например, если ему приходилось высказываться о каком-нибудь человеке, то он это делал всегда у ближайших друзей последнего. Он рассказывал французским писателям, что в Берлине он засадил под арест немецкого писателя, который писал против него. У французских певиц он жаловался на певиц немецких, которые несогласны поступать в Бер-

гом воспротивиться возобновлению моих опер на сцене театра королевской Музыкальной академии, пока администрация, заручившись гарантией министерства внутренних дел, не пригласит меня в Париж — помогать артистам моими творческими советами (ибо традиция моих опер утрачена); присутствовать на репетициях и содействовать успеху «Весталки», так как речь ведь идет о ней».

линскую оперу, если в контракте не будет оговорено, что им не придется петь ни в одной из опер Спонтини.

Но он во что бы то ни стало стремится в Париж; он больше не в силах оставаться в Берлине, куда, как он утверждает, он был сослан из-за ненависти своих врагов и где все же его не оставляют в покое. На-днях он писал в редакцию «France musicale», будто враги не удовольствовались тем, что прогнали его за Рейн, за Везер, за Эльбу; им хотелось бы прогнать его еще дальше, за Вислу, за Неман! В своей судьбе он находит большое сходство с судьбой Наполеона. Он мнит себя гением, против которого в заговоре все музыкальные силы. Берлин — его святая Елена, а Рельштаб — его Гудсон Лоу. Но теперь следовало бы вернуть его останки в Париж и торжественно похоронить в музыкальном Dôme des Invalides, в Académie royale de musique \*.

Альфа и омега всех сетований Спонтини — Мейербер. Когда здесь, в Париже, кавалер удостоил меня своим посещением, он был неисчерпаем в рассказах, пенившихся желчью и ядом. Он не может отрицать тот факт, что король прусский осыпает почестями нашего великого Джакомо и намеревается доверить ему высокие должности и звания, но этой королевской благосклонности он приписывает самые гнусные побуждения. В конце концов он сам поверил в свои выдумки и с самоуверенным видом убеждал меня, что однажды, когда ему случилось обедать у короля, его величество изволил после обеда сказать в веселой откровенной беседе, что всеми силами старается привязать Мейербера к Берлину, дабы этот миллионер не растратил за границей своего состояния. Так как музыка, желание блистать в качестве оперного композитора, является известной слабостью этого богача, то он, король, и старается воспользоваться этой слабой стороной его, чтобы поче-

\* Королевская музыкальная академия — название парижской оперы.

стями приманить честолюбца. «Печально, — будто бы добавил король, — что отечественному таланту, владеющему таким большим, почти гениальным, состоянием, приходилось растрачивать в Италии и в Париже свои добрые прусские звонкие талеры, лишь бы добиться славы композитора, — ведь то, что можно получить за деньги, есть и у нас в Берлине; и в наших оранжереях растут лавровые деревья для дурака, который хочет за них платить, и наши журналисты тоже неглупы и любят хорошие завтраки и хорошие обеды, и у наших поденщиков и торговцев солеными огурцами такие же крепкие, созданные для аплодисментов, руки как и у парижской клаки; если бы наши бездельники, вместо того чтобы сидеть в трактире, проводили вечера в опере и рукоплескали «Гугенотам», даже образование их выиграло бы от этого — следует поднять моральное и эстетическое развитие низших классов, а главное, деньгам надо дать ход, особенно в столице». — Так, по словам Спонтини, выразился его величество, словно оправдывая себя в том, что его, автора «Весталки», он принес в жертву Мейерберу. Когда же я заметил, что такие жертвы, приносимые монархом благосостоянию своей столицы, в сущности весьма похвальны, — Спонтини перебил меня: «О, вы ошибаетесь, прусский король покровительствует плохой музыке не в целях политико-экономических, а скорее потому, что ненавидит музыку и, конечно, знает, что для нее губителен будет пример и руководство человека, который, будучи лишен чувства правды и благородства, старается только угодить грубой толпе». Я не мог не высказать открыто этому злобному итальянцу, что с его стороны неблагоразумно не признавать никаких заслуг за своим соперником. «За соперником!» — закричал он в ярости и десять раз изменился в лице, пока, наконец, оно опять не стало желтым, — но затем, собравшись с мыслями, он спросил, язвительно оскаля зубы: «А вы уверены, что Мейербер действительно автор той музыки, которая исполняется под его именем?» Я был немало смущен этим

безумным вопросом и с удивлением услышал, что Мейербер в Италии скупал у бедных музыкантов их произведения и из них изготовлял свои оперы, которые, однако, проваливались, так как проданная ему дрянь была слишком ничтожна. Потом, в Венеции, у какого-то талантливого аббата он купил нечто лучшее и включил в «Крестоносца». Он также владеет посмертными рукописями Вебера, которые он болтовней выманил у вдовы и которыми, наверно, еще воспользуется. «Роберт-Дьявол» и «Гугеноты» будто бы в значительной своей части произведение некоего француза, по имени Гуэн, который очень рад, что оперы его ставятся под именем Мейербера, ибо опасается лишиться места начальника почтового отделения: ведь его начальство перестало бы доверять его служебному рвению, если бы узнало, что он — мечтательный композитор; филистеры считают, что практическая деятельность несовместима с артистическим дарованием, и почтовый чиновник Гуэн настолько благоразумен, что скрывает свое авторство и всю мировую славу предоставляет своему честолюбивому другу Мейерберу. Поэтому столь тесная связь и соединяет этих двух людей, интересы которых связаны так же тесно, дополняя друг друга. Но отец всегда остается отцом, и добряк Гуэн всегда близко принимает к сердцу судьбу своих творений; подробности постановки и успех «Роберта-Дьявола» и «Гугенотов» всецело занимают его, он присутствует на каждой репетиции, он постоянно ведет переговоры с директором оперы, с певцами, танцовщиками, с начальником клаки, с журналистами; он в своих смазных сапогах без кожаных штрипок бежит с утра до вечера по всем газетным редакциям, чтобы пристроить какую-нибудь рекламу в пользу так называемых Мейерберовых опер, и его неутомимость должна бы всякого привести в изумление. Когда Спонтини сообщил мне эту гипотезу, я признал, что она не совсем лишена правдоподобия и что хотя неуклюжая наружность, кирпично-красное лицо, узкий лоб, жирные черные волосы упомянутого

господина Гуэна скорее напоминают погонщика быков или мясника, чем композитора, тем не менее многое в его поведении заставляет подозревать, что он автор Мейерберовых опер. Ему случается порою называть «Роберта-Дьявола» или «Гугенотов» «нашей оперой». У него вырываются такие выражения, как: «У нас сегодня репетиция», «мы должны сократить одну арию». Также очень странно, что господин Гуэн не пропускает ни одного представления этих опер, а когда аплодируют какой-нибудь бравурной арии, он до того забывается, что раскланивается во все стороны, словно желая отблагодарить публику. Во всем этом я признался яростному итальянцу. «Но все-таки, — прибавил я, — хотя я и собственными глазами замечал подобные вещи, я не считаю господина Гуэна автором Мейерберовых опер; я не могу поверить, что господин Гуэн написал «Гугенотов» и «Роберта-Дьявола»; если же это действительно так, то в конце концов артистическое тщеславие наверно возьмет верх, и господин Гуэн открыто объявит себя автором этих опер».

«Нет, — возразил итальянец, бросив злобный взгляд, острый, как обнаженный стилет, — этот Гуэн слишком хорошо знает Мейербера и не может не знать, какие средства находятся в распоряжении его ужасного друга, чтобы устранить всякого, кто ему опасен. Он был бы способен навеки засадить в Шарантон бедного Гуэна, под предлогом, будто он сошел с ума, и бедняга еще должен был бы радоваться, что остался жив. Всякий, кто преграждает путь этому честолюбцу, должен посторониться. Где Вебер? Где Беллини? Гм! Гм!»

Несмотря на все бесстыдство его злобы, это «гм! гм!» было так уморительно, что я не без смеха заметил: «Но вы, маэстро, вы еще не убраны с дороги, так же как и Доницетти или Мендельсон, или Россини, или Галеви». «Гм! Гм! — был ответ, — Гм! Гм! Галеви не стесняет своего собрата, и последний готов был бы даже платить ему за одно только его существование в качестве безопасного лжесоперника, а про Россини он знает

от своих шпионов, что тот больше не сочиняет ни одной ноты — да и желудок Россини достаточно уже пострадал, и он не притрагивается к фортепиано, чтобы не раздражать подозрения Мейербера. Гм! Гм! Но хвала богу! Умертвить можно только наши тела, но не произведения нашего таланта; они будут цвести, вечно юные, тогда как со смертью этого музыкального Картуша и его бессмертию придет конец, и оперы его последуют за ним в немое царство забвения!»

Лишь с трудом обуздал я свое негодование, слыша, с каким дерзким пренебрежением завистник-иноземец говорит о великом, достославном художнике, который составляет гордость Германии и усладу стран Востока и которому, конечно, заслуженно воздается дань восхищения, как истинному творцу «Роберта-Дьявола» и «Гугенотов»! Нет, нечто столь прекрасное не мог создать Гуэн! При всем уважении к великому таланту, во мне, правда, иногда возникают серьезные сомнения в бессмертии этих мастерских произведений после смерти маэстро, но в моей беседе со Спонтини я все же принял такой вид, словно я убежден в продолжении их существования даже и после смерти их автора, и, чтобы позлить злобного итальянца, я конфиденциально сообщил ему известие, из которого он мог усмотреть, как дальновиден Мейербер в заботах о процветании своих произведений даже и после его смерти. «Эти попечения, — сказал я, — являются психологическим доказательством, что не господин Гуэн, а великий Джакомо — настоящий отец. А именно, он в своем завещании как бы учредил капитал в пользу музыкальных детей своего духа, причем каждому он завещал капитал, проценты с которого должны обеспечить будущность бедных сирот, так что даже после кончины папаши легко будут покрываться соответственные издержки на создание им популярности — на декорации, на клаку, восхваления в газетах и тому подобное. Даже для еще неродившегося маленького «Пророка» нежный родитель будто бы назначил сумму в 150 000

пруссских талеров. Право, никогда еще не появлялся на свет пророк с таким большим состоянием; сын ви-флеемского плотника и погонщик верблюдов из Мекки не были так богаты. Говорят, что «Роберт-Дьявол» и «Гугеноты» обеспечены менее щедро; они, пожалуй, могут некоторое время жить за счет собственного жира, пока обеспечена роскошь декораций и пышные балетные ножки; позднее им понадобится прибавка. Дотация «Сросиато», повидимому, не так блистательна; в этом случае отец имеет право немного поскупииться и жалуется, что некогда в Италии беспутный малый стоил ему слишком дорого, что он — расточитель. Тем великодушнее печется Мейербер о своей несчастной, провалившейся дочери «Эмма ди-Росбург»; каждый год в газетах будут делаться оглашения, ей изготовят новое приданое, и она появится в роскошном издании на атласно-веленовой бумаге. Любящее сердце родителя бьется особенной нежностью к жалкому уродцу. Таким образом, все произведения Мейербера хорошо обеспечены, их будущность застрахована на вечные времена».

Ненависть ослепляет даже умнейших людей, и неудивительно, что такой пылкий безумец, как Спонтини, не вполне усумнился в моих словах. Он воскликнул: «О! Он на все способен! Злосчастные времена! Злосчастный свет!»

На этом я кончаю, так как сегодня я и без того настроен очень трагически и мысли о смерти омрачают мой ум своею тенью. Сегодня схоронили моего бедного Саковского, знаменитого художника кожаной обуви — ибо название «сапожник» слишком ничтожно для Саковского. Все парижские *marchands bottiers* и *fabricants de chaussures* \* провожали его тело. Ему было восемьдесят лет, и умер он от несварения желудка. Жил он мудро и счастливо. Его мало беспокоили головы современников, но тем более заботили его их ноги. Земля да будет тебе легка, как легки были твои сапоги!

\* торговцы сапогами и фабриканты обуви

## XIII

Париж, 3 июля 1840

На некоторое время у нас отдых, по крайней мере от депутатов и пианистов, двух страшных бедствий, от которых нам столько приходится терпеть всю зиму, до самой весны. Пале-Бурбон и салоны господ Эрара и Герца заперты на все замки. Слава богу, виртуозы политические и музыкальные молчат! Те несколько стариков, что сидят в Люксембурге, бормочут все тише или сонно кивают головой в знак согласия с решениями младшей палаты. Несколько недель тому назад эти старые господа два-три раза отрицательно покачали головой, и это было истолковано как угроза для министерства; но это было не всерьез. Господину Тьеру менее всего следует ждать сильного сопротивления со стороны палаты перов. На нее он может рассчитывать с еще большей уверенностью, чем на своих оруженосцев в палате депутатов, хотя и их он привязал к своей особе крепкими лентами и ленточками, риторическими гирляндами цветов и полновесными золотыми цепями!

Великая борьба, однако, должна бы разгореться будущей зимой, а именно, когда господин Гизо, передав другому миссию посла, вернется из Лондона и возобновит свою оппозицию против господина Тьера. Эти два соперника давно уже поняли, что они могут, правда, заключить короткое перемирие, но никогда не смогут совсем отказаться от своего поединка. С окончанием его, быть может, наступит и конец всего парламентского правления во Франции.

Господин Гизо сделал большую ошибку, приняв участие в коалиции. Впоследствии он сам сознавался, что это была ошибка, и отчасти для того, чтобы реабилитировать себя, он и отправился в Лондон: на путях дипломатической карьеры он желал вернуть себе доверие иностранных держав, которое утратил как деятель оппозиции; ибо он рассчитывает, что во Франции при выборах председателя совета в конце концов опять

одержит верх иностранное влияние. В то же время он, быть может, рассчитывает на кой-какие туземные симпатии, которых постепенно может лишиться господин Тьер и которые перейдут к нему, к любимому Гизо. Злые языки уверяли меня, что доктринеры воображают, будто их любят уже и теперь. Так далеко простирается самоослепление даже у самых умных людей! Нет, господин Гизо, мы еще не дошли до того, чтобы любить вас; но мы также не перестали вас уважать. Несмотря на все наше пристрастие к блистательно подвижному сопернику, мы никогда не отказывали в уважении тяжеловесному, хмурому Гизо; в этом человеке есть что-то прочное, устойчивое, основательное, и я думаю, что интересы человечества ему дороги.

О Наполеоне сейчас больше уж нет речи; никто уже не думает здесь о его прахе, и это как раз внушает большие опасения. Ибо воодушевление, которое после непрестанной трескотни превратилось, наконец, в самую умеренную теплоту, вспыхнет новым пламенем через пять месяцев, когда погребальное шествие с прахом императора прибудет в Париж. Большой ли вред причинят летящие из пламени искры? Все зависит от погоды. Может быть, если рано наступят зимние холода и выпадет много снега, похороны будут весьма прохладные.

#### XIV

Париж, 25 июля 1840

В здешних бульварных театрах представляют теперь историю жизни Бюргера, немецкого поэта; и мы видим, как он, сочиняя при лунном свете «Ленору», сидит и поет: «Hurrah! les morts vont vite — mon amour, crains tu les morts?»\*. Право, это превосходный припев, и мы предпосылаем его нашей сегодняшней статье,

\* «Ура! мертвые мчатся быстро; — любимая, боишься ли ты мертвецов?»

и притом непосредственно относя его к французскому министерству. — Труп исполина св. Елены, надвигающаяся издалека, становится все грознее, а через несколько дней и здесь, в Париже, разверзнутся могилы и подымутся неуспокоенные кости июльских героев и побредут к площади Бастилии, к страшному месту, где все еще являются призраки лета 89-го... *Les morts vont vite — mon amour, crains tu les morts?*

Действительно, мы очень опасаемся предстоящих Июльских дней, которые в этом году будут отпразднованы особенно пышно, но, как полагают, в последний раз; правительство не всякий год может взваливать на себя бремя такого страха. Волнение в эти дни будет тем сильнее, чем родственнее звуки, доносящиеся из Испании, и чем ярче подробности восстания в Барселоне, где так называемые нищие забылись до того, что позволили себе дойти до грубейшего оскорбления величества.

В то время как на Западе кончилась война за наследство и начинается настоящая революционная война, дела восточные запутываются в неразрешимый клубок. Сирийское восстание ставит французское министерство в величайшее затруднение. С одной стороны, оно хочет всем своим влиянием поддержать власть паши в Египте, с другой стороны, не смеет отречься от маронитов, христиан Ливанской горы, поднявших знамя мятежа, ибо ведь знамя это — французское трехцветное знамя и, подняв его, мятежники хотят выказать себя приверженцами Франции, думая, что Франция лишь для вида поддерживает Мехмета-Али, втайне же натравливает сирийских христиан на египетские власти. Насколько обоснованы эти предположения? Действительно ли, как уверяют, восстание маронитов против паши затеяно вождями католической партии, без ведома французского правительства, в надежде, что при слабости турок теперь удастся основать в Сирии христианское государство, изгнав оттуда египтян? Это столь же несвоевременное, сколь благочестивое начинание явится

там причиной больших несчастий. Вспыхнувшее в Сирии восстание так возмутило Мехмета-Али, что он разъярился, как дикий зверь, замышляя ни больше, ни меньше, как истребить всех христиан горы Ливанской. Лишь увещания австрийского генерального консула заставили его отказаться от этого нечеловеческого намерения, и многие тысячи христиан обязаны жизнью этому великодушному человеку, но еще больше обязан ему паша: ведь он спас его имя от вечного позора. Мехмет-Али равнодушен к тому уважению, которым пользуется в цивилизованном мире, и господин фон-Лорен особенно удачно обезоружил его гнев, изобразив ему всю ту антипатию, которую он возбудил бы во всей Европе избиением маронитов к величайшему ущербу для своей власти и своей славы.

Таким образом, старая система народоистребления постепенно вытесняется на Востоке европейским влиянием. Также начинают признавать там и право личности на существование, и в частности ужасы пытки уступают место более мягкому уголовному судопроизводству. К этому результату должна привести кровавая дамаская история, и в этом смысле путешествие господина Кремьё в Александрию должно быть отмечено в анналах человечества как событие большой важности. Этот знаменитый законовед, принадлежащий к числу самых чтимых во Франции людей и упоминавшийся уже в этих статьях, отправился в свое воистину благочестивое странствие в сопровождении жены, пожелавшей разделить с ним все опасности, которыми ему угрожали. Пусть бы эти опасности, которыми, быть может, его хотели только напугать, чтобы заставить его отказаться от благородного начинания, оказались столь же ничтожны, как и люди, подготовлявшие их! Действительно, этот защитник евреев защищает вместе с ними дело всего человечества. Речь идет ни больше ни меньше, как о введении на Востоке европейского уголовного судопроизводства. Процесс дамаских евреев начался с пытки; он не был доведен до конца потому,

что обвинению подвергся и австрийский подданный, — австрийский консул воспрепятствовал пытке. Теперь процесс должен начаться снова, и притом без обязательной пытки, без тех орудий истязания, которые вырывали у обвиняемых бессмысленнейшие показания и наводили на свидетелей страх. Французский генеральный консул в Александрии все готов сделать, лишь бы помешать этому возобновлению процесса, ибо поведение французского консула в Дамаске может при этом случае предстать в очень ярком свете и позор представителя Франции должен поколебать в Сирии ее авторитет. А в отношении Сирии у Франции широкие планы, которые восходят еще ко времени крестовых походов, планы, от которых не отказывалась даже и революция; с ними носился и Наполеон, и о них думает сам господин Тьер. Сирийские христиане ожидают своего освобождения от французов, а французы, с каким бы свободомыслием ни вели они себя дома, все же рады слыть благочестивыми защитниками католической веры на Востоке и потакают там фанатизму монахов. Этим мы объясняем себе, почему не только господин Кошле в Александрии, но и в Париже наш председатель совета, сын революции, берут под свою защиту дамасского консула. — Право, теперь речь идет не о высокой добродетели какого-нибудь Ратти-Мантона или скверных свойствах дамасских евреев, — может быть, между ним и этими евреями нет большой разницы, и как первый слишком ничтожен, чтобы заслужить нашу ненависть, так и последние слишком ничтожны, чтобы возбуждать нашу любовь, — но теперь дело сводится к следующему: уничтожение пытки должно быть санкционировано на Востоке громким примером. — Поэтому консулы европейских держав, а именно Австрии и Англии, ходатайствовали перед египетским пашой о том, чтобы процесс дамасских евреев был возобновлен без допущения пытки, и, быть может, они, между прочим, испытывают и некоторое злорадство, видя, что именно господин Кошле, французский консул, представитель революции

и ее сын, противится возобновлению процесса и становится на сторону пытки.

## XV

Париж, 27 июля 1840

Злые вести следуют здесь, не переставая, одна за другой; но последняя, самая страшная — о соглашении между Англией, Россией, Австрией и Пруссией против египетского паши, — возбудила, как в правительстве, так и в народе, гораздо больше воинственных ликований, нежели замешательства. Вчерашний номер «*Constitutionnel*» прямо объявил, что Франция позорно обманута и оскорблена, страшно оскорблена: ее заподозрили в трусливой покорности. Это сообщение министерства о высиженном в Лондоне предательстве подействовало здесь, как призывный клич; казалось, прозвучал великий гневный крик Ахилла, и оскорбленные национальные чувства и национальные интересы требуют перемирия между враждующими партиями. За исключением легитимистов, ждущих спасения только от иностранцев, все французы собираются вокруг трехцветного знамени, и война с «коварным Альбионом» — вот их всеобщий пароль.

Заметив выше, что воинственный дух вспыхнул и в правительстве, я под правительством подразумевал здешнее министерство и, в частности, — нашего смелого председателя совета, который уже довел историю жизни Наполеона до конца консульства и с южной пылкостью воображения следовал за своим героем в столь многочисленных победных странствиях и на полях стольких сражений. Быть может, надо пожалеть, что он мысленно не принимал еще участия в русском походе и в великом отступлении. Если бы господин Тьер дошел в своей книге до Ватерлоо, воинственный пыл его, пожалуй, немного бы поостыл. Но что гораздо важнее и гораздо более достойно внимания, чем воин-

ственные склонности премьер-министра, это — неограниченное доверие, которое он питает к собственным военным талантам. Да, это факт, за который я могу поручиться на основании многолетних наблюдений: господин Тьер верит твердо и непоколебимо, что не парламентские стычки, а настоящая война, со звоном оружия — врожденное его призвание. Мы здесь не собираемся исследовать, правду ли говорит этот внутренний голос или же только льстит тщеславному самообольщению. Мы хотим обратить внимание лишь на то, что благодаря этому воображаемому призванию полководца господин Тьер не особенно испугается пушек нового союза монархов, что втайне он, быть может, радуется той суровой необходимости, которая заставит его показать изумленному миру свои военные таланты, и что, наверно, в настоящее время французские адмиралы уже получили самые решительные приказания оборонять египетский флот от всяческих нападений.

Я не сомневаюсь в результате этой обороны, как ни страшна морская мощь англичан. Я недавно посетил Тулон и питаю большое уважение к французскому флоту. Этот флот значительнее, чем думают в Европе, ибо, кроме военных судов, число которых известно из сметы военных расходов и которыми Франция владеет, так сказать, официально, на верфях Тулона с 1814 года мало-по-малу было выстроено почти вдвое больше судов, которые в течение шести недель могут быть полностью снаряжены. — Но нарушится ли мир Европы и вспыхнет ли всеобщая война, если французский и английский флоты, встретясь в Средиземном море, начнут друг друга бомбардировать? Отнюдь. Я в это не верю. Континентальные державы еще долго будут думать, прежде чем снова решатся затеять с Францией смертельную игру. А что до Джон Булля, то этот толстяк прекрасно знает, во что обойдется его карману война с Францией, даже если она останется совсем без союзников; словом, английская нижняя палата ни в каком

случае не даст согласия на военные расходы; и в этом все дело. Но если бы все же возникла война между этими двумя народами, то, выражаясь мифологически, это было бы злостью шуткою древних богов, которые, желая отомстить за нынешнего своего коллегу Наполеона, намереваются, быть может, снова послать Веллингтона на поле сражения и заставят его проиграть битву генерал-фельдмаршалу Тьеру!

## XVI

Париж, 29 июля 1840

Господин Гизо доказал, что он честный человек; он не сумел ни разглядеть тайное предательство англичан, ни помешать ему ответной хитростью. Он возвращается честным человеком, и никто не станет оспаривать у него премии за добродетель, *prix Monthyon* \* нынешнего года. Успокойся, бритоголовый упрямец-пуританин, вероломные кавалеры морочили и дурачили тебя — но при тебе осталось гордое чувство собственного достоинства, сознание, что ты не перестаешь быть самим собою. Как христианин и доктринер, ты терпеливо снесешь свою неудачу, и с тех пор как мы от всего сердца можем смеяться над тобою, для тебя в нашем сердце снова находится место. Ты снова — наш старый милый школьный учитель, и мы радуемся, что светский блеск не убил в тебе благочестивой учительской наивности, что тебя вышучивали и теребили, но ты остался честным человеком! Мы начинаем любить тебя. Лишь посольского поста в Лондоне мы тебе не доверим больше; тут нужен ястребиный взор, вовремя умеющий проведать о происках коварного Альбиона, или совсем невежда, дюжий детина, не питающий ученой симпатии к великобританской форме правления, не умеющий произносить вежливых *speeches* \*\*

\* премию Монтиона

\*\* речей

на английском языке, но отвечающий по-французски, когда его стараются провести двусмысленными речами. Советую французам отправить в Лондон, в качестве посланника, любого гренадера старой гвардии и, пожалуй, присоединить к нему Видока, в качестве действительного тайного секретаря посольства.

Но в самом ли деле у англичан такие исключительные способности к политике? Чем вызвано их превосходство в этой области? Думаю, оно вызвано тем, что они существа насквозь прозаические, что их не сбивают с толку поэтические иллюзии, что их не ослепляет пыльная греза, что вещи они видят в самом трезвом виде, не забывая самой сущности фактов, точно рассчитывают условия времени и места и что в этом расчете им не мешает ни биение их сердца, ни полет великодушных мыслей. Да, их превосходство состоит в том, что у них совершенно нет фантазии. В отсутствии ее — вся сила англичан и конечная причина их удач в политике, как и во всяком реальном деле; в промышленности, механике и т. д. У них нет фантазии; в этом весь секрет. Их поэты — лишь блистательные исключения; поэтому они и приходят в столкновение со своим народом, коротконосым, ушколобым, беззатылочным, избранным народом прозы, который в Индии и в Италии остается таким же прозаическим, холодным и расчетливым, как и на Треднидлстрит. Их не опьяняет аромат лотоса, как не согревает их и пламя Везувия. На самый край его они притаскивают свой чайный прибор и пьют там чай, с приправою *sant* \*.

Я слышал, что Тальони в прошлом году не имела успеха в Лондоне; право же, в этом — величайшая ее слава. Если бы она понравилась там, я бы начал сомневаться в поэзии ее ног. Сами они, сыны Альбиона, — самые отвратительные танцоры в мире, и Штраус уверяет, что ни один из них не умеет танцевать в такт.

\* лицемерный разговор

Недаром он так опасно заболел в графстве Миддлсекс, посмотрев на танцы старой Англии. Слуху этих людей чужды и такт и музыка вообще, и тем отвратительнее их противоестественная страсть к фортепианной игре и к пению. Право, в этом мире нет ничего ужаснее английской музыки, разве только английская живопись. У них нет ни слуха, ни чутья красок, и порой я начинаю подозревать, что и обоняние их притуплено от насморка; весьма возможно, что по запаху они не в силах отличить апельсин от тех коричневых яблок, которые лошадь роняет на дорогу.

Но храбры ли они? Сейчас это самое главное. Так ли отважны эти англичане, как их всегда описывали на материке? Хваленое великодушие английских милордов существует лишь на наших сценах, и вполне возможно, что слепая вера в хладнокровную отвагу англичан со временем исчезнет. Странное сомнение овладевает нами, когда мы видим, что нескольких гусар достаточно, чтобы разогнать бурный митинг из 100 000 англичан. Но если англичане, взятые в отдельности, даже и очень храбры, то все же масса ослаблена привычками и комфортом мирного периода, который длится уже более ста лет; в течение столь долгого времени война не беспокоила их в самой стране, а что до войны, которую им приходилось вести за границей, то вели они ее не собственными руками, а руками на вербованных наемников, продажных искателей приключений и купленных за деньги народов. Позволить стрелять в себя ради защиты национальных интересов — это не придет в голову гражданину Сити, даже лорд-меру; ведь для этого есть люди, которым заплачено. Этот слишком долгий мир, слишком большое богатство и слишком большая нищета, политическая испорченность — следствие представительного образа правления, изнуряющая фабричная жизнь, высокоразвитый дух торговли, религиозное лицемерие, пиетизм, этот вреднейший опиум, превратили англичан в народ столь же невоинственный, как китайцы, и, прежде чем они

побеждать китайцев, французы, быть может, окажутся в состоянии, в случае удачного десанта, завоевать всю Англию с помощью менее чем сотысячного войска. В дни Наполеона англичанам постоянно грозила такая опасность, и только море, но не жители, служило защитой этой стране. Если бы Франция располагала тогда флотом, каким она владеет теперь, или если бы изобретение пароходства приносило уже такие же страшные плоды, как в наше время, — Наполеон, конечно, высадился бы на английском берегу, как некогда Вильгельм Завоеватель, — и не встретил бы сильного сопротивления, именно потому, что уничтожил бы захватнические права норманнского дворянства, оградил бы гражданскую собственность и соединил бы браком английскую свободу с французским равенством!

Все эти мысли с гораздо большей резкостью, чем я высказал их здесь, возникли в моей голове вчера, когда я смотрел на шествие, тянувшееся за похоронной колесницей июльских героев. Огромная толпа, серьезная и гордая, присутствовала на этом погребальном торжестве. Величественное зрелище, весьма знаменательное в настоящую минуту. Боятся ли французы новых союзников, ополчившихся против них? По крайней мере в течение трех Июльских дней они никогда не испытывают страха, и я даже готов уверять, что те полтораста депутатов, которые еще находятся в Париже, самым решительным образом высказались за войну — в случае, если оскорбленная национальная честь потребует этой жертвы. Но что важнее всего — Луи-Филипп, повидимому, распростился с терпением, с которым раньше переносил всякие обиды, и в случае необходимости готов на самые решительные меры. — По крайней мере, он так говорит, и господин Тьер уверяет, что порою он лишь с трудом сдерживает кипучее негодование короля. Или эта воинственность — только военная хитрость божественного страдальца Одиссея?

## XVII

Париж, 30 июля 1840

Биржа была закрыта вчера, так же как и третьего дня, и курсам предоставлен был досуг, чтобы оправиться от великого волнения умов. В Париже, как в Спарте, есть свой храм страха, и этот храм — биржа, в залах которой все трепещут тем боязливее, чем бурливее отвага, бушующая за стенами.

Вчера я с большим озлоблением высказался об англичанах. При ближайшем рассмотрении вина их оказывается меньше, чем я предполагал вначале. По крайней мере, английский народ дезавуирует своего уполномоченного. Толстый британец, каждый год приезжающий сюда на 29-е июля — показывать своим дочерям фейерверк на мосту Согласия, уверяет меня, что в Англии царит сильнейшее негодование против дурака Пальмерстона, который мог предвидеть, что конвенция по поводу Египта должна крайне оскорбить Францию. Англичане сознаются, что со стороны Англии это, в самом деле, оскорбление, но не предательство, ибо Франция, по их словам, давно знала, что Мехмета-Али собираются силой выгнать из Сирии; что французское министерство давало полное согласие на это; что само оно в отношении этой провинции играло весьма двусмысленную роль; что тайными вождями сирийского восстания являются французы, католический фанатизм которых встречает всеобщее поощрение и симпатии не в Доунинг-стрит, а на бульваре Капуцинов; что уже в деле дамасских евреев — жертв пытки — французское министерство весьма скомпрометировало себя, благоприятствуя католической партии; что уже при этом случае лорд Пальмерстон достаточно выказал свое презрение к французскому премьер-министру, гласно опровергнув его утверждения, и т. д. Как бы то ни было, лорд Пальмерстон мог предвидеть, что конвенция — неосуществима и что, следовательно, она зря вызовет возмущение французов,

а это все-таки может иметь опасные последствия. Чем больше мы думаем обо всех этих событиях, тем больше они нас удивляют. Тут есть мотивы, которые до сих пор скрыты от нас, может быть, очень тонкие, политические мотивы, а быть может, и совсем простые.

Выше я упомянул о дамасской истории. О ней и до сих пор еще много говорят, в частности она составляет постоянный отдел в газете «Univers», органе ультрамонтанской партии духовенства. Уже долгое время эта газета каждый день печатает по письму с Востока. Так как пароход из Леванта приходит лишь раз в неделю, то мы склонны здесь верить в чудо, тем более, что дамасские события и без того переносят нас в полное чудес средневековье. Не чудо ли уже то, что сотканые из воздуха известия «Univers» находят отклик во Франции! Да, нельзя отрицать, что значительная часть французов непрочь поверить кровавой лжи, и самые невежественные выдумки поповского коварства наталкиваются здесь на весьма вялые возражения. Мы с удивлением спрашиваем себя: неужели это Франция, родина просвещения, где смеялся Вольтер и где плакал Руссо? Неужели это французы, которые некогда в соборе Богоматери поклонялись богине разума, восставали против обмана духовенства и в целом мире провозгласили себя национальными врагами фанатизма? Не будем несправедливы к ним: именно потому, что их еще воодушевляет слепой гнев против всякого суеверия, именно потому, что они, старые дети XVIII века, во всякой религии готовы видеть самое дурное, — они и последователей иудейской веры сочли способными на такие деяния, и их легкомысленное отношение к дамасским событиям имело причиной не фанатическую ненависть к евреям, а ненависть к самому фанатизму. — Если в Германии по поводу этих событий не могли возникнуть столь ограниченные мнения, то это свидетельствует лишь о том, что мы более учены; исторические познания так распространены в немецком народе, что даже самая жестокая злоба больше уж

не посмеет прибегнуть к кровавым сказкам прошлого.

Как странно сочетаются во Франции в простом народе легкоеверие и величайший скептицизм, это я заметил несколько вечеров тому назад, на площади Биржи, где какой-то человек установил подзорную трубу и за два су показывал луну. При этом он рассказывал окружающим зевакам, как велика эта луна, — столько-то тысяч квадратных миль, — какие горы и реки есть на ней, сколько тысяч миль отделяет ее от земли, и разные другие вещи; старый портье, проходивший в это время со своей женой, почувствовал непреодолимое желание истратить два су, чтоб посмотреть на луну. Однако его дражайшая половина воспротивилась этому и с рационалистическим рвением советовала ему лучше истратить эти два су на табак: все, что рассказывают о луне, о ее горах и реках и сверхъестественной величине, — все это предрассудки, все это выдумали для того, чтоб выманивать деньги у людей.

## XVIII

Гранвиль (департамент Ламанш), 25 августа 1840

Уже три недели, как я разъезжаю по Нормандии, по всем направлениям и могу, в качестве очевидца, рассказать вам о настроении умов, вызванном последними событиями. Умы были уже достаточно взволнованы воинственными трубными звуками французской прессы, когда десант принца Луи дал повод ко всевозможным опасениям. Люди пугались самых отчаянных гипотез. До сих пор здешние жители думают, что принц рассчитывал на обширный заговор и что его долгая стоянка в Булони, у подножия памятника, была доказательством назначенного свидания, которое расстроилось по вине измены или случая. Две трети многочисленных английских семейств, живущих в Булони, дали тягу, охваченные паническим ужасом, когда услышали в ти-

хом городке несколько опасных ружейных выстрелов и увидели войну у самых своих дверей. Стараясь оправдать свой страх, эти беглецы принесли на английский берег ужаснейшие слухи, и известковые скалы Англии еще более побелели от испуга. Вследствие этих слухов туземные родственники англичан, живущих в Нормандии, зовут их вернуться на счастливый остров, которого долго еще не коснутся опустошения войны — то есть до тех пор, пока французы не снарядят достаточного количества паровых судов, с помощью которых можно осуществить десант в Англии.

В Булони этот паровой флот до самого дня выступления в поход был бы защищен множеством маленьких фортов. Эти форты, покрывающие все побережье Северного департамента и департамента Ламанш, воздвигнуты на скалах, которые высются над морем и напоминают бросившие якорь каменные военные суда. За долгие годы мира эти крепости пришли в некоторый упадок, но теперь их весьма усердно вооружают. Я видел, как со всех сторон тащат для этого множество блестящих пушек; они очень приветливо улыбались мне, ибо эти умные создания разделяют мою антипатию к англичанам и, конечно, выскажут ее гораздо более громогласно и метко. Между прочим, отмечу, что пушки французских береговых крепостей стреляют в полтора раза дальше, чем английские корабельные пушки, которые, правда, не отличаются от них калибром, но короче их.

Здесь, в Нормандии, слухи о войне пробудили все национальные воспоминания и национальные чувства, и дело представилось мне отнюдь не в шуточном свете, когда в гостинице Сен-Валери я услышал за столом, как обсуждают план десанта в Англии; ведь некогда на этом самом месте сел на корабль Вильгельм Завоеватель, и тогдашние товарищи его были совсем такие же норманны, как те добрые люди, которые теперь обсуждали при мне подобный же замысел. Пусть гордое английское дворянство никогда не забывает, что в Нор-

мандии есть и горожане и крестьяне, которые могут документами доказать свое кровное родство с благороднейшими семьями Англии и были бы весьма непрочь сделать визит дорогим своим кузенам и кузинам.

Английское дворянство — в сущности, самое молодое в Европе, несмотря на громкие имена, которые редко служат признаком происхождения, но обычно свидетельствуют лишь о том, что титул перешел по наследству. Преувеличенная надменность этих лордов и леди — может быть, это лишь проказы юных выскочек: ведь чем моложе родословное древо, тем зеленее и горше плоды. Эта надменность вовлекла некогда английское рыцарство в губительную борьбу с демократическими стремлениями и требованиями Франции, и весьма возможно, что последние их шалости произошли из того же источника, ибо, к величайшему нашему изумлению, оказалось, что тори и виги в этом случае хранят согласие.

Но отчего восстания во имя аристократических интересов встречали всегда такой сильный отклик в английском народе? Во-первых, причина в том, что весь английский народ, джентри, как и *high nobility* \* и как *mob* \*\* держатся самых аристократических взглядов, и во-вторых, в том, что от тайной ревности, словно от мучительного нарыва, сердца англичан чешутся и гноятся всякий раз, как во Франции расцветает довольство и благосостояние, как французская промышленность начинает преуспевать благодаря миру, а французский флот — расти и укрепляться.

В частности, что касается флота, англичанам приписывают отвратительнейшую зависть, и правда, во французских гаванях развивается флот, который заставит поверить, что морские силы французов могут превзойти морские силы англичан: последние уже двадцать лет находятся в одном и том же положении, тогда как пер-

\* высшее дворянство

\*\* плебс

вые деятельно развиваются. Как я уже заметил в одном из предшествующих писем, постройкой военных судов на тулонских верфях занимаются с таким рвением, что в случае войны Франция может в короткий срок выпустить в море почти вдвое больше кораблей, чем было у нее в 1814 году. Одна лейпцигская газета довольно резко опровергла это утверждение; я могу лишь пожалть плечами, потому что подобные сведения почерпаю не из пустых слухов, а из самых непосредственных наблюдений. В Шербурге, где я был неделю тому назад (в гавани там стоит довольно-таки много французских кораблей), меня уверяли, что и в Бресте кораблей вдвое больше, чем прежде, а именно — свыше пятнадцати линейных кораблей, фрегатов и бригов, с самым приличным числом пушек, что часть их совершенно отстроена и вооружена, а часть неготова всего на какую-нибудь одну двадцатую долю. Через месяц я буду иметь случай познакомиться с ними лично. Пока что ограничусь сообщением, что и в нижней Нормандии и на бретонском побережье, так же как и здесь, среди моряков господствует самое воинственное возбуждение и что делаются самые серьезные приготовления к войне.

О боже! Только бы не война! Я боюсь, что французский народ, если его станут теснить, вытащит снова тот красный колпак, который воспаляет его голову гораздо сильнее, нежели волшебная шапка — бонапартистская треуголка! Я хотел бы поставить здесь вопрос, действительны ли и за границей те демонические разрушительные силы, что послушны во Франции этому старому талисману? Важно было бы исследовать, насколько значительны силы, приписываемые тому волшебному средству, о котором французская пресса так таинственно и угрожающе шептала и шипела последнее время, называя его «пропагандой»? По легко понятным причинам я должен воздержаться от подобных исследований, а что касается пропаганды, о которой столько толкуют, я позволю себе лишь аллегорический намек. Вам

известно, что в Лапландии еще господствует язычество и что лапландцы, собираясь в море, перед отплытием отправляются к чародею, чтобы купить попутного ветра. Чародей дает им платок, завязанный на три узла. Как только выедут в море и развяжут первый узел, нарушается тишь и подымается добрый попутный ветер. Когда развяжут второй узел, ветер усиливается, и яростно воет непогода. А когда развяжут и третий узел, подымается самая лютая буря, она хлещет по бешеным волнам, и судно трещит и идет ко дну со всем экипажем. Бедный лапландец, когда приходит к чародею, уверяет, разумеется, что ему довольно и одного узла, доброго попутного ветра, что не нужно ему ветра более сильного и уж совсем ни к чему — опасная буря; но это не помогает, ветер продается только *en gros* \*, приходится платить за все три сорта, и горе лапландцу, если потом, в открытом море, он выпьет слишком много водки и в опьянении развяжет более опасные узлы! — Французы не так косолапы, как лапландцы, хотя и у них хватило бы легкомыслия — дать волю бурям, которые должны бы погубить их самих! Пока они еще очень далеки от этого. Меня с прискорбием заверяют, что французское министерство не проявило особой щедрости, когда некоторые прусские и польские ветрогоны (но отнюдь не чародеи) предлагали ему свой ветер.

## XIX

Париж, 21 сентября 1840

Без особенной добычи вернулся я на-днях из поездки по Бретани. Бедная пустынная страна, а люди — глупые и грязные. Я не услышал там ни единого звука тех прекрасных народных песен, которые думал собирать. Эти песни существуют теперь лишь в старых песенниках; я купил несколько таких песенников, но

\* оптом

они писаны на бретонском диалекте, и, прежде чем цитировать их, мне придется дать перевести их на французский язык. Единственная песня, которую я слышал во время моего путешествия, была немецкая; в городе Ренн, пока я брился, кто-то козлиным голосом и по-немецки пел на улице о брачном венке из «Фрейшюца». Самого певца я не видел, но слова о лиловом шелке целый день не выходили у меня из головы. Франция теперь кишит немецкими нищими, которые прокармливаются пением и не особенно содействуют славе немецкой музыки.

О политическом настроении бретонцев я мало что могу сообщить: люди здесь высказываются не так легко, как в Нормандии; страсти здесь так же молчаливы, как и глубоки; и друзья и враги нынешнего правительства притаились с немой злобой. В Бретани, так же как в начале революции, и сейчас еще находятся пламеннейшие энтузиасты свободы, и те ужасы, которыми им угрожает противная партия, превратили их рвение в кровавожаднейшую ярость. Ошибаются те, что думают, будто бретонские крестьяне из любви к бывшим господам — дворянам — возьмутся за оружие при любом легитимистическом призыве. Напротив, зверства старого режима еще очень ярки в памяти, и знатные господа достаточно жутко похозяйничали в Бретани. Может быть, вы помните то место в письмах госпожи де-Севинье, где она рассказывает, как недовольные вилланы и *roturiers* \* выбили стекла в доме генерала-губернатора и с какой жестокостью были казнены виновные. Число погибших от колесования, должно быть, очень велико, ибо, говоря о том, что после этой пытки начали вешать, госпожа де-Севинье весьма наивно замечает: «После колесования виселица — истинное отдохновение». Недостаток любви восполняется обещаниями, и бедный бретонец, деятельно участвовавший в каждом восстании легитимистов и ничего не заработавший на этом,

\* низкородные, разночинцы

кроме ран и нищеты, сознался мне, что на этот раз он уверен в награде, ибо Генрих V, по возвращении своем, будет платить пожизненную пенсию в пятьсот франков каждому, кто сражался за него.

Но если народ в Бретани питает к старому дворянству весьма прохладные и корыстные симпатии, то тем безусловнее следует он всем внушениям духовенства, под умственной и физической опекой которого он рождается, живет и умирает. Подобно тому, как в древнекельтские времена бретонец повиновался друиду, так теперь он повинуется священнику, и лишь через его посредство служит он дворянству. Жорж Кадудаль, конечно, не был раболепным лакеем дворянства, так же как и Шаретт, высказавшийся об этом сословии с самым горьким пренебрежением и без обиняков писавший Людовику XVIII: «*La lâcheté de vos gentilshommes a perdu votre cause*» \*; но перед тонзурою своих начальников эти люди смиренно склоняли колени. Даже бретонские якобинцы никогда не могли вполне освободиться от своих церковных наклонностей, и разлад всегда смущал их душу, когда свобода приходила в столкновение с их верой.

Но дойдет ли дело до войны? Сейчас — нет: однако злой демон снова на свободе и тревожит умы. Французское министерство поступило очень необдуманно, начав изо всех сил дуть в военные трубы и разбудив барабанным боем всю Европу. Подобно рыбаку в арабской сказке, Тьер откупорил бутылку, из которой поднялся страшный демон... он немало испугался его исполинского роста и хотел бы хитрыми словами загнать его обратно. «Ты в самом деле вылез из такой маленькой бутылки?» — сказал рыбак великану и в доказательство потребовал, чтобы он снова влез в ту же бутылку, а когда великан-дурак это сделал, рыбак заткнул бутылку хорошей пробкой... Почта отходит, и, подобно султанше Шехеразаде, мы прерываем наш рассказ,

\* «Трусость ваших дворян погубила ваше дело»

обещая вернуться к нему завтра, хотя и завтра не окончим его из-за множества вставных эпизодов.

## XX

Париж, 1 октября 1840

«Читали ли вы книгу Варуха?» С этим вопросом носился некогда Лафонтен по всему Парижу, останавливая каждого знакомого и сообщая ему великую новость, что книга Варуха — чудесная книга, одна из лучших вещей, когда-либо написанных. Люди смотрели на него с удивлением и улыбались, может быть, так же, как улыбаетесь вы моему сегодняшнему письму, в котором я сообщаю важную новость, что «Тысяча и одна ночь» — одна из лучших книг и даже особенно полезная и поучительная в нынешнее время... Потому что по этой книге мы лучше узнаем Восток, чем по рассказам Ламартина, Пужула и компании, и если этих познаний и недостаточно, чтобы разрешить восточный вопрос, то, по крайней мере, они послужат нам маленьким развлечением в наших западных бедствиях. Когда читаешь эту книгу, чувствуешь себя таким счастливым! Уже самая рамка драгоценнее прекраснейших картин Запада. Какой чудный малый — этот султан Шахриар, который на утро после брачной ночи немедленно умерщвляет своих жен! Какая глубина чувства, какое жуткое целомудрие, какая нежность понятий о браке сказывается в этом наивном подвиге любви, который до сих пор несправедливо считали жестоким, варварским, деспотическим! Этот человек питал отвращение к мысли, что чувства его могут загрязниться, а загрязненными они казались ему уже от одной мысли, что жена, которую он прижимал сегодня к своему высокому сердцу, может завтра упасть в объятия другого, какого-нибудь грязного нищего, — и он сразу же убивал ее после первой брачной ночи! Теперь, когда столько непризнанных благородных мужей, которых бессмысленная

толпа долгое время бесчестила и позорила, снова входит в почет, следовало бы постараться восстановить в общественном мнении и славного султана Шахриара. Сам я сейчас не могу взяться за это похвальное дело, так как я уже занят реабилитацией покойного короля Прокруста; а именно, я собираюсь доказать, что о Прокрусте до сих пор так несправедливо судили потому, что он опередил свое время и, живя в эпоху героическую и аристократическую, пытался осуществить самые плебейские идеи наших дней. Никто не понимал его, когда он укорачивал больших, а маленьких растягивал в длину, пока они не приходились по мерке его железного ложа равенства.

Республиканизм во Франции делает с каждым днем все более крупные успехи, и Робеспьер и Марат реабилитированы совершенно. О благородный Шахриар и воистину демократический Прокруст! Вскоре будут уже признаны и ваши заслуги. Только теперь могут вас понять. Правда побеждает в конце концов.

Дело госпожи Лафарж возбуждает еще более страстные толки, с тех пор как состоялся обвинительный приговор. Общественное мнение целиком склонилось в ее пользу, после того как мнение господина Распайля упало на чашку весов. Если, с одной стороны, принять во внимание, что строгий республиканец выступает здесь вопреки интересам своей партии и своими утверждениями непосредственно контролирует суд присяжных, одно из популярнейших учреждений новой Франции, и если, с другой стороны, учесть, что человек, утверждение которого послужило суду основой для обвинительного приговора, — отъявленный интриган и шарлатан, цепляющийся, как репейник, за одежды вельмож, впивающийся, как терновый шип, в тело угнетенного, лстящий высшим, злобно позорящий низших, фальшивый и в речах и в пении, — о небо! — тогда больше не будет сомнений, что Мария Капель невиновна и что к позорному столбу на рыночной площади в Тюлле надо было бы вместо нее привязать зна-

менитого токсиколога, декана медицинского факультета в Париже, господина Орфила! У всякого, кто ближе наблюдал его и хоть немного знаком с происками этого тщеславного себялюбца, создается глубочайшее убеждение, что он не побрезгает никакими средствами, если ему представится случай выказать свою ученость и вообще усилить блеск своей славы! Действительно, этот скверный певец, который козлиным голосом распевает свои скверные романсы в парижских салонах, не щадя человеческого слуха, и готов убить всякого, кто стал бы насмехаться над ним, — он не задумается принести в жертву человеческую жизнь, если собравшуюся публику надо будет уверить в том, что никто не сравняется с ним в искусстве открывать скрытые яды! Общественное мнение считает, что в трупе Лафаржа яда не имелось вовсе, зато тем больше было яда в сердце господина Орфила. Те, которые одобряют приговор суда присяжных в Тюлле, составляют ничтожное меньшинство и больше уже не проявляют прежней уверенности. Среди них есть люди, которые, правда, верят, что отравление имело место, но смотрят на это преступление как на своего рода самозащиту и в известной степени оправдывают его. Лафарж, говорят они, виновен в большем злодеянии: чтобы выгодной женитьбой спастись от банкротства, он, так сказать, похитил благородную женщину, предательски обманутую им, и притащил ее в свою дикую воровскую берлогу, где, окруженная грубой родней, терпя нравственные муки и смертельные лишения, бедная изнеженная, привыкшая удовлетворять своим духовным потребностям парижанка, точно рыба, выброшенная на сушу, точно птица, оказавшаяся среди летучих мышей, точно цветок среди лимузинских гадюк, обречена была сгнить, погибнуть жалкой смертью. Разве это не убийство, и разве самооборону нельзя оправдать? — так говорят защитники и прибавляют: когда несчастная женщина увидела, что она поймана, заточена в глухой монастырь, называемый Гландье, отдана под надзор старухе — матери

вора, лишена помощи закона, даже скована самим законом, — тогда она потеряла голову, и к безумным средствам, которые она сначала пустила в ход для своего освобождения, принадлежит знаменитое письмо, в котором она лгала своему грубому супругу, что любит другого, что его не может любить, что лучше ему отпустить ее, что она убежит в Азию, а он пусть оставит себе ее приданое. Милая дуручка! В своем безумии она считала, что человек не может жить с женщиной, которая его не любит, что он от этого умрет, что это — смерть... Но когда она увидела, что человек может жить и без любви, что отсутствие любви не убивает его, тогда она прибегла к настоящему мышьяку... Крысина яд для крысы! Повидимому, эти же мысли являлись и присяжным в Тюлле, ибо иначе было бы непонятно, почему в своем приговоре они упоминали о смягчающих обстоятельствах. Несомненно, однако, что процесс дамы из Гландье — важный документ для всякого, кто занимается великим женским вопросом, от решения которого зависит вся общественная жизнь Франции. Необыкновенное участие, возбуждаемое этим процессом, вызвано сознанием собственных мук. Бедные женщины, право же, плохо приходится вам! Евреи в своих молитвах каждый день благодарят бога за то, что он создал их не женщинами. Как наивна молитва этих людей, которых именно рождение сделало несчастными, но которые судьбу женщины считают несчастьем самым страшным! Они правы — правы даже во Франции, где страдания женщины прикрыты столькими розами.

## XXI

Париж, 3 октября 1840

Со вчерашнего вечера здесь господствует волнение, не поддающееся никакому описанию. Гром бейрутских пушек находит отклик в груди каждого француза. Я сам словно ошеломлен: страшные опасения проникают в мою душу. Война — еще наименьшее из зол,

которых я опасаясь. В Париже могут случиться вещи, в сравнении с которыми сцены последней революции будут казаться веселым сном в летнюю ночь! Последней революции? Нет, революция — еще все та же, мы видели только начало, и многие из нас не доживут до середины! Французы могут оказаться в скверном положении, если дело будет решаться штыками. Но убивает не железо, а рука, рука же повинувается душе. Весь вопрос теперь лишь в том, сколько душ ляжет на чашки весов. Перед bureaux de recrutement \* становятся в хвост, как перед театрами, когда идет хорошая пьеса: бесчисленное множество молодых людей записывается волонтерами. Пале-Рояль кипит рабочими, которые читают газеты и при этом имеют весьма серьезный вид. Серьезность, которая сейчас проявляется почти безмолвно, несравненно опаснее, нежели болтливый гнев, господствовавший здесь два месяца тому назад. Говорят, что будут созданы палаты, а это, может быть, новое несчастье. Резонерствующие корпорации парализуют все деятельные силы правительства, если правительственная власть не находится целиком в их руках, как было, например, в Конвенте 1792 года. Французы были тогда в гораздо худшем положении, чем сейчас.

## XXII

Париж, 7 октября 1840

Волнение умов возрастает с каждым часом. При жгучем нетерпении французов трудно понять, как они могут выносить эту неизвестность. «Решения, решения во что бы то ни стало!» — кричит весь народ, считающий, что честь его оскорблена. Действительное ли это оскорбление или только воображаемое, я не в состоянии решить; заявление англичан и русских, что они только хотят упрочить мир, звучит, во всяком случае, весьма

\* бюро по вербовке новобранцев

пронически, когда в то же самое время пушечный гром в Бейруте доказывает обратное. Больше всего негодуют на то, что в Бейруте с особой охотой стреляли по трехцветному флагу над домом французского консула. В Большой опере третьего дня партер потребовал, чтобы оркестр заиграл Марсельезу; когда полицейский комиссар воспротивился этому требованию, публика запела без аккомпанемента, но с такой задыхающейся злобой, что слова застревали в горле и звучали непонятным ревом. Или французы забыли слова этой страшной песни и помнят только старую мелодию? Полицейский комиссар, вышедший на сцену, чтобы укротить публику, пробормотал, кланяясь во все стороны, что оркестр не может сыграть Марсельезу, так как этой музыкальной пьесы нет на афише. Голос из партера возразил: «Monsieur, это ничего не значит, потому что ведь и вас нет на афише». Сегодня префект полиции разрешил всем театрам играть Марсельский гимн, и это обстоятельство я считаю немаловажным. В нем я вижу симптом, которому придаю большее значение, нежели всем воинственным тирадам министерских газет. Они, действительно, уже несколько дней так сильно дуют в трубу Беллоны, что война, очевидно, представляется чем-то неизбежным. Самыми миролюбивыми оказались военный министр и морской министр, самым воинственным — министр просвещения, достойный человек, который со времени своего вступления в должность заслужил уважение даже своих врагов и проявляет теперь столько же деятельности, сколько и воодушевления, но, конечно, не может так же хорошо судить о военных силах Франции, как министр морской или военный. Тьер никому и ни в чем не уступит, и он в самом деле герой нации. Национальность — мощный рычаг в его руках, и от Наполеона он узнал, что с его помощью французов легче привести в сильное возбуждение, чем с помощью идей. Несмотря на свой национализм, Франция остается представительницей революции, и только за нее борются французы, даже когда

сражаются из тщеславия, корыстолюбия и глупости. У Тьера — империалистические наклонности, и, как я писал вам еще в конце июля, война радует его сердце. Теперь пол его рабочего кабинета весь покрыт ландкартами, и он лежит на животе и втыкает в бумагу черные и зеленые иголки, совсем как Наполеон. Слух о его биржевых спекуляциях — гнусная клевета; человек может повиноваться только одной страсти, и честолюбец редко думает о деньгах. Все злобные сплетни, колеблющие репутацию Тьера, он сам навлек на себя своею дружбой с бессовестными авантюристами. Теперь, когда он повернулся к ним спиной, люди эти ругают его еще сильнее, чем его политические враги. Но для чего он водил дружбу с этим сбродом? Кто ложится спать с собаками, встает с блохами.

Я изумляюсь смелости короля; пока он колеблется дать удовлетворение оскорбленному национальному чувству, с каждым часом возрастает опасность, представляющая гораздо более страшную угрозу трону, нежели пушки союзных держав. Говорят, завтра будет опубликован указ, которым созываются палаты, и во Франции вводится военное положение (*état de guerre*). Вчера, поздно вечером, на бирже Тортона циркулировали слухи, что Лаланд получил приказание — спешить к Гибралтарскому проливу и, если русский флот захочет соединиться с английским, преградить ему вход в Средиземное море. Рента, понизившаяся еще днем на два процента, упала еще на два процента. Уверяют, будто у господина Ротшильда была вчера зубная боль; другие говорят — колики. Что из всего этого выйдет? Гроза все приближается. Уже слышно, как крылья валькирий режут воздух.

### XXIII

Париж, 29 октября 1840

Тьер сходит со сцены, и снова появляется Гизо. Но игра — все та же, и меняются только актеры. Эта

перемена ролей вызвана требованием многих высоких и высочайших особ, а не обыкновенной публики, которая была весьма довольна игрой своего первого героя. Он, быть может, слишком добивался одобрения партера; его преемника скорее интересует внимание более высоких сфер — посольских лож.

Теперь мы не отказываем в сострадании человеку, который при нынешних условиях въезжает в Hôtel des Carusins; он более достоин сожаления, чем тот, кто покидает этот дом пыток. Он почти так же достоин сожаления, как сам король; в короля стреляют; на министра клеветуют. Сколько грязи кидали в Тьера, пока он был министром! Сегодня он снова поселяется в своем маленьком доме на площади Сен-Жорж, и я советую ему тотчас же взять ванну. Здесь он снова в незапятнанном величии явится своим друзьям, и, так же как четыре года тому назад, когда он столь же внезапно покинул министерство, всякий увидит, что руки его остались чисты, а сердце не покрылось морщинами. Он стал лишь несколько серьезнее, хотя настоящая серьезность всегда была в нем и таилась, как у Цезаря, под внешней легкостью. Обвинение в хвастовстве, которому в последнее время он подвергался всего чаще, он опровергает своим уходом из министерства; но именно потому, что он не был бахвалом, что он в самом деле занят был крупными приготовлениями к войне, — именно потому ему и пришлось уйти. Теперь всякий видит, что призыв к оружию не был хвастовством шарлатана. Сумма, истраченная на армию, на флот и на крепости, уже составляет более четырехсот миллионов, и через несколько месяцев шестьсот тысяч солдат будут стоять под ружьем. Предполагались еще более серьезные приготовления к войне, и в этом-то причина, почему король еще до начала заседаний палаты должен был во что бы то ни стало избавиться от великого вооружителя. Правда, теперь найдутся ограниченные депутатские головы, которые будут кричать о бесполезных тратах, не думая о том, что, быть может, именно эти

военные приготовления сохранили нам мир. Один меч удерживает другой в ножнах. Теперь в палате будет дебатироваться великий вопрос: оскорблена ли Франция лондонским трактатом или не оскорблена? Это запутанный вопрос, при решении которого надо принять во внимание различие национальностей. Но пока что — у нас мир, и королю Луи-Филиппу подобает хвала, ибо, охраняя мир, он выказал столько же храбрости, сколько проявлял Наполеон во время войны. Да, не смейтесь, он — Наполеон мира!

#### XXIV

Париж, 4 ноября 1840

Маршал Сульт, герой меча, охраняет внутреннее спокойствие Франции, и это — его исключительная задача. Между тем, за внешнее спокойствие отвечает Луи-Филипп, умный король, который трудом терпеливых рук, а не ударом меча старается распутать гордиев узел, дипломатическую путаницу. Удастся ли ему? Мы желаем этого, и притом как в интересах монархов, так и в интересах народов Европы. Последним война может принести лишь смерть и нищету. Монархи же даже в самом благоприятном случае, в случае победы над Францией, превратят в действительность те опасности, которые сейчас, быть может, существуют лишь в воображении двух-трех государственных деятелей, тревожа их мысли. Великий переворот, совершившийся во Франции пятьдесят лет тому назад, если и не закончился, то во всяком случае приостановился, и только внешняя сила может снова привести в движение страшное колесо. Угроза войны с новой коалицией подвергает опасности не только трон короля, но и власть той буржуазии, законным — во всяком случае, фактическим — представителем которой служит Луи-Филипп. Не народ, а буржуазия начала революцию в 1789 году и завершила ее в 1830; это она правит теперь, хотя многие из ее упол-

помоченных — люди знатного рода; это она держала до сих пор в узде рвущуюся вперед толпу, требующую не только равенства в законах, но и равенства в благах земных. Буржуазия, которой приходится защищать плод своего упорного труда, новое государственное устройство, от напора народа, стремящегося к радикальному преобразованию общества, окажется, конечно, слишком слабой, если на нее нападут еще и иностранные державы, вчетверо сильнее; и еще прежде чем дело дойдет до вторжения, буржуазии придется отречься; низшие классы снова, как в страшные девятые годы, станут на ее место, но только лучше организованные, с более ясным сознанием, с новыми доктринами, с новыми богами, с новыми силами, земными и небесными; иностранцам пришлось бы вступить в борьбу с революцией не политической, а социальной. Поэтому благоразумие должно было бы внушить союзным державам, что надо поддерживать существующее во Франции правительство, тем самым не давая более опасным и заразительным элементам вырваться на волю и требовать своих прав. Ведь сам господь явил своим наместникам столь поучительный пример: последнее покушение показало, что глава Луи-Филиппа пользуется особым покровительством промысла, что промысел охраняет великого брандмейстера, который гасит огонь и предотвращает мировой пожар.

Я не сомневаюсь, что маршалу Султы удастся упрочить внутреннее спокойствие. Благодаря Тьеру и его приготовлениям к войне он располагает достаточным числом солдат, которые, конечно, весьма недовольны изменившимся решением. Сможет ли он рассчитывать на них, если яростный народ, с оружием в руках, потребует войны? Смогут ли солдаты устоять против воинственных стремлений собственного сердца и вступят ли в бой со своими братьями вместо того, чтоб сражаться с чужестранцами? Смогут ли они спокойно выслушать упрек в трусости? Не потеряют ли они голову, когда вдруг прибудет со св. Елены умерший полково-

дец? Я хотел бы, чтоб он уже лежал под куполом Dôme des Invalides и чтобы похороны благополучно миновали!

Об отношении Гизо к двум выше названным столпам государства я буду говорить в дальнейшем. Да и нельзя еще определить, собирается ли он прикрывать их обоим эгидой своего слова. Через несколько недель ему потребуется вся сила его ораторского дара, и если палата, как говорят, подымет вопрос о *casus belli* \*, ученый муж сможет самым блистательным образом проявить свои познания. Палата, будто бы, обратит особое внимание на заявление коалиционных держав о том, что при замирении Востока они не имеют в виду расширения территории и каких-либо других частных выгод, и всякое фактическое противоречие с этим заявлением будет рассматриваться как *casus belli*. О той роли, которую в этом деле будет играть Тьер, и о том, собирается ли он снова, со всею мощью своей речи, выступить против своего старого соперника Гизо, я также смогу сообщить вам что-либо только впоследствии.

Положение Гизо — трудное, и я уже много раз говорил вам, что очень его жалею. Он — достойный, твердый в убеждениях человек, и Каламатта в превосходном портрете очень верно изобразил его благородную внешность. Упрямая пуританская голова, прислонившаяся к каменной стене, — при резком движении назад он мог бы больно удариться. Портрет выставлен в магазинах Гупиля и Ритнера. На него много смотрят, и Гизо уже *in effigie* \*\* приходится многое терпеть от злых языков.

## XXV

Париж, 6 ноября 1840

Об Июльской революции и об участии, которое принимал в ней Луи-Филипп, появилась теперь книга,

\* повод к войне

\*\* заочно

возбуждающая всеобщее внимание и всюду вызывающая толки. Это первая часть «Histoire de dix ans» \* Луи Блана. Я еще не видел этого сочинения; как только прочту его, попытаюсь высказать самостоятельное суждение о нем. Сегодня сообщу вам только то, что уже теперь могу сказать об авторе и занимаемом им положении, чтобы у вас мог сложиться правильный взгляд и чтобы вы могли точно определить, в сильной ли степени отразился на книге дух партии и в какой мере содержание ее заслуживает или не заслуживает вашего доверия.

Автор, господин Луи Блан, еще молодой человек, лет тридцати, не более; наружностью, однако, он напоминает тринадцатилетнего мальчика. Действительно, его на редкость малый рост, его румяное безбородое личико и нежный, мягкий, еще не сформировавшийся голос — все это содействует сходству с прелестным мальчуганом, только что выскочившим из третьего класса школы и в первый раз надевшим черный фрак; и все же он — знаменитость республиканской партии, а в рассуждениях его царит такая умеренность, какую встречаешь только у стариков. — Физиономия его, особенно резвые глазки, указывают на южнофранцузское происхождение. Луи Блан родился в Мадриде от французских родителей. Его мать — корсиканка, и притом из рода Поццо ди-Борго. Воспитывался он в Родезе. Не знаю, сколько времени он уже в Париже, но шесть лет тому назад я застал его здесь редактором республиканского журнала, называвшегося «Le Monde», а с тех пор он основал также и «Revue du Progrès», самый значительный орган республиканизма. Его кузен Поццо ди-Борго, бывший русский посланник, говорят, был не слишком доволен направлением молодого человека и нередко жаловался на него. (Об этом знаменитом дипломате, — замечу мимоходом, — здесь получены самые грустные известия, и его умственное расстройство,

\* «История десяти лет»

кажется, неизлечимо; порою он впадает в бешенство, и ему чудится тогда, что император Наполеон хочет его расстрелять.) Мать Луи Блана и вся его родня по матери живут еще на Корсике. Но это лишь физическое, кровное родство. По духу Луи Блан самый близкий родственник Жан-Жака Руссо, сочинения которого служат источником всего его образа мыслей и манеры писать. Его теплая, ясная, правдивая проза напоминает этого первого отца церкви революции. «*L'organisation du travail*» \* — сочинение Луи Блана, которое уже несколько лет тому назад обратило на него внимание публики. В каждой строке этого маленького опуса сказывается если не основательное знание, то пламенное сочувствие к страданиям народа, и вместе с тем в нем проявляется та склонность к неограниченной власти, то глубокое отвращение к гениальному индивидуализму, которыми Луи Блан так резко отличается от иных своих республиканских товарищей, например, от остроумного Пиа. Это различие едва не вызвало ссоры, когда Луи Блан не пожелал признать безусловную свободу печати, которой требовали другие республиканцы. Здесь обнаружилось с полной ясностью, что последние любят свободу только ради свободы, а Луи Блан смотрит на нее скорее как на средство к осуществлению филантропических целей, так что с этой точки зрения государственная власть, без которой ни одно правительство не может содействовать благу народа, значит для него гораздо больше, чем все права и привилегии индивидуальной мощи и величия. Да, может быть, уже вследствие своего маленького роста он ненавидит все крупные индивидуальности и, задирая голову, косится на них с тем недоверием, которое роднит его с другим учеником Руссо, покойным Максимилианом Робеспьером. Я думаю, этот малыш готов срубить всякую голову, если она нарушает установленную рекрутскую мерку, — разумеется, в интересах

\* «Организация труда»

общественного блага, всеобщего равенства, социального счастья народа. Сам он ведет умеренную жизнь, повидимому, не дозволяет своему маленькому телу никаких наслаждений и хочет ввести в государстве всеобщее кухонное равенство, при котором для всех нас должна вариться одна и та же черная похлебка, — и что еще ужаснее! — великан будет получать такую же порцию, какая полагается его братцу карлику. Нет, покорно благодарю, новый Ликург! Правда, все мы братья, но я — большой брат, а вы — братья меньшие, и мне подобает бóльшая порция. Луи Блан — потешная смесь лилипута со спартанцем. Во всяком случае, я предсказываю ему большую будущность, и он будет играть важную роль, хотя бы и недолго. Он создан быть великим человеком для маленьких людей, которые легко могут носить на плечах такого, как он, между тем как люди гигантского покроя, — хотелось бы сказать: умы плотной корпуленции, — слишком тяжелая для них ноша.

Говорят, новая книга Луи Блана написана прекрасно, и так как в ней много неизвестных и злых анекдотов, то уже по самому содержанию она представляет интерес для злорадной толпы. Республиканцы блаженствуют, смакуя ее; ничтожество, мелочность той правящей буржуазии, которую они хотят низвергнуть, вскрыта здесь весьма забавно. Для легитимистов же книга эта — настоящее лакомство, ибо автор, пощадивший их самих, издевается над их буржуазными победителями и обдаёт ядовитой грязью королевскую мантию Луи-Филиппа. Ложь или правда все то, что Луи Блан рассказывает о нем? Если правда, то великая французская нация, так много говорящая о своем *point d'honneur*, уже десять лет позволяет заурядному фокуснику, коронованному Боско, управлять ею и быть ее представителем. Рассказывается в этой книге, между прочим, следующее: 1 августа, когда Карл X назначил герцога Орлеанского наместником, Дюпен отправился к последнему в Нейльи и стал убеждать его, что во избежание опас-

ного подозрения в двуличности он должен решительным образом порвать с Карлом X и письменно сообщить ему о своем отказе. Луи-Филипп, будто бы, вполне одобрил совет Дюпена и даже попросил его сочинить письмо; Дюпен написал письмо, и притом в самых резких выражениях, а Луи-Филипп, собираясь запечатать конверт и поднося уже сургуч к свече, вдруг повернулся к Дюпену и сказал: «В важных случаях я всегда советуюсь с моей женой, я еще прочту ей письмо, и, если она его одобрит, мы тотчас же его отошлем». Затем он вышел из комнаты, а через некоторое время, вернувшись с письмом, быстро запечатал его и немедленно отослал к Карлу X. Но будто бы только конверт остался тот же, а грубое письмо Дюпена искусный фокусник подменил другим, весьма униженным, где он клялся в своей верноподданнической преданности, принимая назначение, и заклинал короля отречься в пользу его внука. Тут встает вопрос: как удалось открыть этот обман? В ответ на этот вопрос господин Луи Блан устно сообщил моему знакомому следующее: господин Берье, посетивший Карла X в Праге, почтительно заметил ему, что его величество слишком поторопился отречься, а его величество в свое оправдание показал ему письмо, полученное им в то время от герцога Орлеанского, совету которого он последовал с тем большей готовностью, что признал в нем наместника королевства. Таким образом, господин Берье — единственный, кто видел это письмо, и на его авторитете основан весь анекдот. Для легитимистов этот авторитет, конечно, достаточен, и так же достаточен он для республиканцев, которые верят всему, что измышляет легитимистская ненависть к Луи-Филиппу. Это мы видели совсем недавно, когда мерзкая баба сочинила знаменитые подложные письма, а господин Берье выступил в полном своем блеске, как адвокат подлога. Мы, не принадлежащие ни к республиканцам, ни к легитимистам, верим только в талант господина Берье, в его благозвучный голос, в его склонности к игре и музыке, а в особенности — в те огром-

ные суммы, которыми партия легитимистов награждает своего великого адвоката.

Относительно Луи-Филиппа мы на этих страницах уже не раз высказывали наше мнение. Он — великий король, хотя более напоминает Одиссея, чем Аякса, неистового самодержца, который в борьбе с хитроумным долготерпеливцем должен был плачевно смириться. Но он не мошенник, он не крал корону Франции, нет, — горчайшая необходимость, скажу даже, немилость божья увенчала его короной в страшный, в роковой час. Правда, он по этому случаю немного поломался и не был вполне честен со своими избирателями, с героями Июля, поднявшими его на щит, но ведь и они-то — вполне ли честно отнеслись они к нему, принцу Орлеанскому? Они думали, что он просто марионетка, они весело усадили его в красные кресла, с твердой уверенностью, что его легко будет сбросить оттуда, если он окажется недостаточно гибок и не даст дергать себя за проволоку или если им снова придет в голову разыграть республику — старую пьесу. Но на этот раз, как я говорил уже, монархия сама сыграла роль Юния Брута — чтобы обмануть республиканцев. И Луи-Филипп оказался достаточно умен, чтобы надеть на себя маску самой что ни на есть овечьей простоты, начать расхаживать по улицам Парижа, как Штаберле, с большим сантиментальным зонтиком подмышкой, пожимая немытые руки гражданину Встречному и гражданину Поперечному и улыбаясь с весьма растроганным видом. Он играл тогда в самом деле курьезную роль, и когда я прибыл сюда вскоре после Июльской революции, мне часто случалось смеяться над этим. Я еще очень хорошо помню, что сразу же по приезде в Париж я отправился к Палей-Роялю — посмотреть на Луи-Филиппа. Приятель, сопровождавший меня, рассказал мне, что король появляется теперь на террасе только в определенные часы, но что раньше, всего еще несколько недель тому назад, его можно было видеть во всякое время, и притом за пять франков. «За пять франков! — воскликнул

я удивленно: — разве он показывает себя за деньги?» — «Нет, но его показывают за деньги; дело заключается в следующем: существует компания продавцов контрамарок, клакеров и прочего сброда, который каждому иностранцу за пять франков предлагал показать короля; за десять франков можно было увидеть, как король подымает глаза к небу и прижимает руку к сердцу, словно для клятвы; если же давали двадцать франков, он должен был спеть Марсельезу». И вот, если вы этим молодцам давали пятифранковую монету, они подымали восторженный крик под окнами короля, и его величество появлялся на террасе, кланялся и уходил. За десять франков эти молодцы начинали кричать еще громче и бесновались, когда появлялся король, которому в знак безмолвного умиления оставалось поднять глаза к небу и приложить руку к сердцу, как бы принося клятву. Англичане же порою платили и двадцать франков, и уж тогда энтузиазм достигал высшего предела, и как только на террасе показывался король, начинали петь Марсельезу и так отчаянно орать, что Луи-Филипп, может быть, только для того, чтобы кончилось это пение, возводил глаза к небу, прикладывал руку к сердцу и тоже запевал Марсельезу. Не знаю, отбивал ли он еще при этом и такт ногою, как уверяют. Вообще я не могу поручиться за истинность этого анекдота. Приятель, рассказавший мне его, умер семь лет тому назад; семь лет он уже не лжет. Таким образом, авторитет, на который я ссылаюсь, — не господин Берье.

## XXVI

Париж, 7 ноября 1840

Король плакал. Он плакал публично, на троне, окруженный всеми сановниками государства, на виду у всего своего народа, избранные представители которого стояли перед ним; и очевидцами этого грустного зрелища

были все иноземные монархи, представленные в лице своих посланников и уполномоченных. Король плакал! Это — событие прискорбное. Многие сомневаются в искренности этих слез и сравнивают их со слезами Рейнеке-Лиса. Но разве недостаточно трагично то, что король терпит такой гнет, так измучен и должен прибегать к влажному вспомогательному средству — плачу? Нет, Луи-Филиппу, царственному долготерпевцу, не приходится насилловать свои слезные железы, когда он думает о тех ужасах, которые грозят ему, его народу и всему миру.

Неизвестно еще ничего положительного о настроении в палате. А между тем, от него зависит все как внутреннее, так и внешнее спокойствие Франции и всего мира. Если возникнет серьезный разлад между буржуазными авторитетами палаты и короной, то вожди радикализма не будут больше медлить с восстанием, которое втайне уже организуется и ждет только того часа, когда король не сможет больше рассчитывать на поддержку палаты депутатов. До тех пор пока обе стороны будут только дуться, но все же не нарушат своего брачного контракта, государственный переворот не может удасться, и это прекрасно знают предводители движения; потому они и спрятали на время свою злобу и остерегаются всякого несвоевременного мятежа. История Франции показывает, что каждая значительная фаза революции всегда начиналась в парламентских формах и что люди, сопротивлявшиеся законным путем, всегда более или менее явственно подавали народу зловеющий знак. Благодаря этому участию, мы сказали бы даже, сообщничеству парламента, междуцарствие грубого насилия никогда не бывает длительно, и французы защищены от анархии гораздо более надежно, чем другие народы, переживающие революционное состояние, — например, испанцы. Это мы видели в дни Июля, когда парламент, законодательное собрание, превратился в исполнительный конвент. В худшем случае снова ожидается такое превращение,

## XXVII

Париж, 12 ноября 1840

Рождение герцога Шартрского — послесловие к тронной речи. «Сострадание — нагой младенец», — говорит Шекспир. А младенец к тому же — принц крови и, следовательно, обречен переносить печальнейшие испытания, а то и носить на голове терновый венец французского короля! Приставьте к нему немецкую кормилицу, чтобы он всасывал млеко терпения. Сейчас он свеж и здоров. Милое дитя сразу поняло свое положение и сразу начало плакать. Впрочем, говорят, он очень похож на своего деда. Дед ликует. Мы радуемся от души, что ему даровано это утешение, этот бальзам; за последнее время он ведь столько выстрадал! Луи-Филипп — превосходнейший семьянин, и как раз эта чрезмерная забота о счастии своей семьи столь часто приводила его к столкновениям с национальными интересами французов. Именно потому, что у него есть дети и что он их любит, он питает самое решительное и нежное пристрастие к миру. Воинственные монархи обычно бездетны. Эта любовь к семейственности и к семейному счастью, преобладающая в Луи-Филиппе, конечно, достойна уважения, и во всяком случае, высочайший пример оказывает благотворнейшее влияние на нравы. Король добродетелен в самом буржуазном смысле, дом его — самый порядочный во всей Франции, и буржуазия, избравшая его своим наместником, по-прежнему имеет достаточные основания быть им довольной.

Пока буржуазия стоит у кормила, нынешней династии нечего опасаться. Но что будет, когда подымутся бури, когда мощные кулаки потянутся к кормилу и буржуа боязливо отдернут руки, умеющие с большим успехом считать деньги и вести торговые книги? Буржуазия окажет еще более слабое сопротивление, чем прежняя аристократия; ибо, даже несмотря на свою жалкую слабость, несмотря на свою немощь — плод

безнравственности, на свою испорченность — следствие придворной жизни, старое дворянство все же еще было воодушевлено неким *point d'honneur*, совершенно чуждым нашей буржуазии, которая процветает благодаря духу промышленности, но которую он же и погубит. Предсказывают, что и для нее наступит 10 августа, но я сомневаюсь, чтобы мещанские рыцари июльского трона проявили такую же отвагу, как напудренные маркизы старого века, которые в шелковых камзолах и с тоненькими шпажонками сопротивлялись в Тюильри натиску толпы.

Известия, которые мы получаем с Востока, очень печальны для французов. Авторитет Франции на Востоке безвозвратно утрачен и стал добычей Англии и России. Англичане достигли, чего хотели — фактического господства в Сирии, обезопасили свой торговый путь в Индию: Евфрат, одна из четырех райских рек, — теперь английская река, по которой можно плыть на пароходе, как если бы вы ехали в Ремсгет или Маргет; на Тауэрстрит помещается *steamboat-office* \*, где покупают билеты; а высаживаются в Багдаде, в древнем Багдаде, и пьют портер или чай. Англичане каждый день клянутся в своих газетах, что они не хотели войны и что пресловутый трактат о замирении отнюдь не должен был нарушить интересы Франции и бросить миру факел войны. И все же это было именно так: англичане нанесли французам жесточайшее оскорбление и зажгли мировой пожар, чтобы добиться для себя кой-каких преимуществ в этой шахматной игре. Но эгоизм печется лишь о настоящем, а будущее готовит ему кару. Правда, преимущества, которые этот трактат доставляет России, — еще не наличные деньги, их нельзя так быстро сосчитать и занести в приход, но для ее будущего они имеют неоценимое значение. Прежде всего, разрушается союз между Францией и Англией, что является важным приобретением для России, кото-

\* пароходная контора

рая рано или поздно должна вступить в борьбу с одной из этих держав. Далее — уничтожена сила египтянина, который, став во главе мусульман, был бы в состоянии защитить Турцию от русских, уже видящих в ней свою собственность. И еще много выгод в этом роде приобрели русские, и притом не подвергаясь особой опасности, ибо в случае войны французы не могли бы попасть к ним, так же, как не могут они добраться и до англичан: между Англией и гневом французов — море, между гневом французов и Россией — Германия; и мы, бедные немцы, по вине географической случайности, должны были бы драться ради вещей, которые нас вовсе не касаются, так-таки ни за что, ради чьих-то прекрасных глаз. Ах! Если б хоть глаза эти в самом деле были прекрасны!

## XXVIII

Париж, 6 января 1841

Новый год, как и старый, начался музыкой и танцами. В Большой опере звучали мелодии Доницетти, которыми кое-как заполняют время, пока не явится Пророк — т. е. опера Мейербера, носящая это имя. Третьего дня с большим, с блестящим успехом дебютировала мадмуазель Гейнефеттер. В Одеоне, итальянском соловьином гнезде, пускают трели более томные, чем когда бы то ни было, стареющий Рубини и вечно юная Гризи, поющий цветок красоты. Начались также и концерты в соперничающих залах Герца и Эрара, этих двух художников поющего дерева. Кто в этих публичных заведениях Полигимнии не сумеет вдоволь соскучиться, тот уже может вволю назеваться на вечерах у частных лиц: рой юных дилетантов, подающих самые жуткие надежды, выказывает здесь свое искусство всевозможными звуками и на всевозможных инструментах; господин Орфила снова поет козлиным голосом свои немилосерднейшие романсы, музыкальный яд для крыс. После плохой музыки разносят тепловатую сахар-

ную воду или соленое мороженое и танцуют. Начинаются уже и бал-маскарады под звуки труб и литавр, и парижане, словно отчаявшиеся люди, бросаются в грохочущий водоворот утех. Немец пьет, чтобы избавиться от гнетущей заботы; француз мчится в опьяняющем, ошеломляющем галопе. Богиня легкомыслия рада была бы прогнать все хмурые тревоги из души своего любимого народа, но это не удастся ей; в промежутке между кадрилими Арлекин шепчет на ухо своему соседу Пьеро: «Как вы думаете, будем мы воевать этой весной?» Само шампанское бессильно и может затуманивать лишь головы, — сердца остаются трезвы, и порою, во время веселого банкета, гости бледнеют, шутка замирает на их устах, они бросают друг на друга испуганные взгляды, на стене им чудятся слова: «Мене, Текел! Фарес!»

Французы не скрывают от себя опасности своего положения, но храбрость — их национальная добродетель. И ведь они прекрасно знают, что политические богатства, завоеванные смелостью их отцов, не могут быть сохранены терпеливой уступчивостью и бездейственным смирением. Даже Гизо, столь недостойно поруганный Гизо, отнюдь не намерен сохранять мир во что бы то ни стало. Человек этот, правда, бесстрашно сопротивляется натиску радикализма, но я убежден, что он так же решительно встретит напор абсолютистских и иерархических стремлений. Не знаю, велико ли было число национальных гвардейцев, которые на похоронах императора кричали: «*A bas Guizot!*» \*, но знаю, что национальная гвардия, если б она понимала свои собственные интересы, выказала бы столько же благоразумия, сколько и благодарности, открыто выступив с протестом против этих гнусных выкриков. Ибо ведь национальная гвардия, в сущности, не что иное, как вооруженная буржуазия, а как раз буржуазия, которой в одно и то же время угрожают своими интригами

\* «Долой Гизо!»

партия старого порядка и проповедники Бабефовской республики, нашла в Гизо своего естественного патрона, охраняющего ее от врагов низших и высших. Гизо никогда не желал ничего иного, кроме господства средних классов, считая, что богатство и образование дают им возможность руководить делами государства и быть его представителями. Я убежден, что если бы в старой аристократии Гизо нашел еще жизненные элементы, которые позволяли бы ей управлять Францией — ко благу народа и человечества, он стал бы защищать ее с неменьшим рвением и, конечно, с большим бескорыстием, нежели Берье и подобные ему паладины прошлого; точно так же я убежден, что он боролся бы за господство пролетариев, и притом с более суровой честностью, чем Ламене и его духовные братья, если бы считали, что низшие классы по своему образованию и благоразумию созрели для управления государством, и если бы не понимал, что преждевременная победа пролетариев была бы непродолжительна и явилась бы несчастием для человечества, ибо в тупом упоении равенством они разрушили бы на этой земле все прекрасное и возвышенное и с иконоборческой яростью накиннулись бы на искусство и науку.

Гизо, однако, — не человек упрямого застоя, он человек размеренного и своевременного прогресса, и будущее воздаст ему самую блистательную справедливость. Быть может, это случится уже и в самом близком будущем: надо только, чтобы он покинул *Hôtel des Capucins*. Занял бы он в этом случае снова место посланника в Лондоне? Стал бы он, несмотря на свою симпатию к Англии, поддерживать это новое министерство, которое мечтает о союзе с Россией? — Возможно, ибо в том случае, если б Франция была вынуждена воевать, Гизо, пренебрегая всеми революционными средствами, стал бы стремиться только к политическим союзам. «Если, несмотря на все жертвы и умеренность, мы не сможем сохранить мир, мы будем вести войну, как держава (*puissance*), а не как буйная толпа (*cohue*)», — так

выразился Гизо в интимном салоне. Но это — причина, почему он не терпит всех тех людей, которые ожидают победы только от пропаганды и хотят придать себе важности, считая, что они — ее необходимые орудия. Это именно журналисты, приписывающие своему перу огромную спасительную силу. «Самое лучшее на свете — это ночной колпак из шерсти», — говорит шапочник, а журналисты говорят: «Самое лучшее — это газетная статья!» Как они ошибаются, это мы увидели недавно, когда пропаганда газет: «National», «Courrier français», «Constitutionnel» возбудила в Германии такое неудовольствие. В этом отношении отцы были гораздо практичнее: когда они видели, что космополитические идеи революции — в опасности, они искали помощи в национальном чувстве. Сыновья, когда опасность грозит их национальности, прибегают к космополитическим идеям; но эти идеи не столь властно влекут к подвигу, как те воодушевляющие испарения земли, которые мы называем любовью к отечеству.

Сомневаюсь в том, чтобы, в случае войны, союз с Россией мог оказаться для французов более благотворным, чем пропаганда. Последняя угрожает лишь преходящей форме их общественного строя, а союз с Россией подвергает опасности самую сущность общества, заветный жизненный принцип, душу французского народа.

## XXIX

Париж, 11 января 1841

Среди французов все более распространяется мнение, что этой весной пение соловьев заглушат трубы Беллоны и аромат бедных фиалок, растоптанных конским копытом, рассеется в пороховом дыму. Я отнюдь не могу согласиться с этим мнением, и сладчайшая надежда на мир упорно гнездится в моей груди. Все же вполне возможно, что прорицатели несчастья правы, и смелая весна неосторожно приближается с фитилем

к заряженным пушкам. Но если эта опасность минует, если и знойным летом не разразится гроза, тогда, думаю, Европе уже долго не будут угрожать ужасы войны, и мы можем быть уверены в долгом, прочном мире. Путаница, пришедшая свыше, будет к тому времени уже спокойно распутана там же наверху, растущее благо-разумие народов снова отбросит в грязь низкую тварь, национальную ненависть, развившуюся в низших слоях общества. Но это знают демоны разрушения по обе стороны Рейна, и подобно тому, как здесь во Франции, радикальная партия, опасаясь окончательного упрочения Орлеанской династии и ее длительного обеспеченного существования, жаждет случайностей войны, лишь бы иметь шанс на перемену правительства, так и по другую сторону Рейна радикальная партия проведет крестовый поход против Франции — в надежде, что разнузданные страсти вызовут дикое состояние, при котором идеи движения можно будет осуществить гораздо легче, нежели в мирную и кроткую эпоху. Да, страх перед усыпляющей и сковывающей властью мира привел этих людей к отчаянному решению — принести в жертву французский народ (как они просто-душно выражаются). Мы говорим это открыто, потому что этот героизм представляется нам столь же безрассудным, сколь и неблагодарным, и потому что мы чувствуем несказанное сострадание к медвежьей беспомощности, воображающей, будто она умнее лисиц со всей их хитростью! О глупцы, советую вам — не занимайтесь опасным ремеслом — политическими плутнями, будьте честны, как немцы, и благодарны, как люди, и не воображайте, что вы станете на собственные ноги, когда падет Франция, единственная опора, которая есть у вас на этой земле!

Но не свыше ли раздувают искры раздора? Не думаю, и мне кажется, что дипломатическая путаница — скорее результат неловкости, чем злого умысла. Кто же хочет войны? Англия и Россия уже и теперь могли бы успокоиться; в мутной воде они уже выудили доста-

точно выгод. Для Германии же и для Франции война так же бесполезна, как и опасна; правда, французы рады были бы владеть рейнской границей, но только потому, что без нее они слишком плохо защищены от всяких вторжений, немцам же нечего бояться утратить рейнскую границу, пока они сами не нарушат мир. Ни французский, ни немецкий народ не стремится к войне. Мне незачем, конечно, доказывать, что бахвальство наших тевтоманов, крикливо требующих Эльзаса и Лотарингии, не выражает желаний немецкого крестьянина и немецкого гражданина. Но и французский гражданин и французский крестьянин, зерно великого народа и вся масса его, не хотят войны, так как буржуазия жаждет лишь промышленной добычи, мирных завоеваний, а крестьянин по опыту времен Империи прекрасно знает, какой дорогой, какой кроваво-дорогой ценой ему приходится оплачивать триумфы национального тщеславия.

Воинственные стремления, так бурно пылавшие и клочтавшие в сердцах французов еще со времени галлов, мало-по-малу утихли, и похороны императора Наполеона Бонапарта показали, как ослабел теперь *furore francese* \*, прежде господствовавший среди них. Я не могу согласиться с корреспондентами, которые в зрелище этого удивительного погребения увидели только помпу и великолепие. От них остались скрыты те чувства, что потрясли французский народ до самых глубин. А чувства эти были — не солдатское тщеславие и не солдатская гордость; победоносного императора не сопровождало то ликование преторианцев, та шумная жажда славы и грабежа, память о которой Германия хранит еще со времен Империи. Старые завоеватели умерли за это время, и на погребальное шествие глядело совсем новое поколение, и если не с пламенным гневом, то с благоговейной тоской созерцало оно золотой катафалк, где покоились в гробу все радости, горе-

\* французское неистовство

сти, заблуждения и разбитые надежды их отцов, живая душа их отцов! Здесь больше было немых слез, чем громких криков. И к тому же, все зрелище было так сказочно, так фантастично, что не верилось собственным глазам, казалось, что гредишь. Ибо этот Наполеон Бонапарт, которого теперь хоронили, для нынешнего поколения давно уже перешел в царство преданий, туда, где пребывают тени Александра Македонского и Карла Великого, — а теперь, вдруг, холодным зимним утром он является среди нас, живых, на золотой триумфальной колеснице, которая, словно призрак, движется в белом утреннем тумане.

Но этот туман чудесно рассеялся, как только похоронное шествие достигло Елисейских Полей. Тут солдаты вдруг прорезало мрачные облака, в последний раз поцеловало своего любимца и бросило розовые лучи на императорских орлов, которых несли впереди гроба, и как будто с нежным состраданием озарило оно бедные, скудные остатки тех легионов, которые когда-то, носимые, словно буря, завоевывали мир, а теперь, в изношенных мундирах, усталые, постаревшие,ковыляя, шли за погребальной колесницей. Между нами говоря, эти инвалиды великой армии казались карикатурой, насмешкой над славой, римской сатирой на мертвого триумфатора!

Муза истории занесла это погребение в свои летописи как особую достопримечательность; но для современников это событие менее важно и представляет лишь доказательство, что во Франции дух солдатчины вовсе не так уж процветает, как кричит об этом не один бахвал по сю сторону Рейна и как вторит ему не один болтливый дурак по ту сторону Рейна. Император умер. С ним умер и последний герой старого стиля, и новый филистерский мир облегченно вздохнул, освобождаясь от блистательного гнета. Над его могилой возвышается новая буржуазная эпоха, почитающая героев совсем иных, например, добродетельного Лафайета или Джемса Уатта, бумагопрядильщика.

## XXX

Париж, 31 января 1841

Между народами, обладающими свободной печатью, независимыми парламентами и вообще учреждениями общественной гласности, недоразумения, вызванные интригами придворных дворянчиков и злобной враждой партий, не могут быть длительны. Только под покровом тьмы темное семя может разрастись в неисцелимый раздор. Как по ту, так и по эту сторону пролива раздались благороднейшие голоса, заявившие, что только преступное безрассудство или злобные козни, угрожающие смертью свободе, могли нарушить мир; и в то время когда английское правительство, прибегнувшее к замалчиваниям в тронной речи, как бы официально продолжает свое враждебное Франции поведение, английский народ, напротив, протестует в лице своих достойнейших представителей и вполне открыто отдаст справедливость французам. Речь лорда Брума в только что открывшемся парламенте вызвала здесь примирительное настроение, и он вправе похвалиться, что оказал всей Европе большую услугу. Также и речи других лордов, даже Веллингтона, заслуживают похвал, и на этот раз Веллингтон был выразителем истинных желаний и помыслов своей нации. Угроза франко-русского союза открыла глаза его светлости, и благородный лорд — не единственный человек, на которого снизошло такое просветление. Также и в наших немецких землях умеренные тори достигают более правильного понимания своих политических интересов, а их бульдогов, старонемецких кобелей, поднявших было радостный охотничий лай, теперь спокойно привязывают на свору; наши христианско-германские националисты получили высочайший приказ — больше не лаять на французов. Что же касается зловещего союза, то осуществление его, конечно, еще далеко, и негодование на англичан, даже если бы оно достигло крайних

пределов ненависти, не могло бы еще вызвать во Франции любви к русским.

В скорое разрешение восточной путаницы я так же не верю, как и в союз с Москвией. Отношения в Сирии, напротив, все более запутываются, и порою Мехмет-Али разыгрывает опасные шутки со своими врагами. Носятся странные, но большей частью противоречивые слухи о хитростях, с помощью которых старик хочет восстановить уважение к себе. Его несчастье — избыток хитрости, который мешает ему видеть вещи в их настоящем свете. Он запутывается в сетях собственных козней. Например, сумев приманить прессу и заставив ее трубить о его могуществе, распускать в Европе всякие ложные известия, он, правда, завоевал симпатию французов, преувеличивших значение союза с ним, но в то же время он сам был виноват в том, что французы сочли его достаточно сильным для оказания сопротивления без их помощи до весны. Это и погубило его, а не жестокость, которую «Всеобщая Газета» изобразила, конечно, слишком яркими красками. Теперь всякое ничтожество лягает на ослиный лад большого льва. Чудовище, быть может, вовсе не такое плохое, как с досадой утверждают люди, которых он не подкупал или не хотел подкупать. Очевидцы его великодушных деяний уверяют, что лично Мехмет-Али милостив и добр, любит цивилизацию, и лишь крайняя необходимость, военное положение его страны, вынуждает его к той системе гнета, которой он мучит своих феллахов. Эти несчастные поселяне берегов Нила будто бы и в самом деле — стадо страдальцев, которых гонят на работу ударами палки и из которых высасывают кровь. Но, говорят, это древнеегипетский метод, бывший в ходу при всяких фараонах, и современный европейский масштаб к нему неприменим. На обвинения филантропов бедный паша мог бы ответить такими же словами, какими оправдывалась наша кухарка, варившая раков живыми в постепенно вскипавшей воде. Она удивлялась, что мы называем этот

способ бесчеловечной жестокостью, и уверяла нас, что бедные животные искони привыкли к этому. — Господин Кремьё, разговаривая с Мехметом-Али об ужасах, творившихся в дамасском суде, нашел, что паша склонен к самым благотворным реформам, и если бы не политические события, разразившиеся с такой бурной силой, знаменитому адвокату наверное удалось бы уговорить его ввести в своих владениях европейское уголовное судопроизводство.

С падением Мехмета-Али гибнут и те гордые надежды, которыми мусульманская фантазия так страстно убаюкивала себя, особенно под шатрами пустыни. Здесь Али считался героем, которому суждено раз навсегда положить конец слабому турецкому правительству в Стамбуле, самому облечься там властью калифа и взять под свою защиту знамя пророка. И право же, в его сильной руке оно лучше держалось бы, чем в слабых руках нынешнего гонфалоньера веры магометанской, который рано или поздно будет побежден легионами и еще более страшными махинациями царя всея Руси. Политическому и религиозному фанатизму, которым может располагать русский император, являющийся вместе с тем и верховным главой греческой церкви, могло бы с такою же силою противостать возрожденное мусульманское государство под властью Мехмета-Али или какого-нибудь другого основателя новой династии, потому что столь же неистово-фанатические элементы выступили бы на его защиту. Я говорю о гении арабов, который никогда не умирал и, заснув в тишине бедуинской жизни, часто, как бы во сне, хватался за меч, когда извне доносился воинственный рев какого-либо замечательного льва. — Может быть, эти арабы, набираясь новых сил во время сна, только ждут настоящего зова, чтобы вырваться из своего душного одиночества. Но теперь нам больше нечего их бояться, как прежде, когда знамена полумесяца вселяли в нас трепет, и для нас, быть может, скорее было бы счастьем, если бы Константинополь стал

сейчас ареной их религиозного рвения. Оно явилось бы лучшим оплотом против стремлений Московии, которая замышляет ни более, ни менее, как завоевать или хитростью добыть на берегах Босфора ключ ко всемирному господству. Какой властью обладает император России, которого, право, надо признать скромным, если подумать, какую гордость проявили бы на его месте другие! Но гораздо опаснее, чем гордость господина, рабское высокомерие его народа, который живет только его волей и, полный слепого послушания, надеется прославить себя, прославив священное всемогущество своего повелителя. Воодушевление римско-католических догматов поизносилось уже, идеи революции возбуждают только вялый энтузиазм, и нам, конечно, надо поискать новых, свежих источников фанатизма, которые мы могли бы противопоставить неограниченной славяно-греко-православной вере в императора!

Ах! Как ужасен этот восточный вопрос, который при всяком осложнении так насмешливо скалит свои зубы! Если мы теперь же попытаемся предотвратить опасность, грозящую нам оттуда, то будет война. Если же, напротив, мы терпеливо будем смотреть, как разрастается это зло, нам обеспечено рабство. Это страшная дилемма. Как бы то ни было, бедной деве Европе — будет ли она благоразумно бодрствовать при свете лампады или же, как очень неразумная девушка, заснет, когда погаснет лампада, — ей нечего ждать радостного дня.

## XXXI

Париж, 13 февраля 1841

Они не отступают ни перед одним вопросом и всякий вопрос терзают до тех пор, пока не разрешат его или, не найдя решения, не оставят его в покое. Таков характер французов, и поэтому вся их история развивается, как судебный процесс. Какую логическую, системати-

ческую последовательность представляют все события французской революции! В этом сумасшествии, действительно, был метод, и те историографы, которые, следуя Минье и уделяя мало внимания случаю и человеческим страстям, рассматривают безумнейшие факты, совершавшиеся с 1789 года, как результат строжайшей необходимости — эта так называемая фаталистическая школа — совершенно на своем месте во Франции, и книги их так же правдивы, как и понятны. Однако образ мыслей и манера изложения этих авторов по отношению к Германии породили бы лишь весьма неверные и негодные исторические труды. Потому что немец, из страха перед всякими новшествами, как можно дольше старается обойти каждый значительный политический вопрос или же кое-как разрешить его окольным путем, а вопросы тем временем нагромождаются и запутываются в узел, который, подобно гордиеву узлу, в конце концов, быть может, удастся разрубить только мечом. Боже меня сохрани упрекать великий немецкий народ! Я же знаю, что этот недостаток вызывается добродетелью, которой нет у французов. Чем народ невежественнее, тем легче он бросается в поток дел, чем богаче познаниями и чем благоразумнее народ, тем дольше он измеряет глубину потока, через который перебирается осмотрительными шагами, если не останавливается в нерешительности, из страха перед скрытыми глубинами или холодной влагой, могущей причинить опасный национальный насморк. В конце концов не столь уж важно, что мы, таким образом, лишь медленнодвигаемся вперед, или, стоя на месте, теряем несколько столетий, ибо немецкому народу принадлежит будущность, и притом весьма долгая, знаменательная будущность. Французы действуют так поспешно и распоряжаются настоящим с такой быстротой, быть может, потому, что предвидят уже наступление сумерек: торопливо заканчивают они свой поденный труд. Но все же роль, которую они играют, еще довольно хороша, и прочие народы составляют пока только почтительную пуб-

лику, которая смотрит французскую государственную и национальную комедию. Правда, этой публике порой приходится охота чересчур громко выразить одобрение или порицание, а то и подняться на сцену и принять участие в спектакле; но французы все же остаются главными актерами в великой мировой драме, что бы им ни падало на голову — лавровые венки или гнилые яблоки. «Песня Франции спета», — с этими словами здесь носится не один немецкий корреспондент; но ведь сам он поддерживает свое жалкое существование только статьями о том, что делают, что творят каждый день эти столь глубоко опустившиеся французы, и его патрону, редактору немецкой газеты, без корреспонденций из Парижа нечем было бы наполнить столбцы своего издания даже в течение каких-нибудь трех недель. Нет, Франции еще не пришел конец, но, как и все народы, как само человечество, она — не вечна, она, быть может, пережила уже период своего блеска, и с ней теперь происходит перемена, которую нельзя отрицать: ее гладкий лоб покрывается всякими морщинами, на легкомысленной голове появляется седина, голова эта озабоченно склоняется и занимается уже не только настоящим днем — она помышляет и о завтрашнем.

Решение палаты об укреплении Парижа свидетельствует об этом переходном периоде французского народного духа. Французы очень многому научились за последнее время и от этого потеряли всякую охоту слепо бросаться в опасную чужую даль. Теперь они хотят защитить себя дома от возможных нападений со стороны соседей. На могиле императорского орла им явилась мысль, что буржуазно-королевский петух не бессмертен. Франция уже больше не живет в дерзком упоении своим могуществом: ее отрезвило великопостное сознание своей победимости, а увы! тот, кто думает о смерти, уже наполовину — мертвец! Укрепления Парижа — это, быть может, гигантский гроб, который сам гигант заказал себе, чуя недоброе. Однако может пройти еще и немало времени, пока пробьет его

смертный час, и тем временем он, пожалуй, многим гигантам нанесет смертельнейшие удары. Когда-нибудь, во всяком случае, от грохочущей тяжести его падения сотрясется земля, и еще ужаснее, чем при жизни, будет он пугать своих врагов посмертными произведениями, являясь по ночам, словно блуждающий призрак. Я убежден, что если Париж будет разрушен, обитатели его, как некогда евреи, расселятся по всему миру и этим путем еще успешнее разнесут семена общественного переворота.

Укрепление Парижа — важнейшее событие нашего времени, и люди, голосовавшие в палате депутатов за или против него, оказали на будущее сильнейшее влияние. С этой *enceinte continue* \*, с этими *forts détachés* \*\* связывается отныне судьба французского народа. Спасут ли от грозы эти сооружения или же будут еще губительнее притягивать молнии? Свободе или рабству послужат они? Защитят ли они Париж от нападения или безжалостно бросят его на произвол разрушительных прав войны? Мне это неизвестно, ибо я не заседаю и не имею голоса в совете богов. Но одно мне известно — что французы прекрасно будут сражаться, если им когда-нибудь придется защищать Париж от третьего нашествия. Первые два нашествия только помогли усилить ярость обороны. У меня есть полное основание сомневаться в том, что Париж мог бы устоять против двух прежних нашествий, если бы был укреплен (как утверждают в палате). Наполеон, ослабленный всевозможными победами и поражениями, не был в состоянии противопоставить натиску Европы колдовскую мощь той идеи, которая «из-под земли выводит войска»; ему уже не хватало силы — разорвать цепи, в которые он сам заковал ту идею; свободу этой скованной идее вернули союзники, когда взяли Париж. Французские либералы и идеологи поступили

\* сплошной оградой

\*\* отдельными фортами

совсем не так глупо, вовсе не по-дурацки, когда отказали в поддержке гонимому императору, ибо для них он был гораздо опаснее всех этих чужеземных героев, которые ведь в конце концов должны были удалиться — с добычей и приятными речами, оставив только вялого наместника, а от него со временем тоже можно было избавиться, что действительно и случилось в июле 1830 года, после чего идеи революции опять водворились в Париже. И на борьбу с третьим нашествием выступила бы сила этих идей, которая сейчас, умудренная горьким опытом, не пренебрегает и материальными средствами защиты.

Здесь мы наталкиваемся на разногласие, господствующее сейчас среди деятелей радикальной партии по вопросу об укреплении Парижа и вызывающее самые страстные прения. Как известно, республиканская фракция, представителем которой служит «National», всего деятельнее защищала проект укрепления Парижа. Другая фракция, которую я назвал бы левым крылом республиканцев, восстает против него с самым диким негодованием, а так как в прессе она располагает немногими органами, то «Revue de Paris» — пока что единственная газета, где она может высказываться. Относящиеся к этому вопросу статьи вышли из-под пера Луи Блана и в высшей степени заслуживают внимания. Как я слышал, статьей о том же предмете занят также и Араго. Этих республиканцев возмущает мысль, что революция должна прибегать к материальным оплотам; в этом они видят слабость моральных средств обороны, упадок былой демонической энергии, и они предпочли бы, как некогда мощный Конвент, скорее декретировать победу, чем принять меры предосторожности на случай поражения. В самом деле, эти люди верны традициям Комитета общественного спасения, тогда как у *messieurs* \* из газеты «National» на уме скорее уж традиции Империи. Я сказал «mes-

\* господ

sieurs», потому что это — насмешливое прозвище, которым те, другие, именующие себя citoyens \*, величают своих антагонистов. В сущности, обе фракции — террористы, с той лишь разницей, что messieurs из «National» предпочли бы действовать при помощи пушек, тогда как citoyens охотнее прибегли бы к гильотине. Вполне понятно, что первые должны питать большую симпатию к закону, благодаря которому революция в случае необходимости явилась бы в чисто военном облачении, а пушки были бы в состоянии держать гильотину в узде! Этим, и ничем иным, я объясняю себе рвение, с которым «National» высказался за укрепление Парижа.

Странно! На этот раз «National», король и Тьер оказались единодушны, с одинаковой горячностью желая успеха одному и тому же делу. И все же это единодушие весьма естественно. Не будем только клеветать ни на одного из них, приписывая им коварные задние мысли. Хотя личные побуждения замешаны здесь в сильной степени, все же все трое действовали прежде всего в интересах Франции — и Луи-Филипп, и Тьер, и господа из «National». Однако, как я уже сказал, личные побуждения играли роль. Луи-Филипп, этот отъявленный враг войны, враг разрушения, — столь же страстный друг всякого зодчества: он любит все, что дает работу молотку и лопате, и план укреплений Парижа льстил этой врожденной его страсти. Но Людовик является также и представителем революции, — хочет он этого или не хочет, и если ей грозит опасность, то и его существование становится сомнительным. Он во что бы то ни стало должен держаться в Париже. Потому что, если бы его столицей овладели чужеземные монархи, законность его власти не охранила бы его так нерушимо, как тех королей милостью божьей, которые всюду, где бы они ни были, являются средоточием своего государства. Если бы даже, вследствие

\* гражданами

мятежа, Париж оказался в руках республиканцев, иноземные державы, быть может, и пришли бы со своими армиями, но вряд ли для того, чтобы предпринять реставрацию в пользу Луи-Филиппа, который в июле 1830 года стал королем французов не *parce que Bourbon* \*, но *quoique Bourbon*! \*\* Умный король чувствует это и укрепляется в своем Малапартусе. Он твердо верит, что укрепление Парижа спасительно и необходимо как для него самого, так и для Франции, и наряду с личной прихотью и инстинктом самосохранения им руководила здесь истинная и чистая любовь к отечеству. Ведь всякий король — естественный патриот и любит свою страну, в истории которой коренится его жизнь и с судьбами которой она сплелась. Луи-Филипп — патриот, и притом в буржуазном, семейственном, новофранцузском смысле, да и вообще в Орлеанском доме развился патриотизм совсем иного свойства, чем в Бурбонах старшей линии, которых скорее одушевляла историческая родовая гордость, средневековая аристократическая честь, а не настоящая любовь к Франции.

Так как эта любовь к родине считается во Франции высочайшей добродетелью, то враги смошенничали очень умело, с помощью подложных писем бросив тень на его патриотические убеждения. Да, эти пресловутые письма частью подделаны, частью же совершенно подложны, и я не понимаю, как могли многие честные республиканцы хоть на одну минуту поверить в их подлинность. Но этих людей всегда надувают легитимисты, кующие оружие, с помощью которого республиканцы покушаются на жизнь или репутацию короля. Республиканец всегда, при всяком опасном поступке готов поставить на карту свою жизнь; но он всего лишь неуклюжее орудие чужой изобретательности, которая думает и рассчитывает за него: о республиканцах можно

\* потому что Бурбон

\*\* несмотря на то, что Бурбон

в буквальном смысле слова сказать, что не они изобрели порох, которым стреляют в короля.

Да, тот во Франции, кто обладает национальным чувством и кому оно понятно, тот оказывает неодолимо-волшебное влияние на толпу, может как угодно руководить и распоряжаться ею, выжимать из нее деньги или кровь, наряжать ее во всевозможные мундиры — в рыцарское одеяние славы или в ливрею рабства. Это была тайна Наполеона, и его историк Тьер испытал ее, испытал сердцем, а не только рассудком, потому что чувство понятно только чувству. Тьер, действительно, весь горит французским национальным чувством, и тот, кто заметит это, поймет его силу и бессилие, его заблуждения и преимущества, его величие и ничтожество и право его на будущность. Этим национальным чувством объясняется все поведение его министерства: тут мы видим перенесение императорского праха, этот славнейший праздник доблести, рядом с жалкой защитой того жалкого дамасского консула, который отстаивал ужасы средневекового суда, но был представителем Франции; тут мы видим легкомысленнейший пыл и удары в набатный колокол по поводу лондонского трактата, оскорбившего Францию, и тут же — разумную деятельность, вооружения, и этот грандиозный план укрепления Парижа. Да, это дело начал Тьер, и он же потом провел этот проект в палате и дал ему силу закона. Никогда не говорил он более красноречиво, стараясь одержать парламентскую победу, никогда не пускал он в ход более тонкую тактику. Это была битва, и в последнюю минуту исход ее был весьма сомнителен; но военачальнический взгляд Тьера быстро открыл опасность, грозившую закону, и импровизированная поправка решила все. Ему подобает честь.

Не было недостатка в людях, которые лишь эгоистическими мотивами объясняют рвение, проявленное Тьером при обсуждении этого закона. Но здесь, в самом деле, господствовал патриотизм, и я повторяю —

господин Тьер весь проникнут этим чувством. Он вполне — деятель нации, а не революции, сыном которой любит выставлять себя. Конечно, это родство не подлежит сомнению: революция — его мать, но из этого нельзя еще делать вывода о чрезмерных симпатиях к ней. Тьер прежде всего любит родину, и, думаю, в жертву этому чувству он принес бы все интересы матери. Наверное, сильно охладилось то воодушевление, которое вызывал в нем спектакль свободы, звучащий теперь в его душе лишь как замирающее эхо. Ведь как историк он мысленно пережил все его фазы, как государственный деятель он ежедневно должен был бороться с продолжающимся движением, и наверное этому сыну революции мать его порой становилась в тягость и очень ему надоедала; ибо он прекрасно знает, что эта старая женщина была бы способна и ему самому отрубить голову. Ведь по природе она не мягкосерда; берлинец сказал бы: у нее нет чувства. Если порой господа сыновья дурно обращаются с ней, не надо забывать, что и сама она, эта старуха, никогда не проявляла к своим детям длительной нежности и всегда умерщвляла лучших из них.

## XXXII

Париж, 31 марта 1841

Прения в палате депутатов об авторском праве весьма неутешительны. Но во всяком случае, характерной чертой нашего времени является то, что нынешнее общество, основанное на праве собственности, хочет из чувства справедливости, а быть может, и в виде подкупа, уделить и умственной деятельности долю этой привилегии! Может ли мысль стать собственностью? Свет является ли собственностью пламени, а то и фитиля свечи? Я воздерживаюсь от всякого суждения по этому поводу и только радуюсь тому, что бедный фитиль, уничтожающий себя в горении,

вы хотите немного компенсировать за его великий, общепользительный, освещающий нас труд!

О судьбе Мехмета-Али здесь говорят меньше, чем можно было ожидать; но мне кажется, что в сердцах царит тем более глубокое сострадание к этому человеку, который слишком доверял звезде Франции. Авторитет французов на Востоке утрачен, и эта утрата имеет неблагоприятное влияние и на их отношения с Западом; звезды, в которые нельзя больше верить, угасают. — Когда американские дела приняли столь сомнительный оборот, со стороны англичан начались усерднейшие попытки — уладить вопрос о египетском наследстве. Тут Франции легко было действовать в пользу паши; однако министерство, повидимому, ничего не сделало для спасения своего вернейшего союзника.

Но не одни только американские дела заставили англичан как можно скорее покончить с вопросом о египетском наследстве и таким образом снова дать возможность французской дипломатии принять участие в совещаниях и решениях европейских великих держав. *Вопрос о Дарданеллах* грозно стучится в дверь, требует быстрого разрешения, и вот англичане рассчитывают, что на конференции им окажет поддержку французский кабинет, интересы которого в этом случае согласуются с их собственными интересами в виду общего их противника — России.

Да, так называемый вопрос о Дарданеллах имеет огромное значение, и не только для упомянутых держав, но и для нас всех, — для самых малых, как и для самых великих, для Рейс-Шлейс-Грейца и задней Померании так же, как и для всемогущей Австрии, для ничтожнейшего башмачника так же, как и для богатейшего кожевенного фабриканта, ибо дело здесь идет о судьбе Европы, и дело это так или иначе может решиться лишь у Дарданелл. Пока это не случится, Европа будет больна тайным недугом, который не даст ей покоя и вспышка которого будет тем ужаснее, чем

позднее она произойдет. Вопрос о Дарданеллах — только симптом восточного вопроса, вопроса о турецком наследстве — главного недуга, болезненного начала, от которого мы чахнем, которое таится в государственном теле Европы и которое, увы! — можно вырвать лишь насильственным путем, пожалуй, только вырезать с помощью меча. Даже говоря о совершенно посторонних предметах, все властители зърятся только на Дарданеллы, на Высокую Порту, на древнюю Византию, на Стамбул, на Константинополь — у недуга много названий. Если бы в государственном праве Европы санкционирован был принцип народного суверенитета, крушение Османской империи не было бы так опасно для остального мира, потому что тогда отдельные народы распавшегося государства сами выбрали бы себе властителей, которые продолжали бы по мере сил править ими. Но в громадной части Европы господствует еще принцип абсолютизма, согласно которому и земля и люди — собственность монарха, и собственностью этой завладевают по праву сильного, *ultima ratio regis* \*, по пушечному праву. Что же удивительного в том, что ни один из высоких монархов не захочет уступить русским это большое наследство и каждый сам пожелает получить кусок восточного пирога; каждый из них почувствует особый аппетит при виде того, как благодумствуют северные варвары, и самый мелкий немецкий князек будет стремиться получить хоть на водку. Таковы человеческие побуждения, и вот почему гибель Турции должна быть пагубна для мира. Всякому школьнику понятны те политические причины, по которым, прежде всего, Англия, Франция и Австрия не могут позволить, чтобы в Константинополе утвердилась Россия.

Война, заложенная в самой природе вещей, пока что откладывается. Близорукие политики, прибегающие только к паллиативам, успокоились и надеются на годы

\* крайний довод царей

безмятежного мира. В особенности же нашим финансистам всё опять представляется в самом приятном свете надежды. Даже величайший из них, повидимому, предается этой иллюзии, однако не всегда. Господин фон-Ротшильд одно время как будто немножко сдал, но теперь совершенно поправился и вид имеет здоровый и веселый. Биржевые прорицатели, так хорошо умеющие читать по лицу великого барона, уверяют нас, что в улыбке его гнездятся ласточки мира, что с лица его исчезло всякое опасение войны, в глазах его незаметно электрической грозовой искорки и что, следовательно, страшная пушечная гроза, пугавшая весь мир, совершенно рассеялась. Он даже чихает миром. Правда, когда я в последний раз имел честь свидетельствовать мое почтение господину фон-Ротшильду, он сиял самым отрадным довольством, и его розовое настроение почти что переходило в поэзию, ибо, как я уже рассказывал однажды, господин барон в такие веселые минуты изливает в рифмах потоки своего юмора. Я нашел, что на этот раз рифмы совершенно исключительно удавались ему; только на слово «Константинополь» он не мог найти рифмы и почесывал себе голову, как делают все поэты, когда им недостает рифмы. Так как я тоже немного поэт, то позволил себе заметить господину барону, — не подойдет ли к слову «Константинополь» русская рифма: «соболь»? Но эта рифма ему, повидимому, очень не понравилась, он стал уверять, что Англия никогда не согласится на нее и что она может вызвать европейскую войну, которая будет стоить миру много слез и крови, а ему самому — бездну денег.

Господин фон-Ротшильд, действительно, лучший политический термометр; я не назову его древесной лягушкой, потому что название это звучало бы недостаточно почтительно. А ведь надо же чувствовать почтение к этому человеку, хотя бы ради того почтения, которое он внушает большинству людей. Всего больше я люблю посещать его в его конторе, где в качестве

философа могу наблюдать, как народ, и не только избранный народ божий, но и все прочие народы склоняются и сгибаются перед ним. Спинные хребты так извиваются и изгибаются, что, пожалуй, самый лучший акробат оказался бы здесь в затруднении. Я видел людей, которые, приближаясь к великому барону, судорожно вздрагивали, точно от прикосновения к вольтову столбу. Уже перед дверью его кабинета многих охватывает благоговейный трепет, как было с Моисеем на горе Хорив, когда он заметил, что под ногами у него — священная земля. Подобно тому как Моисей тотчас же разулся, так, наверное, не один спекулянт или *agent de change* \*, осмеливающийся переступить порог личного кабинета господина барона, снимал бы сапоги, если бы не опасался, что ноги его тогда будут пахнуть еще хуже и что это зловоние обеспокоит господина барона. Этот личный кабинет — в самом деле замечательное место, которое возбуждает в нас возвышенные мысли и чувства; он напоминает океан или звездное небо: мы видим здесь, как мал человек и как велик бог! Ибо деньги — бог нашего времени, а Ротшильд — пророк его.

Несколько лет тому назад, придя однажды к господину фон-Ротшильду, я увидел ливрейного лакея, пронесившего по коридору его ночной сосуд, а биржевой спекулянт, оказавшийся здесь в эту минуту, почтительно снял шляпу перед могущественным горшком. Вот до чего доходит, с позволения сказать, почтительность некоторых людей. Я заметил себе имя этого богобоязненного человека, и убежден, что со временем он станет миллионером. Когда я рассказывал господину, что обедал с бароном Ротшильдом *en famille* \*\*, в доме, где помещается его контора, мой собеседник в изумлении всплеснул руками и сказал, что мне оказана была честь, которая до сих пор выпадала на долю только

\* биржевой маклер

\*\* по-семейному

кровным Ротшильдам, да разве что несколькими владельными особам, и за которую он отдал бы половину своего носа! Замечу здесь, что нос господина \*\*\*, даже если бы он лишился половины его, все-таки останется достаточно длинным.

Контора господина фон-Ротшильда очень обширна, — лабиринт зал, казарма богатства; комнату, где барон работает с утра до вечера — ведь ему ничего другого не остается делать, — недавно разукрасили. На камине теперь стоит мраморный бюст императора Франца Австрийского, с которым дом Ротшильдов имел больше всего дел. Вообще господин барон хочет, из благодарности, заказать для себя бюсты всех европейских монархов, делавших займы через его посредство, и эта коллекция мраморных бюстов составит Валгаллу, гораздо более величественную, нежели Валгалла Регенсбургская. Станет ли господин Ротшильд прославлять своих собратьев по Валгалле рифмованными стихами или нерифмованным королевско-баварским лапидарным стилем, мне неизвестно.

### XXXIII

Париж, 20 апреля 1841

В этом году «Салон» обнаружил всего лишь пестрое бессилие. Можно прямо подумать, что возрождению пластических искусств у нас приходит конец; то была не новая весна, но жалкое бабье лето. Вскоре после Июльской революции началось радостное оживление в живописи и скульптуре, даже в архитектуре; но крылья были приделанные, и за искусственным полетом последовало самое жалкое падение. Только младшее среди искусств — музыка поднялась с исконной самостоятельной силой. Достигла ли она уже вершины своего блеска? Долго ли она удержится на этой высоте? Или она снова быстро опустится? На эти вопросы сможет ответить лишь потомство. Кажется, во всяком случае, что в летописях искусства время наше будет отме-

чено, главным образом, как век музыки. Движение искусства не отстает от постепенного одухотворения, переживаемого человеческим родом. В самый ранний период по необходимости безраздельно господствовала архитектура, прославлявшая бессознательное грубое величие, — что мы видим, например, у египтян. Позднее, у греков, мы видим расцвет ваяния, который уже свидетельствовал о внешнем преодолении материала: дух высекал из камня полные предчувствий думы. Но все же дух нашел, что камень — материал слишком твердый для его все возрастающей потребности в откровении, и он избрал краску, разноцветную тень, чтобы изобразить просветленный и мерцающий мир любви и скорби.

Тогда начался великий период живописи, блистательно расцветшей в конце средневековья. По мере того как развивается жизнь сознания, в человеке исчезает пластический дар, подконец угасает даже чутье краски, все же еще связанное с определенным рисунком, и высшая духовность, абстрактное мышление, хватается за шумы и звуки, чтобы выразить лепечущее изобилие, которое, быть может, есть не что иное, как разложение всего материального мира; быть может, музыка — последнее слово искусства, как смерть — последнее слово жизни.

Я предпослал статье это короткое вступительное замечание, чтобы указать, отчего музыкальный сезон меня больше пугает, чем радует. Если мы здесь почти утопаем в музыке, если в Париже вряд ли найдется хоть один дом, где, как в ковчеге, можно бы спастись от этого звенящего потопа, если благородное искусство музыки затопляет всю нашу жизнь, то я в этом вижу тревожный симптом, и по временам мной овладевает мрачное уныние, которое заставляет меня брюзжать и быть несправедливым к нашим великим маэстро и виртуозам. При таких обстоятельствах пусть от меня не ждут слишком радостной хвалебной песни в честь человека, вокруг которого сейчас в бешеном, ликующем

восторге толпится здешний изящный свет, — в особенности же истерические дамы, — и который в самом деле является одним из замечательнейших представителей музыкального движения. Я говорю о Франце Листе; это — гениальный пианист. Да, гений этот снова здесь и дает концерты, очарование которых почти баснословно. Перед ним исчезают все пианисты, за исключением одного — Шопена, этого Рафаэля фортепиано. Действительно, за исключением этого единственного, все прочие пианисты, которых мы слышали в этом году в бесчисленных концертах, — только пианисты; они блистают мастерским умением обращаться с поющим деревом; напротив, когда играет Лист, не думаешь больше о преодолеваемых трудностях, рояль исчезает, и музыка раскрывается нам. В этом отношении Лист, с тех пор как мы слышали его в последний раз, сделал поразительнейшие успехи. С этим качеством он соединяет спокойствие, которого раньше мы не замечали в нем. Когда, например, он прежде изображал на рояле грозу, мы видели молнии, сверкавшие на его лице, он весь дрожал — точно от порыва бури, и длинные космы волос словно струились каплями от только что сыгранного ливня. Теперь, даже когда он разыгрывает самую могучую грозу, сам он все же возвышается над нею, как путник, стоящий на вершине горы во время грозы в долине: тучи собираются там, глубоко внизу, молнии, точно змеи, извиваются у его ног, а он с улыбкою воздымает чело в чистый эфир.

Несмотря на свою гениальность, Лист встретил здесь в Париже оппозицию, состоящую, главным образом, из серьезных музыкантов, которые венчают лаврами соперника Листа, императорского пианиста Тальберга. — Лист уже дал два концерта, в которых, вопреки обыкновениям, играл совершенно один, без участия других музыкантов. Теперь он готовится к третьему концерту, сбор с которого должен быть пожертвован на сооружение памятника Бетховену. Этот композитор, действительно, больше всего должен

быть по вкусу Листу. Именно Бетховен приводит одухотворившееся искусство к той музыкальной агонии всех чувственных явлений, к тому уничтожению природы, которое повергает меня в нескрываемый ужас, хотя друзья мои в ответ на мои страхи лишь покачивают головой. Весьма знаменательным я считаю то обстоятельство, что к концу жизни Бетховен оглох и что даже незримый мир звуков больше не имел для него звучащей реальности. Звуки его были только воспоминаниями о звуке, призраками забытых мелодий, и последние его творения словно отмечены злобещей печатью смерти.

Менее жутким, чем бетховенская музыка, казался мне «друг Бетховена», *l'ami de Beethoven*, как он всюду рекомендовал себя здесь, даже кажется на визитных карточках. Черный шест с ужасающе белым галстуком и похоронной физиономией. В самом ли деле этот друг Бетховена был его Пиладом? Или он принадлежал к тем безразличным знакомым, общество которых иногда тем приятнее гениальному человеку, чем незначительнее они сами и чем прозаичнее их болтовня, которая является для него отдыхом после утомительных взлетов поэтического вдохновения? Во всяком случае, мы здесь видели новый род эксплуатации гения, и мелкие газеты немало издевались над *ami de Beethoven*. «Как мог великий художник выносить такого противного, бездарного друга!» — восклицали французы, теряя всякое терпение от однообразной болтовни этого скучного гостя. Они не подумали о том, что Бетховен был глух.

Концертантов в этом сезоне было много, имя им — легион, и не было недостатка в посредственных пианистах, из которых каждого газеты называли чудом. Большей частью это молодые люди, которые собственной скромной персоной хлопочут об этих газетных панегириках. Это самообожествление, так называемые рекламы, очень забавно читать. Одна из реклам, помещенных недавно в «*Gazette musicale*», сообщила, что

знаменитый Делер и в Марселе очаровал все сердца, особенно — благодаря интересной бледности, которая, будучи следствием перенесенной болезни, привлекла внимание всего изящного света. С тех пор знаменитый Делер вернулся в Париж и дал несколько концертов; он играет, в самом деле, изящно, его исполнение — премило, оно свидетельствует об удивительной беглости пальцев, но не свидетельствует ни о силе, ни о вдохновении.

К числу концертов этого сезона, еще звучащих в памяти любителей музыки, относятся музыкальные утра, которые издатели обоих музыкальных газет давали для своих подписчиков. «*France musicale*», редактируемая братьями Эскюдье, блеснула в устроенном ею концерте участием итальянских певцов и скрипача Вьетана, на которого смотрят как на одного из львов музыкального сезона. Что таится под косматой шкурой этого льва — царь ли животных или же только жалкий серый ослик, — это я не могу решить. Говоря по совести, у меня нет доверия к тем преувеличенным похвалам, которые выпадают на его долю. Мне кажется, что, взбираясь по лестнице искусства, он не достиг еще особенной высоты. Вьетан находится разве что посередине той лестницы, на вершине которой нам некогда явился Паганини, а на самой последней, самой низкой ступени стоит наш милейший Сина, знаменитый в Булони посетитель морских купаний и обладатель одного автографа Бетховена. И быть может, господин Вьетан гораздо ближе стоит к господину Сина, чем к Николо Паганини.

Вьетан — сын Бельгии, как вообще все самые крупные скрипачи, являющиеся уроженцами Нидерландов. Ведь скрипка там — национальный инструмент, на котором играют и стар и млад, мужчины и женщины, играют искони, как мы видим на картинах фламандской школы. Превосходнейший скрипач из этого племени — бесспорно Берио, супруг Малибран; порой я не могу отделаться от мысли, что в скрипке его заключена душа

его покойной жены. Только Эрнст, поэтический богемец, умеет извлекать из своего инструмента столь же нежные, сладостные, истекающие кровью звуки. — Арто, соотечественник Берио, — тоже превосходный скрипач, но, слушая его игру, никогда не вспомнишь о душе; это разряженный, хорошо слаженный молодец, игра которого — гладкая и блестящая, как клеенка. Гауман, сын брюссельского издателя, известного своими контрафакциями, продолжает на скрипке ремесло отца: все, что он играет, — приятные перепечатки лучших скрипачей, тексты кое-где приукрашены излишними авторскими примечаниями и дополнены блестящими опечатками. — Братья Франко-Мендес, дававшие и в этом году концерты, которыми, как скрипачи, доказали свой талант, — истые уроженцы страны трешкоутов и куиспельдорхенов. То же можно сказать и о Батта, виолончелисте; он родом из Голландии, но уже в раннем возрасте прибыл в Париж, где его детски юный облик особенно пленял дамские сердца. Хотя он тем временем превратился в большого детину, все же он не может оставить милую привычку — хныкать; и когда недавно, по нездоровью, он не мог выступить перед публикой, все стали говорить, что постоянный детский плач на виолончели сделался для него причиной настоящей детской болезни, — кажется, кори. Но теперь он, повидимому, совсем выздоровел, и газеты сообщают, что знаменитый Батта собирается в ближайший четверг дать музыкальное утро, которое вознаградит публику за долгую разлуку с ее любимцем.

Последний концерт, который господин Морис Шлезингер дал подписчикам своей «Gazette musicale» и который, как я уже отметил, относится к самым блестящим событиям сезона, представлял для нас, немцев, особенный интерес. И недаром тут собрались все наши соотечественники, стремясь послушать прекрасную песню Бетховена «Аделаида» на немецком языке, в исполнении m-lle Леве, знаменитой певицы. Итальянцы и господин Вьетан, обещавшие свое участие, уже во время самого

концерта отказались участвовать в нем к величайшему смущению устроителя, который со свойственной ему важностью вышел и объявил публике, что господин Вьетан не желает играть, так как, по его мнению, и зал и публика не стоят его игры! Наглость этого скрипача заслуживает строжайшего порицания. Концерт происходил в зале Мюзара на улице Вивьенн, где только во время карнавала немножечко канканируют, а во все остальное время года исполняют самую пристойную музыку — Моцарта, Джакомо Мейербергера и Бетховена. Итальянским певцам, какому-нибудь синьору Рубини или синьору Лаблашу, можно еще простить их капризы; если соловьи не желают петь иначе, как перед публикой, состоящей из золотых фазанов и орлов, то эти претензии все же позволительны. Но мингеру, фламандскому аисту не следовало бы проявлять такую разборчивость и пренебрегать обществом, которое состояло из самых порядочных птиц, где было столько пав и цесарок, а наряду с ними имелись отличнейшие немецкие индюки и удода. — Каков был успех дебюта m-lle Леве? Скажу всю правду в двух словах: она спела превосходно, понравилась всем немцам и потерпела фиаско у французов.

Что касается этой неудачи, то мне хотелось бы, к утешению высокочтимой певицы, уверить ее в том, что успеху ее у французов помешали как раз ее достоинства. Голос m-lle Леве проникнут немецкой исполненной мира душой, которая до сих пор открылась лишь немногим французам и лишь постепенно находит доступ во Франции. Если бы m-lle Леве явилась несколькими десятилетиями позже, она, быть может, встретила бы больше сочувствия. Но масса публики пока что все та же. У французов есть ум и страсть, и самое полное наслаждение этими свойствами дают им формы беспокойные, бурные, порывистые, возбуждающие. Всего этого они совершенно не нашли в немецкой певице, которая, к тому же, спела им бетховенскую «Аделаиду». Эти спокойные вздохи души, эти синеокие

томные звуки лесного уединения, эти поющие цветы липы с обязательным лунным светом, это замирание неземной тоски, эта истинно немецкая песня не встретила отклика во французской груди и даже была осмеяна, как зарейнская сентиментальность.

Хотя m-lle Леве не имела здесь успеха, однако все возможное было сделано, чтобы выхлопотать ей ангажемент в Académie royale de musique. Имя Мейербера упоминалось по этому поводу настойчивее, чем, вероятно, хотелось бы почтенному маэстро. Правда ли, что Мейербер не соглашается на постановку своей оперы, если Леве не будет ангажирована? Неужели же исполнение желаний публики Мейербер в самом деле связывает с таким мелочным условием? Действительно ли он так чрезмерно скромен, что воображает, будто успех его нового произведения зависит от более или менее послушного горла примадонны?

Многочисленные поклонники и почитатели высокочтимого маэстро с прискорбием наблюдают, каких несказанных трудов стоит великому человеку обеспечить успех каждому новому созданию своего гения и как на малейшие мелочи он тратит лучшие свои силы. Его нежный, слабый организм должен страдать от этого. Его нервы болезненно раздражены, и, страдая хроническим желудочным недомоганием, он часто подвергается приступам холерыны, господствующей здесь. Духовный мед, истекающий из его музыкальных шедевров и улаждающий нас, стоит своему творцу жестоких желудочных болей. Когда последний раз я имел честь его видеть, я испугался его плачевного вида. Он напомнил мне бога диарреи из татарского предания, которое с жутким комизмом повествует о том, как однажды, на ярмарке в Казани, этот какодемон с угрюмым чревом купил для собственного употребления шесть тысяч горшков, так что горшечник сразу стал богатым человеком. Да ниспошлет небо нашему высокочтимому маэстро более совершенное здоровье, и пусть сам он никогда не забывает, что жизнь его висит

на очень дряблой нитке, а ножницы Парки тем острее. Пусть он никогда не забывает, какие высокие интересы связаны с его существованием. Что станет с его славой, если — боже сохрани! — сам он, прославленный мастер, внезапно будет унесен смертью с арены своих триумфов? Станет ли его семейство поддерживать эту славу, составляющую гордость всей Германии? В материальных средствах для этого семья, конечно, недостатка не потерпит, но наверно ей не хватит средств интеллектуальных. Лишь сам великий Джакомо, который не только является генераль-музик-директором всех королевско-прусских музыкальных учреждений, но также и капельмейстером мейерберовой славы, — лишь он один в силах дирижировать огромным оркестром этой славы. — Он кивнет головой, и все тромбоны больших газет зазвучат в унисон; он мигнет глазом, и все хвалебные скрипки запиликают наперебой; он лишь тихонько пошевелит левою ноздрю, и из всех фельетонных флажолетов польются сладостнейшие звуки лести. — Есть тут и неслыханные, допотопные духовые инструменты, иерихонские трубы, и еще неоткрытые эоловы арфы, струнные инструменты будущего, применение которых свидетельствует об исключительнейших способностях к инструментровке. — Да, в такой мере, как наш Мейербер, еще ни один композитор не владел инструментровкой, то есть искусством пользоваться всевозможными людьми, и самыми малыми, и самыми великими, превращая их в инструменты и из сочетания их магически извлекая единодушный клич общественного признания, почти баснословного. Этого еще никто не умел. Тогда как лучшие оперы Моцарта и Россини проваливались при первом представлении и должно было пройти много лет, пока их не оценили по достоинству, шедевры нашего славного Мейербера уже при первом представлении пользуются неоспоримейшим успехом, и на другой же день во всех газетах появляются статьи, полные заслуженных похвал. Это происходит благодаря гармоническому сочета-

нию инструментов; в отношении мелодии Мейербер уступает двум вышеназванным мастерам, но в отношении инструментовки он превосходит их. Небу известно, что он часто пользуется презреннейшими инструментами; но, быть может, именно благодаря им он достигает величайших эффектов и поражает толпу, которая восхищается им, поклоняется ему и даже чтит и уважает его. — Кто может доказать противное? Со всех сторон на него сыплются лавровые венки, на голове у него — целый лавровый лес, он едва справляется с этими лаврами и задыхается под этим зеленым бременем. Ему надо было бы завести ослика, который трусил бы за ним рысцой, таща на себе тяжелые венки. Но Гуэн — ревнив и не потерпит, чтобы его сопровождал кто-нибудь другой.

Не могу не отметить здесь острое словцо, приписываемое музыканту Фердинанду Гиллеру. Когда его спросили, что он думает о Мейерберовых операх, Гиллер будто бы ответил — уклончиво и с досадой: «Ах, не будем говорить о политике!»

#### XXXIV

Париж, 29 апреля 1841

Столь же значительное, сколь и печальное событие — приговор присяжных, признавших редактора газеты «La France» невиновным в намеренном оскорблении короля. Право, не знаю, кто здесь наиболее заслуживает сожаления! Король ли, честь которого запятнали подложные письма и который, однако, не может, как всякий другой, реабилитироваться в общественном мнении? Что в подобном затруднительном случае дозволено всякому другому, в том ему с жестокостью отказывают. Всякий другой, оказавшись в подобном положении, мог бы довести дело прямо до суда и путем судебного процесса ясно доказать подложность этих писем, выставляющих его в глазах публики изменником

отечеству. Но подобного способа реабилитации не существует для короля, которого конституция провозглашает неприкосновенным и которому она не разрешает лично являться перед судом. Еще менее позволена ему дуэль, суд божий, который в делах чести все еще сохраняет известную оправдывающую силу. Луи-Филипп спокойно должен допускать, чтобы в него стреляли, но сам никак не смеет взяться за пистолет и потребовать удовлетворения у своих оскорбителей. Точно так же он не может отвечать своим клеветникам на столбцах местных газет обычным в таких случаях надменным тоном, ибо — увы! — короли, подобно великим поэтам, не имеют права защищаться этим путем и должны с молчаливым терпением сносить всякую ложь, распространяемую на их счет. Право же, я питаю самое болезненное сочувствие к царственному страдальцу, корона которого — только мишень для клеветы, а в скипетре, когда дело идет о самообороне, меньше проку, чем в обыкновенной палке. — Или я должен еще больше пожалеть о вас, легитимистах, которые притворяются избранными паладинами роялизма и в то же время унижают в лице Луи-Филиппа сущность королевской власти, авторитет короля? Во всяком случае, я сочувствую вам, когда думаю о страшных последствиях, которые вы этим святотатством накликаете прежде всего на собственные безрассудные головы! С падением монархии вас снова ждет — на родине топор, а на чужбине — посох нищего. Да, теперь судьба ваша была бы еще гораздо позорнее, чем в прежние времена; теперь вас, одураченных кумовьев ваших же палачей, уже стали бы убивать не с диким гневом, но с пренебрежительным смехом, а на чужбине милостыню вам стали бы подавать не с тем почтением, которое подобает незаслуженному несчастия, а с презрением.

Но что сказать мне об этих милых присяжных, которые, состязаясь в ослеплении, сами принялись разрушать фундамент собственного дома? Краеугольный камень, на котором зиждется вся их буржуазно-

государственная лавка, королевский авторитет, они непоправимо расшатали этим оскорбительным и позорным приговором. Мало-по-малу становится понятен весь пагубный смысл этого приговора, о нем не переставая говорят, и мы с ужасом видим, что злополучным исходом процесса систематически пользуются для корыстных целей. Подложные письма нашли теперь законную поддержку, и вместе с безответственностью растет и дерзость врагов существующего строя. В настоящее время по всей Франции в бесчисленном множестве экземпляров распространяются литографированные копии мнимых писем, и коварство самодовольно потирает руки, радуясь удавшейся проделке. Легитимисты кричат ура, как будто они выиграли сражение. Славное сражение, в котором *la Contemporaine* \*, пресловутая *m-me де-Сент-Эльм*, несла знамя! Благородный барон Ларошжаклен прикрывал эту новую Жанну д'Арк своим щитом. Он ручается за ее правдивость — почему бы он не поручился и за ее девственную чистоту? Но этим триумфом прежде всего обязаны великому Берье, буржуазному вассалу легитимистического рыцарства, который всегда говорит умно, какое бы скверное дело ему ни приходилось защищать.

Однако здесь, во Франции, стране партий, где из каждого события непосредственно вытекают все его последствия, дурное влияние всегда идет рука об руку с более или менее благотворным противодействием. И это также имело место после плачевного решения присяжных. Опасные последствия его пока что в некоторой мере нейтрализуются ликованием и победными криками, которые подняли легитимисты: народ так ненавидит их, что забывает все свое негодование против Луи-Филиппа, когда эти исконные враги новой Франции слишком уж громко начинают ликовать, празднуя свою победу над ним. Самое тяжелое обвинение, которое в последнее время возводилось

\* Современница

на короля, ведь именно и состояло в том, что будто бы он слишком усердно хлопочет о примирении с легитимистами и приносит им в жертву демократические интересы. Вот почему оскорбления, которым подвергся король именно со стороны этих фрондирующих дворян, вызвало известное злорадство прежде всего в среде буржуазии, натравливаемой газетами недовольного среднего сословия и занятой самыми гадкими измышлениями насчет реакционных намерений теперешнего министерства.

Но как обстоит дело с этими реакционными намерениями, которые приписываются главным образом Гизо? Мне не верится в них. Гизо — человек стойкий, но не реакционный. И будьте уверены, что за сопротивление вышшим ему давно дали бы отставку, если б не нуждались в его сопротивлении низам. Настоящее его дело — фактическое сохранение того буржуазного правительства, которое со стороны запоздалых мародеров прошлого подвергается таким же злобным угрозам, как и со стороны жадного до грабежа авангарда будущего. Господин Гизо поставил себе трудную задачу, и никто не благодарит его за это. Право, всего неблагодарнее оказались те добрые граждане, которых его сильная рука охраняет и защищает, но которым он никогда не протягивает доверчивой руки и с мелочными страстями которых он не имеет решительно ничего общего. Они его не любят, эти мещане, потому что он не смеется вместе с ними вольтеровским остроумам, потому что сам он не промышленник и не пляшет вместе с ними вокруг майского дерева славы! Голову он держит очень высоко, и все черты его лица словно говорят с меланхолической гордостью: «Я, пожалуй, мог бы делать и что-нибудь лучшее, чем убивать свои силы в тяжелой каждодневной борьбе ради этой сволочи!» Действительно, этот человек не слишком страстно стремится к популярности и даже провозгласил принцип, что хороший министр должен быть непопулярен. Он никогда не желал нравиться толпе, даже во дни Рестав-



Г. Гейне  
*Статуэтка скульптора  
Бернгарда Зофера*



рации, когда его, ученого народного трибуна, чествовали с таким великолепием. Когда он в Сорбонне читал свои замечательные лекции и молодежь слишком уж бурно выражала свое одобрение, он сам смирял этот шумный восторг строгими словами: «Господа, в энтузиазме тоже надо соблюдать порядок!» Любовь к порядку — вообще преобладающая черта характера Гизо, и уже поэтому влияние его на министерство должно было быть очень благотворно среди путаницы наших дней. Из-за этой любви к порядку он нередко подвергался обвинениям в педантизме, и признаюсь, серьезность его внешнего облика смягчается чем-то учительски-навязчивым, напоминающим наше немецкое отечество, в особенности Геттинген! Он такой же не-реакционер, как и гофрат Герен, Тикзен или Эйхгорн, но он никогда не позволит бить университетских педелей или затевать драки на Веендской улице и бить фонари.

## XXXV

Париж, 19 мая 1841

В прошлую субботу имело место одно из замечательнейших заседаний того отделения *Institut royal* \*, которое называется *Académie des Sciences morales et politiques* \*\*. Местом действия, как всегда, была та зала в *Palais Mazarin* \*\*\*, которая и своими высокими сводами, и лицами, порой заседающими в ней, так часто напоминает купол *Dôme des Invalides*. Действительно, прочие отделения Института, собирающиеся здесь на заседания, выказывают только старческое бессилие, но вышеупомянутая *Académie des Sciences morales et politiques* составляет исключение и отличается свежестью и силой. В этом отделении

\* Королевского института

\*\* Академия наук нравственных и политических

\*\*\* Дворце Мазарини

господствуют величественные идеи, тогда как организация и общий дух Institut royal очень мелочны. Какой-то остряк весьма правильно заметил: «На сей раз часть больше целого». Собрание в прошлую субботу дышало особенной юношеской живостью: речь Кузена, председательствовавшего в нем, была исполнена того отважного огня, который порой не очень греет, но всегда светит: а речь Минье, которому выпало на долю почтить память покойного Мерлена де-Дуэ, знаменитого юриста и члена конвента, была так же цветуще-прекрасна, как его наружность. Дамы, которые всегда в большом числе присутствуют на заседаниях Section des Sciences morales et politiques, когда должен говорить прекрасный secrétaire perpétuel\*, являются туда, быть может, не столько для того, чтобы слушать, сколько для того, чтобы смотреть, а так как среди них много очень красивых, то вид их иногда отвлекает слушателей. Что же касается меня, то на этот раз предмет речи Минье совершенно исключительно приковал к себе мое внимание, ибо знаменитый историк революции снова говорил об одном из крупнейших вождей великого движения, преобразовавшего гражданскую жизнь французов, и каждое слово было здесь плодом интересных исследований. Да, это был голос историка, действительного начальника архивов Клио, и, казалось, в руках у него — те вечные таблички, на которых строгая богиня начертала уже слова приговора. Только в выборе выражений и в смягчающем тоне речи сказывалась порой академическая традиция, обязывающая хвалить. К тому же ведь Минье — государственный деятель, а при обсуждении недавнего прошлого следовало соблюдать умную осторожность, не упуская из виду современных отношений. Опасная задача — описывать пережитую бурю, пока мы еще не достигли гавани. Быть может, для французского государственного корабля опасность вовсе еще не миновала, как

\* неперменный секретарь

думает добрый Минье. Недалеко от оратора, на скамье против меня, сидел господин Тьер, и для меня была многозначительна его улыбка в те моменты, когда Минье слишком уж благодушно рассуждал об окончательном упрочении нового порядка: так улыбается Эол, когда Дафнис, взирая на море с тихого берега, наигрывает на мирной флейте.

Речь Минье вы скоро увидите напечатанной целиком, и богатое содержание ее, конечно, порадует вас; но чтение никогда не заменит живую речь, которая, подобно глубокомысленной музыке, вызывает в слушателе цепь идей. Так, у меня до сих пор еще все время звучит в памяти одно замечание, сделанное оратором в нескольких словах и, однако, содержавшее важные мысли. Он отметил, что большую пользу принесло то обстоятельство, что новый свод французских законов составляли люди, которые только что вышли из долгой смуты величайшего государственного переворота и, следовательно, основательнейшим образом изучили человеческие страсти и современные потребности. Да, если мы примем в расчет это обстоятельство, то поймем, что оно особенно благоприятствовало теперешнему французскому законодательству, что им определяется исключительная ценность *Code Napoléon* \* и комментариев к нему, которые, в противоположность другим юридическим сборникам, сочиняли не праздные и холодные казуисты, а пламенные спасители человечества, видевшие все страсти в их первобытной наготе и действительно посвященные в скорби всех новых вопросов жизни. О призвании нашего времени к законодательству философская школа в Германии судит столь же неверно, как и школа историческая; первая уже умерла, а вторая еще не родилась.

Речь, которой Виктор Кузен открыл в прошлую субботу заседание Академии, дышала чувством свободы, которое всегда радует нас в нем и вызывает наше

\* Наполеонов свод законов

уважение. Впрочем, один из наших коллег воздал ему столь щедрую хвалу на этих столбцах, что покамест с него хватит. Я хочу лишь отметить, что об этом человеке, которого мы раньше не слишком доллюбливали и который за последнее время тоже не заслужил наших симпатий, мы теперь все же лучшего мнения. Бедный Кузен, прежде мы так плохо обращались с тобой, с тобой, который всегда был так мил и приветлив с нами, немцами. Странно! Как раз в то время, когда во Франции был министром верный ученик немецкой школы, друг Гегеля, наш Виктор Кузен, — в Германии вспыхнуло против французов то слепое озлобление, которое теперь постепенно исчезает, а потом, быть может, станет совершенно непостижимым. Помню, в то самое время, прошлой осенью, я встретил господина Кузена на Итальянском бульваре, где он стоял перед магазином эстампов, восхищаясь выставленными там картинами Овербека. Мир в то время сорвался с петель, гром бейрутских пушек, словно набатный колокол, пробуждал весь воинственный дух на Западе и на Востоке, египетские пирамиды дрожали, по ту и по другую сторону Рейна оттачивались сабли, — а Виктор Кузен, тогдашний французский министр, спокойно стоял перед магазином эстампов, восторгался безмятежными, набожными ликами святых Овербека и с восхищением говорил о превосходстве немецкого искусства и науки, о нашей душевности и нашем глубокомыслии, о нашей любви к справедливости и нашей гуманности. «Но, ради бога, — внезапно прервал он себя, словно пробуждаясь от сна, — что значит шумное и крикливое бешенство, с которым вы в Германии вдруг ополчились теперь против нас?» Он не мог понять этого неистовства, и я тоже ничего не понимал в нем, и вот, идя по бульвару, рука об руку, мы изощрались в предположениях о конечных причинах этой неприязни, пока не дошли до Passage des Panoramas, где Кузен простился со мной и зашел к Марки — купить себе фунт шоколада.

Я с особенной радостью констатирую самые мелкие обстоятельства, свидетельствующие о симпатиях к Германии, которые замечаю во французских государственных деятелях. Что мы видим эти симпатии у Гизо, это вполне понятно, так как воззрения его весьма родственны нашим, и он очень верно понимает потребности и законные права немецкого народа. Это понимание, может быть, примиряет его с нелепостями, которые порой случаются у нас: слова «tout comprendre c'est tout pardonner» \* я прочел на этих днях на печатке одной красавицы. Пусть себе утверждают, что у Гизо характер пуританина; но ведь он понимает и тех, кто думает и чувствует иначе. Ум его не враждебен поэзии, не узок и не сух: ведь этому пуританину французы обязаны переводом Шекспира, и когда, несколько лет тому назад, мне пришлось писать о британце — короле поэтов, то, стараясь истолковать чары его фантастических комедий, я не нашел лучшего средства, как буквально привести комментарий этого пуританина, «круглоголового» Гизо.

Удивительно! Военное министерство 1 марта, вызывавшее такое негодование по ту сторону Рейна, большей частью состояло из людей, которые искренно почитали и любили Германию. Рядом с этим Виктором Кузеном, который понимал, что лучшую критику чистого разума можно найти у Иммануила Канта, а лучший шоколад — у Марки, в совете министров сидел тогда господин Ремюза, тоже восхищавшийся немецким гением и трудившийся над изучением его. Еще в молодости он перевел несколько немецких драматических произведений, которые напечатал в «Théâtre étranger» \*\*. Человек этот так же умен, как и честен, ему знакомы высоты и глубины немецкого народа, и я убежден, что величие его он понимает лучше, чем все авторы песни Беккера, если даже не лучше, чем сам великий Никлас Беккер! — В последнее время Ремюза

\* «все понять — все простить»

\*\* «Иностранный театр»

нам особенно понравился тем, что открыто выступил на защиту одного из своих благородных соратников, честное имя которого стало жертвой клеветнических инсинуаций.

## XXXVI

Париж, 22 мая 1841

Англичане корчат здесь очень тревожные рожи. «Дело плохо, дело плохо», — таковы испуганные шипящие звуки, которые они нашептывают друг другу, встречаясь у Галиньяни. В самом деле, кажется, что шатается все великобританское государство и что близко его падение, но так только кажется. Государство это подобно пизанской башне: наклонное положение пугает нас, когда мы смотрим на нее, путешественник ускоряет шаг, опасаясь, как бы эта огромная башня не свалилась невзначай ему на голову. Когда я, во дни Каннинга, был в Лондоне и присутствовал на бурных митингах радикалов, мне казалось, что все государственное здание сейчас рухнет. Мои друзья, посетившие Англию во время волнений, вызванных биллем о реформе, испытали чувство такого же страха. Подобными же опасениями были охвачены те, которые были свидетелями махинаций О'Коннеля и шума католической эмансипации. Теперь хлебные законы — причина бури, которая угрожает гибелью государству — но не страшись, сын Альбиона.

Пускай трещит, — еще не рухнет,  
А рухнет — уж после тебя.

Здесь, в Париже, в настоящее время царит глубокая тишина. В конце концов устаешь вечно говорить о подложных королевских письмах, и отрадное разнообразие внесло в наши разговоры похищение инфанты испанской Игнатом Гуровским, братом того пресловутого Адама Гуровского, которого вы, может быть, еще помните. Прошлым летом друг Игнат был влюблен

в девицу Рашель; но так как отец ее, принадлежащий к очень хорошей еврейской семье, отказал ему в руке своей дочери, то он принялся ухаживать за принцессой Изабеллой-Фернандой Испанской. Все придворные дамы обеих Кастилий, да и всего мира, в ужасе всплеснули руками: теперь, наконец, они поняли, что старому миру почтительных традиций пришел конец!

## XXXVII

Париж, 11 декабря 1841

Теперь, с приближением Нового года, дня подарков, магазины стараются превзойти друг друга разнообразием выставок. Вид их может доставить праздному фланеру самое приятное развлечение; и, если мозг его не совсем пуст, то в нем возникнут кой-какие мысли, пока он будет созерцать пестрое обилие предметов роскоши, изящных изделий, выставленных за блестящими зеркальными витринами, и при этом бросать взгляды на публику, стоящую рядом с ним. Лица этой публики так отвратительно серьезны и измучены, так нетерпеливы и угрожающи, что составляют зловещий контраст с предметами, на которые они gazeют, и мы начинаем бояться, как бы вдруг эти люди не ударили кулаками в стекла и не разломали все пестрые, звенящие игрушки знатного света вместе с этим самым знатным светом! Не только какой-нибудь великий политик, но простой фланер, которого занимает не разница между Дюфором и Пасси, а выражение лиц, встречающихся на улицах, и тот твердо убежден, что рано или поздно всей этой буржуазной комедии во Франции, вместе с ее парламентскими героями и статистами, придет страшный свистящий конец и за ней последует эпилог; который называется — коммунистический строй! Конечно, этот эпилог не может особенно затянуться, но он тем могущественнее потрясет и очистит сердца — это будет настоящая трагедия.

Последние политические процессы должны бы многим открыть глаза, но слепота слишком уж приятна. Никто и не хочет, чтоб ему напоминали об опасностях, которые могли бы отравить ему сладость настоящего. Поэтому все они сердятся на человека, чей строгий взор проникает в самые далекие глубины грозных грядущих ночей и чье суровое слово напоминает об общей опасности, — порой, быть может, и невпопад, как раз в то время, когда мы сидим за самой радостной трапезой. Все они сердиты на бедного школьного учителя Гизо. Даже так называемые консерваторы по большей части недовольны им, и в своем ослеплении они полагают, что его можно заменить человеком, чье веселое лицо и чья ласковая речь будут меньше пугать и тревожить их. О консервативные глупцы, вы, которые не в силах консервировать что бы то ни было, кроме вашей глупости, этого Гизо вам надо было бы беречь, как зеницу ока, отгонять от него комаров, как радикальных, так и легитимистических, чтобы поддерживать в нем хорошее расположение духа; иногда вам следовало бы посылать ему цветы в *Hôtel des Capucins*, веселые цветы — розы и фиалки, вместо того чтобы ежедневными придирками отравлять ему пребывание в этом жилище или даже выгонять его оттуда путем интриг. На вашем месте я бы всегда боялся, что он вдруг сбежит от блистательных мучений своего министерского поста и снова укроется в мирную рабочую комнатку в улице Левек, где когда-то он жил так идиллически счастливо среди своих переплетенных в овечью и телячью кожу книг.

Но в самом ли деле Гизо является тем человеком, который был бы в силах предотвратить надвигающуюся гибель? Действительно, в нем соединяются обычно несовместимые свойства — глубочайшая пронизательность и твердая воля: он мог бы с античной непоколебимостью сопротивляться всякой буре и с самой современной осмотрительностью избегать опасных подводных скал — но неслышные зубы мышей слишком

изгрызли дно французского государственного корабля, и против этого внутреннего бедствия, гораздо более серьезного, чем бедствия внешние, Гизо бессилён, — это он и сам понимает. Опасность — в этом. Разрушительные доктрины во Франции слишком уж завладели низшими классами — речь идет уже не о равенстве в правах, но о равенстве в наслаждении благами земными, и в Париже есть около 400 000 грубых кулаков, которые ждут только лозунга, чтобы осуществить идею абсолютного равенства, гнездящуюся в грубых головах. Война, утверждают многие, была бы хорошим способом, чтобы отвлечь эти разрушительные силы. Но разве это было бы не то же самое, что изгонять Сатану с помощью Вельзевула? Война лишь ускорила бы катастрофу и по всей земле распространила бы недуг, подтачивающий сейчас одну лишь Францию; пропаганда коммунизма владеет языком, понятным всякому народу; элементы этого всеобщего языка так же просты, как голод, как зависть, как смерть. Научиться ему так легко!

Но оставим эту мрачную тему и вернемся снова к предметам более веселым, выставленным за зеркальными стеклами на улице Вивьенн или же на бульварах. Они блестят, смеются, манят! Задорная жизнь, нашедшая себе выражение в золоте, серебре, бронзе, драгоценных камнях, во всевозможных формах, особенно же в формах эпохи Ренессанса, которым подражает ныне господствующая мода. Откуда это пристрастие к эпохе Ренессанса, возрождения, или, вернее, воскресения, когда древний мир точно восстал из могилы, чтобы скрасить умирающему средневековью его последние часы? Или наша современная душа считает себя сродни той эпохе, которая, так же как и наша, искала в прошлом источника обновления и жаждала бодрящего напитка жизни? Не знаю, но годы Франциска I и современников его, разделявших его вкусы, полны для нас почти зловещего очарования, как память о пережитом во сне; и потом необыкновен-

ная самобытная прелесть заключена в тех средствах, которыми это время умело переработать в себе вновь обретенную древность. Здесь мы не видим, как в школе Давида, академически сухого подражания греческой пластике, но видим плавное слияние ее с христианским спиритуализмом. В созданиях искусства и жизни, обязанных своим причудливым бытием сочетанию этих разнороднейших элементов, мы чувствуем такое сладостное, меланхолическое остроумие, такой пронически-примирительный поцелуй, цветущий задор, зловещее изящество, которому мы покоряемся со страхом, сами не зная почему.

Но подобно тому, как политику мы сегодня представляем политикам по профессии, так патентованным историкам мы предоставляем более точно исследовать вопрос, в какой степени наше время родственно эпохе Возрождения; и как истые фланеры, остановимся на Монмартрском бульваре перед гравюрою, которую выставили там господы Гупиль и Ритнер и которая, став, так сказать, гвоздем гравюрного сезона, привлекает к себе все взоры. Действительно, она заслуживает этого всеобщего внимания: гравюра эта изображает «Рыбаков» Робера. Дни и годы ждали мы этой гравюры, и конечно, она — чудесный рождественский подарок для широкой публики, которой оригинал остался неизвестен. Я воздерживаюсь от подробного описания этой картины, ибо в скором времени она станет столь же известной, как и «Жнецы» того же художника, по отношению к которым она представляет умную и грациозную параллель. Если та знаменитая картина изображает летний день в сельской местности, по которой римские поселяне, словно на триумфальной колеснице, проезжают с плодами своей жатвы, то на последней картине Робера, представляющей резкий контраст с его «Жнецами», мы видим зимний день в маленькой гавани Кьоджа и бедных рыболовов, которые готовятся отплыть в Адриатическое море, несмотря на ветер и дождь, чтобы заработать себе на жалкий

насущенный хлеб. Жена, дети и старуха-бабушка глядят им вслед с мучительным смирением — очень трогательные фигуры, при виде которых в нашем сердце громко дают о себе знать всякие противоположейские мысли. Эти несчастные люди, рабы нищеты, обречены на вечный труд и погибают в жестокой нужде и скорби. Меланхолическое проклятие отобразилось здесь, и художник, как только закончил картину, перерезал себе горло. Бедный народ! Бедный Робер! — Да, если «Жнецы» этого художника — творение радости, возникшее и сложившееся в любовном сиянии римского солнца, то в его «Рыбаках» отразились все те мысли о самоубийстве, все те осенние туманы, что ложились на его душу в то время, когда он жил в разоренной Венеции. Если та, первая картина, умиротворяет и восхищает нас, то последняя наполняет нас возмущением и негодованием: там Робер изобразил счастье человечества, здесь он изобразил мучения народа.

Вовеки не забуду того дня, когда я впервые увидел оригинал «Рыбаков» Робера. словно молния, сверкнувшая в безоблачном небе, поразила нас внезапная весть о его смерти, а так как эту картину, прибывшую сюда в то же самое время, нельзя было поместить на выставку, которая уже открылась, то у собственника ее, господина Патюрль, явилась похвальная мысль — устроить особую выставку этой картины в пользу бедных. Мер второго округа предоставил помещение для этой выставки, и сбор, если не ошибаюсь, составил свыше шестнадцати тысяч франков. (Если бы все творения друзей народа приносили после их смерти такую же практическую пользу!) Помню, что когда я подымался по лестнице мерии к зале, где была выставлена картина, на одной из дверей я прочел надпись: *Viveau des décès* \*. В зале перед картиной собралось очень много народу, все молчали, царила тревожная глухая тишина, как будто за холстом картины лежал окро-

---

\* Отдел регистрации смертей

вавленный труп мертвого художника. Что было причиной его самоубийства — поступка, противоречащего законам религии, морали и природы, священным законам, которым Робер всю свою жизнь оказывал такое детское послушание? Да, он был воспитан в духе строго швейцарского протестантизма, он хранил непоколебимую преданность вере отцов, и в нем не было и следа религиозного скептицизма или даже индифферентизма. И был он всегда добросовестен в исполнении своих гражданских обязанностей, хороший сын, хороший хозяин, плативший свои долги, соблюдавший все правила приличия, старательно чистивший свое платье, а о безнравственности тут даже не может быть и речи. К природе льнул он всей душою, как ребенок льнет к груди матери; она вскармливала его дарование и открывала ему все свое великолепие, и — заметим мимоходом — она была ему дороже традиции мастеров: следовательно, заманить этого превосходного человека в объятия смерти не могло ни сладостное безумие искусства, погружаясь в которое, он всегда соблюдал меру, ни жуткое стремление к блаженствам грез, ни отречение от природы. И денежные дела его были в полном порядке, все почитали его, восхищались им, и он даже был здоров. Что же было причиной? Здесь, в Париже, одно время ходил слух, будто причиной этого самоубийства была несчастная страсть к одной знатной даме в Риме. Я не могу этому поверить. Роберу тогда было тридцать восемь лет, и хотя в этом возрасте вспышки страсти бывают ужасны, все же дело не доходит до самоубийства, как в ранней молодости, в юный Вертеровский период.

Быть может, уйти из жизни Робера побудило то страшнейшее ощущение, когда художник замечает несоответствие между своей жаждой творчества и средствами выражения: это сознание бессилия — уже полусмерть, и рука лишь помогает сократить агонию. Хотя произведения Робера и были так прекрасны, так благородны, все же это были, наверное, только блед-

ные тени тех цветущих красок природы, которые являлись его духовному взору, и опытному глазу легко было заметить тягостную борьбу с материалом, который он преодолевал лишь путем отчаяннейшего напряжения. Прекрасны и непоколебимы все эти картины Робера, но в них по большей части нет свободы, не чувствуется веяния живого духа: они надуманны. Робер имел некоторое представление о том, что есть гениальное величие, но дух его все же был загнан в тесные рамки. Судя по характеру его произведений, следовало бы думать, что он был поклонником Рафаэля Санцио из Урбино, ангела совершенной красоты, — но нет, как уверяют его близкие друзья, он поклонялся Микель-Анджело Буонаротти, боготворил грозного титана, яростного громовержца Страшного суда. Истинной причиной его смерти была горькая досада художника-жанриста, жадно стремившегося к грандиознейшим историческим полотнам, — он умер от недостатка творческих сил.

Гравюра «Рыбаки», выставленная теперь у Гупиля и Ритнера, превосходна в техническом отношении: истинный шедевр, стоящий гораздо выше, чем гравюра «Жнецы», выполненная, пожалуй, слишком поспешно. Но ей недостает той блаженной самобытности, которая так пленяет нас в «Жнецах» и которая, быть может, объясняется тем, что в картине этой сказалось единство созерцания — все равно, внешнего или внутреннего, и что оно отобразено в ней с большою точностью. «Рыбаки», напротив, слишком уж надуманны, фигуры лишь с трудом удалось найти и сгруппировать, они скорее стесняют друг друга, чем дополняют, и в оригинале только краска сглаживает различия и придает всей картине видимость единства. На гравюре, лишенной пестрого посредничества краски, части, лишь внешне связанные друг с другом, естественно, снова распадаются, обнаруживается неловкость, несовершенство работы, и целое уже перестает быть целым. Величие Рафаэля, недавно говорил мне один коллега,

сказывается в том, что картины его и в гравюре не утрачивают своей гармоничности. Даже и в самых посредственных копиях, лишенные всякого колорита, если даже не всяких теней, представленные в голых контурах, творения Рафаэля сохраняют ту гармоническую мощь, которая потрясает нашу душу. Причина та, что они — истинные откровения, откровения духа, который, так же как природа, кладет печать завершенности и на простые контуры.

Резюмирую мое мнение о «Рыбаках» Робера: им недостает единства, и только частности, особенно молодая женщина с больным ребенком, заслуживают самой великой похвалы. Чтобы подкрепить мое суждение, сошлюсь на эскиз, в котором Робер словно высказал свою первую мысль: здесь, в первоначальной концепции, господствует та гармония, которой недостает законченной картине, и когда сравнишь ее с эскизом, ясно видишь, как долго художник терзал и утомлял свой дух, прежде чем дать картине ее теперешний вид.

### XXXVIII

Париж, 19 декабря 1841

Удержится ли Гизо? Боже правый, в этой стране долго никто не продержится, все шатается, даже Луксорский обелиск! Это не гипербола, но буквальная истина: уже несколько месяцев здесь идут разговоры о том, что обелиск нетвердо стоит на своем пьедестале, что повременам он покачивается и в одно прекрасное утро свалится на голову людям, которые будут проходить мимо него. Боязливые уже и теперь, если на их пути приходится площадь Людовика XV, стараются пройти подальше от разрушающегося величия. Более отважные не изменяют, конечно, своему обычному пути, не отступают ни на шаг, но все же, проходя мимо, не могут не взглянуть — в самом ли деле шатается огромный камень. Как бы то ни было, всегда плохо, когда публика начинает сомневаться в прочности

вещей; вместе с верой в их долговечность исчезает и лучшая опора их. Устоит ли он? Во всяком случае, я думаю, что в течение всего ближайшего заседания палаты они оба еще продержатся — как обелиск, так и Гизо, представляющий с первым некоторое сходство: например, он также стоит не на своем месте. Да, оба они стоят не на своем месте, они вырваны из своей среды, насильственно пересажены в неподходящее соседство. Обелиск стоял некогда перед исполинской колоннадой, увенчанной лотосными капителями, у входа в Луксорский храм, подобный огромной гробнице, что заключает в себе вымершую мудрость прошлого, высохшие трупы царей, набальзамированную смерть. Рядом с ним стоял его брат-близнец — из такого же красного гранита и такой же пирамидальной формы, и чтобы приблизиться к ним обоим, надо было пройти мимо двух рядов сфинксов, немых, загадочных тварей — зверей с человеческими ликами, египетских доктринеров. И правда, это соседство куда лучше шло к обелиску, чем то, которое выпало ему на долю на площади Людовика XV, самой современной площади мира, площади, где собственно началось новое время и где святотатственный топор насильственно отсек его от прошедшего. Быть может, великий обелиск в самом деле дрожит и шатается, потому что ему страшно стоять на столь безбожной земле, ему, который тысячелетиями, словно каменный швейцарец в иероглифической ливрее, стоял на страже у священных врат гробниц фараонов и неограниченного царства мумий? Во всяком случае, стоит он там очень одиноко, почти комически одиноко, окруженный со всех сторон театральными постройками нового времени, изваяниями во вкусе рококо, фонтанами с раззолоченными наядами, аллегорическими статуями французских рек, в пьедестале которых находится комната привратника, посередине между Arc de Triomphe \*, Тюильри и палатой депутатов — примерно

\* Триумфальной аркой

так же, как жречески глубокомысленный, египетски неподвижный и молчаливый Гизо — между империалистически грубым Сультом, меркантильно плоскоголовым Гюманом и пустым болтуном Вильменом, который наполовину выкрашен в вольтерианский, а наполовину в католический цвет и у которого, во всяком случае, одной полосой больше, чем надо.

Но оставим Гизо и будем говорить только об обелиске: правда, что поговаривают о его скором падении. Говорят, что под тихими лучами палящего солнца Нила, в своем отечественном спокойствии и уединении, он мог бы простоять еще тысячелетия; но здесь, в Париже, на него влияют постоянные перемены погоды, лихорадочно-изнурительная, анархическая атмосфера, беспрестанно дующий холодный сырой ветер, гораздо более вредный для здоровья, чем знойный самум пустыни; словом, парижский климат не годится для него. Настоящий соперник Луксорского обелиска — это все еще Вандомская колонна. Прочно ли она стоит? Не знаю, но она стоит на своем месте, гармонируя со своей средой. У нее — крепкие корни в национальной почве, и для тех, кто будет за нее держаться, она явится прочной опорой. Вполне ли прочной? Нет, здесь во Франции ничто не стоит прочно. Однажды буря уже свергнула с вершины Вандомской колонны капитель — железного мужа, служившего ей капителью, а в случае прихода коммунистов к власти, то же самое может ведь и повториться, если только радикально-бешеное стремление к равенству вовсе не уничтожит колонну, чтобы этот памятник, символизирующий жажду славы, исчез с лица земли: ни один человек и ни одно создание рук человека не должны подыматься над известным общим уровнем, и водчеству, так же как и эпической поэзии, грозит гибель. «К чему еще памятники честолюбивым народоубийцам?» — такие возгласы слышал я недавно по случаю конкурса на проект мавзолея императора. «На это пойдут деньги нищенствующего народа, а ведь

мы разобьем его, когда настанет день!» Да, мертвому герою лучше было бы остаться на св. Елене, и я не поручусь ему за то, что когда-нибудь гробница его не будет разгромлена и труп его не будет выброшен в прекрасную реку, на берегах которой он должен был так трогательно покоиться, то есть в Сену! Быть может, Тьер, как министр, оказал ему неважную услугу.

Право, как историк он оказывает лучшую услугу императору, и памятник более прочный, чем Вандомская колонна и проектируемая гробница, воздвигает ему Тьер в той великой исторической книге, над которой он постоянно трудится, несмотря на все политические заботы, беспокоящие его. Только Тьер располагает данными, чтобы написать великую историю Наполеона Бонапарта, и он напишет ее лучше, чем те, которые считают себя исключительно призванными к этому делу на том основании, что они были верными спутниками императора и даже постоянно соприкасались с его особой. Личные знакомые великого героя, его соратники, камердинеры, камергеры, секретари, адъютанты, может быть, вообще его современники менее всего годятся в историографы; порой они мне представляются в виде маленьких насекомых, которые ползали по голове человека, находились в самой настоящей, непосредственной близости к его мыслям, всюду его сопровождали и все-таки никогда и не догадывались о настоящей его жизни и значении его поступков.

Не могу по этому случаю не обратить внимания на гравюру, выставленную сейчас во всех художественных магазинах и изображающую императора, — копию с картины Делароша, написанной им для леди Сандвич. Здесь (как и во всех своих произведениях) художник действовал эклектически, и, работая над этой картиной, он воспользовался рядом неизвестных портретов, находящихся во владении семьи Бонапартов, затем — маской покойного, далее — подробно

стями о характерных чертах лица императора, которые узнал от знакомых дам, и, наконец, собственными воспоминаниями, так как в своей молодости он много раз видел Наполеона. Не могу поделиться здесь моим мнением об этой картине, так как мне пришлось бы подробно говорить о манере Делароша. Главное я уже отметил: эклектические приемы, которыми в известной мере достигается внешняя правда, но которые не дают высказаться основной, более глубокой мысли. Этот новый портрет императора появился у Гупиля и Ритнера, издавших гравюры почти со всех известных произведений Делароша. Недавно они выпустили в свет его Карла I, над которым в тюрьме издеваются солдаты и палачи, а в параллель к этой картине и в том же формате мы видим графа Стаффорда, который, направляясь к месту казни, проходит мимо тюрьмы, где заключен епископ Лау, посылающий свое благословение графу, пока его проводят мимо; видны только две руки, протянутые сквозь решетку окна и похожие на палки, — весьма прозаичные и безвкусные. В том же магазине появилось новое большое произведение Делароша: умирающий Ришелье, плывущий по Роне в лодке с двумя своими жертвами, готовыми к закланию, — рыцарями Сен-Марсом и Де-Ту, приговоренными к смерти. Дети короля Эдуарда, которых убивают в Тауэре по приказанию Ричарда III, — самая изящная из вещей, написанных Деларошем и изданных в виде гравюры вышеупомянутым магазином. Сейчас готовится гравюра с картины Делароша, изображающей Марию-Антуанету в тюрьме Тамплъ: несчастная королева одета крайне бедно, почти совсем как женщина из народа, что, разумеется, вызовет в благородном предместье легитимнейшие слезы. Один из трогательнейших шедевров Делароша, изображающий королеву Иоанну Грей в ту минуту, когда она кладет на плаху свою белокурую головку, еще не выгравирован и тоже должен вскоре появиться. Его Мария Стюарт также еще не появилась в гравюре. Если не лучшее, то,

конечно, самое эффектное, что создал Деларош, — это его Кромвель, приоткрывающий гроб с обезглавленным трупом Карла I, — знаменитая картина, о которой я подробно говорил несколько лет тому назад. Гравюра — тоже верх технического совершенства. Удивительное пристрастие, даже идиосинкразия сказывается у Делароша в выборе сюжетов. Всегда у него высокие особы, которых или казнят или же отдают в руки палача. Господин Деларош — придворный живописец всех обезглавленных величеств. Он не может не служить этим высокопоставленным смертникам, и они занимают его ум даже тогда, когда он изображает монархов, преставившихся и без помощи палача. Например, на картине, где изображена умирающая Елизавета Английская, мы видим, как седая королева в отчаянии катается по полу, мучимая в этот предсмертный час воспоминанием о графе Эссексе и Марии Стюарт, окровавленные тени которых она, кажется, видит своими остановившимися глазами. Эта картина — украшение Люксембургской галлерей и не так ужасно-банальна или банально-ужасна, как прочие упоминавшиеся здесь картины исторического жанра, излюбленные буржуазией, честными, почтенными буржуа, которые высшей задачей искусства считают преодоление трудностей, смешивают ужасное с трагическим и рады поучаться, созерцая падшее величие, в сладостном сознании, что они, в скромной темноте, в глубине лавочки улицы Сен-Дени, гарантированы от подобных катастроф.

## XXXIX

Париж, 28 декабря 1841

От палаты депутатов, только что открывшейся, я жду мало отрадного. Здесь мы не увидим ничего, кроме мелочных ссор, личной вражды, бессилия, даже, может быть, окончательного застоя. Палата, действительно,

должна состоять из плотных партийных масс, иначе вся парламентская машина не сможет работать. Если каждый депутат станет высказывать особое, отдельное, одинокое мнение, то никогда не будет принято решение, которое хоть отчасти можно было бы считать выражением всеобщей воли, а между тем существеннейшее условие представительной системы заключается в том, чтобы эта всеобщая воля получала отчетливое выражение. В палате, как и во всем французском обществе, такой раскол, такая раздробленность, что не найдется и двух человек, вполне согласных друг с другом в своих мнениях. Рассматривая нынешних французов с этой политической точки зрения, я всегда вспоминаю слова нашего знакомого, Адама Гуровского, который утверждал, что немецкие патриоты совершенно лишены возможности действовать, так как двенадцать немцев всегда разделяются на двадцать четыре партии: ибо при нашей многосторонности и добросовестности мышления каждый из нас впитывает одновременно два противоположных мнения, со всеми их доводами, и каждый человек поэтому разделяется на две партии. То же самое происходит теперь и с французами. Куда ведет это раздробление, это уничтожение всех умственных уз, этот партикуляризм, это угасание всякого единодушия, являющееся нравственной смертью народа? — Это положение вызвано культом материальных интересов, своекорыстия, денег. Долго ли продержится оно, или какое-нибудь властное событие, случайность или несчастье, снова вдруг соединит сердца французов? Бог не оставит немца, как не оставит он и француза, да и вообще не оставит он ни один народ, и когда народ засыпает от усталости или от лени, он посылает к нему тех, кто в будущем должен его пробудить и, таясь во мраке уединения, ждет своего часа, часа встряски. Где бодрствуют эти люди? Я старался иногда узнать это, и мне таинственно указывали — на армию! Говорят, здесь, в армии, еще живо мощное чувство национального самосознания; сюда,

под трехцветное знамя, укрылись те высокие чувства, которые гонит и осмеивает господствующий дух промышленности; здесь цветет невзыскательная гражданская добродетель, бесстрашная любовь к подвигам и к чести, пламенная способность воодушевляться; тогда как всюду — раздоры и гниение, здесь живет еще самая здоровая жизнь и вместе с тем — привычное послушание авторитетам, во всяком случае, вооруженное единодушие. Отнюдь не исключено, что как-нибудь рано утром армия сбросит нынешнее буржуазное правительство, эту вторую директорию, и совершит свое восемнадцатое брюмера! Итак, песня кончится солдатчиной, и человеческое общество снова должно сносить тяжесть постоя?

Палата перов осудила господина Дюпоти, движимая не только старческим страхом, но и той наследственной враждой к революции, которая тайно гнездится в сердцах многих благородных перов. Ибо высокое собрание состоит не только из свежеиспеченных людей нового времени; стоит лишь бросить взгляд на список лиц, вынесших приговор, и мы с удивлением увидим, что рядом с именем выскочки времен Империи или из числа филиппистов всегда оказывается два или три имени времен старого режима. Носители этих имен, естественно, составляют большинство; и вот они сидят на обитых бархатом скамьях Люксембурга, старые гильотинированные люди с вновь пришитыми головами, которые они боязливо ощупывают всякий раз, когда народ на улице начинает шуметь, — привидения, которые ненавидят всякого петуха, а более всех — галльского, ибо они по опыту знают, как быстро его утренний крик мог бы положить конец этому наводнению; жуткое зрелище является нам, когда эти несчастные мертвецы творят суд над живыми, над самыми младшими и самыми отчаянными детьми революции, над теми покинутыми и обездоленными детьми, бедствие которых столь же велико, как и их безумие, — над коммунистами!

## XL

Париж, 12 января 1842

Мы смеемся над бедными лапландцами, которые, если заболевают чахоткой, покидают свою родину и едут в Санкт-Петербург, чтобы наслаждаться там мягким южным климатом. Алжирские бедуины, находящиеся здесь, имели бы такое же право смеяться над нашими соотечественниками, которые ради своего здоровья предпочитают проводить зиму в Париже, а не в Германии и воображают, что Франция — теплая страна. Уверяю вас, что у нас в Люнебургской степи не может быть холоднее, чем здесь в настоящую минуту, когда я пишу вам окоченевшими пальцами. В провинции тоже, должно быть, жестокие холода. Депутаты, которые сейчас толпами прибывают сюда, рассказывают только о снеге, гололедице и опрокинутых дилижансах. Лица их еще красные и распухшие, как от насморка, их мозг замерз, температура их мыслей — девять градусов ниже нуля. При составлении адреса они оттают. Все теперь имеет замороженный и печальный вид. В важнейших вопросах нигде не заметно единодушия, ветер постоянно меняется. Чего желали вчера, того уже не хотят сегодня, и бог знает, к чему будут стремиться завтра. Раздоры и недоверие, колебания и раздробленность — ничего больше. Король Филипп довел до крайней и самой вредной степени принцип своего македонского тезки: «Разделяй и властвуй». Слишком сильное разделение опять-таки мешает правительству, особенно конституционному, и трудно придется Гизо с расколами и возней в палате. Гизо попрежнему — защита и оплот существующего строя. Но так называемые друзья существующего строя, консерваторы, плохо помнят это, и уже забыли, что еще в прошлую пятницу, в одно и то же время, раздавались крики: «A bas Guizot!» \* и «Vive Lamennais!» \*\*

\* Долой Гизо!

\*\* Да здравствует Ламенне!

Для человека порядка, для великого успокоителя, в самом деле, косвенным триумфом явилось то обстоятельство, что его унизили ради прославления этого жуткого священника, который сочетает политический фанатизм с религиозным и совершит последнее помазание над мировым хаосом. Бедный Гизо, бедный школьный учитель, бедный *rector magnificus* \* Франции! Они поют тебе: *percat* \*\*, эти студенты, которые поступили бы гораздо лучше, если бы взялись за изучение твоих книг, где столько поучительного, столько глубокомыслия, столько указаний для счастья человечества! «Берегись, — говорил однажды демагог великому патриоту: — когда народ обезумевает, он разорвет тебя». А тот отвечал: «Берегись, ибо тебя разорвет народ, когда он образумится». То же могли бы сказать друг другу в прошлую пятницу Ламенне и Гизо. Эта бурная сцена казалась более опасной, чем об этом пишут газеты. Газеты же, как министерские, так и оппозиционные, были заинтересованы в том, чтобы несколько замаять это происшествие; газеты оппозиционные — ввиду того, что эта манифестация не встретила в народе особенного отклика. Народ спокойно смотрел и мерз. В Париже при девяти градусах мороза можно не опасаться падения правительства. Зимой здесь никогда не бывало восстаний. Со времени штурма Бастилии до восстания Барбеса народ всегда откладывал свое негодование до более теплых летних месяцев, когда стоит хорошая погода и можно драться с удовольствием.

## XLI

Париж, 24 января 1842

На парламентской арене несколько дней тому назад снова имел место блистательный поединок между Гизо

\* славнейший правитель (титул ректора)

\*\* да погибнет

и Тьером, этими двумя людьми, имена которых — у каждого на устах и постоянные толки о которых должны бы, в конце концов, наскучить. Я удивляюсь, что французы еще не потеряли терпения, слушая каждый день, из года в год, с утра до вечера, вечную болтовню об этих двух личностях. Но ведь, в сущности, речь здесь идет не о личностях, а о системах, системах, о которых будет говориться всюду, где бытию государства угрожает внешняя опасность, всюду — будь то в Китае или во Франции. Разница лишь в том, что здесь говорят о Тьере и Гизо, а в Китае — о Лине и Кешене. Первый — это китайский Тьер и является представителем воинственной системы, которая хотела отклонить надвигающуюся опасность силою оружия, а, быть может, только устрашающим звоном оружия. Кешен, напротив, это — китайский Гизо, он представитель мирной системы, и, быть может, его умной уступчивости удалось бы при помощи комплиментов выпроводить из страны рыжеволосых варваров, если бы Тьеровская партия не получила перевеса в Пекине. Бедный Кешен! Именно потому, что мы так далеко от места действия, мы могли вполне ясно постичь, насколько ты был прав, не доверяя военным силам срединной империи, и как честно было твое поведение относительно твоего императора, не столь благодарного, как Луи-Филипп! Я очень обрадовался, когда на днях «Всеобщая Газета» сообщила, что превосходного Кешена не распилили пополам, как писали раньше, но что он только лишился своего огромного состояния. Это никогда не может случиться с здешним представителем мирной системы; в случае его падения богатства его не могут быть конфискованы — Гизо беден, как церковная крыса. И наш Лин тоже беден, как я уже не раз упоминал; я убежден, что историю императора он пишет главным образом ради денег. Какая слава для Франции, что оба человека, управляющие всей ее силой, — два бедные мандарина, сокровища которых — только в их головах!

Вы читали последние речи этих двух людей и нашли в них, быть может, не мало поучительного насчет той путаницы, которая является прямым следствием восточного вопроса. Что особенно замечательно в настоящую минуту, так это кротость русских в тех случаях, когда дело идет о неприкосновенности Турецкой империи. Но истинная причина в том, что фактически они уже владеют большей ее частью. Турция постепенно, без насильственной оккупации, станет русской. Русские следуют здесь методу, который я в ближайшем будущем постараюсь осветить. Для них все дело — в реальной власти, а не в пустой видимости ее, не в византийских титулах. Константинополь от них не уйдет, они проглотят его, как только наступит подходящий момент. Но сейчас этот момент еще не наступил, и они говорят о Турции со слащавой, почти герингутерской миролюбивостью. Они напоминают мне басню о волке, который, будучи голоден, схватил овцу. С жадной поспешностью сожрал он ее передние ноги, а задние ноги зверька пощадил и сказал: «Теперь я насыщен, и этой доброй овце, угостившей меня своими передними ножками, я в благодарность оставляю все ее остальные ноги и весь остаток ее туловища».

## XLII

Париж, 7 февраля 1842

«Мы танцуем здесь на вулкане» — но мы танцуем. Мы сегодня не станем исследовать, что бродит в вулкане, кипит и бурлит, и только будем созерцать, как танцуют на вулкане. Тут нам прежде всего придется говорить об *Académie royale de musique*, где все еще существует тот уважаемый *corps de ballet\**, который верно хранит хореографические традиции и который следует рассматривать, как собрание пэров танца.

\* кордебалет

Другие перы, что заседают в Люксембурге, так же как эти, насчитывают в своих рядах великое множество париков и мумий, о которых я не хочу высказываться из легко понятного страха. Несчастье, постигшее господина Перре, редактора «Siècle», приговоренного недавно к шестимесячному заключению и к штрафу в 10 000 франков, послужило мне наукой. Буду говорить лишь о Карлотте Гризи, так очаровательно блистающей среди почтенного общества улицы Лепельтье — точно апельсин среди картошек. Если не считать удачного сюжета, заимствованного из сочинений одного немецкого автора, неслыханному успеху балета «Виллиса» более всех содействовала Карлотта Гризи. Когда смотришь на нее, забываешь, что Тальони — в России, что Эльслер — в Америке, забываешь о самой Америке и России, да и обо всем на свете, и вздымаешься вместе с нею в висячие волшебные сады того царства духов, где она — королева. Да, у нее именно характер тех стихийных духов, которых мы представляем себе вечно пляшущими, о величественных плясках которых народ рассказывает такие чудеса. В сказании о виллисах та неистовая, таинственная, порой губительная для человека жажда плясок, которая свойственна стихийным духам, становится уделом умерших невест; к древнеязыческой своенравной прелести русалок и эльфов здесь присоединилась еще меланхолически-сладострастная жуть, сладостно-темный ужас средневековой веры в привидения.

Соответствует ли музыка причудливому сюжету этого балета? Мог ли господин Адам, написавший музыку, создать плясовые мелодии, от которых, как говорится в народном предании, деревья начинают прыгать, а водопад повисает в воздухе? Господин Адам, сколько мне известно, был в Норвегии, но я сомневаюсь, чтобы какой-нибудь сведущий в рунах волшебник научил его той мелодии «штрёмкарля», только десять вариаций которой можно сыграть; дело в том, что есть еще одна-надцатая, которая могла бы причинить великую беду:

когда играют ее, вся природа приходит в смятение: горы и скалы пускаются в пляс, и дома пляшут, а в домах пляшут столы и стулья, дед хватает бабушку, пёс хватает кошку и начинает плясать, даже дитя выскакивает из колыбели и пляшет. Нет, столь властно-могучих мелодий господин Адам не привез из своего северного путешествия; но то, что он написал, все же заслуживает внимания, и он занимает почетное место среди композиторов французской школы.

Не могу не отметить здесь, что христианская церковь, принявшая в свое лоно все искусства и сумевшая воспользоваться ими, все же не знала, что ей делать с искусством танца, и отвергла его и прокляла. Быть может, пляска слишком уж напоминала древнее богослужение язычников — как римских язычников, так и германских и кельтских, чьи боги только что превратились в те эльфоподобные существа, которым — я упомянул об этом выше — народная вера приписывала чудесную страсть к пляске. Вообще злого духа стали, под конец, считать истинным покровителем пляски, и в его святотатственном сообществе ведьмы и колдуньи вели свои ночные хороводы. Набожная бретонская народная песня гласит, что пляска проклята с тех пор, как дочь Иродиады плясала перед злым царем, умертвившим Иоанна в угоду ей. «Когда ты смотришь на пляску, — присовокупляет певец, — вспомни об окровавленной голове Крестителя на блюде, и бесовское вождение не в силах будет повредить твоей душе!» Танцы в *Académie royale de musique*, если поглубже в них вдуматься, представляются попыткой обратиться в христианство это исконно языческое искусство, и французский балет отзывает почти галликанской церковью, если даже не янсенизмом, как и все художественные явления великого века Людовика XIV. В этом отношении французский балет родственен по духу и составляет параллель к расиновским трагедиям и садам Ле-Нотра. Здесь господствует та же размеренность, те же формы этикета, та же придворная холод-

ность, то же нарядное равнодушие, то же целомудрие. Действительно, форма и сущность французского балета целомудренны, но глаза танцовщиц составляют к самым нравственным па весьма порочный комментарий, и их распутная улыбка — в вечном противоречии с их ногами. Мы видим противоположное в так называемых национальных танцах, которые мне поэтому в тысячу раз милее, чем балеты Большой оперы. Национальные танцы часто бывают слишком чувственны, почти непристойны в своих формах, например, танцы индийские, но священная серьезность на лицах пляшущих придает этой пляске нравственный характер и даже возвышает ее на степень культа. Великий Вестрис сказал однажды словцо, которому уже немало смеялись. А именно, он патетическим тоном сказал одному из своих учеников: «Великий танцор должен быть добродетелен». Странно! Великий Вестрис уже сорок лет как лежит в могиле (он не мог пережить несчастье дома Бурбонов, с которым семья Вестрисов всегда была очень дружна), и только в прошлом декабре, присутствуя на открытии палаты и мечтательно предавшись своим мыслям, я вспомнил покойного Вестриса, и, словно по вдохновению, вдруг понял я смысл и значение его глубоко-мысленных слов: «Великий танцор должен быть добродетелен».

О балах этого сезона я мало что могу сообщить, так как до сих пор почтил своим присутствием лишь немногие вечера. Это вечное одно и то же начинается в конце концов внушать мне ennui\*, и я не понимаю, как мужчина может это выносить. Что до женщин, то мне это вполне понятно: для них самое важное — наряды, в которых они показываются. Приготовления к балу, выбор платья, одевание, завивка, примерка улыбочек перед зеркалом, словом — мишура и желание понравиться — главное для них и составляет развлекательнейшую усладу. Но для нас, мужчин, надевающих

\* скуку

только демократические черные фраки и башмаки (ужасные башмаки!), для нас вечер — неисчерпаемый источник скуки, смешанной с несколькими стаканами оршада и лимонада. О прелестной музыке не стану и говорить. То, отчего балы большого света становятся еще скучнее, чем они должны бы быть по законам божеским и человеческим, это господствующая на них мода — танцевать только для вида, полагающиеся фигуры исполнять только шажком, двигать ногами совсем равнодушно, почти что с досадой. Никто больше не хочет забавлять других, и этот эгоизм сказывается и в танцах нынешнего общества.

Низшие классы, как ни стараются они подражать большому свету, еще не выучились этой эгоистической видимости танца; танец их — еще реальность, но реальность, весьма достойная сожаления. Право не знаю, как выразить странную печаль, которая овладевает мною всякий раз, когда в местах общественных увеселений, особенно во время карнавала, мне приходится смотреть на танцующий народ. Визгливо-пронзительная, преувеличенная музыка сопровождает здесь танец, так или иначе граничащий с канканом. Тут я слышу вопрос: что есть канкан? О небо! Для «Всеобщей Газеты» я должен дать определение канкана! Так и быть: канкан есть танец, который никогда не танцуют в порядочном обществе, а только в простых танцевальных заведениях, где тот или та, кто его танцует, неизбежно попадает в руки полицейского и оказывается за дверью. Не знаю, достаточно ли вразумительно это определение, но ведь вовсе и не требуется, чтобы в Германии с полной точностью знали, что такое французский канкан. Из моего определения можно будет понять хотя бы, что добродетель, восхваляемая покойным Вестрисом, здесь не является необходимой принадлежностью и что полиция беспокоит французский народ даже во время танцев. Да, это очень странное зло, и всякого мыслящего иностранца должно удивлять, что на публичных балах ни одна кадрили не

обходится без нескольких полицейских или солдат муниципальной гвардии, которые с угрюмо-катоновским видом охраняют танцующую мораль. Почти не постижимо — как еще может народ под таким постыдным контролем сохранять свою смеющуюся веселость и страсть к танцам. Но это галльское легкомыслие тут-то как раз и делает самые веселые прыжки, когда на него надевают смирительный камзол; и хотя строгое полицейское око не допускает, чтобы канкан танцевали в его цинической определенности, все же танцоры умудряются разными ироническими антраша и жестами шаржированного приличия высказать свои запретные мысли, и покрывало оказывается еще непристойнее, чем нагота. По-моему, нравственность не много выигрывает от того, что правительство, так громко бряцаая оружием, вмешивается в танцы народа; ведь запрещенное — это самый сладостный соблазн, и утонченные, нередко остроумные попытки обойти цензуру имеют здесь влияние еще более вредное, чем дозволенный цинизм. Этот надзор за народными забавами характеризует, впрочем, здешнее положение и показывает, как далеко ушли французы в деле свободы.

Но не одни только половые отношения являются темой нечестивых танцев в парижских кабачках. Порой эти танцы мне кажутся насмешкой над всем, что благородно и священно в жизни, но что так часто служит корыстным целям хитрецов, так часто опошляется простотами и поэтому не возбуждает в народе прежней веры. Да, народ утратил веру в ту возвышенную мысль, о которой так много говорят наши политические и литературные тартюфы; а хвастливое бессилие так уж отбило у него охоту ко всему идеальному, что он видит в нем лишь пустую фразу, лишь так называемую *blague* \*, и этот безотрадный взгляд на вещи, представленный в лице Робера Макера, сказывается ведь и в танцах народа, на которые следует смотреть, как

\* хвастовство

на своеобразную пантомиму робер-макерства. Кто имеет о нем приблизительное понятие, поймет и эти невыразимые танцы, высмеивающие на языке пляски отношения не только половые, но и гражданские, а также все, что есть доброго и прекрасного, и даже всякого рода энтузиазм, любовь к отечеству, верность, веру, семейные чувства, героизм, божество. Повторяю, несказанная скорбь всегда овладевает мною, когда в местах общественных увеселений я смотрю на пляшущий парижский народ; особенно же во время карнавала, когда маскарадное безумие доводит демоническое веселие до невероятных пределов. Я чуть не поддался ужасу во время одного из тех пестрых ночных празднеств, что происходят теперь в Орéга Comique \* и где, кстати сказать, пьянящее наваждение куда великолепнее, чем на балах Большой оперы. Огромным оркестром здесь управляет Вельзевул, и дерзкий адский блеск газового освещения ослепляет взор. Здесь — долина гибели, о которой рассказывает нянька; здесь пляшут чудовища, как у нас в Вальпургиеву ночь, и среди них есть немало весьма красивых, таких, в которых, несмотря на всю их испорченность, нельзя не признать той грации, что врождена дьяволицам-француженкам. Когда же загремит общий галоп, тогда сатанинское зрелище достигает своего бессмысленнейшего апогея, и кажется, что вот провалится потолок и вся братия понесется вверх, кто на метле, кто на ухвате, кто на кочерге — «ввысь, вечно ввысь, в никуда!» — мгновение, опасное для многих наших соотечественников, не волшебников, увы! — и не знающих слов той молитвы, которую надо произнести, чтобы не умчаться вслед за неистовым войском.

\* Комической опере



## **ЧАСТЬ ВТОРАЯ**





### XLIII

Париж, середина апреля 1842

Когда в прошлом году в чудный летний день я прибыл в Сетт, глазам моим представилась процессия, тянувшаяся вдоль набережной, перед которой расстилается Средиземное море, и никогда не забуду я этого зрелища! Впереди шествовали братства, в красных, белых или черных одеяниях, кающиеся грешники, опустившие на лицо капюшоны с двумя дырами, откуда таинственно выглядывали глаза — точно глаза призрака; в руках — горящие восковые свечи. За ними шли монахи разных орденов. Также и множество мирян, женщин и мужчин, бледных, согбенных, набожно двигавшихся вслед с трогательно скорбным пением. Такие процессии я часто встречал в моем детстве на Рейне и не могу не сознаться, что во мне эти звуки пробудили некую печаль, нечто вроде тоски по отчизне. Но чего я раньше никогда еще не встречал и что, повидимому, было заимствовано по соседству, из Испании, была группа детей, изображавшая страсти Христовы. Маленький мальчик, наряженный так, как обычно рисуют Спасителя, с терновым венком на голове, с прекрасными золотистыми кудрями, печально опускавшимися на плечи, тяжело дышал, согнувшись под тяжестью громадного деревянного креста; на лбу — ярко намалеванные капли крови и кровавые язвы на руках и босых ногах. Рядом с ним, вся в черном, шла маленькая девочка, которая изображала скорбную мать, держа на груди несколько мечей с позолоченными

рукоятками и почти исходя слезами — образ глубочайшей печали. Другие мальчики, идя позади, изображали апостолов, в том числе и Иуду, рыжеволосого, с кошельком в руке. Несколько мальчиков было одето римскими воинами, в шлемах, и размахивали своими саблями. Другие дети были одеты монахами и священниками: маленькие капуцины, маленькие иезуитики, маленькие епископы в митре и с жезлом, очаровательнейшие монашенки, лет шести — не больше. И странно, среди этих детей некоторые были одеты амурами — с шелковыми крылышками и золотыми колчанами, и совсем рядом с маленьким Спасителем шли, еле поспевая, два человечка, еще меньше ростом, не старше четырех лет, в древнефранкском пастушьем наряде, с лентами на шляпах и посохах, такие милые, что хотелось их расцеловать, — точно марципанные куклы; должно быть, они изображали пастухов, стоявших у яслей младенца Иисуса. И, кто бы мог поверить, — шествие это возбуждало в душе зрителя самые строгие и благочестивые чувства, и то, что невинные маленькие дети разыгрывали здесь драму величайшего, исполинского мученичества, производило еще более трогательное впечатление. Это не было обезьянством в приподнятом историческом стиле, это не было ханжеской гримасой, это не было благочестивой берлинской ложью; это было наивнейшее выражение самой глубокой идеи, а содержание, благодаря детской простоте формы, не терзало нашу душу и не уничтожало само себя. Содержание это полно такой небывало мощной скорби и так величаво, что вырывается за пределы самой героической и грандиозной, патетически развернутой манеры изображения. Поэтому-то величайшие художники и в живописи и в музыке скрашивали беспредельные ужасы страстей Христовых таким множеством цветов и смягчали кровавую серьезность игривой нежностью: так поступил и Россини, сочиняя свой «Stabat mater»\*.

\* *Stabat mater dolorosa* — буквально: «мать скорбящая стояла», часть католической религиозной службы.

Это произведение, «Stabat» Россини, было самым замечательным событием минувшего сезона, о нем все еще говорят, и как раз упреки, которые делаются великому мастеру с северонемецкой точки зрения, весьма отчетливо свидетельствуют об оригинальности и глубине его дара. Обработка сюжета — будто бы слишком светская, слишком чувственная, слишком игривая для духовной темы; она слишком легка, слишком приятна — так стонут, жалуясь, тяжеловесные, скучные критиканы, которые, может быть, умышленно и не притворяются крайними спиритуалистами, но, во всяком случае, имеют весьма ограниченные, очень ошибочные, вымученные представления о духовной музыке. Как среди живописцев, так и среди музыкантов господствует совершенно ложный взгляд на обработку христианских сюжетов. Они думают, что истинно христианское должно быть изображаемо тонкими тощими контурами и должно быть как можно более обеднено и обесцвечено; в этом отношении рисунки Овербека — их идеал. Чтобы фактически опровергнуть это заблуждение, обращаю лишь ваше внимание на изображения святых у живописцев испанской школы; здесь господствует полнота контуров и красок, а все же никто не станет отрицать, что эти испанские изображения святых дышат самым неослабным христианством, а творцы их, конечно, не меньше были опьянены верой, чем те знаменитые мастера, которые принимали христианство в Риме, чтобы писать с непосредственным религиозным рвением. Признак истинно христианского в искусстве — не внешняя сухость и бледность, а напротив — некая внутренняя полнота, которая ни в музыке, ни в живописи не дается ни крещением, ни изучением, и поэтому «Stabat» Россини я считаю действительно более христианским, чем «Павла», ораторию Феликса Мендельсона-Бартольди, которую восхваляют противники Россини, видящие в ней образец христианства.

Небо да сохранит меня от порицания мастера столь заслуженного, как автора «Павла», и пишущему эти

строки менее всего придет в голову критиковать христианство в названной оратории по той лишь причине, что Феликс Мендельсон-Бартольди — по происхождению еврей. Но я не могу не указать на то, что в том возрасте, когда господин Мендельсон начал в Берлине свой христианский путь (а был он окрещен в тринадцать лет), Россини уже оставил его и всецело устремился в светский мир оперной музыки. Теперь, когда он покидает ее и грезы его возвращаются к католическим воспоминаниям юности, к тем временам, когда в соборе Пезаро он пел в хоре или в качестве аколита участвовал в богослужении, — теперь, когда старые звуки органа снова зашелестели в его памяти и он схватился за перо, чтобы написать «Stabat», — тут, право же, ему не было надобности сперва научным путем воссоздавать дух христианства, а тем менее — рабски копировать Генделя или Себастиана Баха; ему стоило лишь вызвать в своем сердце звуки давнего детства, и — странное дело! — хотя эти звуки так строги, так скорбно глубоки, хотя в этих столах и каплях крови так мощно сказывается величайшая мощь, все же сохранилось в них что-то детское, и они напомнили мне виденное мною в Сетте — страсти Христовы, разыгранные детьми. Да, невольно вспомнился мне этот маленький благочестивый маскарад, когда я в первый раз слушал «Stabat» Россини: здесь представлено было беспредельно высокое мученичество, но в самых наивных юношеских звуках, раздавались страшные сетования *Mater dolorosa* \*, но словно из невинного детского горлышка, среди флера самой черной скорби шелестели крылья грациознейших амуров, ужас смерти на кресте словно смягчен был шаловливой пасторалью, и ощущение бесконечности обвевало и обнимало все целое, как то синее небо, что светило на процессию в Сетте, как то синее море, по берегу которого тянулась она с звенящим пением! Вот в чем вечная прелесть Россини, его

\* Скорбящей матери

неоскудевающая мягкость, которую не могли ни рассердить вконец, ни даже омрачить какие бы то ни было импрессарио, какие бы то ни было *marchands de musique* \*. Какие бы постыдные, лукавые шутки ни разыгрывала с ним жизнь, все же в его музыкальных произведениях мы не находим и следа \* желчи. Как источник Арегузы сохранял свою извечную сладость, хотя через него и протекали горькие воды моря, так и сердце Россини сберегло свою мелодическую прелесть и сладость, хотя ему вдоволь пришлось напиться из всех чаш, полных житейской полыни.

Как я сказал, «*Stabat*» великого маэстро был в этом году главным музыкальным событием. О первом, задающем тон исполнении мне говорить нечего; достаточно сказать, что пели итальянцы. Зал Итальянской оперы казался преддверием неба; там рыдали священные соловьи и лились фешенебельнейшие слезы. Также и «*France musicale*» дала в своих концертах большую часть «*Stabat*», и, само собой разумеется, с громадным успехом. В этих концертах мы слышали и «Павла» господина Мендельсона-Бартольди, который благодаря этому соседству обратил на себя наше внимание и сам вызывал на сравнение с Россини. В глазах широкой публики сравнение служило отнюдь не на пользу нашему молодому соотечественнику; впрочем, это ведь то же самое, как если бы сравнивать Апеннины Италии с Темпловским холмом близ Берлина. Но Темпловский холм не теряет от этого своих достоинств, и почтение народа заслуживает он уж тем, что на вершине его находится крест. «Сим победишь». Конечно, не во Франции, стране безверия, где господин Мендельсон всегда терпел фиаско. Он был в нынешнем сезоне агнцем заклания, тогда как Россини явился музыкальным львом, чей сладостный рев все еще слышится нам. Здесь ходят слухи, что господин Феликс Мендельсон на-днях сам придет в Париж.

\* музыкальные издатели, буквально: «торговцы музыкой».

Во всяком случае, известно, что вследствие высоких ходатайств и дипломатических стараний господин Леон Пилле был вынужден заказать господину Скрибу либретто, на которое господин Мендельсон сочинит музыку для Большой оперы. Удастся ли это предприятие нашему молодому соотечественнику? Не знаю. Его художественное дарование — велико; но внушают сомнения границы этого дарования и пробелы, имеющиеся в нем. В отношении таланта я нахожу большое сходство между господином Феликсом Мендельсоном и девицей Рашель Феликс, трагической артисткой. Обоим свойственна большая, строгая серьезность, решительное, почти назойливое тяготение к классическим образцам, тончайший, остроумнейший расчет, острота понимания и, наконец, — полное отсутствие наивности. Но бывает ли в искусстве гениальная самобытность без наивности? До сих пор такой случай не встречался.

## XLIV

Париж, 2 июня 1842

Académie des Sciences morales et politiques не пожелала осрамиться и в заседании 28 мая отсрочила до 1844 года присуждение премии за лучший «Examen critique de la philosophie allemande» \*. На сочинение именно под таким заглавием она объявила конкурс, которым ставится задача — написать критический очерк немецкой философии от Канта до наших дней, причем особое внимание должно быть обращено на этого философа, на великого Иммануила Канта, о котором французы слышали так много, что, наконец, прямо-таки исполнились любопытства. Некогда сам Наполеон пожелал ознакомиться с философией Канта и поручил какому-то французскому ученому составить резюме ее, которое, однако, должно было уместиться на нескольких страницах в четвертую долю листа.

\* «Критическое исследование немецкой философии».

Монарху стоит только приказать. Резюме было представлено немедленно и в предписанной форме. Что тут получилось — ведомо лишь богу, я же знаю только, что император, внимательно прочитав эти несколько страниц, сказал следующее: «Все это не имеет практической ценности, и миру мало пользы приносят такие люди, как Кант, Калиостро, Сведенборг и Филадельфия». — Широкая публика во Франции все еще считает Канта туманным, а то даже и совсем расплывшимся в тумане фантазером, и я еще недавно в одном французском романе прочел фразу: *le vague mystique de Kant*\*. Один из величайших философов Франции бесспорно — Пьер Леру, и он-то, как он сам сознался мне шесть лет тому назад, только из «*Allemagne*» \*\* Генриха Гейне узнал, что немецкая философия вовсе не так мистична и религиозна, как до сих пор внушали французской публике, а напротив, очень холодна, почти ледянисто абстрактна и скептична вплоть до отрицания всевышнего.

В вышеупомянутом заседании академии Минье, *secrétaire perpétuel* \*\*\* прочел *notice historique* \*\*\*\* о жизни и деятельности покойного Дестю де-Траси. Как во всех своих произведениях, Минье и здесь выказал свой прекрасный, великий стилистический талант, свой удивительный дар понимания всех характерных признаков времени и жизненных отношений, свою светлую, ясную рассудительность. Речь его о Дестю де-Траси уже появилась в печати, и здесь, таким образом, не требуется ее подробного изложения. Я сделаю лишь ряд беглых замечаний, невольно приходивших мне в голову в то время, когда Минье рассказывал о прекрасной жизни этого дворянина, который вышел из среды самой гордой феодальной знати, в юности своей был храбрым солдатом, и все же с великодуш-

\* смутная мистика Канта.

\*\* «Германия»

\*\*\* неперменный секретарь

\*\*\*\* неперменный секретарь прочел историческую справку

нейшим самоотречением и самопожертвованием примкнул к партии прогресса и остался ей верен до последнего вздоха. Тот самый человек, который в восьмидесятих годах, так же как и Лафайет, ставил на карту добро свое и жизнь, 29 июля 1830 года на парижских баррикадах снова встретился со своим старым другом, верный прежнему образу мыслей; лишь взоры его потухли, сердце же осталось светлым и юным. Много, поразительно много подобных явлений видим мы во французском дворянстве, и народ это тоже знает, и этих дворян, выказавших такую преданность его интересам, он называет *les bons nobles* \*. Недоверие к дворянству вообще может оказаться и полезным в революционные времена, но оно всегда будет несправедливостью. В этом отношении великий урок является нам жизнь Траси, Ларошфуко, д'Аржансона, Лафайета и других подобных им рыцарей народных прав.

Когда впоследствии Дестю де-Траси ударился в ту материалистическую философию, которая благодаря Кондильяку достигла господства во Франции, ум его оказался таким же прямым, непреклонным, резким, каким был некогда его меч. Кондильяк не решался высказать конечные выводы этой философии и, подобно большинству сторонников его школы, все еще отводил духу укромный уголок во всемирном царстве материи. Но Дестю де-Траси отказал духу и в этом последнем убежище, и — странное дело! в то самое время, когда у нас в Германии идеализм доводили до крайности, а материю отрицали, во Франции материалистический принцип достиг предельной высоты, отрицали же здесь дух. Дестю де-Траси был, так сказать, Фихте материализма.

Удивительно, что философский кружок, к которому принадлежали Траси, Кабанис и их единомышленники, возбуждал в Наполеоне весьма боязливую неприязнь и порой он обращался с ними очень сурово. Он называл их идеологами и чувствовал смутный, почти суеверный

\* хорошие дворяне.

страх перед той идеологией, которая была ведь не что иное, как пенистая седьмая вода материалистической философии; она, правда, содействовала величайшему перевороту и показала самую страшную силу разрушения, но миссия ее была окончена, а следовательно, прекратилось и ее влияние. Грознее и опаснее была та противоположная ей доктрина, которая в Германии незаметно влияла на поверхность, а потом так сильно способствовала низвержению французского деспотизма. Удивительно, что Наполеон и в этом случае понимал только прошедшее, а к будущему был глух и слеп. Он чуял гибельного врага в царстве мысли, но этого врага он искал среди старых париков, пропыленных еще пудрой восемнадцатого века; он искал его среди французских старцев, вместо того чтобы искать его среди белокурой молодежи немецких университетов. В этом смысле наш четверовластник Ирод оказался куда хитрее, преследуя опасное отродье в колыбели и повелев совершить избиение младенцев. Но и ему немного пользы принесла эта большая сметливость, посрамленная волей providения: палачи его пришли слишком поздно, страшный младенец был уже не в Вифлееме, верный ослик уносил его, спасая, в Египет. Да, проницательностью Наполеон обладал лишь тогда, когда надо было уразуметь настоящее или оценить по заслугам прошлое, но он был совершенно слеп ко всякому явлению, в котором будущее давало о себе знать: Он стоял на балконе своего дворца в Сен-Клу, когда мимо по Сене проходил первый пароход, и от него остался совершенно скрыт смысл этого феномена, преобразующего мир!

## XLV

Париж, 20 июня 1842

В стране, где у тщеславия так много усердных служителей, время выборов в палату всегда должно быть

очень тревожным. Но так как звание депутата не только щекочет самолюбие, а также ведет к самым доходным должностям и самым прибыльным влияниям; так как, следовательно, здесь замешано не только честолюбие, но также и корыстолюбие; так как дело здесь идет о тех материальных интересах, которым наш век поклоняется столь ревностно, то выборы в палату — настоящая скачка, ристание, — зрелище скорее любопытное, чем утешительное для постороннего наблюдателя. Дело в том, что на такой скачке обращают на себя внимание не лучшие и не красивейшие лошади, в расчет принимаются здесь не врожденные достоинства — сила, чистокровность, выносливость, а только легконогое проворство. Не один благородный конь, из ноздрей которого пышет самая огненная ратная отвага и в глазах сверкает ум, должен уступить здесь тощей лошаденке, которая, однако, совсем по особому выдрессирована для триумфов на этой арене. Надменно-гордые, упрямые кони здесь сразу же, сразбега, становятся на дыбы или заскакивают слишком далеко вперед. Лишь дрессированная посредственность достигает цели. Само собой понятно, что на парламентское ристание Пегаса почти не допускают и что он должен подвергаться тысяче неприятностей, ибо у несчастного есть крылья и на этих крыльях он мог бы подняться выше, чем позволяет потолок Палей-Бурбон. Замечательно, что среди скакунов почти целая дюжина принадлежит к арабской, или, говоря еще яснее, к семитической породе. Но что нам до этого? Нас не интересует этот шум и эта брань, этот топот и ржание корыстолюбия, эта суета самых мерзких целей, расцвеченных самыми яркими красками, крики конюхов и навозная пыль — у нас одна забота: узнать, благоприятны или неблагоприятны для министерства будут выборы. На этот счет еще нельзя сказать ничего определенного. А ведь судьба Франции и, быть может, всего мира зависит от вопроса — сохранит ли за собой Гизо большинство в новой палате или не сохранит.

Этим я отнюдь не хочу дать место предположению, что среди новых депутатов могут оказаться отчаянные бахвалы и что движение они ускорят до крайней степени. Нет, эти пришельцы заявят о себе лишь звонкими словами, а перед делом отступят так же скромно, как и их предшественники; самый решительный новатор в палате не хочет насильственно ниспровергать существующий порядок, а хочет только извлечь для себя выгоду из опасений высших сил и упований низших. Но смятение, путаница и внезапные затруднения, во власти которых правительство может оказаться в результате этой деятельности, подадут притаившимся темным силам сигнал к взрыву, и революция, как всегда, ожидает инициативы парламента. Тогда ужасное колесо снова может притти в движение, и на этот раз мы бы увидели антагониста более страшного, чем все те, что до сих пор вступали в борьбу с существующим строем. Этот антагонист сохраняет еще свое жуткое инкогнито и пребывает, как нищий претендент, в подвальном этаже официального общества, в тех катакомбах, где среди смерти и тления пускает ростки и расцветает новая жизнь. Коммунизм — тайное имя страшного антагониста, который современному буржуазному государству противопоставляет господство пролетариата со всеми его последствиями. Это будет ужасный поединок. Чем он кончится? То ведают боги и богини, которым известно будущее. Нам же известно одно: несмотря на то, что о коммунизме теперь мало говорят и что он, скрываясь по чердакам, валяется на жалком соломенном ложе, — все же он тот мрачный герой, которому в современной трагедии суждена великая, хотя бы и преходящая, роль и который только ожидает реплики, чтобы выступить на сцену. Вот почему мы ни на миг не должны терять из виду этого актера и будем порой рассказывать о тайных репетициях, которыми он готовится к своему дебюту. Может быть, такие указания важнее, чем все известия о происшествиях на выборах, раздорах партий и интригах кабинетов.

## XLVI

Париж, 12 июля 1842

О результате выборов вы узнаете из газет. Здесь в Париже за этими сведениями не стоит обращаться к газетам, — это написано на всех лицах. Вчера здесь было очень душно, и умы были охвачены волнением, какое я замечал лишь в дни великих кризисов. Старые, давно знакомые буревестники снова незримо рассекали воздух, и самые сонливые головы внезапно пробудились после двухлетнего спокойствия. Сознаюсь, что и сам я, когда до меня донеслось биение страшных крыл, почувствовал сильный трепет. Я в первый миг всегда пугаюсь, когда завижу демонов переворота, вырвавшихся на волю; потом я уже вполне владею собою, и самые дикие явления не могут меня ни удивить, ни обеспокоить, именно потому, что я их предвидел. Чем может кончиться это движение, сигнал к которому, как всегда, подал Париж? Оно может кончиться войной, ужаснейшей, опустошающей войной, которая, к сожалению, выведет на поле битвы, гибельной для них обоих, два благороднейших народа, какие знает цивилизация; я говорю о Германии и Франции. Англию, эту большую водяную змею, которая всегда может уползти в свое огромное водяное гнездо, и Россию, которой ее необъятные дебри, степи и ледяные просторы служат надежнейшей защитой, — их в обыкновенной политической войне не могут уничтожить до основания даже самые решительные поражения; Германии же в этом случае грозит гораздо большая опасность, и даже Франция могла бы самым жалким образом поплатиться своим политическим бытием. Это было бы, однако, лишь первым действием великой драмы, так сказать, прологом. Второй акт — европейская, мировая революция, великий поединок неимущих с аристократией собственности, и тут уже не будет речи ни о национальности, ни о религии: тогда будет лишь одна отчизна — земля и одна только вера — счастье

на земле. Подымутся ли во всех странах, отчаянно сопротивляясь, религиозные доктрины прошлого, и уж не явится ли эта попытка третьим актом? А может быть даже еще раз выступит на сцену традиция неограниченной власти, но в новом костюме и с новыми репликами и пароллями? Чем кончится эта драма? Не знаю, но думаю, что огромной водяной змее в конце концов разможжат голову, а с северного медведя сдерут шкуру. Тогда, быть может, будет один пастырь и едино стадо, свободный пастырь с жезлом железным и одинаково обстриженное, одинаково bleющее человеческое стадо! Близятся дикие, мрачные времена, и пророку, который захотел бы написать новый Апокалипсис, пришлось бы изобрести совсем новых зверей, притом столь страшных, что старые звериные символы Иоанна показались бы, в сравнении с ними, кроткими голубками и амурчиками. Боги закрывают лицо свое из сострадания к людям, своим давним питомцам, и вместе с тем, пожалуй, от страха за собственную участь. Будущее пахнет юфтью, кровью, безбожием и великим множеством палок. Советую нашим внукам рождаться на свет с очень толстой кожей на спине.

## XLVII

Париж, 15 июля 1842

Мое мрачное предчувствие, увы, не обмануло меня; унылое расположение духа, которое в течение нескольких дней почти давило меня и туманило глаза, было предвестником несчастья. Ликующий задор, царивший здесь третьего дня, сменился вчера испугом, неописуемым смятением, и непредвиденная смерть показала парижанам, как ненадежно их положение и как опасна всякая встряска. А ведь они хотели всего только немножко потрясти государственное здание, отнюдь не собираясь поколебать его слишком сильными ударами. Если бы герцог Орлеанский умер несколькими

днями раньше, Париж не избрал бы двенадцати оппозиционных депутатов против двух консерваторов и этим неслыханным поступком не дал бы движению нового движения. Эта смерть ставит под вопрос весь существующий порядок, и будет счастьем, если палаты как можно скорее и без помех обсудят установление регентства на случай смерти теперешнего короля и примут решение. Я говорю: палаты, ибо королевский домашний закон здесь недостаточен, как в других странах. Поэтому прения о регентстве прежде всего займут внимание палат и заставят заговорить страсти. И даже если все сойдет спокойно, все же нам предстоит временное междуправление, которое всегда бывает бедствием, и бедствием особенно тяжелым для страны, состояние которой еще столь зыбко и более всего нуждается в прочности. Король, говорят, выказал в этом несчастии величайшую силу характера и благоразумия, хотя уже несколько недель находился в очень подавленном состоянии. В последнее время дух его омрачали странные предчувствия. Говорят, недавно, перед отъездом Тьера, он написал ему письмо, в котором очень много говорил о смерти; но при этом, наверно, он думал только о своей собственной смерти. Покойный герцог Орлеанский всеми был любим, на него молились. Весть о его смерти поразила, как гром среди ясного неба, и скорбь царит во всех классах народа. Вчера в два часа пополудни туманный слух о несчастии разнесся на бирже, где фонды сразу же упали на три франка. Но никто еще не верил этому. Принц же умер только в четыре, и до этого часа многие опровергали весть о смерти. Еще в пять часов многие выражали сомнение. Но когда в шесть часов театральные афиши были заклеены белой бумажкой, которой объявлялось об отмене спектакля, каждый убедился в ужасной истине. Когда веселой танцующей походкой пришли они к театрам, эти разряженные француженки, и вместо желанного спектакля нашли только закрытые двери и услыхали о несчастии, случившемся около

Нейи, на дороге, которая называется *Le chemin de la révolte* \*, тогда из многих прекрасных глаз полились слезы, и слышались только рыдания и сетования о прекрасном принце, который погиб, такой красивый и молодой, о милом рыцарственном человеке, французе в самом очаровательном смысле этого слова, во всех отношениях достойном народной скорби. Да, он погиб в расцвете жизни, светлый, мужественный юноша, и кровью изшел он, такой чистый, незапятнанный, радостный, словно на ложе из цветов, как некогда Адонис! Если б только сразу же после его смерти его не стали прославлять скверными стихами и еще более скверной лакейской прозой! Но таков на земле удел прекрасного. Быть может, в то время, как французский народ исполнен самой истинной и самой гордой скорби и не только прекрасные женские слезы льются над могилой погибшего, но и свободные мужские слезы чтут его память — официальная печаль уже трет себе луком глаза, притворно хныкая, и даже глупость обвиняет черным крепом погребушки на своем колпаке, и скоро мы услышим трагикомическое бречание. Слезливая болтовня, тепловатые помои сантиментальности особенно дадут о себе знать по этому поводу. Уже сейчас, быть может, Лафитт, пыхтя, несется в Нейи и обнимает короля с самым немецким умилением. Быть может, уже сейчас Шатобриан садится на своего меланхолического крылатого коня, на своего пернатого Россинанта, и пишет пустозвонное соболезнующее послание к королеве. Омерзительные нежности и гримасы! И ведь как невелико пространство, отделяющее здесь великое от смешного! Как я сказал, в истинности печального события публика убедилась вчера на бульварах, перед театрами, и всюду вокруг ораторов, рассказывавших подробности с большими или меньшими прикрасами и добавлениями, здесь образовывались группы. Не один старый болтун, у которого в другое

\* Дорога восстания

время не найдется слушателей, воспользовался этим случаем, чтобы собрать вокруг себя внимательную публику и в интересах своей реторики завладеть общественным любопытством. Перед театром «Variété» стояла какая-то личность, и декламировала с особым пафосом, как Терамен в «Федре»: «Il était sur son char» \* и т. д. Все рассказывали, что в то время, как принц падал из экипажа, шпага его сломалась и верхний ее конец вонзился ему в грудь. Очевидец уверял, что принц вымолвил еще несколько слов, но по-немецки. Впрочем, вчера везде царил скорбная тишина, и сегодня в Париже незаметно и тени беспорядка.

## XLVIII

Париж, 19 июля 1842

Покойный герцог Орлеанский — попрежнему тема всех разговоров. Никогда еще смерть человека не возбуждала такой всеобщей скорби. Замечательно, что во Франции, где революция еще не перебродила, любовь к принцу могла пустить столь глубокие корни и вылиться в такие грандиозные размеры. Не только буржуазия, возлагавшая все свои надежды на молодого принца, но также и низшие слои народа оплакивают его утрату. Когда отменили Июльское празднество и разломали на площади Согласия высокие подмостки, которые должны были служить для иллюминации, больно было видеть, как народ садился на сброшенные бревна и доски и сокрушался о смерти дорогого принца. Угрюмая печаль лежала на всех лицах, и всего красноречивее была скорбь тех, кто не говорил ни слова. Здесь лились самые честные слезы, и среди плачущих, наверно, был не один из числа тех, кто хвастает в кофейне своим республиканизмом.

Но для Франции смерть молодого принца — действительное несчастье, и если бы у него было и меньше

\* «Он стоял на своей колеснице»

добродетелей, чем приписывается ему после смерти, все же, при мысли о будущем, французы имели достаточный повод для плача. Вопрос о регентстве занимает все головы, и, к сожалению, не только умные. Много глупостей появилось уже на свет. Хитрости тоже удастся вызвать путаницу в мыслях, из которой она надеется извлечь выгоду для своих партийных целей и которая, во всяком случае, может иметь весьма серьезные последствия. В самом ли деле герцог Немурский — в такой страшной немилости у самодержавного народа, как утверждают сейчас с преувеличенным рвением? Не буду судить об этом. Еще менее собираюсь я исследовать причины подобной немилости. Вероятно, главным поводом для обвинения является внешность принца, аристократичность, тонкость, неприступность, черты патриция. Наружность герцога Орлеанского была благородна, наружность герцога Немурского породиста. Но даже если бы внешний облик соответствовал внутреннему, это не помешало бы принцу, в качестве гонфалоньера демократии, в течение некоторого времени оказывать ей величайшие услуги, так как эта роль силой обстоятельств вынуждала бы его к полнейшему отказу от личных чувств: дело ведь шло бы здесь о его ненавистной голове. Я даже убежден, что для интересов демократии регент, которому мало доверяют и которого постоянно контролируют, гораздо менее опасен, чем один из тех любимцев народа, которым доверяются с слепой любовью и которые ведь, в конце концов, только люди, непостоянные существа, подверженные действию законов изменчивости, времени и собственной природы. Сколько любимых наследных принцев кончало свой путь, став нелюбимыми! Какую жуткую переменчивость выказывал народ в отношении к своим бывшим любимцам! Французская история особенно богата грустными примерами. Каким восторженным ликованием окружал народ молодого Людовика XIV — равнодушно, сухими глазами смотрел он, как хоронили старика. Людовика XV спра-

ведливо называли *le bienaimé* \*, и вначале французы поклонялись ему с безрассудной любовью; когда он умер, раздавался смех, пелись насмешливые песни: смерти его радовались. Его преемнику, Людовику XVI, пришлось еще хуже; он, на которого народ молился, пока он был наследным принцем, он, считавшийся вначале образцом всех совершенств, претерпел от народа личные оскорбления, и жизнь его, как известно, оборвалась на святотатственном эшафоте площади Согласия. Последний из этой линии, Карл X, вовсе не был непопулярен, когда вступил на престол, и народ приветствовал его тогда с неописуемым воодушевлением; несколько лет спустя его выпроводили вон, и он умер жестокой смертью изгнанника. Изречение Солона, что до смерти никого нельзя назвать счастливым, в особенности применимо к королям Франции. Будем же оплакивать смерть герцога Орлеанского, но не потому, что народ так любил его и так много ждал от него в будущем, а потому что он как человек заслужил наши слезы. Не будем также слишком уж сокрушаться о так называемой бесславной смерти, о случайности его кончины. Ведь голова его разбилась о невинный камень, и хуже было бы, если бы его сразила пуля француза или немца. У принца было предчувствие ранней смерти, но он думал, что погибнет на войне или во время мятежа. При его рыцарственной храбрости, пренебрегавшей всякой опасностью, это казалось весьма вероятным. — Царственный страдалец, Луи-Филипп, держится с таким самообладанием, которое всякому внушает глубокое уважение. В несчастии он выказывает истинное величие. Сердце его в несказанной скорби обливается кровью, но дух его непоколебим, и он трудится день и ночь. Никогда еще цену его существования не чувствовали так глубоко, как именно сейчас, когда от жизни его зависит спокойствие мира. Смело борись, раненый герой мира!

\* возлюбленным, любимым

## XLIX

Париж, 26 июля 1842

Тронная речь — короткая и простая. С величайшим достоинством сказано в ней самое важное. Король сам написал ее. Скорбь его сказывается в пуританской, я сказал бы даже — в республиканской простоте. Он, обычно такой многоречивый, стал теперь очень скуп на слова. Молчаливый прием, несколько дней тому назад имевший место в Тюильри, был как-то необыкновенно печален, почти призрачен; несколько тысяч человек, не говоря ни слова, прошло мимо короля, смотревшего на них с безмолвным страданием. Говорят, что реквием в Соборе богородицы не состоится; король не желает музыки на похоронах своего сына; музыка слишком напоминает игры и празднества. — Его желание, чтобы регентство досталось его сыну, а не невестке, выражено в тронной речи достаточно отчетливо. Желание это не встретит особых возражений, и герцог Немурский станет регентом, хотя это звание и подобает прекрасной и умной герцогине, воплощению женского совершенства, столь достойной своего покойного супруга. Вчера говорилось, что в палату депутатов король приведет с собой своего внука, графа Парижского. Многие хотели этого, и сцена была бы, конечно, очень трогательная. Но король, как я сказал, избегает сейчас всего, что напоминает пафос феодальной монархии. — В публике распространились сведения о том, что Луи-Филипп — против женских регентств. Он будто бы сказал, что глупейший мужчина все же окажется лучшим регентом, чем умнейшая женщина. Не потому ли герцогу Немурскому он отдал предпочтение перед умной Еленой?

## L

Париж, 29 июля 1842

Муниципальный совет Парижа решил не разрушать модель слона, стоящую на площади Бастилии, как

предполагалось сначала, а воспользоваться ею для отливки фигуры из меди и поставить этот памятник перед *barrière du trône* \*. Об этом решении муниципального совета народ в предместьях Сент-Антуан и Сен-Марсо говорит почти так же много, как высшие классы о регентстве. Этот колоссальный гипсовый слон, сооруженный еще в эпоху Империи, должен был впоследствии служить моделью памятника, который на площади Бастилии собирались построить в честь Июльской революции. Потом решение изменили и для увековечения этого славного события воздвигли высокую Июльскую колонну. Но то обстоятельство, что слона собирались убрать, возбудило большую тревогу. В народе прошел зловещий слух, будто бы внутри слона завелось невероятное множество крыс и следует опасаться, что после того, как разломают большого гипсового зверя, появится целый легион маленьких, но весьма опасных чудовищ, которые распространятся в предместьях Сент-Антуан и Сен-Марсо. Все юбки затрепетали при мысли о подобной опасности, и даже мужчин охватил томительный страх перед нашествием длиннохвостых гостей. К магистрату стали обращаться с всеподданнейшими просьбами, вследствие которых решено было покамест не сносить большого гипсового слона, и с тех пор он уже много лет спокойно стоит на площади Бастилии. Удивительная страна, где, несмотря на всеобщую жажду разрушения, многие вещи сохраняются оттого, что все боятся, как бы их не заменили вещи еще более вредные! Как рады были бы они снести Луи-Филиппа, этого большого умного слона: но они боятся его величества самодержавного крысиного короля, тысячеглавого чудовища, которое тогда достигнет власти, и даже высокопородные и церковные враги буржуазии, не пораженные, правда, слепотой, стараются по этой причине поддерживать Июльский трон; лишь совсем ограниченные

\* тронной заставой, оградой.

люди, игроки и шулеры из числа аристократов и клерикалов, являются пессимистами и спекулируют на республике, или, вернее, на хаосе, который должен наступить непосредственно вслед за республикой.

Сама буржуазия тоже одержима демоном разрушения, и если она и не боится республики, то все же у ней инстинктивный страх перед коммунизмом, перед этой угрюмой братией мастеровых, которые, словно крысы, ринутся кверху из-под обломков теперешнего правительства. Да, республика прежнего качества, даже с маленькой долей робеспьерства, не испугала бы французскую буржуазию, которая легко примирилась бы с этой формой правления и спокойно стояла бы на часах, охраняя Тюильри — независимо от того, чья резиденция была бы здесь, — Луи-Филиппа или *Comité du salut public*\*, потому что буржуазия прежде всего желает порядка и защиты существующего права собственности — стремление, которому республика может удовлетворить так же, как и монархия. Но, как я сказал, эти лавочники инстинктивно чувствуют, что республика теперь не могла бы уже отстаивать принципы девяностых годов, что она явилась бы только формой, в которую вылилось бы неслыханное господство пролетариата со всеми догматами материального равенства. Они — консерваторы в силу внешней необходимости, а не в силу внутреннего побуждения, и страх здесь служит опорой всему.

Долго ли продлится эта боязнь? Не будут ли в одно прекрасное утро все головы охвачены национальным легкомыслием, и не увлечет ли оно даже самых опасливых в водоворот революции? Не знаю, но это возможно, и результаты выборов в Париже показывают даже, что это вероятно. У французов короткая память, и они забывают свои самые основательные опасения. Поэтому они так часто выступают актерами, даже главными актерами, в страшной трагедии, кото-

\* Комитет общественного спасения

рая по воле господа бога разыгрывается на земле. Другие народы переживают свой великий период движения, свою историю, только в молодости, когда, еще будучи неопытны, они устремляются к деятельности, ибо впоследствии, в возрасте более зрелом, размышление и взвешивание последствий удерживает эти народы, как и отдельные личности, от быстрых поступков, и только крайняя необходимость, но не собственная воля, толкает эти народы на арену мировой истории. Однако французы все еще сохраняют легкомыслие молодости, и сколько бы ни сделали и ни выстрадали они вчера, сегодня они уже не помнят об этом; прошлое угасает в их памяти, и каждый новый день зовет их к новым делам и новым страданиям. Они не желают стариться и думают, пожалуй, что им удастся сохранить молодость, если они не оставят юношеского бреда, юношеской беспечности и юношеского великодушия! Да, великодушие, почти детская доброта в прощении, составляет главную черту характера французов; но я не могу не заметить, что эта добродетель имеет тот же источник, что и их недостатки, — забывчивость. Понятие «прощение», действительно, соответствует у этого народа слову «забвение», забвению обиды. Если бы не это, убийства всякий день случались бы в Париже, где на каждом шагу встречаются люди, виновные друг перед другом в тяжелых преступлениях.

Это характерное добродушие французов сейчас особенно сказывается в отношениях к Луи-Филиппу, и злейшие враги его в народе, за исключением карлистов, проявляют трогательное участие к его семейному горю. Я готов утверждать, что король снова популярен. Вчера, глядя на приготовления к похоронам и прислушиваясь к разговорам блузников, собравшихся перед Собором богородицы, я, между прочим, услышал наивное замечание: «Король теперь может спокойно гулять по улицам Парижа, и никто не станет в него стрелять» (Какая популярность!). Смерть герцога Орлеанского,

любимого всеми, вновь завоевала отцу самые строптивые сердца, и брачный союз короля с народом как бы снова освящен общим несчастьем. Но сколько времени продлится этот черный медовый месяц?

## LI

Париж, 17 сентября 1842

После четырехнедельной поездки я со вчерашнего дня снова здесь, и сознаюсь, сердце взыграло в моей груди, когда почтовая карета покатила по милой мостовой бульваров, когда я проехал мимо первого магазина мод и показались улыбающиеся лица гризеток, когда я услышал крики продавцов лакричной воды, когда на меня вновь повеяло чудным цивилизованным воздухом Парижа. Я был почти счастлив, и первого встретившегося мне национального гвардейца я готов был обнять; его кроткое добродушное лицо глядело так шутливо-приветливо из-под дикой грубой медвежьей шапки, и в штыке его было, право же, нечто интеллигентное, благодаря чему он так успокоительно отличается от штыков иных корпораций. Но отчего на этот раз моя радость по возвращении в Париж так беспредельна, что мне почти показалось, будто я вступаю на сладостную почву отчизны, будто я слышу снова отечественные звуки? Почему Париж так очаровывает иностранца, прожившего в нем несколько лет? Многие среди моих достойных соотечественников, пребывающих здесь, утверждают, что только в Париже немец может чувствовать себя как дома и что Франция для нашего сердца, в конце концов, не что иное, как французская Германия.

Но на этот раз я вдвойне радуюсь своему возвращению: я вернулся из Англии. Да, из Англии, хоть я и не переезжал через пролив. Я провел четыре недели в Boulogne sur mer \*, а ведь это уже английский город.

\* Булонь у моря

Там видишь только англичан и слышишь только английскую речь — с утра до вечера, увы! — даже и ночью, если, на твое несчастье, соседи по комнате, сидя за чаем и грогом, до поздней ночи рассуждают о политике! Четыре недели не слышал я ничего, кроме этих шипящих звуков эгоизма, проявляющегося в каждом слого, в каждом ударении. Разумеется, страшно несправедливо — произносить обвинительный приговор целому народу. Но когда речь идет об англичанах, негодование может довести меня и до этого, и при виде толпы я легко забываю о многих достойных и благородных мужах, прославившихся своими душевными качествами и любовью к свободе. Но люди эти, в частности, британские поэты, тем резче всегда отличались от остального народа; это были одинокие мученики национальных отношений, и к тому же великие гении не принадлежат стране, в которой родились; они почти не принадлежат и здешней земле, голгофе своих мучений. Но масса, истые англичане, — бог да простит мне мое согрешение! — противны мне в высшей степени, и порой я смотрю на них, не как на своих ближних, и представляются они мне отвратительными автоматами, машинами, внутреннюю пружину которых составляет эгоизм. Мне кажется, будто я слышу жужжание колесного механизма, с помощью которого они думают, чувствуют, считают, переваривают пищу, молятся; их молитвы, их англиканско-машинальное хождение в церковь, с золоченым молитвенником в руке, их глухие, скучные воскресные дни, их неуклюжее святошество всего противнее для меня; я твердо убежден, что ругающийся француз являет божеству зрелище более приятное, нежели молящийся англичанин! А порою эти истые англичане кажутся мне мрачным навождением; бледные полуночные тени из царства призраков менее страшны для меня, чем эти дюжие, краснощекие привидения, что расхаживают, потев, в ярких солнечных лучах. К тому же — полное отсутствие вежливости. Они всякого толкают своими угло-

ватыми членами, своими неповоротливыми локтями и не произносят ни одного вежливого слова в извинение. Эти рыжеволосые варвары, пожирающие мясо с кровью, — как, должно быть, ненавистны они китайцам, которым вежливость врождена и которые, как известно, две трети дня изощряются в этой национальной добродетели, кланяясь и приседая.

Сознаюсь, я не вполне беспристрастен, говоря об англичанах, и мой враждебный отзыв, мое отвращение к ним коренится, быть может, в тревоге за собственное благополучие, за счастье и мирное спокойствие моего немецкого отечества. С тех пор как я глубоко осознал, что за мерзкий эгоизм направляет их политику, англичане внушают мне беспредельный, злоедейский страх. Я питаю полное уважение к их материальному могуществу; в них так много той грубой энергии, которая помогла римлянам подчинить мир, но с римской волчьей жадностью они сочетают и змеиную хитрость Карфагена. Для защиты против первой у нас есть хорошее и даже испытанное оружие, но против предательских козней этих карфагенян Северного моря мы безоружны. А теперь Англия опаснее, чем когда бы то ни было, теперь, когда ее меркантильные интересы терпят поражение: во всей вселенной нет существа более жестокосердого, чем лавочник, торговля которого остановилась, которому изменили его покупатели и чьи товары, сложенные на складе, не находят больше сбыта.

Как выйдет Англия из этого материального кризиса? Не знаю, чем может разрешиться вопрос о фабричных рабочих; но я знаю, что политика современного Карфагена не слишком щепетильна в выборе средств. Быть может, европейская война в конце концов покажется этому эгоизму самым подходящим способом, чтобы внутреннему недугу дать хоть отчасти выйти наружу. В этом случае английская олигархия будет прежде всего спекулировать на мощи среднего сословия, богатство которого, в самом деле, огромно и могло бы дать достаточные средства для вознаграждения и усми-

рения низших классов. Как ни велики расходы на индийскую и китайскую экспедицию, как ни велики его финансовые затруднения, все же английское правительство еще увеличит свои денежные траты, если они помогут достичь цели. Чем больше отечественный дефицит, тем щедрее английское золото будет разбрасываться за границей: Англия — купец, который переживает банкротство и от отчаяния становится мотом, или, вернее, не боится никакой денежной жертвы, лишь бы продержаться еще немного. А с деньгами на земле кое-что уж можно сделать, особенно, с тех пор, как всякий стремится к блаженству земному. Нельзя себе представить, какие чудовищные суммы Англия тратит ежегодно на одно только жалование своим иностранным агентам, которым даны все инструкции на случай европейской войны, и как, в свою очередь, эти агенты умеют привлекать на свою сторону различнейшие таланты, добродетели и пороки.

Если подумать об этом, если принять во внимание, что самая страшная угроза спокойствию Европы вызвана не воодушевлением идей и таится не на берегах Сены, не на общественной площади, но на берегах Темзы, в молчаливых покоях *Foreignn office* \*, и является следствием резких голодных криков английских фабричных рабочих; если подумать об этом, то нельзя не обращать порой свои взоры к этой стране, следя и за личностью правителя и за увеличивающейся нищетой низших классов. Эта увеличивающаяся нищета — недуг, который невежественные фельдшера стараются упразднить кровопусканием, но это кровопролитие вызовет ухудшение. Не извне, не при помощи ланцета, нет, только изнутри, при помощи нравственных медикаментов можно исцелить больной государственный организм. Лишь социальные идеи могли бы спасти здесь от самого рокового бедствия, но, говоря словами Сен-Симона, ни на одной английской верфи не найти

\* министерство иностранных дел

ни одной великой идеи, — лишь паровые машины да голод. Правда, восстание теперь подавлено, но более частые вспышки могут ведь привести к тому, что рабочие английских фабрик, умеющие сейчас обрабатывать лишь хлопок да шерсть, немного поупражняются и на человеческом теле, приобретут необходимые навыки и в конце концов смогут столь же отважно править это кровавое ремесло, как их французские товарищи, рабочие Лиона и Парижа, и может, наконец, случиться, что победитель Наполеона, фельдмаршал милорд Веллингтон, снова вступивший теперь в должность верховного палача, найдет в самом Лондоне свое Ватерлоо. Легко может также случиться, что его мирмидоны откажутся слушаться своего господина. Уже и сейчас в английской армии появляются весьма серьезные симптомы такого умонастроения, и в настоящую минуту в Лондоне, в Тауэрской тюрьме сидит пятьдесят солдат, отказавшихся стрелять в народ. Почти не верится, и все же это правда, что английские красные мундиры повиновались не приказу своих офицеров, а голосу человечности и забыли о той плети, которая называется кошкой-девятихвосткой («the cat of nine tails») и в гордой столице английской свободы непрестанно угрожает ее героической спине — о кнуте Великобритании! Сердце разрывается, когда читаешь, как женщины, плача, выходили навстречу солдатам и кричали им: «Нам не нужны пули, нам нужен хлеб!» Мужчины покорно скрещивали руки и говорили: «Вы должны застрелить голод, а не стрелять в нас и в наших детей». Общий крик был: «Не стреляйте, ведь все мы братья».

Эта ссылка на братство напоминает мне французских коммунистов, от которых я слышал иногда подобные фразы. Эти фразы, как я заметил в Лионе, ничем не поражали, отнюдь не отличались яркостью, не были ни пикантны, ни оригинальны; напротив, коммунисты говорят самыми избитыми, самыми плоскими, общими местами. Но могущество их пропаганды состоит не столько в точно сформулированной программе опреде-

ленных жалоб и определенных требований, сколько в проникновенном и вызывающем почти невольное сочувствие тоне, которым они говорят банальнейшие вещи, например: «все мы братья» и т. д. Тон и неизбежное тайное пожатие руки составляют комментарий к этим словам и придают им их всемирно-сокрушительный смысл. Вообще французские коммунисты стоят на той же точке зрения, что и английские рабочие, с той лишь разницей, что француз больше повинуется внушению идеи, англичанин же, напротив, целиком повинуется голоду.

Восстание в Англии пока что подавлено, но только пока; оно лишь отсрочено, оно будет вспыхивать каждый раз с новой силой и тем опаснее, что оно всегда может выждать подходящий час. По многим признакам видно, что сопротивление фабричных рабочих теперь так же практически организовано, как некогда сопротивление ирландских католиков. Чартисты сумели привлечь на свою сторону и в некоторой мере дисциплинировать эту грозную силу, и их союз с недовольными фабричными рабочими, пожалуй, самое важное явление настоящего времени. Этот союз возник весьма просто, он был естественен, хотя чартисты и любят делать вид, что они — чисто политическая партия с определенной программой, а фабричные рабочие, как я уже указывал выше, — лишь бедные поденщики, которые от голода едва могут говорить и, равнодушные ко всякой правительственной реформе, требуют только хлеба. Но слово редко выражает истинную заветную мысль партии, оно только внешний отличительный признак, это, так сказать, словесная кокарда; чартист, который якобы ограничивается только политическими вопросами, в душе таит желания, глубоко согласные с самыми смутными чувствами этих голодных ремесленников, а они, в свою очередь, не отказываясь от своих целей, могут превратить программу чартистов в свой боевой клич. Чартисты требуют, чтобы парламент состоял только из одной палаты и обновлялся бы еже-

годно путем новых выборов; затем, чтобы независимость избирателей была гарантирована негласной баллотировкой; наконец, чтобы каждый природный англичанин мог избирать и быть избираем. «Все это еще не съедобно для нас, — говорили несчастные рабочие: — ни сводами законов, ни поваренными книгами сыт не будешь, мы голодны». — «Погодите, — возражали чартисты, — до сих пор в парламенте сидели только богатые, и заботились они только об интересах своей собственности; благодаря новому избирательному закону, благодаря хартии, в парламент попадут ремесленники или их представители, и тут-то уж окажется, что на труд, точно так же как и на всякое имущество, может существовать право собственности и что фабрикант так же не смеет уменьшать по произволу почтенную плату рабочим, как не смеет он отнимать у соседа движимое и недвижимое имущество. Труд — собственность народа, и вытекающие из этого права собственности должны быть санкционированы и охраняемы обновленным парламентом». Еще шаг, и люди эти скажут, что труд — право народа; а так как это право повлекло бы за собою требование безусловного вознаграждения за труд, то чартизм ведет если и не к имущественному равенству, то, конечно, к потрясению существовавшей до сих пор идеи собственности, столпа современного общества, и в этих чартистских начинаниях, рассматриваемых с точки зрения их последствий, таится социальный переворот, в сравнении с которым французская революция должна показаться весьма кроткой и скромной.

Здесь опять-таки обнаруживается лицемерие и практичность англичан в противоположность французам: чартисты законными формами прикрывают свой терроризм, тогда как коммунисты выказывают его свободно и прямодушно. Последние, правда, еще немного боятся назвать настоящим именем конечные цели своего учения, и если начать спорить с их вожаками, они станут защищаться от обвинения, будто они хотят

упразднить собственность, и станут утверждать, что, напротив, они хотят утвердить ее на более обширной основе, что они хотят придать ей широкую организацию. Боже мой! Я боюсь, как бы от рвения таких организаторов собственности не пришлось очень плохо и как бы в конце концов не осталось ничего, кроме обширного основания. «Я скажу тебе правду, — недавно говорил мне приятель коммунист: — собственность отнюдь не будет упразднена; но ей дано будет новое определение».

Вот это - то новое определение здесь во Франции внушает господствующей буржуазии большой страх, и этому страху Луи-Филипп обязан своими преданнейшими сторонниками, вернейшей опорой своего престола. Чем сильнее дрожат опоры, тем менее колеблется трон, и королю нечего бояться именно потому, что страх служит для него гарантией. Гизо тоже держится благодаря страху перед новым определением, против которого он так мастерски сражается своей острой диалектикой, и я не думаю, чтобы он так скоро потерпел поражение, хотя господствующая партия буржуазии, для которой он столько сделал и столько делает, холодна к нему. Почему они его не любят? Я думаю, во-первых, потому, что они его не понимают, и во-вторых, потому, что тот, кто охраняет наше добро, всегда возбуждает гораздо меньше любви, чем тот, кто обещает нам добро чужое. Так было некогда в Афинах, то же теперь и во Франции, то же будет и во всякой демократии, где слово свободно, а люди легковерны!

## LII

Париж, 4 декабря 1842

Удержится ли Гизо? Французское министерство — это совершенно то же, что любовь: о силе и длительности тут никогда нельзя судить с уверенностью. Порою думаешь, что министерство пустило несокрушимо прочные корни, и вдруг на следующий день оно валится

от ничтожного дуновения ветра. Еще чаще думаешь, что министерство идет, шатаясь, навстречу гибели, что оно лишь две-три недели сможет продержаться на ногах, но к нашему удивлению тут же оказывается, что оно еще крепче, чем было, и переживет всех тех, кто уже читал ему надгробные речи. Месяц тому назад, 29 октября, министерство Гизо праздновало в третий раз день своего рождения, теперь ему уже больше двух лет, и я не вижу причины, почему бы ему и дольше не жить на этой прекрасной земле, на бульваре Капуцинов, где зеленые деревья и прекрасный воздух. Правда, много министерств погибло в таковой скорой смерти, но все они были сами виноваты в своей ранней кончине: они слишком много двигались. Да, то, что здорово нам, людям, причиняет министерству смертельную болезнь, и, в частности, 1-е марта умерло от нее. Они, эти человечки, не могут сидеть смирно. Частая смена правительств во Франции — это не только последствие революции, но также и плод национального характера французов, для которых дело, деятельность, движение является такой же потребностью, как для нас, немцев, курение табаку, тихое раздумье и душевное спокойствие; именно потому, что французские правители так подвижны и постоянно придумывают себе новое занятие, они оказываются в таком убийственно затруднительном положении. Это касается не одних только министерств, но также и династий, которые своей же деятельностью всегда ускоряют катастрофу. Да, та же роковая причина, неустанная деятельность, вызвала падение не только Тьера, но и более сильного Наполеона, который до конца дней своих остался бы на троне, если бы обладал искусством сидеть смирно, искусством, которому у нас прежде всего учат маленьких детей! Но этим искусством господин Гизо обладает в высокой степени, он держится с мраморным спокойствием, как Луксорский обелиск, и поэтому продержится дольше, чем думают. Он ничего не делает, и в этом — тайна его

долговечности. Почему же он ничего не делает? Думаю, прежде всего потому, что он действительно наделен каким-то германским душевным спокойствием и меньше страдает жаждой деятельности, чем его соотечественники. Быть может, он потому ничего не делает, что знает так много? Чем больше мы знаем, чем глубже и шире наши взгляды, тем труднее для нас деятельность, и тот, кто всегда мог бы предвидеть все последствия каждого своего шага, конечно, вскоре отказался бы от всякой деятельности и пользовался бы своими собственными руками только для того, чтобы связывать собственные ноги. Самые обширные познания обрекают нас на самую узкую бездеятельность.

Между тем — какова бы ни была участь министерства — будем возможно терпеливее доживать последние дни года, который, слава богу, близится к концу! Если б только небо не послало нам под конец какое-нибудь новое несчастье! Это был дурной год, и будь я тенденциозный поэт, я устроил бы ему кошачий концерт в самых крикливых и неблагозвучных стихах. За этот дурной, постыдный год человечество много выстрадало, и даже банкиры потерпели некоторые убытки. Каким страшным несчастьем был, например, пожар на Версальской железной дороге! Я говорю не о потерпевшей воскресной публике, которая при этом изжарилась или сварилась: скорее я имею в виду оставшуюся в живых субботнюю компанию, акции которой упали на столько процентов и которая теперь с трепетной тревогой ждет исхода процесса, вызванного этой катастрофой. Придется ли учредителям компании дать некоторую компенсацию осиротевшим или искалеченным жертвам их корыстолюбия? Это было бы ужасно! Эти достойные сожаления миллионеры уже так сильно поплатились, и прибыль от других предприятий в этом году едва покрывает дефицит. К тому же — еще и другие беды, от которых легко можно лишиться рассудка, и на бирже меня уверяли вчера, что полубанкир Лойзедорф собирается перейти в христиан-

ство. У других дела идут лучше, и если бы даже *rive gauche* совсем замерла, все же мы могли бы утешаться тем, что *rive droite* радостно процветает. Южно-французские железные дороги, так же как и дороги, недавно получившие концессию, обделывают хорошие дела, и тот, кто вчера еще был бедным негодяйчиком, сегодня уже богатый негодяй. В частности, тощий и длинноносый господин \*\*\* уверяет, что он доволен провидением, что у него есть на это «резоны». Да, пока вы, прочие, проводили время в философских спекуляциях, этот тощий дух проводил покупателей и спекулировал на акциях железных дорог, и недавно один из его благодетелей, крупный банкир, сказал мне: «Смотрите, вот этот человечек был ничто, а теперь у него есть деньги и будет еще больше, и никогда-то в жизни он не занимался философией!» Эти грибы везде и всюду одни и те же! С особым презрением смотрят они сверху вниз на писателей, занимающихся той бескорыстной наукой, которую мы называем философией. Уже тысячу восемьсот лет тому назад, как повествует Петроний, некий римский проходимец велел сделать на своей могиле следующую надпись: «Здесь покоится Страберий— вначале он был ничто, однако оставил триста миллионов сестерций, никогда в жизни он не занимался философией, следуй его примеру, и благо тебе будет».

Здесь, во Франции, царит сейчас величайшее спокойствие. Вялый, сонливый, зевающий мир. Все тихо, как в снежную зимнюю ночь. Только тихое, однообразное падение капель. Это проценты непрестанно капают в капиталы, которые все время разбухают: прямо-таки слышишь, как растут они, эти богатства богачей. И тут же тихое рыданье нищеты. Порой что-то звенит, словно оттачиваемый нож. Шум в соседних странах нас мало тревожит, и даже громяхающий мятеж в Барселоне не смутил нас. Кровавая сцена, случившаяся в кабинете *mademoiselle* Гейнефеттер в Брюсселе, возбудила в нас гораздо больший интерес, и дамы особенно возмущены этой немецкой душой, которая,

несмотря на многолетнее пребывание во Франции, все еще не научилась, как надо поступать, чтобы два одновременных поклонника не встретились на арене своего счастья. Известия с Востока также возбудили в народе недовольный ропот, и китайский император оскрамился в такой же мере, как и *mademoiselle* Гейнефеттер. Бесполезное кровопролитие, и цветок Китая погиб. Англичане изумлены, что так легко разделались с братом солнца, и рассчитывают уже, нельзя ли обратиться против Японии бесполезные теперь военные силы Индийского моря, чтобы и на эту страну наложить контрибуцию. Конечно, и здесь в законном предлоге к нападению недостатка не будет. Если это не будут бочки с опиумом, то это будут сочинения английских миссионеров, конфискованные японской комиссией безопасности. Может быть, в одном из дальнейших писем я поговорю о том, как Англия маскирует свои военные действия. Угроза, что британское великодушие не придет к нам на помощь, когда Германию, как некогда Польшу, станут делить, несколько не пугает меня. Во-первых, Германию нельзя делить. Пусть попробуют разделить княжество Лихтенштейн или Грейц-Шлейц! А во-вторых... —

## LIII

Париж, 31 декабря 1842

Еще маленький шаг — и старый дурной год скатится в бездну времен. Этот год был сатирой на Луи-Филиппа, на Гизо, на всех, кто так старался сохранить мир в Европе. Этот год — сатира и на самый мир, ибо в спокойном лоне его мы претерпели такие ужасы, ужаснее которых не могла бы породить и война, пугавшая нас. Страшный месяц май, когда почти в одно и то же время во Франции, Германии и Гаити разыгрались самые жуткие трагедии! Какое стечение самых неслыханных несчастий! Какая злобная ирония случая! Какие адские сюрпризы! Могу себе представить

изумление, с которым обитатели царства теней взирали на пришельцев 6 мая, на расфранченные воскресные лица, на студентов, гризеток, молодых супругов, аптекарей, жаждущих развлечься, филистеров всех цветов, которые ездили в Версаль смотреть на фонтаны и вместо Парижа, — где для них уже был накрыт обеденный стол, — попали в подземный мир! И притом — искалеченные, сваренные, сжаренные! «Это война привела вас в такой гнусный вид?» — «Ах, нет, у нас мир, и мы — только что с прогулки». Изжаренные пожарные и надсмотрщики с товарных складов, прибывшие несколько дней спустя из Гамбурга, должны были вызвать не меньшее удивление в царстве Плутона. «Вы — жертвы бога войны?» — таков, наверно, был вопрос, которым их встретили. «Нет, наша республика в мире с целым светом, храм Януса стоял открытым, лишь капище Вакха оставалось открытым, и мы жили, мирно наслаждаясь нашими спартанскими супами из телячьей головки, как вдруг случился великий пожар, в котором мы погибли». — «А ваши знаменитые пожарные команды?» — «Они-то целы, только слава их погибла». — «А старые парики?» — «Они, как напудренные фениксы, возродятся из пепла». На другой день, пока Гамбург еще пылал, произошло землетрясение на Гаити, и бедные черные люди тысячами были сброшены в царство теней. Когда они прибыли туда, все в крови, наверно, там внизу решили, что они только что покинули поле битвы, где сражались с белыми, и что белые изрубили их или же засекли насмерть, как взбунтовавшихся рабов. Нет, и тут ошиблись добряки — жители берегов Стикса. Не человек, а природа учинила великую кровавую баню на этом острове, где рабство давно упразднено, где образ правления — республиканский, и хотя он не принес и зародышей обновления, но коренится в вечных законах разума; там царит свобода и равенство, даже черная свобода печати. — Грейц-Шлейц не является такой республикой; почва там не такая горячая, как в Гаити, где

произрастает сахарный тростник, кофе и черная свобода печати и где, следовательно, весьма легко могло случиться землетрясение; но, несмотря на мягкий картофельный климат, несмотря на цензуру, несмотря на терпеливые стихи, которые как раз в это время актеры декламировали или пели, потолок в театре упал на голову гражданам Грейц-Шлейца, которые с веселым любопытством смотрели на игру, и часть уважаемой публики неожиданно оказалась брошенной в Орк.

Да, среди благодушной тишины, среди мирного спокойствия нагромоздилось столько бедствий и горя, сколько не могли бы накликать и трубные зовы гнева Беллоны. И не только на суше, — на воде также перенесли мы в этом году исключительные несчастья. Два больших кораблекрушения, у берегов Северной Африки и Ламаинша, принадлежат к самым жутким главам в мученической истории человечества. У нас нет войны, но мир совершает над нами казни, и если мы не погибнем вдруг, по вине грубой случайности, то будем медленно умирать от некоего изнуряющего яда, от аква-тофаны, которую бог весть чья рука вливает в кубок нашей жизни!

Я пишу эти строки в последние часы уходящего злого года. Новый стоит уже у дверей. Да будет он менее суров, чем его предшественник! Шлю за Рейн полные тоски пожелания счастья к Новому году. Желаю глупым немного ума, умным же — немного поэзии. Женщинам желаю самых красивых платьев, мужчинам же очень много терпения. Богатым — иметь сердце, а бедным — кусочек хлеба. Но больше всего я желаю, чтобы в этом новом году мы как можно меньше клеветали друг на друга.

## LIV

Париж, 2 февраля 1843

Что больше всего меня удивляет, это проворство, с которым французы так умело переходят, или, вернее,

перепрыгивают от одного занятия к другому, совсем противоположному. Это не только особенность их подвижного характера, но также и историческое приобретение: с течением времени они совершенно отделались от стеснительных предрассудков и педантизма. Поэтому-то эмигранты, перебежавшие к нам во время революции, так легко перенесли перемену обстановки, и некоторые из них, чтобы заработать себе на хлеб, сумели экспромтом придумать себе ремесло. Моя мать часто рассказывала мне про французского маркиза, который в нашем городе открыл свою сапожную мастерскую и делал лучшие дамские башмаки; он работал весело, насвистывал забавнейшие песенки и не вспоминал о былом великолепии. Немецкий дворянин при таких же обстоятельствах тоже прибегнул бы к сапожному ремеслу, но, конечно, он не так весело смирился бы перед своей кожаной судьбой и занялся бы он, во всяком случае, мужскими сапогами, тяжелыми сапогами со шпорами, напоминающими о древнем рыцарстве. Когда французы перешли Рейн, маркизу пришлось оставить свою лавочку, и он бежал в другой город, кажется, в Кассель, где он сделался лучшим портным; да, минуя годы ученичества, он таким образом эмигрировал из одного ремесла в другое и сразу же достигал в нем мастерства — что немцу должно казаться непостижимым, и не только немцу-дворянину, но и обыкновеннейшему мещанину. После падения императора милейший маркиз, с поседевшими волосами, но неизменно юным сердцем, возвратился на родину, и на лице его изобразилась такая высокоаристократическая важность, и он так стал задирать нос, как будто никогда в жизни ему не приходилось иметь дело с шилом или иглой. Ошибаются те, кто утверждают, что эмигранты ничему не научились и ничего не забыли, — напротив, они все забыли, чему научились. Герои Наполеоновских войн, когда их уволили в отставку или посадили на половинное жалованье, также с величайшим успехом принялись

за мирные ремесла, и всякий раз, как мне случалось войти в магазин Деллуа, я просто диву давался, глядя на этого бывшего полковника, сидящего теперь, в качестве книгопродавца, за конторкой и окруженного многими седыми усачами, которые во дни императора тоже были солдатами и храбро сражались, а теперь служат у своего старого товарища бухгалтерами или счетоводами, словом — приказчиками.

Из француза можно сделать все, и каждый считает себя способным на все. Плачевнейший драматург внезапно, словно по волшебству, становится министром, генералом, светочем церкви, даже господом богом. Замечательный пример в этом роде представляют превращения нашего любезного Карла Дюверье, который был одним из просвещеннейших сановников сенсимонистской церкви, а когда ее упразднили, перешел со сцены духовной на светскую. Этот Карл Дюверье восседал в зале Тетбу на епископской скамье, рядом с самим отцом, то есть с Анфантенom; он отличался боговдохновенным пророческим тоном, а в час испытания явился и мучеником за новую религию. Говорить мы теперь будем не о комедиях Дюверье, а об его политических брошюрах, ибо он опять-таки оставил театральную карьеру и выступил на поприще политики, и это новое превращение, пожалуй, не менее замечательно. Его перу принадлежат брошюры, выпускаемые в свет каждую неделю под заглавием: «Lettres politiques» \*. Первая обращена к королю, вторая — к Гизо, третья — к герцогу Немурскому, четвертая — к Тьеру. Все они отмечены печатью большого ума. В них господствует благородный образ мыслей, похвальное отвращение к варварским военным намерениям, пламенное воодушевление делом мира. От промышленности Дюверье ожидает наступления золотого века. Не на ослиати, а на паровой машине совершит Мессия свой благословенный въезд. Такими взглядами проникнута, в част-

\* «Политические письма».

ности, брошюра, обращенная к Тьеру, или, вернее, направленная против него. О личности бывшего председателя совета автор говорит с достаточным уважением. Гизо ему нравится, но больше нравится Моле. Эта задняя мысль сквозит всюду.

Трудно решить, прав он или неправ, отдавая предпочтение одному из этих троих. Я, со своей стороны, не думаю, чтобы тот или другой был лучше, и держусь того мнения, что каждый из них, будучи министром, сделает то же самое, что при одинаковых обстоятельствах сделал бы и другой. Настоящий министр, мысль которого всюду претворяется в дело, который и правит и царствует, — это король Луи-Филипп, а трое государственных деятелей, названных выше, отличаются друг от друга только тем, как они справляются с господством королевской мысли.

Вначале господин Тьер восстает весьма сурово, впадает в многоречивейшую оппозицию, трубит и барабанит, и все же в конце концов делает то, чего хотел король. Не только его революционные чувства, но и убеждения его, как государственного деятеля, находятся в постоянном противоречии с королевской системой: он знает и чувствует, что эта система когда-нибудь должна рухнуть, и я мог бы привести поразительнейшие суждения Тьера о непрочности теперешнего порядка. Он слишком хорошо знает своих французов и слишком хорошо знает историю французской революции, чтобы вполне предаться квиетизму победоносной партии буржуазии и уверовать в намордник, который он сам надел на тысячеголовое чудовище, его чуткое ухо слышит, как чудовище ворчит про себя, он даже боится, что, сорвавшись с цепи, оно когда-нибудь разорвет его, — и все же он делает то, чего хочет король.

Совсем иначе обстоит дело с господином Гизо. Для него победа буржуазии — свершившийся факт, *un fait accompli*, и он со всеми своими способностями вступил на службу этой новой власти, господство

которой он умеет поддерживать всем искусством исторической и философской проницательности, объявляя его разумным, а следовательно, и оправдывая его существование. В том ведь и заключается сущность доктрина, что для всего, что он хочет сделать, он подыскивает доктрину. Быть может, его сокровеннейшие убеждения и возвышаются над этой доктриной, а может быть, они и ниже ее — как знать? Он слишком умен и обладает слишком разносторонними познаниями, чтобы в глубине души не быть скептиком, и этот скепсис мирится со служением системе, на сторону которой он перешел. Теперь он — верный слуга буржуазной власти, и он до последней минуты, с неумолимой последовательностью, с жестокостью герцога Альба будет защищать ее. У него не бывает колебаний и нерешительности, он знает, чего хочет, а чего он хочет, то он и делает. Если он падет в борьбе, то и это падение не поколеблет его, и он всего лишь пожмет плечами. Ведь то, за что он сражался, было ему, в сущности, безразлично. Если вдруг когда-нибудь победит партия республиканская или партия коммунистов, советую этим добрым людям взять в министры Гизо, воспользоваться его умом и упорством, и это принесет им большую пользу, чем если бы они отдали власть в руки самых испытанных дураков гражданской добродетели. Такой же совет я дал бы и приверженцам Генриха V, на тот невозможный случай, если бы когда-нибудь, путем национального бедствия, кары божьей, они снова достигли обладания официальной властью; возьмите в министры Гизо, и вы продержитесь тремя сутками дольше. Я не боюсь упрека, что несправедливо сужу о господине Гизо, когда высказываю мнение, будто он может опуститься до того, чтобы своим красноречием и своими талантами защищать ваше неправо дело. Ведь вы для него так же неважны, как и эти мещане, ради которых он теперь не жалеет своих духовных сил, борясь словом и делом, как и система короля, которой он служит со стоическим хладнокровием.

Господин Моле отличается от них обоих тем, что, во-первых, он, собственно, тот государственный деятель, самая личность которого уже обличает патрицию, в котором талант правителя является врожденным или же воспитан семейными традициями. В нем нет и тени плебейского выскочки, как в господине Тьере, а тем менее угловатости учителя, как в господине Гизо. И в глазах аристократии иностранных дворов такая внешняя представительность и дипломатическая легкость может заменить гениальность, которую мы находим у господ Тьера и Гизо. У него нет иной системы, кроме системы короля, да ведь и он — слишком придворный человек, чтобы желать другой системы, и королю это известно, и министр этот совершенно по душе Луи-Филиппу. Вот увидите, каждый раз, как королю будет предоставлен выбор — назначить первым министром господина Гизо или господина Тьера, Луи-Филипп всегда будет отвечать с тоскою: «Позвольте мне взять Моле». Моле — это он сам, а так как его желания все же исполняются, то не было бы несчастьем, если бы Моле снова стал министром.

Но счастья тоже не было бы в этом, ибо королевская система попрежнему осталась бы в силе, и как ни высоко мы ценим благородные намерения короля, как ни уверены мы, что он действительно желает блага Франции, все же мы должны признать, что средства для достижения цели — неправильные, что вся система не стóит и заряда пороха, если она вообще от одного такого заряда как-нибудь не взлетит на воздух. Луи-Филипп хочет управлять Францией через палату и думает, что он всего достиг, когда, благодаря покровительству ее членам, ему при проведении всякой правительственной меры удастся завоевать парламентское большинство. Но его заблуждение состоит в том, что палату он считает представительницей Франции. Однако это не так, и он совершенно не замечает интересов народа, которые весьма отличаются от интересов палаты и не особенно принимаются ею во внимание.

Если его непопулярность достигнет серьезных размеров, палате вряд ли удастся его спасти, и ведь еще вопрос, бросится ли с энтузиазмом к нему на помощь в опасный момент эта покровительствуемая им буржуазия, для которой он так много делает.

«Наше несчастье в том, — сказал мне недавно один из завсегдатаев Тюильри, — что наши противники, считая нас слабее, чем мы на самом деле, не боятся нас, а наши друзья, которые дуются порой, приписывают нам больше силы, чем у нас есть в действительности».

## LV

Париж, 20 марта 1843

Скуку, источаемую классической трагедией французов, никто не понимал лучше, чем та добрая мещанка времен Людовика XV, которая говорила своим детям: «Не завидуйте дворянам и прощайте им их надменность, ведь они, пораженные карой небесной, каждый вечер должны досмерти скучать во Французском театре». Кончился старый режим, и скипетр попал в руки буржуазии; но этим новым властителям тоже, должно быть, приходится искупать очень обильные грехи, и гнев богов поражает их еще ужаснее, чем их предшественников у власти; мало того, что девица Рашель каждый вечер подносит им затхлые дрожжи древнего сонного напитка, — теперь им приходится глотать даже и отбросы нашей романтической кухни, кислокапустные стихи «Бургграфов» Виктора Гюго! Мне жаль и слово потратить на обсуждение достоинств этого несъедобного изделия, выступающего со всевозможными претензиями, в частности, историческими, хотя все сведения Виктора Гюго о времени и месте, где происходит действие его драмы, почерпнуты исключительно из «Справочника для путешествующих по Рейну». Действительно ли этот человек, посмеявшийся в прошлом году на публичном заседании Академии сказать, что герман-

скому гению пришел конец (*la pensée allemande est rentrée dans l'ombre* \*), действительно ли этот величайший орел поэзии так мощно опередил современников? Право же, нет. Произведение его не свидетельствует ни о поэтическом богатстве, ни о гармонии, ни о вдохновении, ни о свободе духа, в нем нет даже искры гениальности, ничего, кроме надутости неестественности и пестрой декламации. Угловатые деревянные фигуры, разукрашенные безвкусной мишурой, приводимые в движение с помощью веревочки, как это видно и зрителю, жуткая кукольная комедия, безобразное судорожное подражание действительности, насквозь фальшивые страсти. Для меня нет ничего противнее этой страстности Гюго, которая притворяется такой жгучей, великолепно огненной, а по существу так плачевно трезва и бездушна. Эта холодная страсть, которой потчуют нас в таких жутких выражениях, скорее напоминает мне жареное мороженое, столь искусно приготовляемое китайцами, которые заворачивают в тонкое тесто кусочки льда и держат несколько минут над огнем: антистетическое лакомство, которое надо быстро проглатывать, причем обжигашь губы и язык и простуживашь желудок.

Но господствующей буржуазии приходится за свои грехи не только терпеть старые классические трагедии и отнюдь не классические трилогии, — небесные силы еще послали ей в удел более ужасную художественную усладу, а именно — фортепиано, от которого теперь уже нигде нельзя укрыться, звуки которого слышишь во всех домах, во всяком обществе, днем и ночью. Да, фортепиано — так называется орудие пытки, которым особенно истязуют нынешнее высшее общество, в наказание за всю его узурпацию. Если бы только при этом заодно не страдали и невинные! Эта вечная игра на фортепиано прямо невыносима! (Ах! Мои соседки, юные дочери Альбиона, исполняют в эту минуту

\* германская мысль снова скрылась в тени

блестящий морсеау\* для двух левых рук.) Эти пронзительные брэнчащие звуки без естественного отзвука, беспредельный шум, этот прозаический грохот и рокот, это фортепиано убивает все наши мысли и чувства, и мы глупеем, тупеем, впадаем в идиотизм. Это расширение игры на фортепиано, а еще более — триумфальные шествия пианистов-виртуозов характерны для нашего времени и особенно ясно свидетельствуют о победе машины над духом. Техническое совершенство, точность автомата, отождествление себя с звучащим деревом, превращение человека в музыкальный инструмент ценится и восхваляется теперь, как самое высшее. Словно стая саранчи, каждую зиму прибывают в Париж пианисты-виртуозы, не столько ради денег, сколько для того, чтобы создать себе здесь имя, которое принесет им в других странах тем более богатую денежную жатву. Париж служит для них чем-то вроде столба для наклейки афиш, где слава их напечатана огромными буквами. Я говорю: слава их напечатана, ибо о ней возвещает доверчивому миру парижская пресса, и виртуозы эти с величайшей виртуозностью умеют эксплуатировать прессу и журналистов. Они умеют подступиться даже и к самому глухому, потому что человек всегда остается человеком, доступен лести, рад также играть роль покровителя, и рука руку моет; но редко самой нечистой является здесь рука журналиста, и даже продажный льстец тут же превращается в обманутого дурака, которому наполовину платят ласками. Говорят о продажности прессы; это очень большое заблуждение. Наоборот, пресса обычно оказывается в дураках, и это особенно имеет место в тех случаях, когда дело идет о знаменитых виртуозах. Собственно говоря, они все знамениты, а именно — в рекламах, которые они собственной высочайшей особой или при помощи брата или мамы проталкивают в печать. Почти не верится, до чего униженно они вымаливают

\* отрывок, пьеса

в редакциях газет ничтожнейшую похвалу, как они изгибаются и извиваются. В то время, когда я еще пользовался великой благосклонностью редактора «Gazette Musicale» (ах! я пренебрег ею по юношескому легкомыслию), — я мог собственными глазами наблюдать, как эти знаменитости верноподданнейше лежали у его ног, ползали перед ним и виляли хвостом, только бы их немножко похвалили в его газете; а о наших высоко прославленных виртуозах, которые во всех столицах Европы принимают дань поклонения, можно было бы сказать, в стиле Беранже, что на их лавровых венках еще заметна пыль от сапог Морица Шлезингера. Нельзя себе представить, как эти люди спекулируют на нашем легковерии — если не наблюдать лично их деятельности здесь, на месте. В редакции упомянутой музыкальной газеты я однажды встретил одетого в лохмотья старика, который отрекомендовался как отец знаменитого виртуоза, и просил редакторов газеты напечатать рекламу, где к сведению публики сообщалось несколько благородных черт из художественной жизни его сына. Дело в том, что где-то на юге Франции эта знаменитость дала концерт, имевший колоссальный успех, и выручкой от него поддержал грозившую падением старую готическую церковь; в другой раз он играл в пользу вдовы, потерпевшей от наводнения, или же в пользу семидесятилетнего школьного учителя, лишившегося своей единственной коровы, и т. д. Из более подробного разговора с отцом этого благодетеля человечества выяснилось, что сынок, как с полной наивностью признался старик, не делает для него того, что мог бы сделать, а подчас заставляет его и поголодать немножко. Я посоветовал бы знаменитости дать как-нибудь концерт в пользу обветшалых штанов ее старого отца.

Когда насмотришься на все эти ничтожества, право, уж не станешь сердиться на шведских студентов, которые слишком резко высказались против безобразного обоготворения виртуозов и устроили известную оvation

знаменитому Оле Буллиу, при его прибытии в Упсалу. Прославленный муж думал уже, что из его экипажа выпрягут лошадей, ждал факельных шествий, цветочных венков, как вдруг получил порцию почетных палочных ударов, настоящий северный сюрприз.

Матадорами этого сезона были господа Сивори и Дрейшок. Первый — скрипач, и я уже поэтому ставлю его выше второго, страшного фортепианного колотильщика. Вообще виртуозность скрипачей не вполне является результатом механической беглости пальцев и голой техники, как виртуозность пианистов. Скрипка — инструмент, почти по-человечески капризный и находящийся в почти симпатическом соответствии с расположением духа скрипача: малейшее недомогание, самое легкое душевное потрясение, дуновение чувства находит здесь непосредственный отклик, и это, верно, происходит оттого, что скрипка, так близко прижимаемая к нашей груди, слышит и биение нашего сердца. Но это относится только к тем художникам, у которых в груди есть бьющееся сердце, у которых вообще есть душа. Чем суше и бездушнее скрипач, тем однообразнее всегда его исполнение, и он может рассчитывать на послушание своей скрипки в любой час, в любом месте. Но ведь эта хваленая уверенность — только результат духовной ограниченности, и как раз игра величайших мастеров нередко зависела от внешних и внутренних влияний. Я никого не слышал, кто играл бы лучше, а подчас и хуже, чем Паганини, и то же самое могу я сказать в похвалу Эрнсту. Эрнст, быть может, величайший скрипач наших дней, подобен Паганини как своими недостатками, так и своей гениальностью. Отсутствие Эрнста вызывало этой зимой большие сожаления. Синьор Сивори был очень слабой заменой, все же мы слушали его с большим удовольствием. Так как он родился в Генуе и, быть может, встречался с Паганини в узких улицах своего родного города, где трудно не столкнуться друг с другом, то его провозгласили здесь учеником Паганини. Нет, у Паганини никогда не было

ученика и не могло быть, ибо лучшему, что он умел, тому, что есть высшего в искусстве, нельзя ни научить, ни научиться.

Что есть высшее в искусстве? То же, что является высшим и во всех других проявлениях жизни: сознательная свобода духа. Не только на музыкальную пьесу, возникшую из полноты этого самосознания, но даже и на исполнение ее можно смотреть, как на высшее в искусстве, если мы чувствуем это чудное дуновение бесконечности; ибо оно явно свидетельствует, что исполнитель стоит на той же ступени высокой духовной свободы, что и композитор, что он тоже свободен. Да, это сознание свободы искусства особенно сказывается в обработке сюжета, в форме, отнюдь не в сюжете, и мы, напротив, можем утверждать, что художники, которые избирают сюжетом свободу и освобождение, чаще всего люди с ограниченным, скованным духом, люди действительно несвободные. Это замечание находит себе сейчас особое подтверждение в немецкой поэзии, где самые необузданно-мятежные певцы свободы, если их рассмотреть при свете, предстанут перед нами, к нашему ужасу, большей частью лишь как ограниченные натуры, филистеры, коса которых выглядывает из-под красного колпака, мухи-однодневки, о которых Гете сказал бы:

Matte Fliegen! Wie sie rasen!  
Wie sie sumsend überkeck  
Ihren kleinen Fliegendreck  
Träufeln auf Tyrannennasen \*.

Истинно великие поэты, выражая великие интересы своего времени, никогда не пользовались такими средствами, как рифмованные газетные статьи, и их мало тревожило, что рабская толпа, грубость которой им противна, упрекает их в аристократизме.

\* Жалкие мухи! Как они ярятся! С каким задорным жужжаньем льют они на носы тиранов свой мушиный помет.

## LVI

Париж, 26 марта 1843

Самыми замечательными явлениями этого сезона я назвал господ Сивори и Дрейшока. Последний стяжал величайший успех, и я доношу в согласии с истиной, что общественное мнение провозгласило его одним из величайших пианистов-виртуозов и поставило рядом с самыми знаменитыми. Он производит адский шум. Кажется, что слышишь не одного пианиста Дрейшока, а целых три дюжины пианистов. Так как в вечер его концерта дул юго-западный ветер, то, пожалуй, в Аугсбурге вы могли слышать мощные звуки; на таком расстоянии действие их, наверно, приятно. Однако здесь, в департаменте Сены, легко может лопнуть барабанная перепонка, когда этот фортепианный колотильщик загремит во-всю. Удавись, Франц Лист, ты — заурадный божок в сравнении с этим богом грома, который связывает бури, точно ветви березы, и сечет ими море. Старые пианисты всё больше скрываются в тени, и этим бедным, отжившим инвалидам славы теперь приходится жестоко страдать за то, что в молодости их переоценили. Лишь Калькбреннер держится еще кое-как. Этой зимой он снова выступил публично, в концерте ученицы; на губах его попрежнему блестит та набальзамированная улыбка, которую мы недавно заметили также на лице египетского фараона, когда в здешнем музее развернули его мумию. После более чем двадцатипятилетнего отсутствия господин Калькбреннер недавно снова посетил город, бывший свидетелем его первых удач, а именно Лондон, и имел там очень большой успех. Лучше всего то, что он вернулся оттуда цел и невредим, и мы теперь не смеем верить тайной легенде, будто господин Калькбреннер так долго избегал Англию ввиду вредного законодательства этой страны, карающего петлей галантно-преступное двоеженство. Мы можем теперь считать эту легенду небылицей, ибо несомненен тот факт, что господин Калькбреннер вернулся к своим

здесьним почитателям, к своим прекрасным роялям, которые он фабрикует в компании с господином Плейелем, к своим ученицам, из которых каждая становится его *maîtresse*\* во французском смысле этого слова, к своему собранию картин, за которое, как он утверждает, не мог бы заплатить ни один монарх, к своему многообещающему сыну, который скромностью уже превосходит своего отца, и к почтенной рыбной торговке, уступившей ему знаменитое тюрбо, которое было до него заказано для своего господина главным поваром князя Беневентского, Талейрана Перигора, бывшего епископа Отенского. Торговка долго не соглашалась уступить упомянутую рыбу знаменитому пианисту, пришедшему инкогнито на рыбный рынок, но когда он вынул свою визитную карточку, положил ее на тюрбо и бедная женщина прочла имя Калькбреннер, она сразу же велела отнести рыбу к нему на квартиру, и ее долго нельзя было убедить принять какую бы то ни было плату, ибо великая честь, по ее словам, уже послужила ей достаточным вознаграждением. Немецкая треска недовольна этой рыбной историей, ибо сама она не в силах так блистательно доказать свое самосознание и, кроме того, завидует элегантной осанке господина Калькбреннера, его тонкому и нарядному поведению, его лоску и слащавости, вообще его марципанному облику, который, впрочем, для спокойного наблюдателя, — вследствие кой-каких невольных берлинизмов самого низшего сорта, — имеет довольно мерзкий привкус, так что Корефф мог столь же остроумно, сколь и правильно сказать о нем: «Он имеет вид конфеты, упавшей в грязь».

Современником господина Калькбреннера является господин Пиксис, и хотя он ниже рангом, все же мы упомянем о нем, как о курьезе. Но только жив ли еще господин Пиксис? Сам он утверждает это и ссылается

\* Слово имеет два значения: учительница и любовница, в данном случае — любовница.

притом на свидетельство господина Сина, знаменитого посетителя булонских морских купаний, которого нельзя смешивать с горою Синаем. Мы поверили этому храброму укротителю волн, хотя некоторые злые языки даже утверждают, будто господин Пиксис никогда не существовал. Нет, он человек, действительно живший; говорю, человек, хотя зоолог дал бы ему более хвостатое название. Господин Пиксис прибыл в Париж уже во время нашествия, в тот момент, когда Аполлон Бельведерский снова отдан был в руки римлян и должен был покинуть Париж. Приобретение господина Пиксиса должно было явиться для французов некоторой компенсацией. Он играл на рояле, сочинял также очень миленькую музыку, и его пьески особенно ценились продавцами птиц, обучавшими канареек пению при помощи шарманки. Стоило только раз прорепетировать с этими желтыми существами композицию господина Пиксиса, — и они уже сразу понимали и тут же чирикали ее, так что сердце радовалось и все рукоплескали: «Пиксиссимо!» С тех пор, как старшие Бурбоны сошли со сцены, больше никто уже не кричит «пиксиссимо»; новые певчие птицы требуют новых мелодий. Наружность, физический облик господина Пиксиса еще придают ему некоторую важность; дело в том, что у него самый большой нос в музыкальном мире, и господин Пиксис, стараясь как можно резче подчеркнуть эту особенность, часто показывается в компании романсного композитора, вовсе не имеющего носа и недавно получившего за это орден Почетного легиона, ибо, конечно, не за музыку господину Пансерону дали это награждение. Говорят, его должны назначить и директором Большой оперы, так как именно он — единственный человек, за которого нечего бояться, что маэстро Джакомо Мейербер сможет водить его за нос.

Господин Герц, подобно Калькбреннеру и Пиксису, принадлежит к мумиям; он блистает еще только благодаря своему прекрасному концертному залу, он давно

уже умер, а на-днях еще и женился. К пианистам, которые поселились здесь и которым сейчас больше всего везет, принадлежат Халле и Эдуард Вольф; но мы особенно отметим лишь последнего, ибо он проявил себя и как композитор. Эдуард Вольф плодovit и полон воодушевления. Стефан Хеллер более композитор, чем виртуоз, хотя он и как пианист пользуется большим уважением. Его музыкальные произведения все отмечены печатью выдающегося таланта, и уже сейчас он принадлежит к большим мастерам. Он настоящий артист, чуждый аффектации, чуждый преувеличения, романтический дух в классической форме! Тальберг уже два месяца в Париже, но не хочет дать своего концерта; играть он будет на этой неделе только в концерте одного из своих друзей. От своих коллег по роялю этот артист выгодно отличается, — я почти сказал бы, — своим музыкальным поведением. Как в жизни, так и в своем искусстве Тальберг проявляет врожденный такт, игра его такая джентльменская, она так богата, так благопристойна, так чужда всяких гримас, так чужда надутого гениальничанья, так чужда глупой хвастливости, которая плохо прикрывает внутреннюю робость. Здоровые женщины любят его. Женщины болезненные не менее благосклонны к нему, хотя он не вызывает их сострадания эпилептическими припадками на фортепиано, хотя он не спекулирует на их слабых, возбужденных нервах, хотя он и не электризирует и не гальванизирует их, — отрицательные, но прекрасные качества. Есть только один пианист, которому я отдал бы предпочтение: это — Шопен; он, однако, в большей мере является композитором, чем виртуозом. Слушая Шопена, я совсем забываю о мастерстве его игры и погружаюсь в сладостные бездны его музыки, томительную прелесть его произведений, таких же глубоких, как и нежных. Шопен — великий, гениальный композитор, которого, в сущности, надо было бы называть только в обществе Моцарта или Бетховена или Россини.

На сценах так называемых лирических театров этой зимой не было недостатка в новинках. Буфф показал нам «Дон Пасквале», новую оперу синьора Доницетти. Этот итальянец тоже не может пожаловаться на неуспех, талант его — большой, но еще больше его плодовитость, в которой он уступает только кроликам. В Комической опере мы видели «La part du diable»\*, текст Скриба, музыка Обера; поэт и композитор прекрасно подходят друг к другу и поразительно напоминают друг друга как своими достоинствами, так и недостатками. У обоих много остроумия, много грации, много изобретательности, даже страсти; одному из них недостает только поэзии, как другому недостает только музыки. Опера нашла своих слушателей и собирает всегда полный зал.

В Académie royale de musique, в Большой опере, на днях давали «Карла VI», текст Казимира Делавиня, музыка Галеви. И здесь также мы замечаем родственное сходство между поэтом и композитором. Оба они сумели путем добросовестных, благородных стараний возвысить свое природное дарование и выработались в художников скорее благодаря внешней дисциплине школы, чем благодаря внутренней оригинальности. Поэтому произведения их никогда не бывали совершенно плохи, как это иногда случается с самостоятельными дарованиями; они всегда создавали нечто приятное, нечто красивое, нечто достойное уважения, академическое, классическое. Оба притом одинаково благородные натуры, достойные личности, и в такое время, когда золото скупно прячется, не следует пренебрежительно отзываться о серебре, находящемся в обращении. За это время потерпел печальное крушение «Летучий голландец» Дица; я не слышал этой оперы, мне только попалось ее либретто, и я с отвращением увидел, как испорчено во французском тексте прекрасное предание, которое известный не-

\* «Доля дьявола»

мецкий писатель (Г. Гейне) совсем было приспособил для сцены.

В качестве добросовестного корреспондента я должен отметить, что среди немецких соотечественников, пребывающих здесь, находится и превосходный композитор Конрадин Крейцер. Конрадин Крейцер достиг здесь почетной известности благодаря «Ночлегу в Гренаде», который давала в своих спектаклях голодной памяти немецкая труппа. Этот уважаемый композитор был знаком мне уже в дни ранней юности, когда меня приводили в восхищение его песни; еще и сейчас звучат они в моем сердце, словно поющие леса, полные рыдающих соловьев и цветущей радости весны. Г. Крейцер говорил мне, что будет для Комической оперы писать музыку на имеющееся либретто. Желаю ему не споткнуться на этой опасной дороге и чтобы лукавые *goués* \* мира парижских комедиантов не оставили его в дураках, как это случалось до него со столькими немцами, которые даже имели то преимущество, что у них было меньше таланта, нежели у господина Крейцера, и которые во всяком случае с большим проворством двигались по парижскому паркету. Как печален был опыт Рихарда Вагнера, который, наконец, повинувшись внушениям рассудка и желудка, благоразумно отказался от опасного проекта обосноваться на французской сцене и перелетел обратно в немецкий картофельный край. Более благоприятно в материальном и профессиональном отношении устроился старый Дессауэр, сочиняющий, как он утверждает, оперу по поручению дирекции *Opéra Comique*. Текст напишет господин Скриб, которому один из здешних банкирских домов предварительно поручился, что в случае возможного провала старого Дессауэра ему, знаменитому фабриканту либретто, будет уплачена значительная сумма, в виде отступного или неустойки. Он в самом деле прав, принимая меры предосторожности, потому что старый

\* плуты

Дессауэр, как он сам хнычет об этом, страдает «меланхоликой». Но кто же такой старый Дессауэр? Это же не может быть старый Дессауэр, который в Семилетней войне стяжал столько лавров, марш которого стал так знаменит и статуя которого стояла в берлинском дворцовом саду, а потом обрушилась! Нет, дорогой читатель! Дессауэр, о котором мы говорим, никогда не стяжал лавров, не писал он и знаменитых маршей, и не ставили ему статуи, которая обрушилась. Он — не прусский старый Дессауэр, и это имя только *nom de guerre*\*, или, скорее, насмешливая кличка, которую он заслужил своим старчески согбенным, скрюченным, плачевным обликом. Он старый, плохо сохранившийся юноша. Он не из Дессау, напротив, он из Праги, где у него два больших опрятных дома в еврейском квартале; говорят, у него и в Вене есть дом и вообще большое состояние. Ему, таким образом, нет нужды сочинять, как сказала бы старуха Моссон, но из любви к искусству он пренебрег своими торговыми делами, занялся музыкой и уже в молодые годы сочинил оперу, которая, из-за его благородного упорства, попала на сцену и пережила полтора представления. В Вене, так же как и в Праге, старый Дессауэр старался проявить свои таланты, но клика, поклоняющаяся Моцарту, Бетховену и Шуберту, не дала ему ходу; его не поняли, что вполне понятно, — хотя бы ввиду его бестолкового жаргона и какого-то носового произношения немецких слов, напоминающего гнилые яйца. А может быть, его и поняли, и как раз поэтому-то не захотели слышать о нем. К тому же он страдал геморроем, задержками мочи и заболел, как он выражается, меланхоликой. Чтобы развлечься, он отправился в Париж и заслужил здесь благосклонность Морица Шлезингера, который взялся издать его «песни»; в виде гонорара он получил от него золотые часы. Когда, спустя некоторое время, старый Дессауэр явился к своему благодетелю и указал ему,

\* прозвище

что часы не идут, тот ответил: «Не идут? Разве я говорил, что они будут идти? Разве ваши сочинения идут? У меня с вашими сочинениями происходит то же, что у вас с моими часами: они не идут». Такие слова изрек властитель композиторов Мориц Шлезингер, дергая вверх свой галстук и теребя его, точно он стал ему вдруг слишком тесен, как он обычно делает, когда волнуется, ибо, подобно всем великим мужам, он очень легко приходит в возбуждение. Говорят, это злоеющее подергивание и верчение галстука предшествует у него серьезнейшим вспышкам гнева, и бедный старый Дессауэр так смутился, что меланхолия мучила его в тот день больше, чем когда бы то ни было. Благородный покровитель был к нему несправедлив. Не он виноват в том, что песни его не пошли в ход; он делал все возможное, чтобы пустить их в ход; ради этого он все время, с утра до вечера, находится на ногах и бегаёт теперь за всяким, кто мог бы путем газетной рекламы пустить его песни в ход. Словно репейник, цепляется он за сюргук всякого журналиста и постоянно хнычет нам о своей меланхолии и о том, как крошечка похвалы могла бы обрадовать его больную душу. Фельетонистов менее состоятельных, работающих в маленьких газетах, он пытается приманить другими способами, например, рассказывая, как на-днях он в Café de Paris угощал редактора одной газетки завтраком, который обошелся ему в сорок пять фраков десять су, и действительно, в кармане брюк он постоянно носит счет этого завтрака, *carte payante*, чтобы можно было предъявить его в виде доказательства. Да, гневный Шлезингер несправедлив к старому Дессауэру, полагая, будто он испробовал не все средства, чтобы пустить в ход свои сочинения. Ради этой цели бедняга пытался расшевелить не только мужские, но и женские гусиные перья. Он даже разыскал старую отечественную гусыню, которая из жалости написала для него, на самом сентиментально-тошнотворном французском языке, несколько хвалебных реклам и постаралась печатным, так сказать, бальзамом утолить

его меланхолику. Мы тем более должны похвалить почтенную личность, что только чистое человеколюбие, филантропия были замешаны здесь, ибо старый Дессауэр вряд ли способен подкупить женщину красотой своего лица. Мнения об этом лице различны; одни говорят, что оно — рвотное, другие, что оно — слабительное. Достоверно одно, что при виде его я всегда бывал удручен этой роковой дилеммой, и не знаю, какого мнения мне следует держаться. Старый Дессауэр захотел показать здешней публике, что, вопреки толкам, лицо его не самое ужасное на свете. С этой целью он нарочно выписал сюда из Праги младшего брата, и этот прекрасный юноша, подобный Адонису парши, теперь сопровождает его всюду в Париже.

Прости, дорогой читатель, что я занимаю тебя беседой о таких навозных мухах; но их назойливое жужжание может, наконец, даже и самого терпеливого довести до того, что он схватит хлопнушку. А к тому же я хотел здесь показать, каких навозных жуков наши почтенные музыкальные издатели почитают немецкими соловьями, последователями, даже соперниками Шуберта. Популярность Шуберта очень велика в Париже, и его именем злоупотребляют самым бесстыдным образом. Жалчайший песенный хлам появляется здесь под вымышленным именем: Камилл Шуберт, и французы, которые, конечно, не знают, что имя настоящего композитора было Франц, вводят, таким образом, в заблуждение. Бедный Шуберт! А что за тексты подсовываются к этой музыке! Здесь самые любимые песни Шуберта — те, что написаны на слова Генриха Гейне, но тексты переведены так ужасно, что автор был искренно рад, узнав про бессовестность музыкальных издателей, которые умалчивают об истинном авторе и ставят на заглавном листе этих песен имя какого-нибудь бесцветного либреттиста. Может быть, это делалось даже из хитрости, чтобы не напоминать о *droits d'auteur*\*. Здесь, во Фран-

\* авторских правах

ции, эти права предоставляют автору песни, положенной на музыку, половину гонорара. Если бы эта мода была введена в Германии, то некий поэт, чью «Книгу Песен» уже двадцать лет эксплуатируют все немецкие музыкальные издатели, когда-нибудь услышал бы от этих людей, по крайней мере, хоть слово благодарности. — Но из многих сотен его положенных на музыку песен, которые появились в Германии, ему не прислали ни одного бесплатного экземпляра! Пусть бы и для Германии наступил час, когда духовная собственность писателя станет признаваться так же серьезно, как хлопчатобумажная собственность фабриканта ночных колпаков. Но на поэтов у нас смотрят как на соловьев; они бесправны, они действительно вне закона!

Хочу закончить эту статью добрым делом. Как я слышал, господин Шиндлер в Кельне, где он состоит капельмейстером, весьма огорчен тем, что в одной из моих корреспонденций я очень презрительно говорил о его белом галстухе, а насчет его самого утверждал, будто на его визитных карточках к имени прибавлено: *ami de Beethoven*\*. Последнее он отрицает. Что до галстуха, то все сказанное — сущая правда, и я никогда не видал такого страшно белого и накрахмаленного чудовища; но относительно визитной карточки я, из человеколюбия, должен сознаться, что сомневаюсь сам, действительно ли на ней были напечатаны эти слова. Я не выдумал эту историю, но слишком, может быть, услужливо поверил ей, потому что на свете правдоподобие всегда важнее, чем сама правда. Первое свидетельствует о том, что мы считали человека способным на такую глупость, и дает нам мерило его истинных свойств, тогда как действительный факт сам по себе может быть лишь случайностью, лишенной характеризующего значения. Я не видел упомянутой карточки; зато на-днях я собственными телесными

\* друг Бетховена

очами видел визитную карточку плохого итальянского певца, который под своим именем напечатал: *peveu de Mr. Rubini\**.

## LVII

Париж, 5 мая 1843

Настоящая политика живет сейчас уединенно в своем отеле на бульваре Капуцинов. Меж тем злободневными стали вопросы промышленности и искусства, и спорят сейчас о том, чему следует покровительствовать — сахарному тростнику или свекловице; что лучше — предоставить северную железную дорогу частной компании или построить ее целиком на государственные средства; оправится ли классическая поэзия после успеха «Лукреции»; имена, чаще всего повторяемые сейчас, — Ротшильд и Понсар.

Следствие о выборах является маленькой интермедией в палате. Объемистый доклад об этом прискорбном деле содержит весьма удивительные детали. Автор его — некий Ланье, с которым двенадцать лет тому назад я познакомился как с крайне неискусным врачом у его единственного пациента и который с тех пор, ко благу человечества, оставил посох Эскулапа. Как только следствие будет окончено, начнутся прения по сахарному вопросу, причем господин де-Ламартин будет защищать интересы колониальной торговли и французского флота против мелочного духа торговцев. Противники сахарного тростника — или заинтересованные промышленники, которые судят о благе Франции с точки зрения своей лавочки, или же это — старые отжившие бонапартисты, которые с каким-то благоговением соблюдают верность свекловице, любимой идее императора. Старцы эти, умышленно не двигавшиеся с 1814 года, составляют всегда печально-комическую параллель к нашим зарейнским старым германо-

\* племянник г-на Рубини

любам, и подобно тому, как некогда последние бредили только германскими дубами да кофе из жолудей, так первые бредят только gloire\* и свекловичным сахаром. Но время с неудержимой быстротой, на дымящихся паровозах, несется вперед, и мы скоро потеряем из виду изношенных героев прошлого, старых калек, представителей национальной обособленности, инвалидов и неизлечимо больных.

Открытие двух новых железных дорог — Орлеанской и Руанской — вызывает здесь волнение, которое чувствует всякий, если только он не живет в социальном изоляторе. В эту минуту все население Парижа как бы составляет одну цепь, в которой один сообщает другому электрический удар. Но в то время как толпа, смущенная и ошеломленная, смотрит на внешнее проявление великих движущих сил, мыслителем овладевает зловеющий ужас, испытываемый всегда, когда совершается самое невероятное, самое неслыханное, а последствия нельзя ни предвидеть, ни рассчитать. Мы замечаем только, что все наше бытие направлено мощным толчком по новым путям, что нас ожидают новые отношения, радости и нужды, и неведомое очаровывает нас своей жуткой прелестью, маня и вместе с тем пугая. Должно быть, такое чувство испытывали наши отцы, когда была открыта Америка, когда изобретение пороха дало о себе знать первыми выстрелами, когда книгопечатание послало миру первые пробные листы божественного слова. Железные дороги — тоже такое провиденциальное событие, оно дает человечеству новое устройство, оно меняет окраску и формы жизни; начинается новый период всемирной истории, и наше поколение может похвалиться тем, что присутствовало при этом. Какие перемены должны теперь наступить в наших воззрениях и наших представлениях! Поколебались даже основные понятия о времени и пространстве. Железные дороги убивают пространство, и

\* славой

остается еще лишь время. Если б только у нас было достаточно денег, чтобы пристойным образом убивать и время! В четыре с половиной часа доезжаешь теперь до Орлеана, в столько же часов — до Руана. А что будет, когда закончится постройка линий, ведущих в Бельгию и в Германию, и когда они будут соединены с тамошними дорогами! Мне чудится, будто горы и леса всех стран придвинулись в Парижу. Уже я слышу запахи немецких лип; у моих дверей шумит Северное море.

Не только для постройки Северной железной дороги, но также и для сооружения многих других линий образовались большие компании, печатными циркулярами приглашающие публику к участию. Каждая выпускает проспект, и в заголовке его огромными цифрами парадирует капитал, который должен покрыть издержки предприятия. Он обычно составляет пятьдесят, сто, даже несколько сот миллионов франков; по истечении срока, определенного для подписки, прием подписчиков прекратится; говорится также, что в случае, если основной капитал составится ранее этого срока, подписка будет совершенно прекращена. Столь же колоссальными буквами напечатаны вверху этих проспектов имена лиц, образующих *Comité de surveillance* \* компании; это не только имена финансистов, банкиров, *recenseurs-généraux* \*\*, промышленников и фабрикантов, но также имена высоких сановников, принцев, герцогов, маркизов, правда, имена неизвестные большей частью, но столь пышно звучащие благодаря официальным и феодальным титулам, что кажется, будто слышишь трубные звуки, которыми паяц, стоя на балконе балагана, приглашает почтенную публику зайти. *On ne paie qu'en entrant* \*\*\*. Кто бы не поверил такому *Comité de surveillance*, который, однако, отнюдь не обещает гарантии солидарности, как полагают многие, но фигурирует лишь в качестве

\* Комитет надзора

\*\* главных сборщиков налогов

\*\*\* Платят только при входе

кариатиды! Я высказал одному из моих друзей удивление по поводу того, что в числе членов комитета находятся также морские офицеры и что даже на многих циркулярных проспектах в качестве председателей компании названы адмиралы. Так, например, я видел имя адмирала Розамеля, имя, которым названа вся компания и даже ее акции. Мой друг, человек очень смешливый, решил, что это привлечение к участию морских офицеров — весьма умная мера предосторожности со стороны компании на тот случай, если бы она пришла в роковое столкновение с правосудием и суд присяжных приговорил ее к каторге; в этом случае члены компании всегда имели бы при себе какого-нибудь адмирала, что могло бы быть полезно для них в Тулоне или Бресте, где много приходится работать веслами. Мой друг заблуждается. Этим людям нечего бояться, что им придется взяться за весла в Тулоне или Бресте; не весла, а руль, и притом совсем другого рода, выпадет когда-нибудь, или отчасти уже и выпал, им на долю; это руль государственный, которым правящая денежная аристократия с каждым днем овладевает все в большей и в большей мере. Люди эти будут вскоре составлять не только *Comité de surveillance* железнодорожной компании, но также и *Comité de surveillance* всего нашего гражданского общества, и это они будут ссы-  
лать нас в Тулон или Брест.

Дом Ротшильда, который испрашивает концессию на Северную железную дорогу и по всей вероятности ее получит, не есть собственно акционерная компания, и доля в предприятии, которую этот дом предоставляет отдельным лицам, является милостью и даже, выражаясь совершенно точно, денежным подарком, который господин фон-Ротшильд делает своим друзьям. Случайные акции, так называемые промессы дома Ротшильда, стоят уже на несколько сот франков выше паритета, и тот, кто ввиду этого стремится получить у барона Джемса Ротшильда эти акции аль-пари, просит милостыни, в полном смысле слова. Но весь свет сейчас

просит у него милостыни, просительные письма льются дождем, а так как достойный пример подают лица самые знатные, то просить милостыню уже не считается чем-то постыдным. Поэтому господин фон-Ротшильд — герой дня, и вообще в истории нашей теперешней нищеты он играет такую большую роль, что мне придется говорить о нем часто и с возможно большей серьезностью. Он в самом деле замечательная личность. Я не могу судить о его финансовых дарованиях, но, судя по результатам, они должны быть очень велики. Своеобразной способностью является в нем дар наблюдения или инстинкт, которым он умеет, если не оценивать, то выискивать способности других людей в какой угодно сфере. Благодаря этому дару его сравнивали с Людовиком XIV; и действительно, в противоположность своим коллегам, которые любят окружать себя генеральным штабом посредственностей, господин Джемс фон-Ротшильд всегда находится в самом близком общении с знаменитостями любой сферы; даже если сама специальность была ему совершенно незнакома, все же он всегда знал, кто в ней самый главный. Он, быть может, не знает ни одной ноты в музыке, но Россини был у него всегда другом дома; Ари Шеффер — его придворный живописец; Карем был его поваром. Господин фон-Ротшильд, наверно, не знает ни одного слова по-гречески, но ученый, которого он больше всего ценит, — эллинист Летрон. Его лейб-медиком был гениальный Дюпюитрен, и обоих соединяла самая братская симпатия. Господин фон-Ротшильд давно уже понял достоинства Кремье, великого юриста, которому предстоит великая будущность, и нашел в нем верного защитника. Также с самого же начала оценил он и политические способности Луи-Филиппа и всегда был на короткой ноге с этим грессмейстером политики. Эмиля Перейру, этого pontifex maximus\* железных дорог, открыл именно господин фон-Ротшильд: он сразу же сделал его первым

\* верховного жреца



Г. ГЕЙНЕ И ЕГО ЖЕНА  
*С портрета маслом Э.-Б. Кутца 1851 г.*



своим инженером и с его помощью основал Версальскую железную дорогу. Поэзия, как французская, так и немецкая, в лице своих весьма достойных представителей тоже пользуется расположением господина фон-Ротшильда; все же мне кажется, что роль здесь играет только милая любезность и что нашими живыми поэтами господин барон восхищается не так пламенно, как великими мертвецами, например, Гомером, Софоклом, Данте, Сервантесом, Шекспиром, Гете, всё покойными поэтами, просветленными гениями, которые, очистившись от всякой земной грязи, избавлены от житейских бедствий и не требуют акций Северной железной дороги.

Звезда Ротшильда — сейчас в зените своего блеска. Не знаю, может быть, я провинился в недостатке благоговения, назвав господина фон-Ротшильда только звездой. Но он на меня не рассердится за это, как тот, другой, — Людовик XIV, которого однажды разгневал бедный поэт, имевший дерзость сравнить его со звездой — его, который привык, чтоб его называли только солнцем и даже избрал это светило своей официальной эмблемой!

Однако ж, чтобы не промахнуться, я сегодня сравню господина фон-Ротшильда с солнцем; во-первых, это мне ничего не стоит, и к тому же, я действительно имею на это полное право — теперь, когда всякий поклоняется ему, стремясь согреться его золотыми лучами. — Между нами будь сказано, этот *furore* \* поклонения — большая мука для бедного солнца, и нет ему покоя от его поклонников, среди которых многие, право же, недостойны того, чтобы солнце на них светило; эти фарисеи-псалмопевцы громче всех восхваляют и прославляют его, и бедный барон подвергается такой страшной нравственной пытке и таким преследованиям, что невольно пожалеешь его. Вообще я думаю, что деньги для него — скорее несчастье, чем счастье; будь он

\* НЕИСТОВСТВО

менее мягок по природе, ему приходилось бы терпеть меньше неприятностей; но будучи добродушным, кротким человеком, он должен сильно страдать от натиска всей той нищеты, бедствия которой он обязан смягчить, от притязаний, которые постоянно предъявляются к нему, и от неблагодарности, сопровождающей каждое его благодеяние. Быть может, избыток богатства переносить труднее, чем бедность. Всякому, кто терпит большую нужду в деньгах, я советую идти к господину фон-Ротшильду, не для того, чтобы брать у него займы (ибо я сомневаюсь, что тут можно много получить), но чтобы утешиться видом этого денежного страдания. Бедняк, имеющий слишком мало и не знающий, как помочь горю, убедится тут, что есть человек, который еще больше страдает от того, что у него слишком много денег, что все деньги мира стеклись в его космополитический гигантский карман и что он должен таскать с собой такое бремя, меж тем как большая толпа голодных и воров со всех сторон простирает к нему руки. И какие ужасные и опасные руки! — «Какживаете?» — спросил однажды господина барона один немецкий поэт. — «Я с ума схожу», — ответил барон. — «Пока вы не станете бросать деньги за окно, я этому не поверю», — сказал поэт. Но барон, вздохнув, перебил его: «В том ведь и заключается мое сумасшествие, что я иногда не выбрасываю денег за окно».

Как несчастны богатые в здешней жизни, — а ведь после смерти они не могут попасть на небо! «Скорее верблюд пройдет сквозь игольные уши, чем богач внидет в царство небесное» — эти слова божественного коммуниста — страшная анафема, они свидетельствуют о его горькой ненависти к бирже и haute finance \* Иерусалима. Мир полон филантропов, есть общества защиты животных, и для бедных, действительно, делают очень много. Но для богатей, которые гораздо несчастнее, не делается ничего. Вместо того чтобы объявлять

\* высшим финансовым кругам

конкурсы на сочинения о шелководстве, корме для скота и Кантовой философии, наши ученые общества должны были бы назначить большую премию за разрешение вопроса: как продеть верблюда сквозь игольное ушко? Пока не будет разрешен этот великий верблюжий вопрос и у богатых не явится надежда на вход в царство небесное, до тех пор и помощь бедным не будет иметь прочного основания. Богатые были бы менее жестокосерды, если бы они рассчитывали не только на земное счастье и не должны были завидовать бедным, которые некогда будут наслаждаться там, *in floribus*\*, жизнью вечной. Они говорят: «Зачем нам здесь, на земле, стараться ради этого нищего сброда, если некогда ему будет житья лучше, чем нам, и если мы, во всяком случае, не встретимся с ним после смерти?» Если бы богатые знали, что там, наверху, им снова придется жить с нами вместе, то, конечно, они здесь, на земле, немножко постеснялись бы и избегали бы слишком плохо обращаться с нами. Поэтому дайте нам прежде всего разрешить великий верблюжий вопрос. Богатые жестокосерды, это правда. Жестокосерды они даже в отношении к своим прежним коллегам, пришедшим в упадок. Недавно я тут встретил бедного Августа Лео, и сердце мое облилось кровью при виде этого человека, который прежде находился в таких близких отношениях с главами биржи, с аристократией спекулянтов и даже сам был банкиром. Но скажите мне, вы, могущественные господа, что заставило вас с таким позором вытолкнуть из общины бедного Лео? Я имею в виду общину не иудейскую, а финансовую. Да, с некоторых пор этот несчастный впал в такую немилость у своих сотоварищей, что его, как прокаженного, отстраняют от всех порядочных предприятий, то есть всех предприятий, где можно порядочно заработать. От последнего займа ему тоже ничего не досталось, а от участия в новых железно-

\* в расцвете

дорожных предприятиях он должен был совершенно отказаться, с тех пор как на Версальской дороге *give gauche* он потерпел столь плачевное поражение и ввел своих компаньонов в такие страшные убытки. Никто теперь не хочет и знать о нем, все отталкивают его, и даже его единственный друг (который, замечу кстати, всегда терпеть его не мог), даже его Ионафан, маклер Лойзедорф, покинул его и неустанно бегаёт теперь за бароном Мекленбургом и чуть ли не ползает под полой его сюртука. — Замечу также мимоходом, что помянутый барон Мекленбург, один из наших ревностнейших спекулянтов и промышленников, стнюдь не еврей, как обычно полагают вследствие того, что смешивают его с Авраамом Мекленбургом, или оттого, что видят его в кругу сильных из рода Израилева, среди биржевого сброда, который собирается вокруг него, так как очень его любит. Эти люди, как видим, вовсе не религиозные фанатики, и их негодование на бедного Лео нельзя, следовательно, приписать религиозной нетерпимости; они не сердятся на него за отступничество от прекрасной иудейской веры, и только с состраданием пожимали плечами, видя, как плохи религиозно-финансовые дела бедного Лео, который исправляет теперь должность старосты в протестантской церкви на *Rue des billettes*, — должность, конечно, очень важную и почетную, но ведь такой человек, как Август Лео, и в синагоге достиг бы со временем больших почестей; быть может, при совершении обряда обрезания его руками доверяли бы дитя, которому срезают «крайнюю плоть», или ножичек, которым пользуются для этого; или же при чтении Торы стали бы осыпать его драгоценнейшими украшениями; или даже, ввиду его музыкальности и особой склонности к церковной музыке, ему, пожалуй, в еврейский Новый год выпадало бы на долю трубить в шофару, священный рог. Нет, он не жертва религиозного или нравственного возмущения упрямых фарисеев, не в сердечных недостатках обвиняют бедного Лео, но в арифметических ошибках, а утрату миллионов не

прощает и христианин. Но сжальтесь же, наконец, над бедным неудачником, над павшим величием, будьте снова милостивы к нему, позвольте ему снова участвовать в хорошем деле, дайте ему снова маленький барыш, который уладит бы его разбитое сердце, date obolum Belisario, — дайте обол Велизарию, который, правда, не был великим полководцем, а был слепцом, и ни разу не дал обола нуждающемуся!

Есть и патриотические причины, заставляющие желать сохранения бедного Лео. Оскорбленное самолюбие и крупные убытки, как я слышу, побуждают этого, некогда столь состоятельного человека, оставить очень дорогой Париж и удалиться в деревню, где он сможет, как Цинцинат, питаться капустой, взрошенной им самим, или, как некогда Навуходоносor, пастись на собственных лугах. А это было бы большой потерей для немцев-земляков. Потому что все немецкие путешественники второго и третьего класса, прибывавшие к нам в Париж, находили в доме господина Лео радужный прием, и те из них, которым становилось не по себе в морозном мире французов, могли укрыть в этом доме свое немецкое сердце и в общении с единомышленными душами чувствовать себя, как на родине. В холодные зимние вечера они находили здесь чашку теплого чая, приготовленного несколько гомеопатическим способом, но не совсем без сахара. Здесь они видели господина фон-Гумбольдта — *in effigie*\*: Он висел на стене в качестве приманки. Здесь они видели Назенштерна в натуре. Здесь можно было встретить и одну немецкую графиню. Сюда являлись и знатнейшие дипломаты из всяких захолустных углов со своими угловатыми супругами. Порой здесь можно было слышать весьма превосходных пианистов и скрипачей, рекомендованных дому Лео продавцами человеческих душ и позволявших эксплуатировать на этих вечерах свои музыкальные таланты. Немца приветствовали здесь

\* в изображении

сладостные звуки языка матерей, даже бабушек. Дialect гамбургского Дреквалля отличался здесь наибольшей чистотой произношения, и у того, кто внимал этим классическим звукам, на душе становилось так, как будто он вновь слышит запах переулочков Менкедамма. Если же еще пелась и «Аделаида» Бетховена, то лились сентиментальнейшие слезы! Да, этот дом был оазис, оазис-клоазис немецкой душевности в песчаной пустыне французского разума; он был скинией интимнейших сплетен, где судачили, как на берегах Майна, где стоял трезвон, как в стенах священного града Кельна, и где к отечественным сплетням давали иногда в придачу, ради освежения, стакан пива... Немецкое сердце, чего же тебе еще надо? Было бы страх как обидно, если б закрылась эта лавочка сплетен.

## LVIII

Париж, 6 мая 1843

Драгоценное время тратится легкомысленно. Я говорю: драгоценное время, и подразумеваю годы мира, которые гарантирует нам царствование Луи-Филиппа. Жизнь его — нить, на которой висит спокойствие Франции, а человек этот стар, и ножницы Парки немолимы. Вместо того, чтобы пользоваться этим временем и распутывать клубок внутренних и внешних недоразумений, стараются еще усилить затруднения и путаницу. Всюду — разрушающая комедия и закулисные интриги. По вине этой мелочности Франция, действительно, может оказаться на краю бездны. Флюгера полагаются на свой знаменитый дар разностороннего движения; они не боятся самых злых бурь, так как всегда умели поворачиваться в ту сторону, куда дует ветер. Да, ветер не может вас сломить, потому что вы еще подвижнее ветра. Но вы забываете, что, несмотря на эту ветряную переменчивость, вы все же самым жалким образом свалитесь с вашей вышины,

когда рухнет башня, на вершине которой вы стоите! Упасть вам придется вместе с Францией, а башня эта уже подкопана, и на севере живут очень злобные творцы непогоды. Сейчас шаманы с берегов Невы не находятся в экстазе заклинания бурь. Но здесь все зависит от прихоти, от неограниченной прихоти самодержавного произвола. Со смертью Луи-Филиппа, как я сказал, исчезнет всякая гарантия мира; этот великий чародей сковывает бури своей терпеливой рассудительностью. Кто хочет мирно спать, должен в молитве на сон грядущий поручать короля Франции всем ангелам-хранителям жизни.

Гизо продержится еще некоторое время, чего, конечно, следует желать, так как министерский кризис связан всегда с непредвиденными бедами. Смена министра у непостоянных французов служит, быть может, суррогатом периодических перемен династии. Но эти перемены в личном составе высших государственных чинов, тем не менее, несчастье для страны, которая, больше чем всякая другая, нуждается в равновесии. Вследствие непрочности своего положения министры не могут пускаться в осуществление обширных планов, и все их силы поглощает только жажда самосохранения. Их величайшее несчастье — не столько зависимость от королевской воли, которая большей частью благоразумна и благотворна, сколько зависимость от так называемых консерваторов, этих конституционных янычар, которые по своей прихоти назначают и смещают здесь министров. Если министр возбудил их немилость, они собираются в своих парламентских ортах и начинают колотить по своим кастрюлям. Впрочем, немилость этих людей, в самом деле, вызывается обычно супно-кастрюльными интересами: именно они и правят Францией, и ни один министр не смеет отказать им в чем бы то ни было, — ни в должности, ни в льготе, ни в месте консула для старшего сына зятя одного из этих господ, ни в привилегии на табачную торговлю вдове их швейцара. Неправильно рассуждает тот, кто говорит о господстве буржуазии вообще, —

следовало бы говорить только о господстве консервативных депутатов; они-то и эксплуатируют нынешнюю Францию в своих частных интересах, как некогда родовое дворянство. От консервативной партии оно отнюдь не отграничено резкой чертой, и не одно древнее имя встречается нам среди сегодняшних парламентских властителей. Но название «консерватор» тоже, собственно, не служит правильным обозначением, так как, разумеется, далеко не все те, которых мы называем этим именем, заботятся о сохранении существующего политического строя, и многие из них очень хотели бы немножко поколебать его, подобно тому, как среди оппозиции есть много лиц, ни за что на свете не желающих падения существующего строя и полных смертельного страха перед войной. Большинство этих деятелей оппозиции хочет только одного — добиться власти для своей партии, чтобы так же, как консерваторы, в личных интересах эксплуатировать власть. И с той и с другой стороны принципы являются только лозунгами без всякого значения; в сущности, дело идет здесь лишь о том, которая из этих двух сторон приобретет материальные выгоды господства. В этом смысле мы имеем здесь такую же борьбу, какая по ту сторону пролива тянется уже два века и называется борьбой вигов с ториями.

Английская конституционная форма правления явилась, как всем известно, великим образцом, послужившим для образования теперешнего парламентского строя во Франции; в особенности доктринеры, доходившие до педантизма, старались подражать этому образцу. Не лишено правдоподобия предположение, что слишком большая уступчивость, позволяющая нынешнему министерству выносить захваты консерваторов и подвергаться эксплуатации с их стороны, в конечном итоге коренится в ученой основательности, которая точнейшим образом может быть засвидетельствована богатым запасом знаний, приобретенных большим трудом. Господин профессор от 29 октября, которого

оппозиция именует этой датой, лучше всякого другого знаком с механизмом английской государственной машины. И если он полагает, что и по эту сторону пролива подобная машина может действовать лишь с помощью тех безнравственных средств, в применении которых Вальполь явился таким мастером, да и Роберт Пиль тоже не был дурак, то, конечно, этот взгляд весьма заслуживает сожаления, но мы не можем его опровергнуть с достаточной научностью и достаточным знанием истории. Мы должны сказать, что сама машина никуда не годится; но если на это утверждение у нас не хватает храбрости, то мы не можем подвергать слишком суровой критике управляющего ею машиниста. Да и к чему, в конце концов, была бы эта критика? Что пользы корить в Аугсбурге, когда грешат на Сене? Оппозиция иностранца в иностранных газетах была бы родомонтадой столь же неприличной, сколь и глупой, когда речь идет о несовершенствах внутреннего управления Франции. Не внутреннюю деятельность администрации, а только те политические факты, которые могут иметь влияние на наше собственное отечество, — вот что должен обсуждать корреспондент. Поэтому я не стану ни подвергать рассмотрению, ни оправдывать современную испорченность, систему подкупов, которая моим немецким коллегам служит для заполнения стольких газетных столбцов. Какое нам дело, кто во Франции прокрадывается тайком к самым лучшим местам, к самым жирным синекурам, к самым пышным орденам, или же силой завладевает ими? Что нам за дело, кто засовывает в свой карман золотые кишки бюджета, — мошенник левый или мошенник правый? Наше дело — заботиться только о том, чтобы в собственном нашем отечестве, в тех случаях, когда надо будет защищать интересы немецкого народа и подавать голос, наши отечественные тори или виги не могли подкупить нас никакими должностями, никакими титулами, никакими ленточками. С какой стати нам так громко вопить теперь по поводу сучка, замеченного во французском

глазе, когда мы вовсе не смеем или только втихомолку решаемся высказываться о бревнах в голубых глазах наших немецких властей? Да и кто может судить в Германии, достоин ли француз места и почести, предложенных ему французским министерством, или же недостоин? Охота за должностями не прекратится и в случае прихода министерства Тьера или Барро после падения Гизо. Даже если у власти станут республиканцы, испорченность не исчезнет, — она будет являться под покровом лицемерия, тогда как теперь она показывается без румян, почти с наивным цинизмом. Лучшие блюда партия всегда будет ставить перед людьми партии. Ужасающее, жуткое зрелище представилось бы нам, конечно, в тот час, «когда сломится порок, а добродетель сядет за стол»! С какой волчьей жадностью бедные голодные страдалцы добродетели накинута после долгого поста на вкусные кушанья! Сколько Катонов расстроит себе тут желудок! Горе изменникам, которые ели досыта, которые даже ели рябчиков и трюфели и пили шампанское в наши развращенные годы, годы продажности, испорченности, годы Гизо!

Я не стану исследовать, каковы свойства этой так называемой испорченности министерства Гизо и каким обвинениям подвергается она со стороны тех, чьи интересы задеты. Если действительно великий пуританин, в целях самосохранения, принужден был прибегнуть к английской системе подкупов, то, конечно, он весьма достоин сожаления; весталка, которой пришлось бы стать во главе *maison de tolérance\**, конечно, оказалась бы в положении не более неловком. Быть может, его самого подкупает мысль, что от его сохранения зависит дальнейшее существование всего общественного строя Франции. Крушение этого строя представляется ему началом всевозможных ужасов. Гизо — человек размеренного прогресса, и ему кажется, что дорогим, кровно дорогим приобретениям революции

\* дома терпимости

сейчас больше, чем когда бы то ни было, угрожает мрачно надвигающийся мировой ураган. Он как бы хочет выиграть время, чтоб успеть унести под крышу сжатые снопы. Действительно, продление этого мирного периода, когда можно собирать созревшие плоды, — наша первая потребность. Семена либеральных принципов взошли только абстрактно, и им сперва надо будет спокойно врасти в самую конкретно-узловатую действительность. Свобода, которая доселе лишь здесь и там воплощалась в человека, должна перейти и в массы, в низшие слои общества, и стать народом. Это становление свободы, претворяющейся в народ, этот таинственный процесс, который, подобно всякому рождению, всякому плоду, требует, как необходимого условия, времени и спокойствия, не менее важен, конечно, чем то провозглашение принципов, которым занимались наши предшественники. Слово становится плотью, а плоть истекает кровью. У нас меньше работы, но больше страданий, чем у наших предшественников, которые полагали, что всему наступит благополучный конец, когда священные законы свободы и равенства будут торжественно возведены и освящены на полях сотен битв. Ах! И теперь еще во власти досадного заблуждения находится столько революционеров, возмущающих, будто все дело в том, чтобы от пурпурной мантии правительственной власти оторвать больший или меньший кусок свободы: они довольны, когда указ, провозглашающий какой-нибудь демократический закон, является отпечатанным черным по белому в «Moniteur». Помнится мне, что однажды, двенадцать лет тому назад, когда я посетил старика Лафайета, он на прощание сунул мне в руку какую-то бумагу и при этом имел убежденный вид доктора-чудодея, подающего нам эликсир от всевозможных болезней. То была известная «Декларация прав человека», которую старик, шестьдесят лет тому назад, привез с собой из Америки и на которую он все еще смотрел, как на панацею, способную радикально исцелить весь мир. Нет, боль-

ному нельзя помочь одним лишь рецептом, хотя он и необходим: нужны еще приготовления аптекаря, заботы сиделки, нужно спокойствие, нужно время.

### РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

(Август 1854)

В то время когда я, быть может, с чрезмерно созерцательным равнодушием, но во всяком случае добросовестно, без всякого лицемерно-добродетельного брюзжания, писал в предшествующей статье о так называемой испорченности министерства Гизо, мне, право, не приходило в голову, что через пять лет после того меня самого обвинят, как соучастника в этой порче. Время было выбрано очень удачно, и клевете представлялось свободное поле действий в тот февральский период бури и натиска, когда все политические страсти, внезапно сорвавшись с цепи, пустились в неистовую пляску св. Витта. Всюду царил такое ослепление, какое могло быть только у ведьм на Блоксберге или у якобинцев в самые жестокие дни террора. Опять появилось бесчисленное множество клубов, в которых грязнейшие уста оплевывали безупречнейшие репутации, стены всех зданий были замараны ругательствами, доносами, мятежными речами, угрозами, клеветой в стихах и прозе — грязной литературой поджигателей. Даже Бланки, — этот воплощенный терроризм и самый славный человек на свете, — подвергся обвинениям в самом низком предательстве и сообщничестве с полицией. Честные люди уже не защищались. У кого был красивый плащ, тот закрывал им свое лицо. Во время первой революции именем Питта пятнали лучших патриотов как продажных изменников: на Дантона, Робеспьера, даже Марата доносили, что они подкуплены Питтом. Питта Февральской революции звали Гизо, и имя Гизо подавало повод к смехотворнейшим подозрениям. Стоило только возбудить зависть какого-нибудь из тех героев дня, которые умом были слабы, но долго просидели

в Сен-Пелажи или в Мон-Сен-Мишель, и уже вы могли рассчитывать, что в его клубе вас обвинят, как сообщника Гизо, как наемника, купленного его системой. Гильотины, с помощью которой отрубают головы, не было в то время, но была изобретена «гизотина», с помощью которой нам отсекали честь. Имя автора этих страниц тоже не избегло клеветы того безумного времени, и один из корреспондентов «Всеобщей Газеты» не постыдился в анонимной статье написать о недостойнейшей сделке, по которой я, за большую сумму, продал мою литературную деятельность правительственным интересам министерства Гизо.

Я воздерживаюсь от всякого освещения личности этого грозного обвинителя, чью угрюмую добродетель столь возмутила царящая испорченность; с этого мужественного рыцаря я не стану срывать забрала его анонимности и лишь мимоходом замечу, что он — не немец, а итальянец, воспитанный в иезуитских школах, оставшийся верным своему воспитанию и занимающий теперь местечко при австрийском посольстве в Париже. Я человек терпимый и предоставляю каждому заниматься своим ремеслом; не все мы можем быть честными людьми, надо, чтоб на свете были люди всякого сорта, и если я позволяю себе здесь упрек, то он относится только к тому рафинированному коварству, с которым мой ультрамонтанский Брут сослался на авторитет французской газетки, служившей злободневным страстям, не чуждой всяких искажений и ложных толкований, но собственно в отношении ко мне не провинившейся ни одним словом, которое могло бы оправдать вышеупомянутый упрек. Как могло случиться, что вообще столь осторожная аугсбургская «Всеобщая Газета» стала жертвой подобной мистификации, — это я укажу впоследствии. Здесь я удовольствуюсь тем, что отошлю к аугсбургской «Всеобщей Газете» от 23 мая 1848 (экстренное приложение), где я вполне откровенно высказался о милой инсинуации, не оставив места ни малейшей двумысленности. Я подавил в себе всякое стыдливое

чувство тщеславия и публично, во «Всеобщей Газете», сделал грустное признание, что и меня, наконец, постигла страшная болезнь изгнания — бедность и что я также должен был прибегнуть к «великой милостыне, раздаваемой французским народом стольким тысячам чужеземцев, которые более или менее доблестно скомпрометировали себя на родине рвением к делу революции и нашли пристанище у гостеприимного очага Франции».

Это были мои подлинные слова, сказанные в упомянутом заявлении; я назвал вещь ее прискорбнейшим именем. Хотя я мог, конечно, указать, что пособие, назначенное мне в качестве «allocation annuelle d'une pension de secours»\*, можно было также отнести за счет высокого уважения к моей литературной репутации, как мне и было указано с самой нежной любезностью, все же я безусловно приписал эту пенсию национальному великодушию, политической братской любви, сказавшейся здесь с трогательной красотой, присущей лишь евангельскому милосердию. Среди моих коллег по изгнанию были надменные личности, которые всякую поддержку называли только субсидией, нищенски гордые рыцари, ненавидевшие всякое обязательство, называвшие это займом и говорившие, что впоследствии с лихвой вернут его французам, — я же смирился перед необходимостью и назвал вещь ее настоящим именем. В упомянутом заявлении я прибавил: «Я принял вспомоществование вскоре после того, как появились прискорбные декреты Союзного сейма, целью которых было — меня, как предводителя некоей так называемой Молодой Германии, погубить и в финансовом отношении, ибо они налагали запрет не только на изданные уже книги, но и на все, что впоследствии должно было выйти из-под моего пера, и таким образом лишали меня моей собственности и источников дохода, без суда и права».

Да, «без суда и права». Думаю, что имею полное право так определить этот поступок, неслыханный

\* ежегодное пособие, пенсия

в летописях нелепого насилия. Декрет моего отечественного правительства подвергал запрету не только все сочинения, уже написанные, но и все будущие, мой мозг подвергался конфискации, и у моего бедного, ни в чем неповинного желудка этот запрет должен был отнять все средства к существованию. Вместе с тем хотели, чтобы имя мое было совершенно истреблено в памяти людей, и всем цензорам в моем отечестве дано было строгое предписание — вычеркивать как в газетах, так и в брошюрах и книгах, всякое место, где речь будет идти обо мне, независимо от того, благосклонно или неодобрительно. Близорукие безумцы! Эти решения и предписания были бессильны по отношению к писателю, чьи духовные интересы выходили победителями из всех преследований, хотя его земные финансы и были разрушены весьма основательно. Но с голоду я не умер, хотя бледноликая забота достаточно мучила меня в то время. Жизнь в Париже так дорога, особенно для человека неженатого и бездетного! Дети, эти милые маленькие куклы, дают занятие мужу и в особенности жене, и поэтому вне дома им нечего искать развлечений, которые здесь так дороги. А ведь я никогда не учился искусству кормить голодных одними словами, и к тому же природа дала мне столь зажиточную наружность, что никто и не поверил бы моей бедности. Бедняки, которым я до тех пор щедро помогал, смеялись, когда я говорил, что в будущем мне самому придется голодать. Разве я не был родственником всевозможных миллионеров? Разве генералиссимус всех миллионеров, разве этот миллионериссимус не называл меня своим другом — своим другом? Мне никогда не удавалось растолковать моим клиентам, что великий миллионериссимус потому-то и называет меня своим другом, что мне от него не нужно денег; если б я потребовал у него денег, дружбе, конечно, сразу пришел бы конец! Ведь миновали времена Давида и Ионафана, Ореста и Пилада. Мои бедные, нуждающиеся в помощи дураки думали, что от богатого легко получить что бы

то ни было. Они не видели, подобно мне, какими страшными замками и крюками защищены их большие денежные сундуки. Только у людей, которые сами мало что имеют, можно всегда что-нибудь занять, потому, во-первых, что сундуки их не железные, а во-вторых, им хочется казаться богаче, чем они есть на самом деле.

Да, к моим странным бедам присоединилось и то обстоятельство, что никто никогда не хотел верить моим собственным денежным невзгодам. Правда, в Великой хартии, которую, как повествует Сервантес, бог Аполлон даровал поэтам, первый параграф гласит: «Если поэт уверяет, что у него нет денег, надо верить ему на слово и не требовать клятвы». Ах! Я тщетно ссылался на эту привилегию моего поэтического сословия. Клевете поэтому легко было действовать, когда причины, побудившие меня принять вышеупомянутую пенсию, она приписала не самым естественным потребностям и нуждам. Помню, как в то время многие из моих соотечественников, в том числе самый решительный и умный среди них, доктор Маркс, приходили ко мне, чтобы выразить свое негодование по поводу клеветнической статьи во «Всеобщей Газете», советуя не отвечать на нее ни единым словом, ибо они уже сами заявили в немецких газетах, что я, конечно, принял пенсию только с той целью, чтобы быть в состоянии деятельнее помогать моим более бедным товарищам по партии. Это говорили мне как бывший издатель «Новой Рейнской Газеты», так и друзья, составлявшие его генеральный штаб; я, однако, поблагодарил за нежное участие и уверил этих друзей, что они ошиблись, что я и сам прекрасно могу воспользоваться этой пенсией и что на злостную анонимную статью «Всеобщей Газеты» мне надо отвечать не через посредство моих друзей, но лично от себя, за собственной подписью.

Упомяну еще по этому поводу, что редакция французской газетки «Revue Rétrospective», на которую сослался корреспондент «Всеобщей Газеты», хотела

в решительном опровержении высказать свое негодование против этой ссылки; впрочем, это было бы совершенно излишне, так как, бросив самый беглый взгляд на эту французскую газету, можно было достаточно убедиться в том, что она совершенно неповинна в каком бы то ни было поругании моего имени; но бытие этой газеты, выпускавшейся в неопределенные сроки, было очень эфемерно, и безумный современный водоворот поглотил ее, прежде чем она успела напечатать предполагавшееся опровержение. Редактор en chef\* этой ретроспективной *Revue* был книгопродавец Полен, дельный и честный человек, который в течение двадцати лет постоянно проявлял ко мне большое участие и был всегда очень услужлив; деловые отношения и то обстоятельство, что у нас были близкие общие друзья, научили нас ценить и уважать друг друга. Полен был компаньоном моего друга Дюбоше, он любит, как брата, моего достославного друга Минье и боготворит Тьера, который, между нами будь сказано, втайне покровительствовал «*Revue Rétrospective*»; во всяком случае, ее основали и ею руководили лица из его партии, а лицам этим, конечно, не могло притти в голову позорить человека, которого, как это было известно им, их покровитель удостаивал особенной любви.

Редакция «Всеобщей Газеты» ни в каком случае не была знакома с этой французской газетой, пока не напечатала милую статью о подкупах. Действительно, самый беглый взгляд открыл бы ей коварные ухищрения ее корреспондента. Они состояли в том, что автор обвинил меня в солидарности с лицами, которых от меня отделяло такое же расстояние, как честерский сыр от луны, и столь же похожими на меня. Дабы доказать, что министерство Гизо осуществляло свою систему подкупов не только раздачей должностей, но и путем денежных вспомоществований, помянутая французская «*Revue*» напечатала бюджет департамента, которым упра-

\* Т. е. главный редактор

влял Гизо, напечатала его приход и расход, и тут мы, в самом деле, увидели, что огромнейшие суммы ассигновывались каждый год на секретные расходы, и обвиняющая газета угрожала назвать в дальнейших номерах имена лиц, в кошельки которых перешли эти сокровища. Вследствие внезапного прекращения газеты эта угроза не была осуществлена, о чем мы очень сожалеем, ибо каждый мог бы тогда убедиться, что я никогда не имел доли в этих тайных щедротах, исходивших непосредственно от министра или его секретаря и являвшихся наградой за определенные услуги. От этих, так называемых *bons du ministre\**, действительного секретного фонда, весьма следует отличать пенсии, которые министр уже заранее находит в своем бюджете в пользу известных лиц, которым определенные суммы назначены в виде ежегодного пособия. Ретроспективная газетка поступила очень невеликодушно, скажу даже — очень не по-французски, ибо, указав зараз все расходы по содержанию посольств, она также напечатала имена лиц, пользовавшихся пенсиями, а это тем более достойно порицания, что здесь оказались не только обедневшие аристократы, но и знатные дамы, скрывавшие под кое-какой мишурой свое падшее величие и теперь с болью увидевшие разоблачение своей благородной нищеты. Немец, руководимый более нежным тактом, не последует невежливому примеру французов, и мы умалчиваем здесь имена высокородных и сиятельных дам, отмеченные в списке пенсионного фонда департамента Гизо. В числе мужчин, названных в том же списке с обозначением ежегодной суммы вспомоществования, мы встретили изгнанников из всех стран мира, беглецов из Греции и Сан-Доминго, Армении и Болгарии, Испании и Польши, громкие имена баронов, графов, князей, генералов и экс-министров, священников даже, являющихся как бы аристократией бедности, меж тем как в пенсионных списках других департаментов парадиро-

\* записок министра на право получения денег

вали бедняки менее блистательные. Немецкому поэту можно было бы не стыдиться своих товарищей, он оказался в обществе знаменитостей дарования и несчастья, судьба которых — потрясающа. Рядом с моим именем в этом пенсионном списке под той же рубрикой и в той же категории я увидел имя человека, правившего некогда царством более великим, чем монархия Агасфера, который был царем более ста двадцати семи стран от Гауда до Куша, от Индии до мавров; то был Годой, *prince de la paix* \*, неограниченный любимец Фердинанда VII и его супруги, влюбившейся в нос Годоя; никогда не видел я более обширного, более курфюрстского пурпурного носа, и наполнение его нюхательным табаком, вероятно, обходилось бедному Годою дороже того, что он получал ежегодно от французского правительства. Другое имя, которое я увидел рядом с моим и которое наполнило мою душу умилением и почтением, было имя моего друга и товарища по судьбе, столь же славного, сколь и несчастного, Огюстена Тьерри, величайшего историка нашего времени. Но вместо того, чтобы назвать мое имя рядом с именами таких достойных людей, честный корреспондент «Всеобщей Газеты» сумел из этих бюджетных списков, где, правда, значились также и дипломатические агенты, получавшие пенсию, выкопать два имени, принадлежавшие двум соотечественникам-немцам, которые, конечно, были лучше своей репутации, но, во всяком случае, будучи названы вместе со мною, должны были повредить моему имени. Один из них был немецкий ученый из Геттингена, советник посольства, который искони был козлом отпущения либеральной партии и, благодаря своей подчеркнутой дипломатической скрытности, обладал талантом — казаться самым дурным человеком. Наделенный сокровищницей познаний и железным усердием, он был очень полезным работником во многих кабинетах и работал впоследствии также и в канцелярии Гизо, дававшего

\* князь мира

ему разные поручения, и этими услугами объясняется его пенсия, очень умеренная. Положение другого соотечественника, имя которого честный корреспондент, бичевавший подкупы, поставил рядом с моим, было так же непохоже на мое, как и положение первого; это был шваб, до тех пор живший в Штутгарте безупречным мещанином, но теперь явившийся в неприятно-двусмысленном свете, ибо оказалось, что в бюджете Гизо ему ассигнована была пенсия почти таких же размеров, как годовое содержание, которое получал из той же кассы полковник Густавсон, экс-король шведский; она даже в три или четыре раза превышала пенсии, выдававшиеся, по тому же бюджету Гизо, барону Экштейну и господину Капфигу, которые, кстати сказать, с незапамятных времен являются корреспондентами «Всеобщей Газеты». Действительно, баснословно крупную пенсию шваба нельзя было объяснить особыми заслугами; жил он не в Париже, не на положении преследуемого, но, как сказано, в Штутгарте, в качестве тихого верноподданного короля Вюртембергского; он не был великий писатель, он не был ни светилом науки, ни знаменитым государственным деятелем, ни героем искусства, он вообще не был героем, а напротив, был очень невоинствен, и когда ему однажды случилось оскорбить редакцию «Всеобщей Газеты» и редакция эта с места в карьер прискакала из Аугсбурга в Штутгарт, чтобы вызвать его на дуэль, этот добрый шваб не пожелал пролить братскую кровь (ибо редакция «Всеобщей Газеты» родом из Швабии) и отклонил дуэль по совсем особой гигиенической причине: он не переносит свинцовых пуль, и желудок его привык только к печеным шалетовым пулям и швабским клеткам.

Корсиканцы, североамериканские индейцы и швабы не прощают никогда, и на эту швабскую вендетту рассчитывал питомец иезуитов, посылая во «Всеобщую Газету» свою продажную статью о продажности, а редакция газеты не преминула напечатать прямо с пыла парижскую корреспонденцию, по вине которой доброе

имя незастреленного земляка-шваба давало повод к самым жутким и постыдным предположениям и догадкам. Редакция «Всеобщей Газеты» могла принятием этой статьи тем блистательнее доказать свое беспристрастие, что в ней один из дружественных ей корреспондентов поставлен был не в более благоприятное положение. Не знаю, думала ли редакция, что оказывает мне услугу, печатая постыдные, но совершенно необоснованные обвинения; ведь она тем самым предоставляла мне возможность выступить с решительной декларацией против недостойных пересудов, против всякой ползущей в тумане инсинуации; как бы то ни было, редакция «Всеобщей Газеты» напечатала присланную статью о продажности, но снабдила ее примечанием, в котором по поводу моей пенсии сказала, что «я ни в каком случае не мог получить ее за то, что писал, а только за то, чего не писал».

Ах, это спасительное для чести примечание, благонамеренное, конечно, но оказавшееся очень неудачным вследствие своей слишком остроумной редакции, было настоящим *ravé*\* — так называют французские журналисты на своем особом языке всякую неловкую защиту, которая насмерть убивает защищаемого, подобная медведю в басне, который, пожелав согнать навозную муху со лба спящего приятеля, пустил в него камнем и раздробил мозг своего *protégé* \*\*.

Аугсбургский *ravé* должен был ранить меня больше, чем парижская корреспонденция жалкой навозной мухи, и в объяснении, которое я напечатал тогда во «Всеобщей Газете», по этому поводу сказано следующее: «Редакция «Всеобщей Газеты» снабдила эту корреспонденцию примечанием, где она склоняется к мнению, что я, вероятно, получаю пенсию не за то, что писал, а за то, чего не писал». Редакция «Всеобщей Газеты», которая, не столько на основании моих статей, напе-

\* булыжник

\*\* покровительствуемого.

чатанных ею в продолжение двадцати лет, сколько по тем местам в них, которых она не напечатала, имела полную возможность заметить, что я — не из тех раболопных писателей, которые берут плату за свое молчание, — эта редакция могла бы, конечно, избавить меня от своей *levis nota*» \*.

Время, место и обстоятельства не позволили мне тогда дать более подробные объяснения, но теперь, когда исчезли все препятствия, я могу доказать с еще большей фактической точностью, что не получал денег от министерства Гизо ни за то, что писал, ни за то, чего не писал. Для людей, покончивших счеты с жизнью, такие ретроспективные оправдания представляют странно печальную прелесть, и я отдаюсь ей с мечтательной негой. На душе у меня так, словно я давно умершему даю смиренное удовлетворение; во всяком случае, здесь вполне уместны будут следующие разъяснения по поводу французских дел времен министерства Гизо.

Министерство 29 ноября 1840 следовало бы собственно называть не министерством Гизо, а скорее уж министерством Сульта, так как последний был председателем совета министров. Но Султ был только его номинальным главою, примерно так, как каждый король Ганноверский всегда бывает облечен титулом ректора университета *Georgiae Augstae*, меж тем как настоящая ректорская власть принадлежит его высокопревосходительству геттингенскому проректору. Несмотря на официальное полномочие Сульта, о нем никогда не было речи; лишь иногда либеральные газеты, если они бывали довольны им, называли его тулузским победителем; если же ему случалось возбудить их неудовольствие, они издевались над ним и упорно утверждали, что при Тулузе он не одержал победы. Говорилось только о Гизо, и долгое время его популярность стояла в зените с точки зрения буржуазии, на которую нагнала страху воинственность его предше-

\* легкого пятна.

ственника; само собою разумеется, что по ту сторону Рейна преемник Тьера возбудил еще большие симпатии. Мы, немцы, не могли простить Тьеру того, что он барабанным боем прервал наш сон, наш сладкий, растительный сон, и мы протирали себе глаза и восклицали: «Да здравствует Гизо!» Ученые с особым усердием восхваляли Гизо в пиндарических гимнах, где с точностью была воспроизведена даже просодия, древняя мера стиха, и один немецкий профессор филологии, бывший здесь проездом, уверял меня, что Гизо столь же велик, как Тирш. Да, столь же велик, как мой милый, гуманный друг Тирш, автор лучшей греческой грамматики! Так же восторгалась Гизо немецкая пресса, и не только кроткие газеты, но и ярые. Помню, еще перед самым падением знаменитого любимца немцев, в одной из радикальнейших немецких газет, в «Шпейерской газете», я нашел апологию Гизо, принадлежавшую перу одного из тех тираноедов, томагавк и нож которых никогда не знали милосердия. Во «Всеобщей Газете» восторженное отношение к Гизо представлено было двумя моими коллегами, из коих один был отмечен печатью Венеры, а эмблемой другого была стрела: первый воскурял фимиам с благоговением жреца, а второй даже в состоянии экстаза сохранял свою сладость и манерность; оба не изменили себе до катастрофы.

Что касается меня, то с тех пор как я начал серьезно заниматься французской литературой, я всегда понимал и высоко ценил огромные заслуги Гизо, и мои сочинения свидетельствуют о моем давнем уважении к этому всемирно знаменитому человеку. Я больше любил его соперника, Тьера, но любил только его личность, а не направление ума, до такой степени ограничено национальное, что Тьера почти можно было бы назвать французским старогерманцем, тогда как космополитические взгляды Гизо были ближе моему собственному образу мыслей. В первом мне были дороги, быть может, многие недостатки, за которые корили меня самого, меж тем как добродетели второго действовали на меня

почти отталкивающе. Первого мне часто приходилось порицать, но делал я это с неохотою; если нельзя было не похвалить второго, я воздавал ему эту похвалу, конечно, только после строгого обдумывания. Право же, об этом человеке, составлявшем в то время средоточие всех толков и разговоров, я судил всегда с независимой правдивостью и всегда верно передавал то, что слышал! Для меня было делом чести — перепечатать в этой книге, без всяких изменений, статьи, в которых сказалось мое самое теплое сочувствие к характеру и правительственным идеям (не административным действиям) великого государственного человека — несмотря на то, что тем самым должны были возникнуть некоторые повторения. Благосклонный читатель заметит, что эти рассуждения не идут дальше конца 1843 года, когда я вообще бросил писать политические статьи для «Всеобщей Газеты» и стал ограничиваться тем, что сообщал порой ее редактору, в нашей дружеской корреспонденции, частным образом, те или иные новости; с тех пор я только по временам помещал в этой газете статьи о науке и об изящных искусствах.

Вот это и есть то молчание, то неписание, о котором говорит «Всеобщая Газета» и которое было истолковано как продажа свободы моего слова. Не правильнее ли было бы предположить, что я, чья вера в Гизо поколебалась в то время, вообще начал ложно его понимать? Да, так и было, но в марте 1848 года подобное признание было неуместно с моей стороны. Этого не позволяли в то время ни уважение, ни приличие. В вышеупомянутом объяснении я должен был ограничиться тем, что чисто фактическую сторону моих отношений к министерству Гизо противопоставил той гнусной инсинуации, которая мое внезапное молчание приписала подкупу. Повторю здесь эти факты. До 29 ноября 1840 года, когда господин Гизо стал во главе министерства, я ни разу не имел чести видеть его. Лишь месяц спустя я сделал ему визит, желая поблагодарить его за то, что счетное отделение его департамента получило от него

приказание — и при новом министерстве выплачивать мне помесечно мою ежегодную пенсию. Этот визит был моим первым, но и последним в этой жизни визитом к великому человеку. В беседе, которой он удостоил меня, он с большим умом и теплотой высказал свое глубокое уважение к Германии, и эта похвала моему отечеству, а также лестные слова, сказанные им о собственных моих литературных произведениях, были единственными монетами, которыми он подкупил меня. Никогда не приходило ему в голову потребовать от меня какой бы то ни было услуги. И менее всего могло придти в голову этому гордому человеку, стремившемуся к непопулярности, требовать жалкой похвалы во французской печати или в аугсбургской «Всеобщей Газете», от меня, который до тех пор был совершенно чужд ему, меж тем как другие, гораздо более важные, а следовательно, более надежные люди, например, барон Экштейн или историограф Капфиг, тоже являвшиеся, как отмечено выше, сотрудниками «Всеобщей Газеты», уже много лет находились в личных отношениях с господином Гизо и, наверно, заслужили его интимное доверие. Только случайно узнал я однажды, что зарейнские посольства обращались к господину Гизо с частыми и настойчивыми просьбами — удалить меня из Парижа. Не могу без смеха подумать теперь о сердитых рожах, которые эти господа должны были скорчить, когда открылось, что министр, от которого требовали моей высылки, еще и поддерживал меня ежегодной пенсией. Я и без особенных намеков понял, что он отнюдь не желал обнародования этих благородных поступков, и скромные друзья, от которых я ничего не могу утаить, разделили мое злорадство.

За доставленное развлечение и за великодушные, которое он проявил в обращении со мною, я обязан господину Гизо большою благодарностью. Но когда поколебалась моя вера в его независимость от королевских внушений, когда я увидел, что он слишком подчиняется гибельной воле Луи-Филиппа, когда я понял

великую, ужасающую ошибку этого самодержавного упрямства, этого пагубного эгоизма, — тогда, конечно, не физический гнет благодарности мог бы сковать мое слово; с почтительным прискорбием восстал бы я, конечно, против промахов, сделанных чрезмерно снисходительным министерством, или, вернее, ослепленным королем, которые должны были погубить Францию и весь мир. Но перо мое связывали также грубые физические препятствия, и эту действительную причину моего молчания, моего неписания я только теперь могу огласить во всеуслышание.

Даже если бы у меня и явилось желание напечатать во «Всеобщей Газете» хоть одно слово против злополучной правительственной системы Луи-Филиппа, это было бы невозможно для меня по очень простой причине: еще до 29 ноября умный король принял меры против столь преступного корреспондентского умысла, против такого покушения, и высочайше соизволил пожаловать тогдашнему цензору аугсбургской «Всеобщей Газеты» звание не только кавалера, но и офицера ордена Почетного легиона. Как ни велика была любовь моя к покойному королю, аугсбургский цензор все-таки находил, что я недостаточно его люблю, вычеркивал всякое неодобрительное слово, и весьма многие из моих статей о политике Луи-Филиппа остались вовсе ненапечатанными. Но вскоре после Февральской революции, когда мой бедный Луи-Филипп отправился в изгнание, ни уважение, ни приличие не позволили мне обнародовать такие факты, даже если бы аугсбургский цензор и дозволил их к печати.

Другое подобное же признание не позволила мне сделать в то время цензура сердца, гораздо более опасливая, чем цензура «Всеобщей Газеты». Нет, сразу после падения Гизо я не смел гласно сознаться, что я и до того молчал из страха. В 1844 году я должен был понять, что если бы Гизо узнал про мои корреспонденции и ему не очень понравились бы содержащиеся в них критические замечания, то этот страстный человек,

пожалуй, способен был бы подавить в себе чувство великодушия и положить весьма скорый конец проделкам неудобного критика. С высылкой корреспондента из Парижа неизбежно прекратились бы и его парижские корреспонденции. Действительно, его превосходительство держал в руках бразды правления, он мог в любое время изречь против меня *consilium abeundi* \*, и мне тогда тотчас же пришлось бы укладывать чемоданы. Его педея в синих мундирах с лимонно-желтыми отворотами оторвали бы меня в один миг от моих парижских критических занятий и проводили бы до тех столбов, «что окрашены, как спина зебры», а тут меня приняли бы другие педея, в еще более страшных ливреях и с германскими, куда более неуклюжими манерами, чтобы оказать мне отечественное гостеприимство.

Но разве, несчастный поэт, твое французское гражданство не достаточно защищало тебя от такого произвола министра?

Ах, ответ на этот вопрос исторгает у меня признание, которое, быть может, из благоразумия следовало бы подавить. Но благоразумие и я давно уже не едим из одной миски, — и сегодня я откровенно признаюсь, что никогда не принимал французского подданства и что это подданство, считавшееся достоверным фактом, не что иное, как немецкая сказка. Не знаю, чья праздная или хитрая голова измыслила все это. Некоторые соотечественники, правда, уверяли, что они из достоверного источника вынюхали об этом принятии подданства; они сообщали об этом в немецких газетах, и я своим молчанием поддерживал это ложное мнение. Мои милые литературные и политические противники на родине и кое-какие весьма влиятельные интимные враги здесь, в Париже, были тем самым введены в заблуждение и думали, что права французского гражданства защищают меня от всяких неприятностей, которым так легко подвергнуть иностранца, судящегося здесь по совершенно

\* Буквально: «Совет об уходе» — решение о высылке.

особым законом. Это благотельное заблуждение не раз спасало меня от козней аферистов, которые делали попытки эксплуатировать меня и в деловых столкновениях со мною воспользовались бы своими преимуществами. В Париже положение иностранца, который не принимает подданства, становится в конце концов столь же противным, сколь и затруднительным в денежном отношении. Его надуют и сердят, и притом это делают как раз принявшие подданство иностранцы, которые особенно жадно злоупотребляют приобретенными правами. Побуждаемый досадой и заботами, я однажды исполнил формальности, не обязывающие ни к чему, а между тем дающие возможность в случае необходимости без замедления приобрести права гражданства. Но окончательное принятие подданства всегда внушало мне злоеущий страх. Вследствие этой нерешительности, вследствие этого глубоко вкоренившегося отвращения к принятию французского подданства, я поставил себя в ложное положение, которое должен считать причиной всех моих лишений, невзгод и промахов за время двадцатитрехлетнего пребывания в Париже. Доход от хорошей должности с избытком покрывал бы расходы на мое дорогое стоящее хозяйство, удовлетворяя не столько прихотям, сколько потребностям человечески свободного образа жизни; но, не приняв подданства, я не мог вступить и в государственную службу. Много высоких званий и жирных синекур соблазнительно предлагали мне мои друзья, и немало было примеров, что иностранцы достигали во Франции блистательнейших ступеней власти. И мне — смело могу сказать — меньше, чем кому бы то ни было, пришлось бы бороться с туземной завистью, ибо ни один немец не пользовался в такой высокой степени, как я, симпатией французов, и не только в литературном мире, но и в высшем обществе, и не как покровители, но как товарищи, сближались со мною знатнейшие лица. Рыцарственный принц, ближе всех стоявший к престолу и не только бывший прекрасным полководцем и государственным человеком, но и

читавший в подлиннике мою «Книгу Песен», очень рад был бы видеть меня на французской службе, а его влияние было достаточно велико, чтобы дать мне ход на этом поприще. Я не забываю любезность, с которой великий историограф французской революции и империи, в то время всемогущий председатель совета министров, однажды, в саду дворца моей царственной приятельницы, взял меня под руку и, гуляя со мною, долго и настойчиво просил сказать, чего желает мое сердце, и обещал сделать для меня все. Еще и сейчас в моих ушах раздается льстивый звук его голоса; до сих пор обоняние мое щекочет благоухание высокой, цветущей магнолии, мимо которой мы проходили и алебастрово-белые аристократические цветы которой высились на фоне голубого неба — так пышно, так гордо, как вздымалось в то время, в пору его счастья, сердце немецкого поэта!

Да, все было именно так. Стать французом, хотя бы *pro forma* \*, не позволяло мне дурацкое высокомерие немецкого поэта. То была прихоть идеала, от которой я не в силах был избавиться. В отношении к тому, что мы обычно называем патриотизмом, я всегда был свободомыслящим, но все же я не мог побороть в себе чувство страха, когда мне приходилось совершать поступок, который хоть отчасти мог бы показаться отречением от родины. Даже и в душе самого просвещенного человека всегда скрывается частица волшебного корня — древнего суеверия, которое нельзя изгнать; о нем не любишь говорить, но оно, неразумное, проказничает в затаеннейших уголках нашей души. Мой брачный союз с нашей милой дамой Германией, белокурой ленивицей, никогда не был счастливым союзом. Правда, я еще помню несколько чудных лунных ночей, когда она нежно прижимала меня к своей большой груди с добродетельными сосцами, но эти сантиментальные ночи — все наперечет, и к утру наступала всегда сердито зевающая

\* формально

холодность и начиналась бесконечная воркотня. В последнее время мы уже и ели и спали отдельно. Но дело не должно было дойти до настоящего развода. У меня никогда не хватало духу совсем сбросить с себя домашний крест. Я ненавижу всякое отступничество и не мог бы отречься ни от одной немецкой кошки, ни от одной немецкой собаки, как бы невыносимы ни были для меня ее блохи и верность. Самый маленький поросенок моей отчизны не может в этом отношении пожаловаться на меня. Живя среди знатных и остроумных свиней Перигора, которые изобрели трюфели и питаются ими, я не чуждался скромных хрюшек, которые в родимом Тевтобургском лесу кормятся лишь плодами отечественных дубов и едят из простого корыта, как их добродетельные предки в то давнее время, когда Арминий разбил Вара. Я также не утратил ни одной щетинки моего германства, ни одного бубенчика с моего немецкого колпака и попрежнему имею право прикрепить к нему черно-красно-золотую кокарду. Я попрежнему имею право говорить Масману: «Мы, немецкие ослы!» Если бы я принял французское подданство, Масман мог бы мне ответить: «Только я — немецкий осел, но уж не ты», — и тут же насмешливо перекувырнулся бы, а зрелище это разбило бы мне сердце. Нет, подобному позору я себя не подвергал. Переход во французское подданство, может, и годится для других людей; пьяный адвокат из Цвейбрюккена, олух с железным лбом и медным носом, конечно, мог бы для получения должности школьного учителя отказаться от отечества, которое вовсе не знает его и никогда о нем не узнает, но это не подобает немецкому поэту, создавшему прекраснейшие немецкие песни. Я не мог бы отделаться от ужасной, безумной мысли, если бы должен был говорить себе, что я — немецкий поэт и вместе с тем — французский подданный. Я казался бы себе одним из тех уродцев с двух головах, которых показывают на ярмарках в балаганах. В то время когда я творю, меня нестерпимо стесняла бы мысль, что одна из этих голов вдруг начнет скандировать

по-французски на индюшечий патетический лад неестественные александрийские стихи, меж тем как другая голова станет изливать свои чувства в правдивых, врожденных мне метрах немецкой речи. А для меня — ах! — нестерпима ни метрика французов, ни их стихи, это раздушенное дрянцо — еле-еле выносил я их лучших, ничем не пахнущих поэтов. Лишь тогда, когда я смотрю на так называемую *poésie lyrique*\* французов, мне становится вполне ясно великолепие немецкой поэзии, и, право же, мне есть чем гордиться, если я могу утверждать, что стяжал себе лавры на этом поприще. — И мы из этих лавров не уступим ни одного листка, и каменщик, которому придется украшать надписью наше последнее ложе, может, не боясь возражений, вырезать слова: «Здесь покоится немецкий поэт».

## LIX

Париж, 7 мая 1843

Выставка картин возбуждает в этом году необычайный интерес; но я не в состоянии высказать хоть сколько-нибудь разумное мнение о ее достопримечательностях, вызывающих столько похвал. До сих пор, проходя по залам Лувра, я испытывал только небывалую досаду. Эти сумасшедшие краски, которые все в одно и то же время пронзительно кричат на меня, это пестрое безумие, со всех сторон скалящее на меня зубы, эта анархия в золоченых рамках производит на меня тяжелое, неприятное впечатление. Напрасно я мучусь, пытаюсь упорядочить в своем уме этот хаос и уловить в нем мысль нашего времени или хотя бы характерный родственный признак, благодаря которому картина представляется нам продуктом современной эпохи, ибо все произведения одного и того же периода отмечены такой характерной чертой, живописным выражением духа

\* лирическую поэзию

своего времени. Так, на полотне Ватто или Буше или Ванло отражаются грациозная напудренная пастораль, нарумяненная игривая пустота, слащавое, украшенное фижмами счастье царившего в то время помпадурства: всюду яркоцветные, обвитые лентами пастушеские посохи, нигде ни одного меча. Наоборот, картины Давида и его учеников являются лишь красочным эхом периода республиканской добродетели, которая превращается в военную славу Империи, и мы видим тут преувеличенное воодушевление мраморной моделью, отвлеченное морозное упоение рассудком, рисунок правильный, стройный, резкий, краски хмурые, жесткие, неудобоваримые, спартанскую похлебку. Но когда потомки будут смотреть на картины нынешних живописцев, — что покажется им знаком нашего времени? Какие общие для всех этих картин особенности будут сразу же, при первом взгляде на них, говорить, что это — произведения нашего теперешнего периода? Или дух буржуазии, индустриализм, которым проникнута теперь вся социальная жизнь Франции, до такой степени овладел и пластическими искусствами, что все нынешние картины отмечены печатью этого нового господства? Подобное предположение возбуждают во мне особенно картины религиозного содержания, которыми столь богата выставка этого года. Вот в длинной зале висит картина «Бичевание», где центральная фигура своей страждущей физиономией напоминает директора обанкротившейся акционерной компании, стоящего перед своими акционерами и вынужденного дать им отчет; да, мы видим тут и этих акционеров, и притом в образе палачей и фарисеев, которые страшно злы на Ессе homo \* и, повидимому, потеряли на своих акциях очень много денег. Говорят, главную фигуру художник списал со своего дяди. Лица на собственно исторических картинах, изображающих события из времен язычества и средневековья, тоже напоминают мелочную лавочку,

\* Се человек

биржевые спекуляции, меркантилизм, мещанство. Вот мы видим Вильгельма Завоевателя; ему стоит только надеть медвежью шапку, и он обратится в национального гвардейца, который с образцовым усердием несет караульную службу, добросовестно платит по своим векселям, чтит свою супругу и несомненно заслуживает креста Почетного легиона. А портреты! У большей части такое денежное, корыстное, сердитое выражение, которое я объясняю себе только тем, что живой оригинал во время сеанса не переставая думал о деньгах, которых ему будет стоить портрет, тогда как художник не переставал жалеть о времени, которое ему пришлось потратить на жалкую поденную работу.

В числе картин из священной истории, свидетельствующих о том, как стараются французы создать нечто действительно религиозное, я заметил самаритянку у колодца. Хотя Спаситель принадлежит к враждебному племени иудеев, все же она оказывает ему милосердие. Она подает жаждущему свой кувшин, и, пока он пьет, искоса бросает на него странный взгляд, необыкновенно лукавый и вызвавший в моей памяти ловкий ответ, который умная дочь Швабии дала господину суперинтенданту, экзаменовавшему школьниц по священной истории. Он спросил, почему женщина из Самарии узнала, что Иисус — еврей? — «По обрезанию», — смело ответила маленькая швабская школьница.

Самая замечательная среди религиозных картин выставки принадлежит Орасу Верне, единственному крупному художнику, выставившему в этом году свое произведение. Сюжет очень рискованный, и мы безусловно порицаем если не выбор сюжета, то, конечно, трактовку его. Этот сюжет, заимствованный из Библии, — история Иуды и его невестки Фамари. По нашим современным понятиям и чувствам, оба эти лица являются нам в очень безнравственном свете. Но по воззрениям древности, когда высшая задача женщины состояла в том, что она рожала детей, продолжая род своего мужа (особенно по древнееврейским взглядам, согласно которым бли-

жайший родственник умершего должен был жениться на его вдове, если тот умирал бездетным, чтобы утвердить память о покойном, жизнь его в грядущих поколениях, его, так сказать, земное бессмертие), по древним воззрениям, поступок Фамари был делом высоко нравственным, благочестивым, угодным богу, наивно прекрасным и почти таким же героическим, как подвиг Юдифи, который уже несколько ближе к патриотическим чувствам нашего времени. Что касается ее тестя Иуды, мы отнюдь не требуем для него лавровых венков, но утверждаем, что он ни в каком случае не совершил греха. Ибо, во-первых, сожителство с женщиной, встреченной на большой дороге, древний еврей считал столь же позволительным, как наслаждение плодом, который он сорвал бы с дерева на его пути, чтобы утолить жажду, а когда это случилось, в знойной Месопотамии стоял, должно быть, знойный день, и бедный праотец Иуда жаждал освежиться. А во-вторых, его поступок явно отмечен печатью божественной воли провидения; не будь этой сильной жажды, у Фамари не родился бы ребенок, а ребенок этот стал прародителем Давида, который был царем над Иудеей и Израилем, а следовательно, и основателем рода, из которого вышел царь еще более великий, царь в терновом венце, которому теперь поклоняется весь мир, — Иисус Назарянин.

Что касается трактовки этого сюжета, то я, не пускаясь в слишком гомилетические упреки, скажу о ней в нескольких словах. Фамарь, красавица, сидит у большой дороги, выставляя напоказ свои роскошнейшие чары. Нога, колено и т. д. — совершенство, граничащее с поэзией. Грудь вырывается из узкого одеяния, цветущая, благоуханная, соблазнительная, как запрещенный плод в саду Эдема. Правой рукой, нарисованной с такой же прелестной правдивостью, красавица держит перед лицом кончик своей белой одежды, так что видны только лоб и глаза. Эти большие черные глаза — обольстительны, как голос гладкочешуйчатой сатанинской кумушки. Эта женщина — вместе и яблоко и змея, и нам

не следует осуждать бедного Иуду за то, что он весьма поспешно вручает ей требуемые залогов — посох, кольцо и пояс. Чтобы принять эти предметы, она протянула левую руку, правой же, как сказано, закрывает лицо. Это двойное движение рук полно такой правды, какой достигает искусство лишь в минуты величайшей удачи. Здесь — верность природе, производящая волшебное впечатление. Иуде художник дал похотливую физиономию, напоминающую скорее фавна, чем патриарха, и все его одяние состоит из того белого шерстяного покрывала, которое со времени завоевания Алжира играет такую большую роль на стольких картинах. С тех пор, как французы непосредственно познакомились с Востоком, их живописцы и герои Библии наряжают в истинно восточный костюм. Прежний традиционный-идеальный костюм, действительно, поизносился, будучи триста лет в употреблении, и менее всего уместно было бы, по примеру венецианцев, маскировать древних евреев в современные одежды. С тех пор французы на своих исторических картинах с большей верностью изображают пейзажи и животных Востока, и, глядя на верблюда, который имеется на картине Ораса Верне, ясно видишь, что живописец скопировал его непосредственно с натуры, а не почерпнул, подобно немецкому художнику, из глубины своего духа. Быть может, в строении головы верблюда немецкий художник отенил бы разумность, допотопность, даже ветхозаветность. Но француз нарисовал только верблюда, каким его создал бог, поверхностного верблюда, на котором нет ни одного символического волоса и который, вытянув голову из-за плеча Иуды, с полнейшим равнодушием смотрит на предосудительную сделку. Это равнодушие, этот индифферентизм — основная черта картины, о которой идет речь, и в этом отношении она тоже отмечена печатью нашего периода. Живописец не макал своей кисти ни в разъедающую злобу вольтеровой сатиры, ни в помойные ведра распутного Парни и компании; им не руководит ни политика, ни безнравственность;

Библия имеет для него то же значение, что и всякая другая книга; он смотрит на нее с истинной терпимостью, у него больше нет предубеждений против этой книги, он находит ее даже красивой и занимательной и считает возможным заимствовать из нее свои сюжеты. Так рисовал он прежде Юдифь, Ревекку у колодца, Авраама и Агарь, и так же нарисовал теперь Фамарь и Иуду, превосходную картину, которая благодаря местному колориту в воззрениях художника была бы очень подходящим запрестольным образом в новой парижской церкви Notre Dame de Lorette \*, в квартале лореток.

Орас Верне публика считает величайшим художником Франции, и я не стану оспаривать это мнение. Во всяком случае, он самый национальный среди французских художников и превосходит их всех плодотворными способностями, демоническим размахом, вечно цветущим самообновлением творческой силы. Дар живописи присущ ему от природы, как шелковичному червю — пряденье, как птице — песнь, и картины его кажутся результатом необходимости. Не стиль, а природа. Плодовитость, граничащая с комизмом. На одной карикатуре Орас Верне изобразил верхом на высоком коне, с кистью в руке; перед ним — растянутый в длину огромный холст, и рисует он, галопируя; как только он доскачет до конца холста, картина готова. Какое множество огромных батальных картин доставил он в самое последнее время для Версаля! Право, за исключением Австрии и Пруссии, ведь ни у одного немецкого государя не найдется столько солдат, сколько уже нарисовал их Орас Верне! Если правду говорит благочестивое сказанье, что в день воскресения из мертвых каждого человека к месту суда будут сопровождать его деяния, то, конечно, Орас Верне в день страшного суда прибудет в Иосафатову долину в сопровождении нескольких сот тысяч пехоты и кавалерии. Как бы ни были ужасны судьи, которые воссядут там, чиня суд

\* Лоретской божьей матери.

над живыми и мертвыми, все же я не думаю, чтобы Ораса Верне осудили на вечное пламя за то неприличие, с которым он отнесся к Иуде и Фамари. Не думаю. Ибо, во-первых, картина написана так превосходно, что уже поэтому следовало бы оправдать обвиняемого. Во-вторых, Орас Верне — гений, а гению позволены вещи, воспрещенные обыкновенным грешникам. И, наконец, тому, кто является, маршируя во главе нескольких сот тысяч солдат, тоже отпущится многое, даже если он случайно окажется не гением.

## LX

Париж, 1 июня 1843

Борьба с университетом, которую все еще ведут клерикалы, равно как и решительное сопротивление, особенно выдвинувшее вперед Мишле и Кине, все еще занимает широкую публику. Может быть, этот интерес вскоре будет вытеснен каким-нибудь новым злободневным вопросом; но самая вражда сгладится не так скоро, ибо она коренится в раздоре, который длится уже столетия и на который, может быть, следует смотреть, как на конечную причину всех переворотов во французской государственной жизни. Дело здесь идет не о иезуитах и не о свободе образования; и то и другое — только лозунги, отнюдь не выражающие того, что думают и чего хотят воюющие партии. С обеих сторон высказывается нечто совсем иное, чем то, в чем решаются сознаться, если даже не совершенно противоположное внутреннему убеждению. «Хочешь побить осла, а колотишь по мешку», — гласит старая немецкая пословица. Мы слишком хорошего мнения об уме университетских профессоров, чтобы допустить, будто они вполне серьезно полемизируют с умершим рыцарем Игнатием Лойолой и его сотоварищами по могиле. Мы, напротив, слишком мало верим в либерализм противников, чтобы принять за чистую монету их радикальные принципы по отношению к свободе образования, их ревностные восхва-

ления этой свободы. Гласные призывы к войне здесь в противоречии с тайными помыслами. Ученая хитрость и благочестивая ложь. Истинный смысл этого раздора — не что иное, как стародавняя оппозиция, в которой философия находилась к религии, рационалистическое познание — к вере в откровение, оппозиция, которой руководили люди науки, брожение которой сказывалось постоянно как в дворянстве, так и в буржуазии и которая в девяностых годах одержала победу. От некоторых из актеров французской государственной трагедии, еще не умерших, от политиков, хранящих глубокие воспоминания, — я нередко слышал, что, в сущности, вся французская революция произошла только благодаря ненависти к церкви и что трон был разрушен только потому, что он защищал алтарь. Конституционная монархия, по мнению этих людей, могла бы утвердиться уже при Людовике XVI; но боялись, что строжеверующий король, из-за набожных требований совести, не сможет остаться верен новой форме правления, боялись, что свои религиозные убеждения он поставит выше своих земных интересов — и Людовик XVI стал жертвой этой боязни, этого подозрения. Il était suspect\*; во времена террора это было преступление, которое каралось смертной казнью.

Хотя Наполеон и восстановил церковь во Франции и покровительствовал ей, все же гордость его железной воли была достаточным ручательством за то, что при нем духовенство не только не достигнет власти, но даже и не сможет особенно возвыситься; это духовенство он держал в узде так же, как и всех нас, и его гренадеры, которые с саблями наголо сопровождали процессии, напоминали не почетный караул, а скорее конвойную стражу религии. Грозный император желал царствовать один, не желал даже с небом делиться своей властью, — это знали все. В начале Реставрации лица повытянулись, и люди науки снова почувствовали тайный страх. Но Людовик XVIII был человек без религиозных убеж-

\* Он был подозрителен

дений, был остряк, был очень толст, писал скверные латинские стихи и ел хорошие паштеты из печонки; это успокоило публику. Было известно, что ради спасения души он не станет рисковать короной и головой, и чем менее его уважали как человека, тем более доверия внушал он как король Франции; его фривольность служила гарантией, она и его самого защищала от подозрения в покровительстве черному наследственному врагу, и если бы он остался в живых, французы не совершили бы новой революции. Революцию совершили они в царствование Карла X, короля, чья личность заслуживала величайшего уважения и относительно которого все заранее твердо знали, что, жертвуя спасению своей души всеми благами земными, он с рыцарским мужеством до последнего вздоха будет сражаться за церковь против сатаны и революционеров-язычников. Его свергли с престола именно потому, что считали благородным, добросовестным, честным человеком. Да, таким он был, так же как и Людовик XVI, но в 1830 году одного подозрения уже было достаточно для того, чтобы Карла X обречь на гибель. Это подозрение также является истинной причиной, почему внук Карла X не имеет будущности во Франции; известно, что его воспитывало духовенство, и народ называл его всегда «le petit jésuite»\*.

Для Июльской династии было истинным счастьем, что благодаря случайности и условиям времени она избежала этого убийственного подозрения. Отец Луи-Филиппа по крайней мере не был ханжой, это признают даже злейшие его клеветники. Он дал своему сыну возможность свободного умственного развития, и этот сын с молоком кормилицы всосал философию XVIII века. Недаром припев всех легитимистских сетований — что теперешний король недостаточно богобоязнен, что он всегда был свободомыслящий либерал и что даже своих детей он воспитал в неверии. Действительно, его сы-

\* маленький иезуит.

новья — в полной мере сыновья новой Франции, получившие образование в ее открытых учебных заведениях. Покойный герцог Орлеанский был гордостью молодого поколения, которое с ним вместе сидело на школьной скамье и в самом деле многому выучилось. То обстоятельство, что мать наследного принца Франции — протестантка, бесконечно важно. Подозрение в ханжестве, ставшее столь роковым для старшей династии, не коснется Орлеанского дома.

Тем не менее, борьба с церковью сохраняет здесь свое великое политическое значение. Как ни усилилась за последнее время власть духовенства, как ни значительно его положение в обществе, как ни процветает оно, все же противники его всегда готовы к бою, и если, подвергаясь ночному нападению, либерализм крикнет: «ребята, сюда!», во всех окнах тотчас же появятся огни, и стар и млад сбегутся со всевозможными рапирами в руках, а то даже и с якобинскими пиками. Духовенство хочет, как и всегда хотело, достичь во Франции верховного господства; и мы настолько беспристрастны, что его тайные и явные намерения приписываем не мелочному честолюбию, но бескорыстнейшим заботам о спасении души народа. Воспитание юношества — средство, которое умнее, чем всякое другое, помогает достичь богоугодной цели, и недаром в этой области произошли самые невероятные вещи, и духовенство неизбежно должно было притти в столкновение с правами университета. Чтобы уничтожить верховный надзор за либеральным образованием, организованным государственной властью, старались воспользоваться революционными антипатиями к привилегиям всякого рода, и люди, которые не допустили бы даже свободы мысли, если бы им привелось стать у власти, теперь восторженными фразами защищают свободу образования и жалуются на умственную монополию. Таким образом, борьба с университетом была отнюдь не случайной стычкой и рано или поздно должна была вспыхнуть; сопротивление тоже было делом необходимости, и университету, хотя бы про-

тив воли и желания, все же пришлось поднять перчатку вызова. Но вскоре даже и самым умеренным ударила в головы кипучая кровь страсти, и Мишле, мягкий, лунно-кроткий Мишле, пришел вдруг в ярость и в аудитории Collège de France \* воскликнул: «Для того, чтобы вас прогнать, мы свергли династию, и если надо будет, мы свергнем еще шесть династий, чтобы прогнать вас!» Что именно такие люди, как Мишле и его единомышленный друг Эдгар Кине, выступили самыми страстными противниками духовенства, — явление удивительное, даже не снившееся мне в то время, когда я впервые читал сочинения этих людей, сочинения, которые каждой страницей свидетельствуют о самой глубокой симпатии к христианству. Мне вспоминается трогательное место из «Истории Франции» Мишле, где автор говорит о нежной тоске, охватывающей его всякий раз, когда ему приходится говорить об упадке церкви; в эти минуты он чувствует то же, что чувствовал в то время, когда ухаживал за своей старой матерью, у которой во время болезни сделались пролежни, так что он лишь с величайшей осторожностью решался прикасаться к ее израненному телу. Разумеется то обстоятельство, что люди, подобные Мишле и Кине, вынуждены оказывать гневное сопротивление, не свидетельствует о той хитрости, которую вообще принято называть иезуитством. Серьезность готова изменить нам, когда мы начинаем говорить об этом промахе, особенно в отношении Мишле. Мишле рожден спиритуалистом, более чем кому бы то ни было ему ненавистно просвещение восемнадцатого века, материализм, фривольность тех вольтеррианцев, имя которым все еще легион и с которыми он все же заключил теперь союз. Ему даже пришлось прибегнуть к логике! Жестокая участь для человека, которому по душе только сказочные леса романтики, который больше всего любит покачиваться на мистически голубых волнах чувства и который неохотно отдается мыслям, не

\* См. примечания

замаскированным в символические одеяния. Насчет его страсти к символике, его постоянных указаний на символичность, я в Латинском квартале не раз слышал очень грациозные шутки, и Мишле там называют *monsieur Symbole*\*. Но власть фантазии и чувства производит чарующее впечатление на студенческую молодежь, и я не раз тщетно пытался посетить лекцию *monsieur Symbole* в Collège de France; аудитория его всегда была набита студентами, которые восторженно теснились вокруг знаменитости. Его правдивость и строгая честность — тоже, быть может, являются причиной этой любви и уважения к нему. Как писатель, Мишле занимает одно из первых мест. Его язык так прекрасен, как только можно себе представить, и все алмазы поэзии сверкают в его речи. Если упрекать его в чем-либо, то прежде всего следует пожалеть об отсутствии диалектики и порядка; мы встречаем здесь причудливость, доходящую до гримасы, какое-то опьяненное изобилие, где возвышенное переходит в шутовское, умное в дурацкое. Великий ли он историк? Заслуживает ли он быть поставленным наряду с Тьером, Минье, Гизо и Тьерри, этими вечными звездами? Да, заслуживает, хотя историю он пишет совсем иначе. Если задача историка состоит в том, чтобы в результате изысканий и размышлений наглядно изобразить нам наших предков и их жизнь, деяния эпохи, если волшебною силою слова он должен вызвать из могилы мертвое прошлое, чтобы оно ожило в нашей душе, — если такова задача историка, то мы можем уверить, что Мишле вполне разрешает ее. Мой великий учитель, покойный Гегель, сказал мне однажды: «Если б записаны были все сны, сшившиеся людям в течение известного периода, то, прочтя это собрание снов, можно было бы составить себе вполне правильное представление о духе этого периода». «История Франции» Мишле является такой коллекцией снов, книгой сновидений; грезящее средневековье смо-

\* господин Символ.

трет из нее глубокими страдающими глазами, призрачно улыбаясь, и мы почти пугаемся резкой правды красок и образов. Действительно, для описания того лунатического времени нужен был именно такой лунатик-историк, как Мишле.

В отношении Кине, так же как и Мишле, и клерикальная партия и правительство ведут себя в высшей степени неумно. Если клерикалы, люди любви и мира, увлеченные своим благочестивым рвением, не проявляют ни благоразумия, ни кротости, это меня не удивляет. Но правительство, во главе которого стоит человек науки, могло бы действовать умнее и мягче. Неужели дух Гизо устал от ежедневной борьбы? Или, быть может, мы в нем ошиблись, когда считали его бойцом, который всех упорнее будет защищать завоевания человеческого ума против лжи и духовенства? Когда после падения Тьера он стал у власти, все школьные учителя Германии восторгались им, и мы вторили просвещенному ученому сословию. Эти дни осанны прошли, и теперь нас охватывают уныние, сомнение, недовольство, не умеющее высказать то, что оно лишь смутно чувствует и подозревает, и погружающееся, наконец, в угрюмое молчание. Так как мы, действительно, не знаем, что сказать, так как мы ошиблись в старом учителе, то лучше всего было бы начать болтать о других вещах, а не о современной политике скучающей, сонливой и зевающей Франции. — Но образ действий в отношении Эдгара Кине мы все же должны подвергнуть безусловно порицанию. Как Мишле, так и Эдгара Кине стыдно доводить до такой степени раздражения, что последний, совершенно вопреки глубочайшей сущности своего характера, решил вместе с водой выплеснуть и младенца — Христа и стать в ряды тех когорт, которые составляют крайнюю левую революционной Армады. Спиритуалисты на все способны, если привести их в бешенство, и тогда они могут впасть даже в самый трезво-разумный рационализм. Как знать, не станут ли Мишле и Кине в конце концов самыми заядлыми яко-

бинцами, безумнейшими поклонниками разума, фанатически-кощунственными последователями Робеспьера и Марата!

Мишле и Кине не только хорошие товарищи, верные соратники, но и родственные по духу единомышленники. Те же симпатии, те же антипатии. Разница лишь в том, что у первого сердце более мягкое, я сказал бы более индийское, меж тем как в характере второго есть нечто жесткое, нечто готское. Мишле напоминает мне исполинские стихи «Магабгараты» — с их пряностью и их большими цветами; Кине, напротив, напоминает столь же чудовищные, но более крутые и более скалистые песни «Эдды». Кине — натура северная, можно бы сказать — немецкая; характер у него совершенно немецкий, как в хорошем, так и в плохом смысле; дыхание Германии веет во всех его сочинениях. Когда я читаю «Агасфера» или другие стихотворения Кине, на душе у меня так, словно я на родине; мне чудится, что я внимаю пению отечественных соловьев, слышу запах желтофиолей, знакомые звуки колоколов жужжат у меня в голове, раздается и хорошо знакомый звон дурацких колпаков; немецкое глубокомыслие, немецкую скорбь мыслителя, немецкую душевность, немецких майских жуков, порою немного немецкой скуки — вот что я нахожу в сочинениях нашего Эдгара Кине. Да, он наш, он немец, добрая немецкая душа, хотя в последнее время он и свирепствовал, как яростный германоед. В грубости, отчасти и неуклюжести, с которою он ополчился на нас в «*Revue des deux Mondes*», не было решительно ничего французского; и именно по крепкому удару кулака и настоящей грубости мы узнаем соотечественника. Эдгар совершенный немец, не только по духу, но и по наружности, и тот, кто встречает его на улицах Парижа, конечно, принимает его за студента-богослова из Халле, только что провалившегося на экзамене и отправившегося во Францию, чтобы отдохнуть. Фигура сильная, коренастая, нечесанная. Лицо милое, честное, меланхолическое. Серый болтающийся сюртук, сшитый как будто

Юнгом Стиллингом; сапоги, подметки к которым приделывал, быть может, Яков Беме.

Кине долго жил по ту сторону Рейна, именно в Гейдельберге, где он учился и упивался каждый день «Символикой» Крейцера. Он прошел всю Германию пешком, осмотрел все наши готические руины и пил там на брудершафт с самыми выдающимися призраками. В Тевтобургском лесу, где Герман разбил Вара, он отведал вестфальской ветчины с пумперникелями; на Зонненштейне он оставил свою визитную карточку. Посетил ли он в Мельне гробницу Эйленшпигеля, не могу утверждать. Но с полной определенностью знаю одно: во всем свете не найдется теперь и трех поэтов, обладающих такой же фантазией, богатством идей и гениальностью, как Эдгар Кине.

## LXI

Париж, 21 июня 1843

Каждый год я неизменно посещаю торжественное заседание в ротонде дворца Мазарини, куда надо притти за несколько часов до начала, чтобы найти место среди избранных умственной аристократии, к которой, к счастью, принадлежат прекраснейшие дамы. После долгого ожидания из боковой двери выходят, наконец, господа академики, большинство — люди очень старые или, по меньшей мере, не очень здоровые; красоты здесь искать не следует. Они садятся на свои длинные, жесткие деревянные скамьи; хотя и говорят об академических креслах, но в действительности они не существуют и являются только фикцией. Заседание начинается длинной скучной речью о трудах Академии за истекший год и о поступивших конкурсных сочинениях, речью, которую обычно произносит временный президент. Затем поднимается секретарь, неизменный секретарь, — должность которого такая же вечная, как и королевская власть. Секретарь Академии и Луи-Филипп — лица, которые не могут быть смещены по прихоти ми-

нистра или палаты. К сожалению, Луи-Филипп уже очень стар, и мы еще не знаем, будет ли его преемник так же талантлив в деле сохранения прекрасного мирного спокойствия. Но Минье еще молод, и, что еще лучше, он является воплощением молоджавости, его щадит рука времени, которая нам, прочим, окрашивает волосы сединой или совсем их выдирает и проводит на лбу такие некрасивые складки: у красавца Минье та же прическа в золотистых локонах, как тому двенадцать лет, и лицо его — все еще цветущее, как лики олимпийцев. Взойдя на трибуну, неизменный берет свой лорнет и оглядывает публику.

«Er zählt die Häupter seiner Lieben,  
Und sieh, es fehlt kein teures Haupt» \*.

Затем он также смотрит на сидящих вокруг него коллег, и, если бы я был злостен, я дал бы совсем особый комментарий к его взгляду. В такие минуты он мне всегда представляется пастухом, осматривающим свое стадо. Ведь они все принадлежат ему, неизменному, который переживает их всех и будет их вскрывать и бальзамировать в своих *précis historiques* \*\*. Кажется, он исследует состояние здоровья каждого из них, чтобы заранее подготовиться к будущей речи. Старик Балланш имеет очень больной вид, и Минье покачивает головой. Так как этот бедняга совсем не видел жизни и на этой земле ничего другого не делал, как только сидел у ног мадам Рекамье и писал книги, которых никто не читает, но всякий хвалит, то Минье в его *précis historiques*, право же, будет трудно придать ему что-либо человеческое и сделать его удобоваримым.

Темой, которую Минье рассматривал в нынешнем заседании, был покойный Дону. К стыду моему признаюсь, что я о нем знал удивительно мало и только с трудом воскресил в моей памяти некоторые моменты

\* «Он считает головы своих дорогих, и вот — все они здесь».

\*\* исторических обзорах.

из его жизни. Также и у других, особенно в молодом поколении, я в отношении Дону встретил большую неосведомленность. И все же этот человек в течение полувека помогал вертеть большое колесо, и все же он занимал самые значительные должности при республике и во время империи, и все же до конца своей жизни был он безупречным поборником прав человека, непреклонным борцом против умственного рабства, одним из тех высоких организаторов свободы, которые хорошо говорили, но действовали еще лучше и прекрасное слово претворяли в целительное дело. Почему же, несмотря на все свои заслуги, несмотря на свою неутомимую политическую и литературную деятельность, он не сделался знаменит? Почему его имя не пылает так ярко в нашей памяти, как имена стольких его коллег, игравших менее значительную роль? Чего недоставало ему, чтобы достигнуть известности? Ответу коротко: страсти. Лишь путем какого бы то ни было проявления страсти люди на этой земле становятся знамениты. Тут достаточно одного поступка, одного слова, но они должны носить отпечаток страсти. Да, даже случайное столкновение с великими вспышками страсти дает бессмертную славу. Но покойный Дону был мирный монах, носивший в душе монастырскую тишину, в то время как вокруг него бесновались все бури революции, спокойно и бесстрашно исполнявший свою поденную работу как при Робеспьере, так и при Наполеоне, и умерший так же скромно, как скромна была его жизнь. Я не хочу сказать, что душа его не горела, но это был жар без пламени, без треска, без шума.

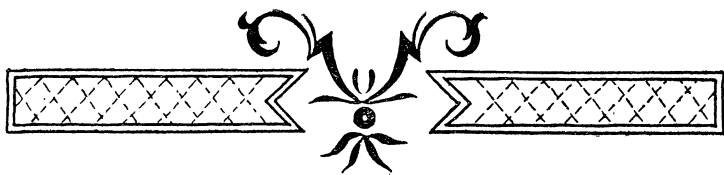
Несмотря на незаметную жизнь Дону, Минье все же сумел пробудить интерес к этому скромному герою, а так как он заслуживал самой высокой похвалы, то ее и можно было воздать ему щедрою мерой. Но если бы Дону даже и вовсе не был человеком, достойным таких похвал, если бы он даже принадлежал к тем бесхарактерным лягушкам, которых было так много в болоте (marais) Конвента и которые молчаливо продолжали

жить в то время, как лучшие договаривались до того, что им отрубали головы, даже если бы он был негодяем, все-таки облака фимиама официальных похвал вдоволь клубились бы вокруг него. Хотя Минье и называет свои речи *précis historiques*, все же они остаются прежними *éloges*\*, это все те же комплименты века Людовика XIV, с той разницей, что они являются не в длинных напудренных париках, а носят самую современную прическу. Теперешний *secrétaire perpétuel* Академии — один из величайших парикмахеров нашего времени и проявляет истинный шик в этом благородном ремесле. Если даже у человека нет ни одного приличного волоса, он умеет накрутить ему хоть несколько локончиков похвалы и спрятать плешистую голову под тупеем фразы. Как, однако, счастливы эти французские академики! Вот сидят они, полные сладостнейшего душевного спокойствия, на своих прочных скамьях и спокойно могут умереть, ибо знают, что, как бы предосудительны ни были их поступки, добрый Минье после их смерти все же воздаст им хвалу и славу. Под пальмами его речей, вечнозелеными, как пальмы его мундира, убаюканные журчанием ораторских антитез, они здесь, в Академии, отдыхают, словно в прохладном оазисе. А караван человечества иногда проходит мимо них, и они этого не замечают или слышат только, как на верблюдах позвякивают бубенчики.

\* похвалами

## **ПРИЛОЖЕНИЯ К „ЛЮТЕЦИИ“**





## КОММУНИЗМ, ФИЛОСОФИЯ И ДУХОВЕНСТВО

### I

Париж, 15 июня 1843

Если бы я жил в Риме во времена Нерона и писал корреспонденции для какой-нибудь почтовой газеты Беотии или неофициальной государственной газеты Абдеры, мои коллеги нередко шутили бы по поводу того, что я, например, ничего не сообщаю о государственных интригах императрицы-матери, что я даже никогда не пишу о блестящих обедах, которыми царь иудейский Агриппа каждую субботу угощает дипломатический корпус в Риме, и что, напротив, я постоянно толкую о тех галилеянах, той темной кучке людей, которая состоит большей частью из рабов и старых женщин, наполняет свою бессмысленную жизнь борьбой и видениями и не признается даже иудеями. Мои хорошо осведомленные коллеги, конечно, улыбнулись бы с особенной иронией, если бы, рассказывая о празднестве при дворе цезаря, празднестве, на котором его величество собственноручно играл на гитаре, я бы не мог сообщить ничего важнее, чем то, что некоторые из этих галилеян были вымазаны смолой, зажжены и таким образом осветили сады золотого дворца. То была, в самом деле, многозначительная иллюминация, и жестокое, чисто римское остроумие сказалось в том, что так называемые обскуранты должны были служить светильниками на празднике античной радости жизни. Но это остроумие было посрамлено: те люди-факелы разбросали вокруг себя искры, от которых ро-

дилось пламя, охватившее пожаром древний Рим во всем его дряхлом великолепии; число этих темных людей стало легион, в борьбе с ними легионам цезаря пришлось положить оружие, и вся Римская империя, вся власть на суше и на водах принадлежит теперь галилеянам.

Я вовсе не намерен вдаваться здесь в гомилетические рассуждения, я хотел только показать на примере, как победоносно может в далеком будущем оправдаться то внимание, с каким я очень часто говорил в моих статьях о маленькой общине, которая, словно *ecclesia pressa* \* I столетия, презираема и гонима в настоящем, а между тем ведет пропаганду, которая своим религиозным жаром и мрачной волей к разрушению тоже напоминает те галилейские начинания. Я снова говорю о коммунистах, единственной партии во Франции, заслуживающей безусловного уважения. С таким же вниманием я бы отнесся к обломкам сен-симонизма, приверженцы которого все еще живы под странными вывесками, а равно и к фурьеристам, которые еще продолжают действовать, свежие и бодрые; но ведь этими достойными людьми руководит только слово, социальный вопрос, как вопрос, традиционное понятие, и их не влечет демоническая необходимость, они не те заранее предназначенные слуги, руками которых высшая мировая воля осуществляет свои необъятные решения. Рано или поздно рассеявшаяся семья Сен-Симона и весь генеральный штаб фурьеристов перейдут в растущую армию коммунизма и, облекая грубую потребность в создающем слово, как бы возьмут на себя роль отцов церкви.

Такую роль уже теперь играет Пьер Леру, с которым, одиннадцать лет тому назад, я познакомился в зале Тетбу как с одним из епископов сен-симонизма. Превосходный человек, у которого был только один недостаток: он был слишком мрачен для своего тогдашнего положения. И недаром Анфантен высказал ему сле-

\* гонимая церковь

дующую саркастическую похвалу: «Это добродетельнейший человек с точки зрения прошлого». В добродетели его, действительно, чувствуется старая заправка времен самоотречения, что-то древнестоическое, кажущееся в наш век почти странным анахронизмом, комически-почтенное по сравнению с светлыми взглядами пантеистической религии наслаждения. Поэтому этой печальной птице стало, наконец, не по себе в блестящей клетке, где порхало столько золотых фазанов и орлов, а еще более — воробьев, и Пьер Леру первый протестовал против учения новой нравственности и с фанатическими проклятиями отрекся от радостно-пестрой компании. После того он вместе с Ипполитом Карно предпринял издание новой «Revue Encyclopédique» \*, и статьи, которые он писал для нее, а также книга его «De l'Humanité» \*\* составляют переход к тем доктринам, которые он уже в течение года излагает в «Revue Indépendante». \*\*\* Как обстоит теперь дело с большой «Энциклопедией», в которой деятельнейшее участие принимают Леру и достойный Рейно, — на этот счет не могу сказать ничего определенного. Смею только утверждать, что этот труд — достойное продолжение его предшественника, того колоссального памфлета в тридцати томах in quarto, где Дидро резюмировал знания своего века. Отдельным изданием появились статьи, которые Леру в своей «Энциклопедии» обращал против кузеновского эклектицизма или эклектизма, как французы называют эту нелепость. Кузен — вообще пугало, козел отпущения, с которым Пьер Леру полемизирует с незапамятных времен, и полемика эта превратилась у него в мономанию. В декабрьских номерах «Revue Indépendante» эта мономания достигает опаснейшей и скандальнейшей степени безумия. Здесь Кузен подвергается не только нападкам за свои взгляды, но и обвинениям в злоумышленных поступках.

\* «Энциклопедическое обозрение»

\*\* «О человечестве»

\*\*\* «Независимое обозрение»

Увлеченная вихрем страсти, добродетель на этот раз заходит слишком далеко и пускается в открытое море клеветы. Нет, мы из надежного источника знаем, что Кузен совершенно неповинен в злоумышленных изменениях, которым подвергся посмертный труд его ученика Жуффруа; и мы знаем это не от приверженцев его, но от противников, которые жалуются на то, что Кузен из боязни повредить интересам университета советовал не издавать сочинения Жуффруа и сердито отказал в своей помощи. Странное возрождение тех же самых фактов, которые мы пережили в Берлине уже двадцать лет назад! На этот раз они нам более понятны, и если наши симпатии не на стороне Кузена, все же мы беспристрастно сознаемся, что, нападая на него, радикальная партия выказала такую же несправедливость и ограниченность, какой и мы провинились некогда в отношении к великому Гегелю. И он также очень хотел, чтобы его философия мирно процветала под охранительной сенью государственной власти и не вступала в борьбу с церковью до тех пор, пока достаточно не возмужает и не окрепнет, и человек, чей ум был так несравненно светел, а доктрина так либеральна, излагал ее в столь мрачной, схоластической, крючкотватой форме, что не только религиозная, но и политическая партия прошлого видела в нем своего союзника. Только у посвященных это заблуждение вызывало улыбку, и лишь теперь понимаем мы эту улыбку; в то время мы были молоды, неблагоразумны и нетерпеливы, и ополчились против Гегеля, как недавно во Франции ополчилась против Кузена крайняя левая. Разница только в том, что осторожность, с которой выражается Кузен, не может ввести в заблуждение крайнюю правую; римско-католическо-апостолическое духовенство оказывается здесь гораздо проникательнее, чем королевско-прусско-протестантское; оно знает с полной определенностью, что философия — его злейший враг, что этот враг вытеснил его из Сорбонны, и, чтобы отвоевать эту крепость, оно объявило Кузену

истребительную войну и ведет ее с той освященной религией тактикой, где цель оправдывает средства. Так Кузен подвергается нападению с двух противоположных сторон, и в то же самое время, как против него выступает с развевающими хоругвями вся армия веры, предводительствуемая архиепископом шартрским, на него набрасываются и санкюлоты мысли, славные сердца и слабые головы, с Пьером Леру во главе. В этой войне все наши пожелания победы обращены к Кузену, ибо если привилегированное положение университета имеет свои дурные стороны, все же оно препятствует тому, чтобы все дело просвещения перешло в руки людей, преследовавших с неутомимой жестокостью мужей науки и прогресса; и до тех пор пока Кузен в Сорбонне, костер не будет по крайней мере применяться там, как последний аргумент, *ultima ratio* \* современной полемики. Да, Кузен стоит там, как знаменосец свободы мысли, и знамя ее развевается над Сорбонной, столь бесславным некогда гнездом обскурантов. В пользу Кузена особенно свидетельствует то любвеобильное коварство, с которым враги его сумели воспользоваться обвинениями Пьера Леру. На этот раз злая ложь спряталась за спину добродетели, и Кузена обвиняют в таком поступке, за который, если бы он действительно совершил его, клерикальная партия должна была бы воздать ему хвалу, полную ортодоксальную хвалу; ведь янсенисты, так же как иезуиты, всегда проповедывали правило, что только явному соблазну следует препятствовать во что бы то ни стало. Только явный соблазн — грех, и только его следует избегать, — так елейно говорил набожный человек, канонизированный Мольером. Но нет, Кузен не может похвалиться столь назидательным деянием, какое приписывают ему; оно скорее в духе его противников, которые искони, лишь бы избежать скандала или защитить слабые души от сомнения, не стеснялись

\* крайний довод

уродовать книги или и вовсе переиначивать их, или уничтожать их, а иногда мастерить совершенно новые произведения, прикрывая их украденным именем, так что драгоценнейшие памятники и документы прошлого частью совсем погибли, частью же оказываются подложными. Нет, святое рвение — кастрация книг и даже набожная ложь интерполяций — не относится к привычкам философов.

А Виктор Кузен — философ в полном, немецком смысле этого слова. Пьер Леру — философ только в том смысле, который этому слову придают французы, понимающие под философией скорее общие исследования в области общественных вопросов. Действительно, Виктор Кузен — немецкий философ, который больше занимается человеческим духом, нежели потребностями человечества, и в известной степени стал эгоистом благодаря размышлениям о великом Его \*. Пристрастие к мысли самой по себе поглотило все его духовные силы, но самая мысль возбудила его интерес прежде всего красотой формы, и в метафизике ему в сущности доставляла удовольствие только диалектика; перефразируя известное речение о переводчике Платона, можно было бы, пожалуй, утверждать, что Платона он любит больше, чем истину. Этим Кузен отличается от немецких философов; для него, как и для них, мышление является конечной целью мышления, но с этим отсутствием философской цели у него сочетается еще некоторый артистический индифферентизм. Как он, должно быть, ненавистен Пьеру Леру, который является другом людей в гораздо большей мере, чем другом мыслей, все мысли которого имеют одну заднюю мысль — а именно, интересы человечества, и которому, как иконоборцу от природы, совершенно чуждо всякое художественное наслаждение формой! В этом умственном различии достаточно причин для вражды, и нет надобности объяснять неприязнь Леру к Кузену личными мотивами,

\* Я.

мелкими случайностями обиденной жизни. Частица невинной личной злобы, пожалуй, тоже замешана здесь, ибо добродетель, как бы высоко ни подымала она голову, касаясь ею облаков и погружаясь лишь в созерцание неба, все же неизменно хранит в памяти каждый самый малый укол, полученный ею когда-либо.

Нет, страстная злоба, бешеная ярость Пьера Леру против Виктора Кузена — следствие духовного различия между этими людьми. Это характеры, неизбежно отталкивающие друг друга. Только придя в изнеможение, они сближаются между собою, и одинаковая слабость фундамента придает противоположным доктринам известное сходство. Эклектицизм Кузена — тонкий проволочный мост, соединяющий шотландски-неуклюжий эмпиризм и немецки-отвлеченную идеальность, мост, который в лучшем случае может удовлетворить легконогим потребностям нескольких пешеходов, но который преплачевно провалился бы, если бы по нему захотело пройти человечество с тяжелой своей сердечной кладью и топочущими боевыми конями. Леру — *pontifex maximus* в более высоком, но гораздо менее практическом стиле, он хочет построить колоссальный мост, единственная арка которого покоилась бы на двух столбах, возведенных — один из материалистического гранита прошлого века, а другой — из утопических лунных лучей будущего, и в основание этого второго столба он положит еще неоткрытую звезду млечного пути. Как только эта гигантская постройка будет окончена, мы сообщим о ней. Собственно о системе Леру пока что нельзя сказать ничего определенного; до сих пор он дает только материалы, разбросанные камни. К тому же, у него полное отсутствие метода — недостаток, присущий французам, за немногими исключениями; в числе их особенно следует отметить Шарля де-Ремюза, который в своих «*Essais de philosophie*» \* (превосходная книга!) понял значение метода

\* «Философские опыты»

и выказал большой талант в применении его. Леру, конечно, выше его, как творец в области мышления, но ему, как я сказал, недостает метода. У него только идеи, и в этом смысле ему нельзя отказать в некотором сходстве с Иосифом Шеллингом; разница лишь та, что все его идеи касаются спасительного освобождения человечества и что он, будучи очень далек от того, чтобы на старую религию класть философские заплаты, скорее облекает философию в одеяния новой религии. Среди немецких философов Краузе более всех родственен Леру. Бог его — тоже не сверхчувственный, он живет в нашем чувственном мире, но сохраняет все же свою индивидуальность, которая очень ему идет. Леру не престанно пережевывает *immortalité de l'âme* \*, но никогда не насыщается ею; это не что иное, как усовершенствованное пережевыванье старого учения о совершенствовании. Так как Леру хорошо вел себя в этой жизни, он в будущем существовании надеется достичь совершенства еще более высокого; бог да поможет тогда Кузену, если он за это время не сделает таких же успехов!

Пьеру Леру, должно быть, лет пятьдесят, по крайней мере, столько можно ему дать; может быть, он моложе. В физическом отношении природа не слишком щедро наделила его. Это — приземистая, коренастая, плотная фигура, которую традиции высшего света не могли научить какой-либо грации. Леру — дитя народа; в молодости он был типографщиком, и до сих пор еще наружность его хранит отпечаток пролетария. Вероятно, он сознательно пренебрегает обычным лоском, и если он способен к какому-либо кокетству, то, пожалуй, оно состоит в упрямом пристрастии к грубой первобытности. Есть люди, которые никогда не носят перчаток, потому что у них маленькие белые ручки, свидетельствующие об аристократическом происхождении. Пьер Леру тоже не носит перчаток, но, наверно, по

\* бессмертие души

совсем другой причине. Он — аскет, сторонник самоотречения, враждебный роскоши и всякому чувственному наслаждению, и природа облегчила ему путь добродетели. Но в меньшую заслугу ставим мы ему благородство его образа мыслей, рвение, с которым он в жертву мысли принес все низшие интересы, вообще — его высокое бескорыстие, и мы еще дальше от мысли — унижать достоинство грубого алмаза только потому, что ему не хватает блестящей шлифовки и что даже оправой ему служит мрачный свинец. Пьер Леру — человек, и, что очень редко, с мужественностью характера в нем сочетается ум, подымающийся до высочайших философских построений, и сердце, способное погружаться в бездны народного горя. Он не только мыслящий, но и чувствующий философ, и вся жизнь его и стремления направлены на улучшение морального и материального состояния низших классов. Он, закаленный боец, который, не моргнув глазом, перенес бы жесточайшие удары судьбы и который, подобно Сен-Симону и Фурье, терпел порою горчайшую нужду и лишения и особенно не жаловался на них, — он не в силах спокойно переносить бедствия своих собратьев-людей; на его ресницах появляется слеза, когда он видит чужое горе, и взрывы его сострадания бывают бурны, яростны, часто несправедливы.

Я только что провинился нескромным указанием на бедность. Но я не мог не упомянуть о ней; эта бедность характерна и показывает нам, что этот превосходный человек не только рассудком понял муки народа, но и сам выстрадал их, и что мысли его имеют корни в самой страшной действительности. Это придает его словам пульсацию жизни и обаяние, более могущественное, чем силы таланта. Да, Пьер Леру беден, как были бедны Сен-Симон и Фурье, и providенциальная бедность этих великих социалистов обогатила мир, обогатила сокровищницей мыслей, которые открывают нам новые миры наслаждения и счастья. Всем известно, в какой ужасной нищете прожил Сен-Симон свои последние

годы; в то время как он занимался страждущим человечеством, великим пациентом, измышляя лекарства от его восемнадцативекового недуга, он сам порой болел от нищеты и свое существование поддерживал только милостыней. Фурье тоже должен был жить подаянием своих друзей, и я часто видел, как он в своем сером, поношенном сюртуке быстро шел вдоль колонн Пале-Рояля, с нагруженными карманами, причем из одного выглядывало горлышко бутылки, а из другого длинный хлеб. Один из моих друзей, который первый показал мне Фурье, обратил мое внимание на бедность этого человека, который сам должен был ходить в винную лавку за вином и к булочнику за хлебом. «Как это может быть, — спросил я, — что такие люди, такие благодетели человечества должны во Франции терпеть нужду?» — «Разумеется, — отвечал с саркастической улыбкой мой друг, — это не делает особенной чести прославленной стране разума, и, конечно, это не могло бы иметь места у нас в Германии: людей с таким образом мыслей правительство тотчас взяло бы под особую опеку и дало бы им на всю жизнь даровой стол и квартиру».

Да, бедность — это во Франции участь друзей человечества, но для них эта бедность — не только толчок к более глубоким исследованиям и укрепляющая духовные силы железистая ванна, — она также реклама, рекомендующая их учение, и в этом смысле она тоже играет providentialную роль. В Германии отсутствие земных богатств извиняют весьма добродушно, и в особенности гений имеет у нас право голодать и нищенствовать, не заслуживая этим презрения. В Англии люди уже менее терпимы, заслуги человека там оценивают только по его доходам, и «how much is he worth?» \* буквально означает: «сколько у него денег, сколько он зарабатывает?» Во Флоренции я собственными ушами слышал, как толстый англичанин с полной серьезностью спрашивал францисканского монаха, сколько

\* чего он стоит, каковы его заслуги?

он зарабатывает в год тем, что ходит босой и с толстой веревкой вместо пояса. Во Франции — не то, и как ни сильно распространена там жажда промышленного стяжания, все же бедность лучших людей, действительно, является для них почетным титулом, и я почти готов утверждать, что богатство, давая повод к подозрению в нечестности, бросает тайное пятно, *levis nota*, на людей, в других отношениях безупречных. Вероятно, причина та, что известны нечистые источники, откуда возникло столько крупных состояний. Один поэт сказал: «Первый король был счастливый воин!»; насчет основателей нынешних наших финансовых династий мы можем, пожалуй, прозаически сказать, что первый банкир был счастливый мошенник. Правда, культ богатства является во Франции столь же всеобщим, как и в других странах; но это культ без благоговения; француз тоже пляшет вокруг золотого тельца, но пляска его в то же время и зубоскальство, шутка, насмешка над самим собою, нечто в роде канкана. Это — удивительное явление, которое можно отчасти объяснить великодушным характером французов, отчасти же и их историей. При старом режиме лишь происхождение имело цену, только число предков давало право на уважение, и честь была плодом с родословного древа. Во время Республики власти достигла добродетель, и деньги попрятались не только из страха, но и от стыда. К этому времени относится возникновение многочисленных толстых су, серьезных медных монет с символами свободы, равно как и традиций денежного бескорыстия, которые мы еще и теперь находим у высших сановников Франции. Во время Империи цвела только военная слава, возникла новая честь — Почетный легион, гротеск которого, победоносный император, с презрением смотрел на гильдию торгашей, занятую денежными расчетами, на подрядчиков, контрабандистов, маклеров, удачливых жуликов. Во время Реставрации богатство интриговало против призраков старого режима, которые снова стали у власти и наглость которых росла

с каждым днем; оскорбленные, честолюбивые деньги стали демагогичны, начали любезничать с санкюлотами, и когда июльское солнце распалило умы, короля-дворянина Карла X скинули с престола. На престол поднялся король-буржуа Луи-Филипп, — он, представитель денег, которые властвуют теперь, но против которых в общественном мнении фрондируют и побежденная партия прошлого и обманутая партия будущего. Да, аристократическое Сен-Жерменское предместье и пролетарские предместья Сент-Антуан и Сен-Марсо изощряются в насмешках над гордыми выскочками-богачами, и само собою понятно, что старые республиканцы с их добродетельным пафосом и бонапартисты с патетически-героическими тирадами вторят в том же пренебрежительном тоне. Если взвесить эти совместно действующие злобы, то станет ясно, почему теперь общественное мнение относится к богатым с почти преувеличенным презрением, в то время как всякий жаждет богатства.

Возвращаясь к теме, которою я начал эту главу, я в особенности хотел бы отметить здесь, что для коммунизма исключительно благоприятно то обстоятельство, что враг, с которым он борется, несмотря на всю свою мощь, лишен внутренней нравственной опоры. Современное общество защищается только по необходимости, без веры в свое право, даже без уважения к самому себе, совершенно так, как защищалось то древнее общество, гнилые балки которого рухнули, когда пришел сын плотника.

## II

Париж, 8 июля 1843

В Китае даже извозчики вежливы. Когда в узкой улице экипажи их сталкиваются и цепляются друг за друга дышлами и колесами, они отнюдь не ругаются и не богохульствуют, как извозчики у нас на родине, но спокойно спускаются с козел, без конца кланя-

ются и приседают, говорят друг другу различные любезности, затем соединенными усилиями стараются привести свои экипажи в должное положение, и когда все снова в порядке, они еще раз проделывают всяческие поклоны и приседания, прощаются друг с другом и разъезжаются. Однако не только наши извозчики, но и наши ученые должны были бы следовать их примеру. Когда эти господа приходят в столкновение, они не говорят любезностей и нисколько не стараются придти к взаимному соглашению, но ругаются и проклинаят друг друга, как извозчики Запада. И это плачевное зрелище являют нам, главным образом, богословы и философы, несмотря на то что первые особенно должны руководствоваться догматами смирения и милосердия, а вторые должны были бы в школе разума прежде всего научиться терпению и хладнокровию. Распря между университетом и ультрамонтанами обогатила уже нынешнюю весну такой флорой грубостей и ругательств, которая с большей пышностью не могла бы развиваться даже в наших немецких парниках. Все это разрастается, дает побеги, цветет с неслыханной роскошью. Мы не склонны, да и не обязаны собирать эти растения. Одурающий аромат ядовитых цветов мог бы броситься нам в голову и помешать оценить с холодным беспристрастием достоинство обеих партий и политический смысл и значительность борьбы. Как только страсти немного выдохнутся, мы попробуем предпринять такую оценку. Но мы можем сказать уже и сейчас: обе стороны правы, и людей побуждают к действию самая роковая необходимость. Хотя большинство католической партии, мудрое и умеренное, проклинает несвоевременное восстание, поднятое членами их партии, но те слушаются веления своей совести и высшего закона своей веры, *compelle intrare\**, они исполняют свой долг и тем самым заслуживают уважения. Мы их не знаем, мы не можем судить

\* Буквально: «заставьте [их] войти» (см. примеч.)

о их личности, и мы не имеем права сомневаться в их честности...

Эти люди отнюдь не принадлежат к числу моих любимцев, но, откровенно говоря, несмотря на их мрачный, кровавый фанатизм, они мне милее, чем веротерпимые амфибии религии и науки, те верующие эстеты, которые щекочут свои расслабленные души, наслаждаясь благочестивой музыкой и изображениями святых, и уж куда милее, чем дилетанты религии, которые влюблены в церковь, но не оказывают строгого повиновения ее догматам, которые только заигрывают со священными символами, но не хотят по-настоящему вступить с ними в брачный союз, и которых здесь называют *catholiques marrons* \*. Они теперь наполняют наши фешенебельные церкви, например *Sainte-Madeleine* или *Notre Dame de Lorette*, — эти священные будуары, где господствует приторнейший вкус рококо, кропильница, пахнущая лавандой, *prie-dieux* \*\* с мягчайшими подушками, розоватый свет и томные песнопения, всюду цветы и резвящиеся ангелы, кокетливое благоговение, обмахивающееся веерами Буше и Ватто, — помпадурствующее христианство.

Название «иезуиты», которое здесь присваивают противникам университета, неверно и несправедливо. Во-первых, иезуиты теперь уже не существуют в том смысле, который связывается с этим именем. Но если в высших сферах, в дипломатическом мире есть люди, которые всякий раз, когда наступает время революционного прилива, объявляют прибой столькох одновременно бушующих волн делом парижского *Comité directeur* \*\*\*, то и здесь внизу есть трибуны, которые, когда начинается отлив, когда волны снова отступают, приписывают это явление интригам иезуитов и серьезно воображают, будто в Риме пребывает генерал ордена иезуитов, руководящий всемирной реакцией с помощью своих

\* беглые католики

\*\* налог

\*\*\* Главный комитет, Руководящий комитет

замаскированных сыщиков. Нет, не существует в Риме такого генерала иезуитского ордена, да и в Париже нет никакого *Comité directeur*; это сказки для взрослых детей, всего лишь пугало, современный предрассудок. Или это просто военная хитрость, что противников университета объявляют иезуитами? Действительно, здесь не найдется имени менее популярного. В прошлом столетии против этого ордена велась такая основательная полемика, что немало времени должно еще пройти, прежде чем произнесут ему снисходительный, беспристрастный приговор. Мне кажется, что с иезуитами обращались подчас несколько по-иезуитски и что клеветы, в которых они были виновны, приносили им иной раз слишком большие проценты. К отцам ордена Иисуса можно было бы применить слова, сказанные Наполеоном о Робеспьере: они казнены, но не осуждены. Все же придет день, когда и им отдадут справедливость и признают их заслугу. Уже и сейчас мы должны признать, что учреждениями своей миссии они необычайно содействовали улучшению нравов, цивилизации, что они были целебным противоядием от зачумляющих жизнь миазмов Пор-Рояля, что даже подвергавшееся таким порицаниям учение о соглашении было, пожалуй, единственным средством, при помощи которого церковь могла сохранить господство над свободолюбивым, жаждущим наслаждений современным человечеством. «*Mangez un boeuf et soyez chrétiens*» \*, — говорили иезуиты своим духовным детям, которым на страстной неделе хотелось съесть кусочек говядины; но их уступчивость была следствием необходимости, и позднее, укрепив свою власть, они снова посадили бы плотоядное человечество на самую скудную постную пищу. Мягкие доктрины для мятежного настоящего, железные цепи для поработанного будущего. Они были так умны!

Но никакой ум не справится со смертью. Они давно лежат в могиле. Разумеется, есть люди в черных пла-

\* «Ешьте говядину и будьте христианами»

шах и огромных треугольных войлочных шляпах, но это не настоящие иезуиты. Так же, как иной раз смиренная овца из тщеславия или своекорыстия или ради шутки надевает волчью шкуру радикализма, так иногда в лисьей шкуре иезуитства оказывается скудоумный ослик. — Да, они умерли. Отцы общества Иисуса оставили в ризницах только свой гардероб, но не дух. Он появляется в других местах, и некоторые поборники университета, столь усердно заклинающие этот дух, быть может, одержимы им, сами того не замечая. Сказанное, конечно, не относится к господам Мишле и Кине, честнейшим и правдивейшим людям; нет, здесь я прежде всего имею в виду полноправного министра народного просвещения, ректора университета, господина Вильмена. Двусмысленный образ действий его высокопревосходительства всегда возмущает меня. Увы, только остроумие и слог этого человека заслуживают уважения. Кстати сказать, мы здесь видим, что знаменитое изречение Бюффона: «*Le style, c'est l'homme*» \*, в корне неверно: слог господина Вильмена прекрасен, благороден, соразмерен и опрятен. — Виктора Кузена я также не вполне могу избавить от упрека в иезуитстве. Небу известно, что я склонен отдавать справедливость достоинствам господина Кузена, что я охотно признаю блеск его ума; но слова, которыми он в Академии недавно возвестил перевод Спинозы, не свидетельствуют ни о мужестве, ни о любви к истине. Конечно, Кузен оказал бесконечную услугу интересам философии, сделав Спинозу доступным для мыслящей Франции, но он должен был бы тут же честно сознаться, что церкви он этим не принес большой пользы. Однако он сказал, что Спинозу перевел один из его учеников, воспитанник *École normale* \*\*, для того, чтобы приложить к нему опровержение, и что в то время как клерикальная партия столь резко нападает на универси-

\* «Слог — это человек»

\*\* высшая педагогическая школа

тет, именно этот бедный, невинный, обвиненный в ереси университет опровергает Спинозу, опасного Спинозу, этого непримиримого врага веры, писавшего свои богоубийственные книги пером из черного крыла Сатаны! «Кого здесь обманывают?» — восклицает Фигаро. Так объявил Кузен в Académie des sciences morales et politiques о французском переводе Спинозы; перевод чрезвычайно удался, а хваленое опровержение так слабо и убого, что в Германии его сочли бы произведением иронии.

## III

Париж, 20 июля 1843

Каждый народ имеет свой национальный недостаток, есть он и у нас, немцев, а именно — знаменитая медлительность; мы прекрасно знаем, что у нас свинец в сапогах и даже в ночных туфлях. Но какая польза французам от всей их быстроты, от их живого, проворного нрава, если они так скоро забывают то, что сделали? У них нет памяти, и это их величайшее несчастье. Здесь плоды всякого дела и всякого злодейства теряются вследствие забывчивости. Каждый день они вновь должны совершать круговорот своей истории, опять начинать свою жизнь сначала, снова биться в прежних сражениях, и на другой день победитель уже забывает, что он победил, а побежденный так же легкомысленно забывает свое поражение и его полезные уроки. Кто выиграл великое сражение в июле 1830 года? Кто его проиграл? Об этом, по крайней мере, должны были бы помнить в том большом госпитале, где, как выразился Минье, каждая низверженная власть помещала своих раненых! Мы позволяем себе сделать это единственное замечание по поводу прений, которые происходили в палате пэров по вопросу о среднем образовании и в которых клерикальная партия потерпела только видимое поражение. На самом деле она восторжествовала, и то, что она выступила на сцену как организованная

партия, было уже достаточным триумфом. Мы далеки от того, чтобы порицать это смелое выступление, и нам оно нравится гораздо больше, чем та болтающаяся нерешительность, в которой можно обвинить ее противников. Как жалок оказался господин Вильмен, мелкий ритор, ветреный *bel-esprit* \*, этот протухший вольтерьянец, чуть-чуть потершийся около отцов церкви, чтобы приобрести известную серьезную окраску, и одушевленный невежеством, почти что грандиозным. Не понимаю, как господин Гизо тут же не дал ему отставки, ибо это ученическое заимствование, это отсутствие самых скудных предварительных сведений, это научное ничтожество должны были возбудить неудовольствие великого ученого в гораздо большей степени, чем какая-либо политическая ошибка! Гизо несколько раз пришлось взять слово, чтобы хотя отчасти скрыть слабость и бессодержательность своего коллеги; но все, что он говорил, было вяло, бесцветно и неутешительно. Без сомнения, он говорил бы лучше, если б был не министром иностранных дел, а министром просвещения и ломал копыя, защищая особые интересы этого ведомства. Он даже оказался бы еще более опасным для противной партии, если бы, вовсе лишенный светской власти, вооруженный только своим умственным могуществом, он просто как профессор выступил на арену в защиту прав философии. В таком более благоприятном положении находился Виктор Кузен, и ему в этом случае прежде всего подобает честь. Кузен не дилетант философии, как довольно брюзгливо утверждали на днях; он скорее великий философ, он здесь родной сын философии, и когда на нее напали ее непримиримые враги, нашему Виктору Кузену пришлось произнести свое *oratio pro domo* \*\*. И говорил он хорошо, даже прекрасно, с убеждением. Великое зрелище всегда являются нам миролюбивейшие люди, которых отнюдь

\* остроумец

\*\* речь о себе.

не одушевляет жажда брани, но которые внутренними условиями своей жизни, силою событий, своею биографией, своим положением, своим характером, короче говоря — неотразимой властью рока бывают вынуждены вступить в бой. Таким бойцом, таким гладиатором необходимости явился Кузен, когда нефилософический министр народного просвещения оказался не в силах защитить интересы философии. Никто не знал лучше, чем Виктор Кузен, что дело здесь идет не о чем-либо новом, что слово его мало может способствовать разрешению старого спора и что нельзя ожидать решительной победы. Подобное сознание всегда действует гнетущим образом, и весь огненный блеск ума никак не мог скрыть здесь внутреннюю скорбь, вызванную бесплодностью всех усилий. Даже на противников Кузена речь его произвела впечатление, делающее ему честь, и вражда, которую они питают к нему, равносильна признанию. Вильмена они презирают, Кузена же боятся. Они боятся не его образа мыслей, не его характера, не его индивидуальных достоинств или недостатков, — они в нем боятся немецкой философии. О боже мой! Здесь нашей немецкой философии и нашему Кузену оказывают слишком большую честь. Хотя он рожден диалектиком, хотя он к тому же обладает величайшим талантом в области формы, хотя он при своей философской специальности имеет поддержку в большом художественном чутье, все же он еще очень далек от того глубокого понимания сущности немецкой философии, которое дало бы ему возможность формулировать ее системы чистым, ясным, общепонятным языком, что необходимо для французов, не столь терпеливых, как мы, при изучении отвлеченного языка. А то, чего нельзя выразить на хорошем французском языке, неопасно для Франции. Как известно, отделение *des sciences morales et politiques* Французской академии избрало задачей конкурса изложение немецкой философии, начиная с Канта, и очень может быть, что Кузен, которого тут надо считать главным распорядителем,

искал помощи чужих сил там, где его собственные оказались недостаточны. Но и другие не разрешили этой задачи, и в последнем торжественном заседании Академии нам было объявлено, что и в этом году не может быть присуждено премии ни за одно сочинение о немецкой философии.

## ТЮРЕМНАЯ РЕФОРМА И УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Париж, июль 1843

После четырехнедельных прений в палате депутатов о законопроекте тюремной реформы этот проект принят, наконец, с весьма несущественными поправками и значительным большинством голосов. Отметим с самого же начала, что только министр внутренних дел, истинный автор этого законопроекта, твердо стоял на высоте задачи, с точностью знал, чего хотел, и справлял торжество своего превосходства. Докладчик, господин Токвиль, заслуживает похвалы за ту твердость, с которой он отстаивал свои мысли; это человек с головой, не слишком мягкосердый и доводящий аргументы своей логики до точки замерзания; недаром его речам, точно рубленому льду, свойственен какой-то морозный блеск. Но то, чего недостает господину Токвилю, — нежная душевность, — в высшей степени присуща его другу господину де-Бомон, и эти двое неразлучных, всегда появляющиеся вместе, как в своих путешествиях, так и в своих сочинениях, прекрасно дополняют друг друга и в палате депутатов. Один, резкий мыслитель, и другой, мягкий, душевный человек, связаны между собою, как бутылочка с уксусом и бутылочка с прованским маслом. — Но оппозиция — как шатка, как бессодержательна, как слаба оказалась она на этот раз! Она не знала, чего хотела, она должна была признать необходимость реформы, не могла предложить ничего положительного, все время противоречила сама себе, возражая и тут, как обычно, только по глупой

привычке к оппозиционному ремеслу. А между тем, ей легко было бы удовлетворить этой наклонности, если б она села на высокого коня идеи, на какого-нибудь великодушного Россинанта из мира теорий, вместо того чтобы ползать по ровному месту, ловя случайные пробы и слабые стороны министерской системы, и придирается к мелочам, не будучи в силах потрясти целое. Даже наш несравненный дон Альфонсо де-Ламартин, изобретательный феодал, не выказал здесь своей идеальной рыцарственности. А представлялся ведь благоприятный случай, и он мог бы в потрясающих Олимп словах подвергнуть здесь обсуждению высочайшие и важнейшие вопросы человечества, он мог бы наговорить здесь целые огнедышащие горы речей и затопить палату океаном эсхатологической поэзии. Но нет, благородный гидальго оказался на этот раз лишенным своего прекрасного безумия и говорил так же благо-разумно, как самые трезвые из его коллег.

Да, только в области идеи оппозиция могла бы, если не одержать победу, то, по крайней мере, блеснуть. Оппозиция немецкая воспользовалась бы таким случаем, чтобы стяжать себе учений лавры. Потому что ведь тюремный вопрос — часть общего вопроса о значении наказания, и тут выступают на сцену обширные теории, о которых мы упомянем сегодня только с самой беглой краткостью, чтобы при обсуждении нового тюремного закона стать на немецкую точку зрения.

Мы видим здесь, прежде всего, так называемую теорию возмездия, старый суровый, первобытный закон, то *jus talionis* \*, которое мы в страшной наивности находим еще у ветхозаветного Моисея: жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб. С мученической смертью великого миротворца исчезла и эта идея искупления, и мы можем утверждать, что кроткий Христос лично дал удовлетворение древнему закону и уничтожил его для всего человечества. Странно! Меж тем как религия является

\* право или закон возмездия

здесь в свете прогресса, философия остается неподвижной: и теория уголовного права наших философов, от Канта до Гегеля, несмотря на все различие в выражениях, все еще остается старым *jus talionis*. Даже наш Гегель не сумел придумать ничего лучше и мог лишь в некоторой мере одухотворить, даже возвысить до поэзии, жестокость этой точки зрения. У него наказание — п р а в о п р е с т у п н и к а; дело в том, что, совершая преступление, он тем самым приобретает неотъемлемое право на соответственное наказание; последнее есть как бы объективное преступление. Здесь, у Гегеля, принцип искупления совершенно тот же, что у Моисея, лишь с тою разницей, что Моисей носил в груди античное понятие о роке, а Гегелем всегда руководило современное понятие о свободе; преступник у него — свободный человек, само преступление — акт свободы, и он должен получить то, чего заслуживает. Одно замечание по этому поводу. Мы далеко ушли от древнежреческой точки зрения, и нам противно думать, что если отдельная личность совершила злодеяние, все общество *in corpore* \* вынуждено совершить то же самое злодеяние, торжественно повторив его. Но для той современной точки зрения, которую мы встречаем у Гегеля, наш общественный уровень еще слишком низок, ибо Гегель всегда предполагает абсолютную свободу, от которой мы еще очень далеки и которой, пожалуй, достигнем не слишком скоро.

Вторая серьезная теория наказания — теория устрашения. В ней нет ничего ни религиозного, ни философского, она просто нелепа. По этой теории человека, совершившего преступление, карают для того, чтобы третий боялся совершить такое же преступление. В высшей степени несправедливо, чтобы кто-нибудь страдал для блага другого, и теория эта всегда напоминала мне бедных *souffre-douleurs* \*\*, которых в былые времена

\* в совокупности

\*\* те, на котором все вымещают

воспитывали с маленьким принцем и секли всякий раз, как их сиятельному товарищу случалось провиниться каким-нибудь проступком. Эта пошлая и легкомысленная теория устрашения заимствует у жреческой теории ее, так сказать, *pompes funèbres* \*, она также воздвигает на площади *castrum doloris* \*\*, чтобы приманить и смутить зрителей. Государство в этом случае — шарлатан, с той лишь разницей, что обыкновенный шарлатан уверяет, будто он не причиняет боли, когда рвет зубы, а этот шарлатан, напротив, своими страшными орудиями грозит причинить мучения сильнее тех, которые, быть может, на самом деле придется вынести бедному пациенту. Это кровавое шарлатанство всегда было мне противно.

Упомянуть ли мне здесь, как об особой теории, о так называемой теории физического принуждения, которая в мое время появилась на свет в Геттингене и его окрестностях? Нет, она не что иное, как старое тесто устрашения, лишь по-новому замешанное. Об этой теории я как-то целую зиму слушал низменно-прозаическую болтовню ганноверского Ликурга, прискорбного гофрата Бауэра. Этой попытке я подвергал себя тоже вследствие физического принуждения, так как болтун был экзаменатором на моем факультете, а я в то время собирался стать *doctor juris* \*\*\*.

Третья крупная теория наказания — та, которая имеет в виду улучшение нравственности преступника. Истинная родина этой теории — Китай, где всякий авторитет восходит к отцовской власти. Всякий преступник там — невоспитанное дитя, которое отец пытается исправить, и притом — бамбуковой тростью. В новое время этот патриархальный, добродушный взгляд нашел почитателей, главным образом, в Пруссии, и они пытались ввести его и в законодательство. Эта

\* похоронное великолепие

\*\* Буквально: «крепость скорби» (см. примеч.).

\*\*\* доктором прав

бамбуковая теория прежде всего вызывает в нас опасение, что не помогут никакие исправительные меры, пока не исправятся сами исправители. В Китае глава государства, кажется, смутно предчувствует такое возмущение, и когда в Серединной империи совершается какое-нибудь неслыханное злодеяние, император, сын неба, подвергает себя суровой каре, думая, что сам он каким-нибудь грехом навлек на страну это бедствие. Нам доставило бы большое удовольствие, если бы наш отечественный пиэтизм впадал в подобные заблуждения и для блага государства рьяно умерщвлял свою плоть. В Китае следствием этого патриархального взгляда является то, что наряду с наказаниями существуют и узаконенные награды, что за хорошие поступки человек получает какую-нибудь почетную пуговицу с бантом или без банта, подобно тому как за дурные поступки ему достается соответствующая порция ударов, и, таким образом, выражаясь философски, бамбук служит наградой порока, орден же — наказанием добродетели. Недавно в Рейнских провинциях сторонники телесного наказания натолкнулись на сопротивление, источником которого являются чувства не особенно оригинальные, чувства, на которые, к сожалению, следует смотреть, как на пережиток французского чужеземного господства.

У нас есть еще четвертая крупная теория наказания, которая едва может быть обозначена этим названием, так как понятие «наказания» здесь почти совершенно исчезает. Ее называют теорией предупреждения, ибо руководящим принципом здесь является предупреждение преступления. Самыми ревностными сторонниками этого принципа являются прежде всего радикалы всех социалистических направлений. Наиболее решительным среди них нужно считать англичанина Оуэна, не признающего права наказания до тех пор, пока не устранена причина преступления, социальное зло. Так думают и коммунисты как материалистического, так и спиритуалистического толка, причем последние еван-

гельскими текстами прикрашивают свое отвращение к традиционному уголовному праву, которое они называют ветхозаветным законом мести. Фурьеристы, будучи последовательны, тоже не могут признать права наказания, потому что по их теории преступления порождаются извращенными страстями, и государство их именно ставит себе задачей — путем новой организации человеческих страстей препятствовать их извращению. Конечно, сен-симонисты имели слишком высокое понятие о бесконечности человеческой души, чтобы вдаваться в такую же размеренную и нумерованную систематизацию страстей, какую мы встречаем у Фурье. Однако преступление они тоже считали не только результатом общественных недостатков, но и результатом неправильного воспитания, и от благовоспитанных, руководимых более правильно страстей ожидали полного возрождения, всемирного царства любви, где были бы преданы забвению все греховные предания и идея уголовного права показалась бы святотатством.

Менее восторженные и даже очень практические натуры также стали на сторону теории предупреждения, поскольку от воспитания народа они ожидали уменьшения числа преступлений. Они еще внесли совсем особые политико-экономические предложения, имеющие целью в достаточной мере защитить преступника от его собственных злых побуждений, подобно тому как общество охраняется от самого злодеяния. Мы стоим здесь на положительной почве теории предупреждения. Здесь государство становится как бы большим полицейским учреждением в благороднейшем и достойнейшем смысле слова, где злая склонность лишена всех побудительных мотивов, где выставки лакомств и модных товаров не вызывают бедняка на воровство, а бедную кокетливость — на проституцию, где никакие воровские выскочки, никакие Робер-Макеры высшего финансового мира, никакие торговцы человеческим мясом, счастливые мерзавцы, не смеют открыто выставить напоказ свою бесстыдную роскошь, короче говоря,

где подавляется развращающий дурной пример. Если же, несмотря на все меры предосторожности, преступления все же имеют место, то преступников стараются обезвредить, их сажают в тюрьму или, если они уж слишком опасны для общественного спокойствия, то понемножку казнят. Правительство, как представитель общества, пользуется здесь наказанием не как карой, а как необходимым средством самообороны, и большая или меньшая степень этого наказания определяется только степенью потребности в социальной самозащите. Только с этой точки зрения мы стоим за смертную казнь, или, вернее, за умерщвление крупных злодеев, которых полиция должна уничтожать так же, как она убивает бешеных собак.

Если внимательно прочесть *exposé des motifs* \*, который французский министр внутренних дел предпосылает своему законопроекту, касающемуся тюремной реформы, то станет очевидно, что основную мысль составляет здесь последний из указанных взглядов и что так называемый принцип пресечения является у французов в сущности лишь практикой нашей теории предупреждения.

Итак, в принципе все наши взгляды совершенно согласны с взглядами французского правительства. Но чувства наши восстают против средств, которыми должно быть осуществлено доброе намерение. К тому же, эти средства мы считаем совершенно неподходящими для Франции. В этой общительной стране одиночное заключение, пенсильванская система была бы неслыханной жестокостью, и французский народ слишком великодушен, чтобы подобной ценой купить свое общественное спокойствие. Поэтому я убежден, что, даже после того как палаты дадут свое согласие, — страшная, бесчеловечная, прямо-таки противоестественная система одиночного заключения не будет осуществлена, а те многие миллионы, которых будут стоять соответ-

\* изложение причин

ствующие постройки, слава богу — брошенные деньги. Эти темницы нового буржуазного рыцарства народ разнесет с таким же озлоблением, с каким он некогда разрушил дворянскую Бастилию. Как бы страшна и мрачна ни была она на вид, все же она была лишь светлым киоском, веселой беседкой, по сравнению с этими маленькими, немymi американскими преисподними, которые мог выдумать только тупоголовый пьетист, а одобрить — бездушный лавочник, трепещущий за свою собственность. Добрый благочестивый буржуа может спокойно спать отныне — об этом с похвальным усердием будет заботиться правительство. Но почему бы им и не спать немножко меньше? — Лучшие люди должны теперь проводить ночи, бодрствуя. И к тому же, разве нет у них господ бога, который защитит их, благочестивых? — Или они, благочестивые, сомневаются в этой защите?

## ИЗ ПИРЕНЕЕВ

### I

Барез, 26 июля 1846

С незапамятных времен не было такого большого съезда на барезские воды, как в этом году. Деревушка, насчитывающая около шестидесяти домов и несколько дюжин временных бараков, уже не может вместить всех больных; приехавшие слишком поздно лишь с трудом нашли жалкое пристанище на одну ночь и должны были уехать обратно, не получив исцеления. Большинство приезжих — французские военные, собравшие в Африке обильную жатву лавров, ран и ревматизма. Раздается крик старших офицеров времен Империи, старающихся в ванне потопить память славных дел, которая при всякой перемене погоды вызывает у них такой неприятный зуд. Находится здесь также и немецкий поэт, которому, пожалуй, от многого надо исцелиться, но который до сих пор отнюдь не потерял рассудка и уж во всяком случае не посажен в сумасшедший дом, как сообщал берлинский корреспондент в достохвальной «Лейпцигской Всеобщей Газете». Конечно, мы можем ошибаться: Генрих Гейне, пожалуй, безумнее, чем думает сам; но мы с уверенностью можем утверждать, что здесь, в анархической Франции, ему все еще позволяют расхаживать на свободе, чего, вероятно, не разрешили бы в Берлине, где полиция умственной безопасности распоряжается строже. Как бы то ни было, благочестивые души на Шпре могут утешиться: если не дух, то тело поэта достаточно обременено сокрушитель-

ными недугами, и на пути из Парижа сюда его страдания были так нестерпимы, что недалеко от Багер-де-Бигор ему пришлось оставить экипаж и продолжать дорогу по горам на носилках. Во время этого возвышенного путешествия он видел немало отрадных картин; никогда еще солнечный блеск и зелень лесов не пленяли его так глубоко, и вершины огромных утесов, подобные головам каменных великанов, смотрели на него со сказочным состраданием. Верхние Пиренеи дивно хороши. Особенно живительно действует на душу музыка горных ручьев, которые, словно оркестр в полном составе, низвергаются в шумящий поток долин, так называемый Gâve. Так пленительно при этом звучат колокольчики овечьих стад, особенно, когда эти стада целой толпой, прыгая и словно ликуя, спускаются с горных пастбищ; впереди идут длинношерстные овцы и бараны с дорическими рогами, и на шеях у них большие колокольчики, а рядом бежит молодой пастух, который ведет их на стрижку в деревню, лежащую в долине, и собирается заодно навестить свою милую. Несколько дней спустя звон колокольчиков уже менее весел, потому что тем временем была гроза, низко нависли пепельно-серые тучи и молодой пастух со своими остриженными, зябнущими, голыми барашками снова грустно поднимается в свое горное уединение; он весь закутан в коричневый, обильный заплатами плащ, и расставание, быть может, было горько.

Это зрелище мне живо напоминает чудную картину Декампа, которая была в этом году на выставке и которую многие, в том числе и самый сведущий в искусстве француз — Теофиль Готье, подвергали несправедливо суровому порицанию. Пастух, представленный на этой картине во всем своем изодранном величии и похожий на настоящего короля нищих, старается укрыть от дождя бедную овечку под лохматými плаща на своей груди, тупые мрачные грозовые тучи с их мокрыми гримасами, безобразно-косматая овчарка, — все на этой картине изображено так правдиво, с такой верностью

природе Пиренеев, — без всякой сентиментальной окраски и без слащавой идеализации, — что талант Декампа почти пугает нас, открываясь здесь в своей самой наивной обнаженности.

Сейчас многие французские художники весьма удачно пользуются для своих произведений Пиренеями, главным образом, в виду здешних живописных национальных костюмов, и произведения Лелё, которым наш меткий собрат по оружию всегда давал такую удачную оценку, заслуживают похвал, выпавших им на долю. Этот художник также отличается верностью природе, у него она лишена скромности, она выступает почти слишком задорно и вырождается в виртуозность. Действительно, одеяния горных жителей, беарнцев, басков и пограничных испанцев, так своеобразны и так картинны, как только может требовать молодой энтузиаст кисти, презирающий пошлый фрак; особенно живописен головной убор женщины, яркокрасный капюшон, спускающийся до бедер и закрывающий черный пояс. Одетые таким образом пастушки представляют очаровательнейшее зрелище, когда, сидя на муле, высоко в седле, и держа подмышкой старинную прялку, они со своими рогатыми черными питомцами перебираются через самые высокие горные вершины, и причудливое шествие вырисовывается чистейшими контурами на солнечноголубом фоне неба.

Здание, в котором находится барезжское купальное заведение, составляет жуткий контраст с окружающими красотами природы, и его хмурая внешность вполне соответствует внутренности помещения: зловеще-мрачные каморки, подобные склепам, со слишком узкими каменными ваннами, чем-то в роде временных гробов, в которых ежедневно в течение часа можно упражняться в неподвижном лежании с вытянутыми ногами и скрещенными на груди руками, — полезная подготовка для кончающих свой жизненный путь. Самым плачевным несовершенством Барезжа является недостаток воды; целебная влага течет в недостаточном изобилии. Печаль-

ное пособие в этом отношении оказывают так называемые бассейны, довольно узкие водоемы, в которых одновременно может купаться в стоячем положении дюжина или даже полторы дюжины человек. Здесь случаются соприкосновения, которые редко бывают приятны, и тут понимаешь во всем их глубокомыслии слова веротерпимого венгерца, который, поглаживая усы, говорил своему товарищу: «Мне совершенно все равно, что представляет собой человек, христианин ли он или еврей, республиканец или бонапартист, турок или пруссак, — лишь бы он был здоров».

## II

Бареж, 7 августа 1846

О терапевтическом значении здешних купаний я не решаюсь высказать определенного суждения. Да, пожалуй, и вообще нельзя сказать о них ничего определенного. Можно химически разложить воду источника и точно вычислить, сколько в ней содержится серы, соли или масла, но никто не решится, даже в определенных случаях, объявить действие этой воды вполне испытанным, надежным целебным средством, — так как это действие целиком зависит от индивидуальных свойств организма больного, и купанье, которое при одинаковых болезненных симптомах приносит пользу одному, на другого не действует вовсе, или, пожалуй, даже оказывает самое вредное влияние. Целебные источники, так же как, например, магнетизм, имеют в себе силу, которая вполне доказана, но нисколько не определена и границы которой, так же как ее сокровеннейшая сущность, до сих пор остались неизвестны исследователям, и врач применяет их только в виде опыта, в том случае, когда все другие средства недействительны. Когда сын Эскулапа совсем уже не знает, что ему делать с пациентом, он посылает нас на воды с длиннейшим предписанием, которое представляет не что иное, как открытое рекомендательное письмо к случаю!

Съестные припасы здесь очень плохи, но тем дороже. Завтрак и обед в высоких корзинах приносят в комнаты к приезжим довольно неопрятные служанки, совсем как в Геттингене. Если б только у нас здесь был тот же юношеский академический аппетит, с которым мы когда-то разжевывали самую сухую ученую телятину Георгии-Августы! Сама жизнь здесь так же скучна, как на усеянных цветами берегах Лейны. Но я не могу не упомянуть, что мы насладились двумя прелестными балами, причем все танцоры явились без костылей. Не обошлось тут без нескольких дочерей Альбиона, отличавшихся красотой и неуклюжестью; они танцевали так, как будто ехали верхом на ослах. Среди француженок блистала дочь знаменитого Целлариуса, которая — о, что за честь для маленького Барежа! — собственными ножками протанцевала здесь польку. Несколько молодых балетных русалок парижской Большой оперы, называемых крысами, в том числе и среброногая мадмуазель Леломм, кружились здесь, проделывая свои антраша, и, при виде их, мне опять живо вспомнился мой милый Париж, где из-за одних танцев и музыки мне под конец стало невмоготу и куда, однако, сердце стремится опять. Причудливо-забавное волшебство! От одних удовольствий и увеселений Париж в конце концов делается так утомителен, так тягостен, так невыносим, все утехи связаны с таким изнуряющим напряжением, что испытываешь ликующую радость, когда, наконец, становится возможным бежать с этой увеселительной каторги, — а не успеет пройти несколько месяцев вдали от нее, как какая-нибудь мелодия вальса или просто тень ножки балерины пробуждают в нас самую страстную тоску по Парижу! Но это случается только со старыми питомцами этого сладостного тюремного заведения, отнюдь не с юными буршами нашей корпорации, которые, проведя короткий семестр в Париже, прехалобно сетуют, что здесь не так уютно-тихо, как по ту сторону Рейна, где введена система одиночного размышления, что здесь нельзя так спокойно собраться

с мыслями, как, хотя бы, в Магдебурге или Шпандау, что нравственное чувство здесь утрачивается в шумных волнах наслаждения, которые обгоняют одна другую, что образ жизни здесь слишком рассеянный... Да, он в Париже, действительно, слишком рассеянный, ибо в то время, как мы стараемся рассеяться, рассеиваются и наши деньги!

Ах, деньги! Рассеиваться они умеют даже здесь, в Бареже, несмотря на скуку этой целительной дыры. Дороговизна здешней жизни превосходит всякое представление; пребывание здесь обходится более чем вдвое против того, что тратишь на других водах в Пиренеях. И какая жадность у этих жителей гор, которых обычно почитают чем-то вроде детей природы, остатками простодушной расы! Они поклоняются деньгам с ревностью, близкой к фанатизму, и, собственно, это их национальный культ. Впрочем, разве деньги сейчас не божество всего мира, всемогущий бог, которого самый закоренелый атеист не может отрицать даже в течение каких-нибудь трех дней, ибо без его божественной помощи булочник не отпустит ему и самой маленькой булочки?

На этих днях, в сильный зной, явились в Бареж целые рои англичан; красно-здоровые, бифштексом упитанные лица, составляющие почти оскорбительный контраст с бледным обществом посетителей вод. Самый значительный среди этих приезжих — непомерно богатый и довольно известный член парламента из шайки ториев. Этот джентльмен, повидимому, не любит французов, но зато нас, немцев, удостаивает величайшей благосклонности. Он особенно восхвалял нашу честность и верность. И в Париже, где он думает провести зиму, он обзаведется не французскими слугами, а только немецкими. Я поблагодарил его за доверие, которым он почтил нас, и рекомендовал ему нескольких соотечественников, принадлежащих к исторической школе.

Как известно, в числе посетителей здешних вод находится также принц Немурский, который со своей семьей живет в нескольких часах пути отсюда, в Люце, но

ежедневно приезжает в Бареж брать ванну. Когда он в первый раз приехал для этого в Бареж, он сидел в открытой коляске, не смотря на то что в тот день стояла сквернейшая туманная погода; из этого я вывел заключение, что он, должно быть, очень здоровый человек и, во всяком случае, не боится насморка. Прежде всего он посетил здешний военный госпиталь, где благосклонно беседовал с больными солдатами, расспрашивая о их ранах, о времени их службы и так далее. Хотя подобная демонстрация является не чем иным, как старой пьесой для трубы, которая уже многим высоким особам служила для того, чтобы показать свою виртуозность, все же она всегда достигает цели, и когда принц прибыл в купальное заведение, где его ожидала любопытная публика, он уже был довольно популярен. Тем не менее герцог Немурский менее любим, чем его покойный брат, в достоинствах которого было больше искренности. Этот чудный человек, или, лучше сказать, эта чудная человеческая поэма, носившая имя Фердинанда Орлеанского, словно написана была популярным, понятным для всех стилем, тогда как герцог Немурский вылился в менее доступную для толпы художественную форму. Внешность обоих принцев всегда представляла замечательную противоположность. Внешность герцога Орлеанского была беспечно-рыцарственной; во внешности другого есть скорее нечто утонченно-патрицианское. Первый был настоящий молодой французский офицер, искрящийся самой легкомысленной отвагой, именно той породы, что с одинаковой охотой штурмует стены крепостей и женские сердца. Говорят, герцог Немурский — храбрый воин, полный самого хладнокровного мужества, но не очень воинственный. Поэтому, когда он достигнет власти, он не соблазнится трубой Беллоны с тою легкостью, на какую был способен его брат, — что очень приятно для нас, ибо мы предчувствуем, какая драгоценная страна может стать театром войны и какой наивный народ должен будет в конце концов оплатить

военные расходы. Я только хотел бы знать — так же ли терпелив герцог Немурский, как его славный отец, который благодаря этой особенности, отсутствующей у всех его французских противников, неумоимо одерживал победы и сохранял мир прекрасной Франции и всему свету.

## III

Бареж, 20 августа 1846

Герцог Немурский тоже терпелив. Что он обладает этой основной добродетелью, — я заметил по спокойствию, с которым он переносит всякое промедление, в то время как ему готовят ванну. Он отнюдь не напоминает своего двоюродного деда и его: «*J'ai failli attendre!*» \* Герцог Немурский умеет ждать, и я заметил в нем еще одно хорошее качество — он не заставляет долго ждать других. Я — его преемник (преемник по купальне), и должен сказать ему в похвалу, что он выходит из ванны так же пунктуально, как обыкновенный смертный, которому здесь время высчитано с точностью до одной минуты. Он каждый день приезжает сюда, — большей частью в открытом экипаже, и сам правит лошадьми; рядом с ним сидит скучающий кучер с нахмуренным, надутым лицом, а за ним его увесистый немецкий камердинер. Очень часто, если погода хорошая, герцог идет рядом с экипажем весь путь от Люда до Барежа, так как он, повидимому, очень любит физические упражнения. Часто также он, в обществе своей супруги, одной из красивейших женщин, предпринимает прогулки в замечательные горные местности. Так, он недавно приехал с нею сюда, чтобы подняться на *Pic du Midi*; и пока герцогиню с ее компаньонкой несли в гору на носилках, молодой герцог поспешил их обогнать, чтобы на вершине горы иметь возможность некоторое время без помехи и в одиночестве полюбо-

\* «Мне чуть было не пришлось ждать!»

ваться теми поразительными красотами природы, которые так идеально возвышают нашу душу над низким повседневным миром. Но когда принц взобрался на вершину горы, он узрел там вытянувшихся в струнку — трех жандармов! А ведь ничто в мире не может произвести более отрезвляющего и охлаждающего впечатления, чем лицо жандарма, подобное скрижалям закона, и ужасающий лимонно-желтый цвет его португези. Тут все мечтательные чувства, так сказать, задерживаются в груди *au nom de la loi* \*. Я грустно рассмеялся, когда мне рассказали, какой забавно-сердитый вид был у герцога Немурского при виде сюрприза, приготовленного ему на вершине Pic du Midi служебным рвением префекта.

Здесь, в Бареже, с каждым днем становится скучнее. Самое несносное, собственно говоря, — не отсутствие светских развлечений, а скорее то, что не испытываешь преимуществ одиночества, ибо здесь — вечный крик и шум, не допускающий тихой мечтательности и каждую минуту вспугивающий наши мысли. С раннего утра до поздней ночи раздается резкое, раздражающее нервы щелканье бичом — здешняя национальная музыка. Если же еще портится погода и горы в дремоте натягивают на уши свои туманные колпаки, время превращается в тоскливую вечность. Тогда сама богиня скуки, с главой, покрытой свинцовым капюшоном, и с «Мессиадой» Клопштока в руке, проходит по улицам Барежа, и в сердце того человека, на которого она бросит зевающий взгляд, засыхает последняя капля жизненной отваги! Дело доходит до того, что я с отчаянья больше не пытаюсь избегать общества нашего покровителя, члена английского парламента. Он все еще воздаст дань самого справедливого уважения нашим семейным добродетелям и нравственным достоинствам. Только мне думается, что любит он нас менее восторженно с тех пор, как я в одной из наших бесед заметил,

\* именем закона.

что немцы теперь испытывают сильное желание иметь флот, что мы для всех судов нашего будущего флота уже придумали имена, что патриоты в пританеях принуждения вместо шерсти, которую они пряли до сих пор, желают прясть только лен для парусины и что дубы в Тевтобургском лесу, спавшие со времен поражения Вара, проснулись, наконец, и добровольно предложили себя в мачты. Благородному британцу очень не понравилась эта новость, и он заметил, что мы, немцы, лучше сделали бы, если бы с нераздробленными силами продолжали постройку Кельнского собора, великого создания веры наших отцов.

Всякий раз, как я говорю с англичанами о своем отечестве, я с глубочайшим стыдом замечаю, что ненависть, которую они питают к французам, делает гораздо больше чести этому народу, чем та нахальная любовь, которую они проявляют к нам, немцам, и которой мы всегда обязаны какому-либо пробелу в нашем материальном могуществе или в наших умственных способностях: они нас любят за наше морское бессилие, при котором можно не заботиться ни о какой торговой конкуренции; они нас любят за нашу политическую наивность, которой надеются воспользоваться по-старому в случае войны с Францией.

## МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕЗОН 1844 ГОДА

### СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Париж, 25 апреля 1844

A tout seigneur tout honneur \*. Сегодня мы начнем с Берлиоза, первый концерт которого открыл собою музыкальный сезон и мог бы рассматриваться как увертюра к нему. Те более или менее новые вещи, которые были представлены здесь публике, были встречены подобающими аплодисментами, и даже самые вялые умы увлекла сила гения, проявляющегося во всех созданиях великого художника. Тут слышится взмах крыльев, обличающий не обыкновенную певчую птицу: это — огромный соловей, соловей орлиного роста, какие, будто бы, водились в первобытном мире. Да, в музыке Берлиоза мне чудится нечто первобытное, если не допотопное, и она мне напоминает об исчезнувших животных породах, о сказочных царствах и грехах, о нагромождении невозможностей, о Вавилоне, о висячих садах Семирамиды, о Ниневии, о чудесах Мицраима, подобных тем, какие мы видим на картинах англичанина Мартина. Действительно, если мы станем искать аналогии в живописи, то откроем самое родственное сходство между Берлиозом и безумным британцем: тот же вкус к чудовищному, к исполинскому, к материально неизмеримому. У одного — резкие теневые и световые эффекты, у другого — пронзительная инструментовка; у одного — мало мелодии, у другого — мало красок,

\* Всякому почет по заслугам.

у обоих мало красоты и никакой душевности. Их творения ни античны, ни романтичны, они не напоминают ни Грецию, ни католическое средневековье, нет, они восходят гораздо выше — к ассирийско-вавилонско-египетскому периоду архитектуры и к страсти масс, выразившейся в нем.

Зато каким приличным современным человеком является наш Феликс Мендельсон-Бартольди, наш высокознаменитый земляк, о котором мы упоминаем прежде всего по поводу его симфонии, исполнявшейся в концертном зале Консерватории! Деятельному усердию его здешних друзей и покровителей обязаны мы этим наслаждением. Хотя эта симфония Мендельсона была очень холодно встречена в Консерватории, все же она заслуживает признания всех настоящих знатоков искусства. Она подлинно прекрасна и принадлежит к лучшим работам Мендельсона. Но почему же столь заслуженный и высокоодаренный художник со времени исполнения «Павла», который был навязан здешней публике, никак не найдет себе лаврового венка, расцветшего для него на французской почве? Почему безуспешны здесь все старания, и последняя отчаянная попытка театра Одеон, исполнение хоров к «Антигоне», тоже привела лишь к плачевному результату? Мендельсон всегда дает нам повод для размышлений о высших проблемах эстетики. В частности, он всегда ставит перед нами великий вопрос: в чем различие между искусством и ложью? В этом художнике мы больше всего удивимся его великому формальному, стилистическому таланту, его дару усваивать самое исключительное, его чарующе прекрасной фактуре, его тонкому ящеричному слуху, его нежным щупальцам и его серьезному, я почти сказал бы страстному, равнодушию. Если мы станем искать аналогичных явлений в одном из родственных искусств, то найдем его на этот раз в поэзии, и называется оно Людвиг Тик. Этот художник тоже всегда умел воспроизводить, пером или словом, самое превосходное, он даже умел творить наивное, и все же он никогда не

создал ничего такого, что покоряло бы толпу и жило бы в ее сердце. Более одаренный Мендельсон уж скорее мог бы создать нечто бессмертное, но не в той области, где прежде всего требуется страсть и правда, то есть на сцене; также и Людвиг Тик, несмотря на его самое жгучее желание, никогда не мог создать произведения драматического.

Кроме симфонии Мендельсона, мы с большим интересом прослушали симфонию покойного Моцарта и не менее талантливое сочинение Генделя. Они имели большой успех.

Наш любезный соотечественник Фердинанд Гиллер пользуется среди настоящих знатоков искусства почетом слишком большим, чтобы мы, как ни велики имена, названные только что, все же не могли отметить его здесь наряду с композиторами, чьи произведения встретили в Консерватории заслуженное признание. Гиллер в большей мере мыслящий, нежели чувствующий музыкант, и помимо всего его упрекают в слишком большой учености. Пусть в его произведениях знание и ум иногда несколько расхолаживают, — как бы то ни было, они всегда грациозны, привлекательны и красивы. Здесь нет и следа криворотой эксцентричности, — Гиллер связан художественным родством душ со своим соотечественником Вольфгангом Гете. Гиллер тоже родился во Франкфурте, где я, когда был там последний раз проездом, видел его отцовский дом; он носит название «Зеленой лягушки», и на дверях дома находится изображение лягушки. Однако сочинения Гиллера никогда не напоминают этого немзыкального животного, а только соловьев, жаворонков и прочих весенних птиц.

И в этом году тоже не было недостатка в концертирующих пианистах. В частности, иды марта явились в этом отношении днями весьма роковыми. Все это тренькает во-всю и желает быть услышанным, хотя бы лишь для вида, чтобы по ту сторону парижской заставы иметь возможность вести себя так, как ведут себя великие знаменитости. Вымоленный или выкраденный клочок

фельетонной похвалы эти ученики в искусстве умеют, особенно в Германии, проэксплоатировать надлежащим образом, и вот в тамошних рекламах говорится, что прибыл знаменитый гений, великий Рудольф В., соперник Листа и Тальберга, фортепианный герой, который произвел в Париже такое сильное впечатление и которого даже хвалил критик Жюль Жанен. Осанна! Тот, кто случайно видел в Париже одну из этих бедных мух и вообще знает, как мало внимания обращают здесь на лиц гораздо более значительных, найдет легковесие публики весьма забавным, а тяжеловесное бесстыдство виртуозов весьма отвратительным. Но порок коренится глубже, а именно — в состоянии наших газет, последнее же есть лишь результат еще более бедственных условий. Я вынужден вечно повторять, что есть лишь три пианиста, заслуживающих серьезного внимания, а именно: Шопен, чарующий поэт-композитор, который, к сожалению, и эту зиму был очень болен и которого редко приходилось видеть; затем Тальберг, музыкальный джентльмен, которому, благодаря изяществу облика, в конце концов, вовсе и не нужно было бы играть на рояле, чтобы всюду быть приветствуемым, и который на свой талант смотрит, повидимому, как на придаток; и наконец, наш Лист, который, несмотря на все свои недостатки и оскорбительные угловатости, остается все-таки нашим дорогим Листом и в настоящую минуту снова привел в волнение высшее общество Парижа. Да, он здесь, великий агитатор, наш Франц Лист, странствующий кавалер всех возможных орденов (за исключением французского ордена Почетного легиона, которого Луи-Филипп не желает давать ни одному виртуозу), он здесь, гогенцоллерн-гехингенский советник, доктор философии и доктор-фокусник музыки, воскресший вновь гамельнский крысолов, новый Фауст, за которым вечно следует пудель в образе Беллони, — он здесь, возведенный в благородное звание дворянина и все же благородный Франц Лист! Он здесь, современный Амфион, который звуками своих струн при постройке

Кельнского собора привел в движение камни, так что они соединились вместе, как некогда стены Фив! Он здесь, современный Гомер, на которого, как на своего уроженца, предъявляют права Германия, Венгрия и Франция, три величайших страны, между тем как на певца «Илиады» заявляли притязания всего лишь семь маленьких провинциальных городишек! Он здесь, Атилла, божий бич всех эраровских роялей, которые уже при известии о его прибытии начинают трепетать, а под его руками содрогаются, истекают кровью и жалобно стонут, так что обществу покровительства животных следовало бы вступить за них. Он здесь, безумное, прекрасное, безобразное, загадочное, роковое и вместе с тем весьма ребячливое дитя своего времени, гигантский карлик, неистовый Роланд с венгерской почетной саблей, гениальный Иван-дурак, безумие которого нас самих сводит с ума и которому мы, во всяком случае, оказываем добросовестную услугу, доводя до всеобщего сведения о великом фуроре, вызываемом им здесь. Мы просто констатируем факт огромного успеха; как мы, с нашей частной точки зрения, объясняем этот успех и заслуживает ли вообще нашего частного одобрения знаменитый виртуоз или нет, — ему, наверно, безразлично, так как голос наш есть лишь голос отдельной личности, и авторитет наш в области музыки не имеет особого значения.

Когда прежде мне приходилось слышать о головокружении, охватывавшем Германию, особенно Берлин, всякий раз, как появлялся там Лист, я с состраданием пожимал плечами и думал: тихая предвоскресная Германия не хочет упустить случая — чуточку подвигаться в дозволенных пределах, она хочет немного поразмять отяжелевшие от сна члены, и мои абдериты на берегах Шпрее рады вызывать в себе щекоткой искусственный энтузиазм и декламировать, подражая друг другу: «Амур, повелитель людей и богов!» Для них, думал я, важно пошуметь ради самого шума, существенен шум как таковой, как бы ни назывался повод к нему — Георг

Гервег, Франц Лист или Фанни Эльслер; когда запрещают Гервега, они хватаются за Листа, безопасного и некомпрометирующего. Так думал я, так объяснял себе листоманию и считал ее признаком политически несвободного состояния по ту сторону Рейна. Я ошибся, однако, и это я заметил на прошлой неделе в Итальянской опере, где Лист давал свой первый концерт, и давал его перед публикой, которую вполне можно было назвать цветом здешнего общества. Во всяком случае, это были бодрствующие парижане, люди, которые в курсе всех великих современных событий, более или менее длительно переживали великую драму современности, в том числе немало инвалидов всех видов художественных наслаждений, самые усталые мужики дела, женщины, которые тоже очень устали, так как они всю зиму танцевали польку, множество занятых и пресыщенных душ — право же, не перед германски-сентиментальной, берлински-чувствительной публикой играл Лист, совершенно один, или, вернее, только под аккомпанемент своего гения. И все же какое сильное, какое потрясающее впечатление производила уже одна его наружность! Как неистово было одобрение, встретившее его аплодисментами! К ногам его бросали и букеты! То было возвышенное зрелище, когда триумфатор с душевным спокойствием стоял под дождем букетов и, наконец, учтиво улыбаясь, воткнул в петлицу красную камелию, взяв ее из одного такого букета. И это он сделал в присутствии нескольких молодых солдат, только что прибывших из Африки, где дождем на них сыпались не цветы, а свинцовые пули и где грудь их бывала украшена красными камелиями собственной героической крови, причем ни здесь, ни там на это не обращалось особенного внимания! Удивительно! думал я, эти парижане, видевшие Наполеона, которому приходилось давать одно сражение за другим, чтобы приковать к себе их внимание, они теперь встречают восторгами нашего Франца Листа! И какие восторги! Настоящее сумасшествие, неслыханное в летописях фурора. Но

в чем же причина этого явления? Решать этот вопрос должна, быть может, скорее патология, нежели эстетика. Один врач, специальность которого — женские болезни и которому я задал вопрос о чарах, держащих в своей власти публику нашего Листа, улыбнулся в высшей степени странно и наговорил тут всякой всячины о магнетизме, гальванизме, электричестве, о заразительности, неизбежной в душной зале, полной бесчисленных восковых свеч и нескольких сот надушенных и потеющих людей, об актерской эпилепсии, о явлении щекотки, о музыкальных кантаридах и других щекотливых вещах, имеющих, кажется, отношение к мистериям *bona dea* \*. Возможно, однако, что решение вопроса надо искать не в такой причудливой глубине, а на весьма прозаической поверхности. Все колдовство — так мне кажется временами — может быть объяснено тем, что никто в этом мире так хорошо не умеет организовать свои успехи, или, вернее, их *mise en scène* \*\*, как наш Франц Лист. В этом искусстве он гений, Филадельфия, Боско, более того — Мейербер. Аристократичнейшие личности являются его кумовьями, и его наемные энтузиасты образцово выдрессированы. Хлопающие бутылки шампанского и слухи о расточительной щедрости, про которую трубят наиболее заслуживающие доверия газеты, в каждом городе приманивают рекрутов. Тем не менее возможно, что наш Франц Лист, действительно, очень тароват по природе и чужд скряжничества, отвратительного порока, липнувшего к стольким виртуозам, в особенности итальянцам, и оказавшегося даже у сладостного, как флейта, Рубини, про скупость которого рассказывают весьма забавный во всех отношениях анекдот. Знаменитый певец вместе с Францом Листом предпринял артистическое турне, на половинных расходах, и доход от концертов, которые предполагалось давать в разных городах, они должны были делить между собою.

\* доброй богини.

\*\* постановку

Великий пианист, который всюду возит с собою генерал-интенданта своей славы, уже упомянутого синьора Беллони, поручил ему всю деловую сторону поездки. Но когда синьор Беллони, закончив все дела, дал отчет, Рубини с ужасом заметил, что в числе общих расходов была указана значительная сумма издержек на лавровые венки, букеты, хвалебные стихи и прочие принадлежности оваций. Наивный певец воображал, что эти знаки одобрения кидали ему ради его прекрасного голоса, им овладел теперь великий гнев, и он ни за что не хотел оплатить букеты, в которых, быть может, находились драгоценнейшие камелии. Если б я был композитором, этот спор дал бы мне прекрасный сюжет для комической оперы.

Но ах! Не будем слишком подробно вникать в почести, пожидаемые виртуозами. Ведь так краток день их суетной знаменитости, и скоро наступает час, когда музыкальный титан, сморщившись, может, пожалуй, превратиться в какого-нибудь весьма приземистого городского музыкуса, который, чество уверяя, рассказывает завсегдатаям своего кафе о том, как ему некогда бросали букеты с прекраснейшими камелиями и как однажды даже две венгерские графини, чтобы схватить его носовой платок, сами кинулись на пол и до крови защипали друг друга! Однодневная репутация виртуозов испаряется и замирает бесследно, точно крики верблюда в пустыне!

Переход от льва к кролику несколько резок. Все же я не могу не отметить здесь тех более смиренных пианистов, которые отличились в этом сезоне. Мы не можем все быть великими пророками, нужны также и малые пророки, которых двенадцать штук в дюжине. Самым большим среди малых мы признаем здесь Теодора Дёлера. Его игра мила, изящна, вежлива, чувствительна, и у него совсем своеобразная манера — горизонтально вытянув руку, ударять по клавишам только кончиками согнутых пальцев. После Дёлера особого упоминания среди малых пророков заслуживает Халле; это — Авва-

кум с заслугами столь же скромными, сколь и подлинными. Не могу не упомянуть здесь и о господине Шаде, который, быть может, занимает среди пианистов такое же место, какое Ионе принадлежит среди пророков; пусть никогда не проглатывает его кит!

В качестве добросовестного корреспондента, который должен сообщать не об одних только новых операх и концертах, но и обо всех прочих катастрофах музыкального мира, я должен сказать и о многочисленных бракосочетаниях, совершившихся в нем или грозящих развиться. Я говорю о действительных, пожизненных, в высшей степени пристойных браках, не о том диком брачном дилетантизме, который обходится без мера с трехцветным шарфом и церковного благословения. Chacun \* ищет сейчас свою chacune \*\*. Господа артисты приплясывают по-жениховски и напевают эпиграммы. Скрипка роднится с флейтой; не станет дело и за роговой музыкой. Один из трех знаменитейших пианистов недавно женился на дочери величайшего во всех отношениях баса Итальянской оперы; дама эта красива, приветлива и умна. Несколько дней тому назад мы узнали, что в священный брак вступает и другой замечательный пианист из Варшавы, что и он отваживается выплыть в то открытое море, для которого еще не изобрели компаса. Что же, смелый мореплаватель, отчаливай от берега, и буря да не сломает твоего весла! Теперь идет речь даже о том, что величайший скрипач, которого Бреславль прислал в Париж, женится здесь, что и этому знатоку смычка наскучила спокойная холостая жизнь и он хочет узнать страшный неведомый мир, расположенный по ту сторону. Мы живем в героический период. На этих днях обручился столь же знаменитый виртуоз. Он, как Тезей, нашел прекрасную Ариадну, которая будет вести его сквозь лабиринт этой жизни; у ней нет недостатка в клубке ниток, поэтому что она портниха.

\* каждый

\*\* каждую.

Скрипачи теперь в Америке, и до нас дошли забавнейшие известия о триумфальных шествиях Оле Булля, этого Лафайета пуфов, рекламного героя обоих полушарий. Антрепренер его успехов арестовал его в Филадельфии, чтобы заставить оплатить расходы на овации. Знаменитость заплатила, и теперь уже нельзя будет говорить, что белокурый норманн, гениальный скрипач, кому-нибудь обязан своим успехом. Тем временем мы здесь в Париже слушали Сивори; Порция еказала: «Раз уж господь бог выдает его за мужчину, то и я буду считать его мужчиной». Другой раз я, быть может, преодолею свое недомогание и поговорю об этом играющем на скрипке рвотном порошке. Александр Батта дал и в этом году хороший концерт; на большой виолончели он все еще плачет своими маленькими детскими слезами. По этому случаю я мог бы похвалить и господина Земмельмана; он в этом нуждается.

Эрнст был здесь. Он, однако, из каприза не пожелал дать концерта; ему угодно играть только у друзей. Этого артиста здесь любят и почитают. Он этого заслуживает: Он истинный преемник Паганини, он унаследовал колдовскую скрипку, которой генуэзец умел приводить в волнение камни, даже чурбаны. Правда, Паганини, который легким ударом смычка то уводил нас на самые солнечные выси, то открывал перед нами полные ужаса глубины, обладал мощью гораздо более демонической; но свет и тени бывали у него порою слишком резки, контрасты слишком яркие, и грандиознейшие звуки, внушенные ему природой, часто должны были казаться художественными промахами. Эрнст более гармоничен, и мягкие тона преобладают у него. Все же у него есть пристрастие к фантастическому, также и к причудливому, если даже не к комическому, и многие из его сочинений всегда напоминают мне комедии-сказки Гоцци, затейливейшие маскарады, «Венецианский карнавал». Музыкальное произведение, известное под этим названием и самым наглým образом украденное Сивори, — очаровательнейшее каприччио Эрнста. Этот

любитель фантастического может, если захочет, стать и чистым поэтом, и я недавно слышал его ноктюри, который словно весь напоен был красотой. Вам казалось, что вы перенеслись в итальянскую лунную ночь с молчаливыми кипарисовыми аллеями, отсвечивающими белыми статуями и мечтательно плещущими фонтанами. Эрнст, как известно, подал в Ганновере в отставку, и он уже больше не концертмейстер его величества короля Ганноверского. Да это место и не годилось для него. Ему бы гораздо больше шло дирижировать камерным оркестром при дворе какой-нибудь королевы фей, например, госпожи Морганы; здесь он нашел бы публику, которая лучше всех понимала бы его, а среди нее несколько высокопоставленных особ, столь же любящих искусство, сколь и баснословных, например, короля Артуса, Дитриха Бернского, Ожье Датчанина и других. А какие дамы стали бы аплодировать ему там! Конечно, хороши ганноверские блондинки, но ведь они только дурнушки по сравнению с феей Мелиор, с дамой Абундой, королевой Геновевой, прекрасной Мелузиной и другими знаменитыми женами, пребывающими при дворе королевы Морганы в Авалуне. При этом дворе (а не при каком-нибудь другом) мы надеемся когда-нибудь встретиться с превосходным артистом, ибо и нам тоже обещали там выгодную должность.

## С Т А Т Ь Я   В Т О Р А Я

Париж, 1 мая 1844

Académie royale de musique, так называемая Большая опера, находится, как известно, на улице Лепелетье, примерно, в середине ее, как раз напротив ресторана Паоло Броджи. Броджи — имя итальянца, бывшего некогда поваром Россини. Когда в прошлом году последний приезжал в Париж, он посетил и тратторию своего бывшего слуги и, пообедав там, долгое время простоял у двери, в глубоком раздумьи созерцая здание Большой

оперы. Слеза увлажнила его око, а когда кто-то спросил, чем он так печально взволнован, великий маэстро ответил, что Паоло приготовил для него, как в прежние времена, его любимое кушанье, равиоли с пармезаном, но сам он оказался не в силах съесть и половину порции, да и от нее ему тяжело; он, обладавший некогда желудком страуса, теперь съедает едва ли больше, чем влюбленная горлица.

Оставляем нерешенным вопрос, в какой мере старый насмешник мистифицировал своего нескромного вопрошателя, и ограничимся сегодня тем, что каждому любителю музыки посоветуем съесть у Броджи порцию равиоли, а затем также некоторое время постоять перед дверью ресторана, созерцая здание Большой оперы. Оно отнюдь не отличается блестящей роскошью, по внешности оно скорее похоже на весьма приличную конюшню, и крыша — плоская. На этой крыше стоят восемь больших статуй, которые изображают муз. Девятой недостает, а это увы! как раз и есть муза музыки. Отсутствие этой весьма почтенной музы порождает самые странные толки. Прозаические люди говорят, что с крыши ее сбросила буря. Души поэтические, напротив, утверждают, что Полигимния сама бросилась вниз в припадке отчаяния, вызванного отвратительным пением monsieur Дюпре. Это вполне возможно; разбитый стеклянный голос Дюпре стал так неблагозвучен, что ни один человек, а тем менее муза, не в силах вынести его. Если это еще продлится, то и остальные дочери Мнемозины бросятся с крыши, и вскоре станет опасно проходить вечером по улице Лепелетье. О скверной музыке, с некоторых пор господствующей здесь в Большой опере, я и говорить не стану. Доницетти в настоящую минуту еще самый лучший, он — Ахилл. Итак, нетрудно составить представление о героях менее значительных. Я слышу, что и этот Ахилл удалился в свой шатер; он будирует, бог весть отчего, и сообщил дирекции, что не даст обещанных двадцати пяти опер, так как намеревается

отдыхать. Какое хвастовство! Если бы нечто подобное сказала ветряная мельница, мы бы не меньше смеялись. Либо ветер есть, и тогда она вертится, либо ветра нет, и она останавливается. Но у господина Доницетти здесь имеется деятельный кузен, синьор Аккурзи, который вместо него постоянно говорит на ветер.

Последнее художественное наслаждение, доставленное нам Académie de musique, это «Lazzarone» Галеви. Это произведение постигла печальная участь; оно провалилось под звуки литавр и труб. Я воздерживаюсь от всякого суждения о его достоинстве; я просто констатирую его ужасный конец.

Всякий раз когда в Académie de musique или в Buffo проваливается опера или случается какое-нибудь исключительное фиаско, там замечают зловещего худощавого человека с бледным лицом и черными, как уголь, волосами, праматерь в мужском роде, чье появление всегда означает музыкальное несчастье. Итальянцы, едва завидят его, сразу же спешат вытянуть указательный и средний пальцы и говорят, что это jettatore \*. Легкомысленные же французы, у которых даже нет предрассудков, просто пожимают плечами и называют эту фигуру monsieur Спонтини. Это действительно наш бывший директор берлинской Большой оперы, автор «Весталки» и «Фердинанда Кортца», двух великолепных произведений, которые долго еще будут цвести в памяти людей и которыми долго еще будут восхищаться, между тем как сам автор не возбуждает никакого восхищения и превратился в иссохший завистливый призрак, в навязание, которое сердится, глядя на жизнь живых людей. Он не может утешиться, что давно уже умер и что скипетр его перешел в руки Мейербера. Последний, уверяет покойник, вытеснил его из Берлина, который он всегда так любил; и тот, кто из сострадания к бывшему величию, терпеливо выслушивает его, может узнать

\* Неаполитанское обозначение колдуна, человека с дурным глазом.

со всеми подробностями, как он собрал уже бесчисленные документы, чтобы разоблачить мейерберовские козни и заговоры.

Навязчивой идеей этого бедняги был и будет Мейербер, и рассказывают забавнейшие истории о том, как эта ненависть благодаря слишком большой примеси тщеславия обезвреживается. Если какой-нибудь писатель жалуется на Мейербера, — например, на то, что он все еще не положил на музыку его стихи, посланные уже много лет тому назад, — Спонтини быстро хватает за руку обиженного поэта и восклицает: «J'ai votre affaire \*», я знаю способ, каким вы можете отомстить Мейерберу, это верный способ, и состоит он в том, что вы напишете обо мне большую статью, и чем больше вы будете возвеличивать мои заслуги, тем больше будет сердиться Мейербер». Однажды французский министр раздраженно говорил о том, что автор «Гугенотов», несмотря на любезный прием, оказанный ему здесь, все же принял в Берлине рабскую придворную должность, а наш Спонтини подскочил к министру и воскликнул: «J'ai votre affaire, вы можете подвергнуть неблагодарного жесточайшему наказанию, поразить его кинжалом в сердце, — сделайте меня командором Почетного легиона». На-днях Спонтини застает Леона Пилье, несчастного директора Большой оперы, в минуту яростнейшего раздражения против Мейербера, который объявил ему через господина Гуэна, что ввиду плохого состава певцов он еще не желает ставить «Пророка». Как засверкали тут глаза итальянца! «J'ai votre affaire— воскликнул он в восхищении, — я дам вам божественный совет, как смертельно унижить честолюбца; велите изваять меня во весь рост, поставьте мою статую в фойе Оперы, и эта мраморная глыба, как кошмар, будет давить сердце Мейербера». Душевное состояние Спонтини начинает в конце концов внушать большую тревогу его родственникам, а именно семье богатого вла-

\* «Я знаю, что вам надо сделать»

дельца фортепианной фабрики Эрара, которому он доводится зятем. Недавно знакомый видел его в верхних залах Лувра, где выставлены египетские древности. Кавалер Спонтини стоял почти целый час со скрещенными руками, точно статуя, перед большою мумией, чье пышное золотое обличье говорит нам, что это — царь, и очевидно не кто иной, как тот Аменофис, в царствование которого евреи покинули страну египетскую. Спонтини же, наконец, прервал свое молчание и сказал следующее своей высочайшей сомумии: «Злополучный фараон! Ты виноват в моем несчастии. Если бы ты не выпустил детей Израиля из страны египетской или если бы ты их всех велел утопить в Ниле, то Мейербер и Мендельсон не вытеснили бы меня из Берлина, и я попрежнему управлял бы там Большой оперой и придворными концертами. Злополучный фараон, слабый крокодилий царь, твои полумеры привели к тому, что я теперь — погибший человек, и вот победили Моисей и Галеви и Мендельсон!» Такие речи произносит несчастный, и мы не можем отказать ему в сострадании.

Что касается Мейербера, то, как сказано выше, «Пророк» его еще долго не появится. Сам он, однако, не поселится навсегда в Берлине, как недавно сообщали о том газеты. Как и до сих пор, он одну половину года будет проводить здесь, в Париже, а другую — в Берлине, согласно формальному обязательству, которое он дал. Его положение очень напоминает положение Прозерпины, с той лишь разницей, что бедного маэстро и здесь и там ждут ад и адские муки. Мы уже нынешним летом ожидаем его сюда, в прекрасный подземный мир, где его ждет уже несколько дюжин музыкальных чертей и чертовок, чтобы своим ревом наполнить его уши. С утра до вечера ему приходится выслушивать певцов и певиц, желающих дебютировать здесь, а в свободные часы он должен заниматься альбомами английских путешественниц.

В дебютантах нынешней зимой в Большой опере не было недостатка. Немецкий соотечественник дебю-

тировал в «Гугенотах» в партии Марсея. В Германии он, пожалуй, был всего лишь деревенским детиной с грубым пивным голосом и решил поэтому, что может выступить в Париже в качестве баса. Кричал он, как дикий осел. Некая дама, которую я также подозреваю в том, что она немка, тоже появилась на подмостках улицы Лепелетье. Она, говорят, необычайно добродетельна и поет весьма фальшиво. Уверяют, что не только голос, но и все в ней — волосы, две трети зубов, бедра, зад, все фальшиво, только дыхание неподдельное; это заставит легкомысленных французов держаться в почти-тейнейшем отдалении от нее. Нашей примадонне, госпоже Штольц, не удастся долго продержаться; почва минирована под ее ногами, и хотя к ее услугам все уловки ее пола, все же в конце концов она будет побеждена великим Джакомо Макиавелли, которому хотелось бы, чтобы вместо нее ангажировали Виардо-Гарсиа для исполнения главной роли в его «Пророке». Госпожа Штольц предвидит свою участь, она предчувствует, что даже безумная любовь к ней директора Оперы не в силах ей помочь, если великий музыкальный искусник пустит в ход свои фокусы, и она решила по собственной воле покинуть Париж, никогда не возвращаться сюда и окончить жизнь в чужих краях. «*Ingrata patria, — сказала она недавно, — ne ossa quidem mea habebis*» \*. В самом деле, с некоторых пор она — кожа да кости.

У итальянцев, в Орега Буффа, минувшей зимой были столь же блистательные фиаско, как и в Большой опере. Много было там жалоб на певцов, с той разницей, что итальянцы иногда как будто не хотели петь, а бедные французские герои пения не могли петь. Лишь драгоценная соловьиная чета, синьор Марио и синьора Гризи, всегда точные, стояли на своем посту в зале Вантадур и, пуская свои трели, создавали вокруг

\* «Неблагодарное отечество! Даже и костей моих ты не получишь!»

нас самую цветущую весну, в то время как за стеклами — снег и ветер, и фортепианные концерты, и прения в палате депутатов, и безумствующая полька. Да, то прелестные соловьи, Итальянская же опера — вечно цветущий поющий лес, где я часто ищу прибежища, когда зимнее уныние обволакивает меня туманом или жизненный холод становится невыносим. Там, в уютном уголке закрытой логи, снова чувствуешь приятное тепло, и по крайней мере истекаешь кровью не на морозе. Мелодические чары там превращают в поэзию то, что сейчас лишь было грузной действительностью, печаль исчезает в цветочных арабесках, и сердце вскоре уже смеется вновь. Какое блаженство, когда поет Марио и пение любимого соловья словно отражается в глазах Гризи — зримое эхо! Какой восторг, когда поет Гризи и нежный взор и счастливая улыбка Марио мелодическим эхо откликаются в ее голосе! Это очаровательная пара, и персидский поэт, назвавший соловья розой среди птиц, а розу — соловьем среди цветов, попал бы тут в *imbroglio*\*, потому что они оба, и Марио и Гризи, одарены не только голосом, но и красотой.

Несмотря на присутствие этой прелестной пары, нам жаль, что здесь, в Буффах, нет больше Полины Виардо, или, как мы предпочитаем называть ее, Гарсиа. Ее не заменили, и никто не может ее заменить. Она — не соловей, одаренный только талантом своей породы и мастерски рыдающий и пускающий трели в произведении весеннего жанра; она также не роза, ибо она безобразна, но безобразие ее — особое, оно — благородно, прекрасно, и порою оно приводило в восторг великого львиного живописца Делакруа. В самом деле, Гарсиа напоминает не столько цивилизованную красоту и смирную грацию нашей европейской родины, сколько зловещее великолепие экзотической пустыни, и порою во время ее страстной игры, особенно когда

\* затруднение

она во всю ширь раскрывает свой большой рот с ослепительно белыми зубами и улыбается так жутко-нежно, так мило оскаливает зубы, — кажется, что вот появятся и громадные растения и звери Индостана или Африки; думаешь, что вот должны вырасти исполинские пальмы, обвитые лианами с тысячами цветов; и никто бы не удивился, если бы по сцене пробежали леопард или жирафа или даже стадо слонят. Нам было очень приятно услышать, что львица эта снова на пути в Париж.

В то время как Académie de musique находилась в прискорбнейшем упадке, а Итальянцы тоже влачили столь плачевное существование, — на самую отрадную высоту поднялась третья музыкальная сцена, Opéra comique. Здесь один успех превосходил другой, и в кассе все время стоял приятный звон. Да, денег тут пожали еще больше, чем лавров, что, разумеется, не есть несчастье для дирекции. Либретто новых опер, дававшихся здесь, все принадлежали Скрибу, человеку, который однажды изрек великое слово: «Золото—химера!» И тем не менее он постоянно гоняется за этой химерой. Это человек, верный деньгам, звонкому реализму, он никогда не забирается на высоты романтики, бесплодного мира облаков, и крепко цепляется за земную действительность брака по расчету, промышленной буржуазии и танъемы. Огромный успех имеет новая опера Скриба «Сирена», музыку для которой написал Обер. Либретто и композитор вполне подходят друг к другу: у них самое утонченное чутье к тому, что интересно, они умеют приятно позабавить нас, они восхищают и даже ослепляют нас блеском своего граненого остроумия, они обладают филигранным талантом сочетания очаровательнейших мелочей и заставляют нас забыть, что существует поэзия. В искусстве они своего рода лоретки, улыбкой прогоняющие из нашей памяти все легенды о призраках прошлого и своими кокетливыми ласками, словно опахалами из павлиньих перьев, отгоняющие от нас жужжащие мысли

о будущем, невидимых мух, комаров. К этому безмятежно-галантному разряду принадлежит также Адан, пожалвший в Орёга comique благодаря своему «Калиостро» весьма легкомысленные лавры. Адан — милый, приятный человек и талант, способный еще значительно развиваться. Почетного упоминания заслуживает и Тома, оперетте которого «Мина» очень посчастливилось.

Но все эти триумфы превзошел успех «Дезертира», старой оперы Монсиньи, которую Орёга comique извлекла из архивов забвения. Здесь — подлинно французская музыка, самая радостная грация, беспечная прелесть, свежесть — точно благоухание лесных цветов, правдивость, даже поэзия. Да, в поэзии нет недостатка, но это поэзия, чуждая трепета беспредельности, таинственных чар, тоски, иронии, morbidezza\*, мне хотелось бы сказать, что это — нарядная крестьянская поэзия здоровья. Опера Монсиньи непосредственно напомнила мне его современника, художника Грёза: я словно воочию увидел здесь сельские сцены, изображенные им, и мне показалось, что я внимаю музыке, сочиненной к этим сценам. Слушая эту оперу, я совершенно ясно понял, что изобразительные и звуковые искусства одного и того же периода полны одного и того же духа, и их шедевры свидетельствуют о самом близком духовном родстве.

В заключение этой корреспонденции не могу не отметить, что музыкальный сезон в этом году еще не окончен и против всякого обыкновения будет звучать еще и в мае. Сейчас даются самые замечательные балы и концерты, и полька все еще соперничает с фортепиано. Уши и ноги устали, но все еще не решаются отдохнуть. Май, так рано явившийся в этом году, терпит фиаско, на зеленую листву и на солнечные лучи почти не обращают внимания. Врачам, в особенности, пожалуй, врачам по душевным болезням, вскоре будет много дела. В этом пестром вихре, в этой

\* нежности, мягкости

жажде наслаждений, в этом поющем, прыгающем водовороте притаились смерть и безумие. Клавиши рояля оказывают страшное действие на наши нервы, а полька, страшная болезнь-вертячка, наносит последний удар.

#### П О З Д Н Е Й Ш А Я    З А М Е Т К А

К предшествующим заметкам, повинуюсь меланхолическому капризу, я присоединяю следующие страницы, относящиеся к лету 1847 года и составляющие мою последнюю музыкальную корреспонденцию. С тех пор для меня кончилась всякая музыка; набрасывая картину болезни Доницетти, я не думал, что ко мне приближается такое же и даже гораздо более мучительное испытание. Вот эта краткая заметка.

Со времен славной памяти Густава-Адольфа ни одна шведская репутация не наделала в мире такого шума, как Дженни Линд. Известия о ней, приходящие к нам из Англии, почти невероятны. В газетах — сплошь трубные звуки, фанфары триумфа; мы слышим только пиндарические дифирамбы. Приятель рассказывал мне, что в одном английском городе звонили во все колокола, когда шведский соловей совершал свой въезд; тамошний епископ отпраздновал это событие замечательной проповедью. Он, в своем англиканском епископальном облачении, не лишенном сходства с похоронным нарядом какого-нибудь *chef des pompes funèbres* \*, поднялся на кафедру главной церкви и приветствовал новоприбывшую, как Спасителя в женском платье, как госпожу искупительницу, сошедшую с неба для того, чтобы своим пением освободить наши души от греха, тогда как все другие певицы — все чертовки, ввергающие нас своими трелями в пасть сатаны. Итальянки Гризи и Персиани теперь, должно быть, пожелтеют от зависти, точно канарейки, меж тем как наша Дженни, шведский соловей, будет порхать от триумфа к триумфу. Говорю: «наша

\* распорядителя похоронных процессий

Дженни», ибо в сущности шведский соловей является не только представителем одной маленькой Швеции, но представителем всех германских племен, кимбров в такой же мере, как и тевтонов, она немка в такой же мере, как и ее самородные и растительно-сонные сестры на берегах Эльбы и Неккара; она принадлежит Германии, подобно тому как и Шекспир принадлежит нам, согласно уверениям Франца Горна, подобно тому как Спиноза по самой внутренней своей сущности мог быть только немцем. С гордостью называем мы Дженни Линд нашей! Ликуй, Укермарк, и ты сопричастен этой славе! Прыгай, Масман, продельвай свои самые радостные отечественные прыжки, ибо наша Дженни Линд говорит не на римском жаргоне, а на готском, скандинавском, самом что ни на есть германском языке, и ты можешь приветствовать ее как землячку; но только тебе надо помыться, прежде чем подать ей руку. Да, Дженни Линд — немка, уже самая фамилия Линд вызывает мысль о липах, зеленых кузинах немецких дубов, волосы у нее — не черные, как у итальянских примадонн, в ее синих глазах плавает северная душа и лунный свет; а в горле ее звучит чистейшая девственность! В этом все дело. «Maiden hood is in her voice»\*, — говорили все old spinsters\*\* Лондона, все целомудренные леди, и благочестивые джентльмены вслед за ними повторяли это, вытирашив глаза; находящаяся все еще в живых mauvaise queue\*\*\* Ричардсона вторила им, и вся Великобритания чествовала в лице Дженни Линд покоее девичество, пропетую девственность. Мы должны сознаться, в этом — ключ к тому непостижимому, загадочно-бурному воодушевлению, которое Дженни встретила в Англии и которым, между нами говоря, она сумеет воспользоваться. Говорили, она поет только для того, чтобы в очень близком будущем

\* «В ее голосе — девичество».

\*\* старые девы

\*\*\* дурное охвостье

получить возможность отказаться от светского пения и, приобретя необходимую для приданого сумму, выйти замуж за молодого протестантского священника, пастора Свенске, ожидающего ее тем временем в своем идиллическом доме при церкви за Упсалой, налево за углом. За это время, правда, стали носиться слухи, будто молодой пастор Свенске — всего лишь миф, а настоящий жених высокой девы — старый отставной комедиант стокгольмской сцены, — но это, наверно, клевета. Целомудренный дух этой *Prima donna immaculata* \* очаровательнее всего проявляется в ее отвращении к Парижу, современному Содому, которое она высказывает по всякому поводу, к величайшей духовной пользе всех *dames patronesses* \*\* нравственности по ту сторону пролива. Дженни дала самый твердый обет никогда не появляться со своей поющей девственностью перед парижской публикой на порочных подмостках улицы Лепелетьс; она сурово отклонила все предложения, которые господин Леон Пилье делал ей через посредство своих художественных руфффиано. «Эта строгая добродетель приводит меня в замешательство», — сказал бы старик Паулет. Уже не справедливо ли народное предание о том, что нынешний соловей был когда-то в Париже и обучался музыке в здешней порочной Консерватории, так же как и другие певчие птицы, ставшие с тех пор весьма безнравственными чижами? Или Дженни опасается той легкомысленной парижской критики, что критикует не нравы певицы, но ее голос и величайшим пороком считает недостаток школы? Как бы то ни было, наша Дженни никогда не приедет сюда и своим пением не извлечет французов из их греховного болота. Они осуждены на вечную муку.

Здесь, в парижском музыкальном мире, все по-старому; в *Académie royale de musique* все еще седая,

\* Непорочной примадонны

\*\* дам-патронесс

сырая, холодная зима, меж тем как на дворе — майское солнце и аромат фиалок. В вестибюле все еще стоит, меланхолически скорбя, статуя божественного Россини; он молчит. Господину Леону Пилле делает честь, что он еще при жизни этого истинного гения поставил ему статую. Ничего нет забавнее тех гримас, с которыми смотрят на нее зависть и неприязнь. Синьор Спонтини, проходя мимо, стучается каждый раз об этот камень. В этом отношении куда умнее наш великий маэстро Мейербер; идя вечером в Оперу, он всегда осторожно умел обойти этот мрамор преткновения, он даже старался не глядеть на него; также и евреи в Риме обычно делают большой крюк, — даже если у них самое неотложное дело, — лишь бы не проходить мимо роковой триумфальной арки Тита, воздвигнутой в память гибели Иерусалима. Вести о здоровье Доницетти с каждым днем все печальнее. В то время как его мелодии своей шутиливой веселостью радуют свет, в то время как его всюду поют и напевают, сам он, страшный образ безумия, сидит в больнице в окрестностях Парижа. Только по отношению к своему туалету он до последнего времени сохранял какое-то ребяческое сознание, и каждый день надо было тщательно одевать его в полный парадный костюм, украшая фрак всеми его орденами: так он сидел, не двигаясь, держа в руке шляпу, с раннего утра до позднего вечера. Но и это кончилось, он больше никого не узнает; вот человеческая участь.



## **ДОБАВЛЕНИЯ И ВАРИАНТЫ**





## ДОБАВЛЕНИЯ

ТОМАС РЕЙНОЛЬДС

Париж, ноябрь [1844]

«Веверлей» Вальтер Скотта пользуется большой популярностью, и в то время как широкую массу этот роман захватывает своим сюжетом, читателя более просвещенного в нем восхищает трактовка, форма, непревзойденная по простоте и в то же время чрезвычайно разнообразная. Эта непревзойденная в своем богатстве форма напоминает нам о другой книге, подлежащей сегодня нашему обсуждению и вызывающей столь различные оценки со стороны живущих здесь соотечественников автора. Она вышла в свет в прошлом году одновременно в Лондоне у Лонгмена и здесь, в Париже, в английском книжном магазине Rue neuve St. Augustin и озаглавлена: «The life of Thomas Reynolds, Esq., by his son Thomas Reynolds» \*. Удивительно! Та форма, которую Скотт создавал тончайшим расчетом своего художественного таланта, встречается и в этой книге, но как продукт природы, как следствие, непосредственно вытекающее из материала. Материал здесь совершенно тот же, что и в скоттовском романе, — неудавшееся восстание; и здесь, в картине ирландского мятежа, совершенно так же как и там, в описании возмущения шотландских горцев, мы видим несколько слабохарактерного героя, почти пассивно повинующегося событиям, которые кидают его из стороны в сторону; разница лишь та, что великий поэт, самым привлекательным образом разукрасив своего героя, завоевал ему многочисленнейшие симпатии читающей публики

\* «Жизнь Томаса Рейнольдса, эсквайра, сочинение его сына Томаса Рейнольдса».

чего биограф Томаса Рейнольдса, к сожалению, не мог для него сделать, именно потому, что он написал не роман, но истинную историю. Да, жизнь своего героя он описал с такой безотрадной правдивостью, он показал прискорбнейшие факты в такой разительной наготе, что порою читатель почти пугается. Сын в точности воссоздает здесь образ своего отца, но он так любит в нем даже и некрасивые черты, что не желает идеализировать их путем вымысла и тем самым лишать весь портрет его драгоценного сходства. Он столь высокого мнения о характере своего отца, что гнушается возможностью сколько-нибудь приукрасить его самые недостойные поступки; они для него — лишь печальное следствие фальшивого положения, но не личной воли. Страшная гордость царит в этой книге, ничто не должно быть утаено, ничто не должно быть замаскировано: сын хочет осветить обстоятельность, поставившие его отца в самое роковое положение, мотивы его дел и поступков, клевету партийной ненависти; и после такого выяснения, действительно, нельзя уже произнести сурового приговора человеку, который по отношению к революционной братии в Ирландии сыграл весьма отвратительную роль; но во всяком случае, мы должны признать, что он оказал своей родине большую услугу, ибо у вождей заговора было на уме не что иное, как намерение — с помощью французского вмешательства совершенно вырвать Ирландию из великобританского государственного союза; союз этот, правда, тогда, в девяностых годах, так же как и теперь, лежал на ирландском народе очень тяжелым и печальным гнетом, но в будущем, когда сгладятся мелкие средневековые раздоры и Ирландия, Шотландия и Англия сольются и духовно в одно органическое целое, он принесет ему неисчислимые выгоды. Не будь этого слияния, ирландцы сыграли бы очень жалкую роль в предстоящем турнире европейских народов, ибо во всех странах, по примеру Франции, соседние и родственные по языку племена стараются объединиться. Образуются большие, плотные государственные массы, и если некогда эти гигантские бойцы вступят в бой, сражаясь за всемирную гегемонию, то лучший патриот в Дублине ни минуты не будет сомневаться в том, что Томас Рейнольдс оказал своей стране большую услугу, раскрыв планы заговора, пытавшегося оторгнуть Ирландию от Англии, и выступив против него со сво-

ими показаниями. Но сейчас такая терпимость в суждениях невозможна еще в зеленом Эрине, где две враждебных партии, протестантско-британская и католически-национальная, противостоят друг другу все с такой же злобой и упорством, как и в девяностых годах, или даже как во времена Вильгельма Оранского, оставившего свое имя так называемым Orange-men и до сих пор вызывающего в противниках беспощадную ненависть; в то время как первые на своих пирах произносят в память короля Вильгельма самые радостные тосты, последние пьют за здоровье упрямой кобылы, благодаря которой король Вильгельм сломал себе шею.

Но, если, пытаясь хоть в слабой степени облагородить деятельность Томаса Рейнольдса, мы вынуждены аргументировать будущим, если, пытаясь оправдать то, что он сделал, мы должны подавить наши самые теплые чувства, то зато мы уже и теперь с чистой совестью можем опровергнуть самые худшие обвинения, мы убеждены в том, что мотивы его поступка были отнюдь не так безобразны, как думали его враги, что он, правда, раскрыл заговор, однако отнюдь не явился предателем по отношению к самим заговорщикам, менее всего — по отношению к достойному лорду Эдварду Фицджеральду, как неправильно утверждал в биографии последнего Томас Мур. Сын явно доказал, что денежная выгода не могла побудить его отца стать на сторону правительства, которое, напротив, мало для него сделало и лишь скупо вознаградило его за потери. В этом отношении его берут под защиту и показания благороднейших государственных людей Англии, а именно Карла Чичестера, маркиза Кембдена и лорда Каслри, стоявших тогда во главе ирландского правительства. Они прославляют его бескорыстие, признают, что его деятельность заслуживает почтения, уверяют его в своем глубоком уважении, — и как ни мало люблю я этих британских ториев, все же я не сомневаюсь в истинности их слов, ибо знаю — они слишком высокомерны, чтобы публично лгать ради подкупленного предателя. Они презирают всех людей и вдвойне презирают тех, кому они давали деньги, и по отношению к таким они еще более скупы на слова. Но не только лица, стоявшие у власти, — также и многие соотечественники, занимавшие менее значительное положение, безусловно освободили Томаса Рейнольдса от упрека, будто им руководила корысть.

Гильдия дублинских купцов обратилась к нему с адресом, полным уважения и составляющим почти комическую противоположность ругани его врагов,

Если Рейнольдс-сын путем точнейших деталей и глубоко-мысленнейших заключений наглядно доказал, что отец его не из корыстных целей предал заговор, то он столь же наглядно доказал, что по отношению к заговорщикам он не повинен в каком бы то ни было гнусном предательстве и что он отнюдь не был причиной ареста лорда Фицджеральда, а напротив выказал величайшую заботливость, стараясь спасти его, и от всей души помогал ему и деньгами. В жизнеописании Фицджеральда, которым мы обязаны красочному перу Томаса Мура, повидимому, больше поэзии, чем правды, и поэту приходится переносить справедливый гнев сына, карающего его за клевету на отца самыми отточенными колкостями. Томас Литтль (как обычно называют Томаса Мура из-за его крохотного роста) подвергается здесь поучительной порке, и неудивительно, что этот человек, пользующийся сильнейшим влиянием на всю лондонскую прессу, пустил в ход все средства, лишь бы уронить в общественном мнении книгу Рейнольдса. Его герой Фицджеральд лишен здесь, правда, всякого романтического ореола, однако он от этого не кажется менее героичным, особенно когда речь идет об его аресте, и я приведу это место.

«Нижеследующий рассказ об аресте лорда Фицджеральда отец мой слышал от господина Серра и господина Сванна; первый из них еще жив и может поправить меня там, где я ошибаюсь. 18 мая господин Эдвард Кук, тогдашний помощник статс-секретаря, позвал к себе Чарльза Серра, бургомистра (*town mayor*), честного, деятельного и умного чиновника, и поручил ему отправиться на другой день между 5 и 6 часами вечера в дом некоего Никласа Мерфи, торговавшего в Томас-Стрит лесом и пухом: там он найдет лорда Эдварда Фицджеральда, которого должен арестовать согласно с вручаемым ему приказом. Господин Серр в тот же вечер принял необходимые меры, а на следующее утро посоветовался насчет порученного ему дела с господином Сванном и неким господином Райаном, двумя чинами магистрата, к которым относился с величайшим доверием и к помощи которых но прибег. Господин Райан был в то время издателем газеты, в которой были очень злые нападки на лорда Эдварда, вызывавшие

в нем великую ненависть против господина Райана. Господин Серр снарядил девять человек из лондондерийской милиции, в полной форме. Господин Стерлинг, ныне консул в Генуе, и доктор Бенкхед, бывшие оба офицерами этого полка, сопровождали их, тоже одетые в форму.

«Замечателен тот факт, что лорд Эдвард отправился в дом Мерфи лишь ночью 18 мая, а статс-секретарь еще до того, как он направился туда, имел уже настолько точные сведения об этом его намерении, что уже пополудни, то есть за восемь или десять часов до прихода лорда Эдварда, мог дать господину Серру инструкцию и приказ об аресте.

«Господин Серр, Сванн и Райан со своими спутниками направились к дому Мерфи в двух наемных каретах. Господин Серр позаботился о том, чтобы сильный военный отряд выступил из казармы одновременно с ними и мог подойти к дому Мерфи сразу же по прибытии карет, чтобы защитить его и всех этих людей от черни, которая в этом квартале Дублина легко собирается в значительные толпы. Приехав к дому, господин Серр расставил своих девять человек так, что они заняли все выходы как у боковых, так и у задних дверей. Пока он был занят этими приготовлениями, господин Сванн и господин Райан поспешили наверх, так как в нижнем этаже находились только конторские помещения и склады товаров. В первой комнате никого не оказалось, но из столовой, повидимому, только что ушли, так как на столе еще были остатки десерта и вин. Они поторопились проникнуть во вторую комнату, однако и здесь никого не увидели; они отворили дверь в спальню, которая не была закрыта ни на ключ, ни на замок; тут, наконец, оказался Мерфи, он стоял у окна, лицом к улице, и держал в руке какую-то бумагу, чтением которой был, повидимому, занят в эту минуту, а на постели, полураздетый, лежал лорд Эдвард Фицджеральд. На стуле возле постели был ящик с карманными пистолетами; господин Сванн тотчас бросился на них и, став между стулом и постелью, воскликнул: «Лорд Эдвард Фицджеральд, вы мой пленник, ибо у нас сильная подмога, и всякое сопротивление бесполезно». Лорд Эдвард вскочил с постели и нанес господину Сванну удар в грудь обоюдоострым кинжалом, который у него был где-то спрятан; Сванн хотел отвести удар рукой и был ранен в указательный палец,

в сустав, так что рука его, в буквальном смысле слова, на мгновение была пригвождена к его груди. Кинжал с одной стороны вонзился в грудь между ребрами и вышел сзади под лопаткой. В эту минуту господин Райан бросился вперед, выстрелил в лорда Эдварда из пистолета, но промахнулся. Лорд Эдвард, знавший его, воскликнул: «Райан, негодяй!» («Ryan, you villain!»), и, вырвав из груди Сванна кинжал, рукоять которого он не выпускал из рук, ударил им господина Райана под ложечку и, снова вытаскивая, кинжал, лезвием распорол ему живот до самого пупа. Господин Свани и Райан обхватили лорда Эдварда, а так как он не был еще ранен, то ему удалось добраться до двери, где господин Райан, у которого кишки висели из живота, наконец, выпустил его, потому что грохнулся на пол, но господин Свани еще крепко держал пленника. В передней возле двери была лестница, которая вела на чердак и открывала выход на крышу. Эта лестница была устроена для того, чтобы в случае надобности дать возможность бежать, и этим путем хотел воспользоваться для бегства лорд Эдвард; но господин Свани, всей тяжестью повисший на нем, помешал ему взобраться на лестницу, и, чтобы избавиться от Сванна, он занес руку и снова собирался ударить его кинжалом, который все еще был у него в руках. Все это произошло менее чем в минуту. Тем временем прибыли из казармы войска, и господин Серр, расставив солдат, поспешил в дом и поднялся вверх, где раздался выстрел, и, с пистолетом в руке, вошел в комнату в тот самый миг, когда лорд Эдвард поднял руку, чтобы нанести господину Сванну последний удар; итак, он, не раздумывая, выстрелил и ранил лорда Эдварда в руку около плеча. Рука бессильно повисла, и лорд Эдвард был взят в плен.

«Тут возникает вполне естественный вопрос: что делал в это время Мёрфи, хозяин дома, человек в расцвете лет и полный сил, защите которого доверился лорд Эдвард? Он оставался безмолвным зрителем всей этой сцены, хотя всякому должно быть ясно, что, оказав своему гостю малейшую поддержку, он помог бы ему освободиться от господина Сванна и убежать через крышу. Окно, у которого стоял Мерфи, выходило на улицу, до земли было не больше тридцати футов, кареты же могли приблизиться к стене дома футов на четырнадцать. Непостижимо, чтобы две наемные кареты, в которых было четырнадцать человек,

остановившись у самого дома, не привлекли его внимания. Непостижимо также, что в доме, приютившем такого гостя, ворота и все двери сверху донизу оставались не заперты и не охранялись и что не было в нем ни души, кроме самого владельца. Малейший знак, поданный до того как господин Свани поднялся по лестнице, малейшая помощь, оказанная уже после нападения, дали бы бегству благополучный исход. Может быть, все это было случайностью. Я только излагаю факты в том виде, как о них рассказывали моему отцу господу Серр и Свани; с первым из них он беседовал уже на другое утро, 20-го числа, со вторым лишь по его выздоровлении. Мерфи был арестован, но не подвергался допросу. Лорда Эдварда, после того как рана его была перевязана, увезли, окружили заботами; но пуля проникла в верхнюю часть груди, началось воспаление, и он умер 4 июня. Рана господина Райана ни минуты не позволяла надеяться на его выздоровление; смерть последовала через несколько дней».

Рассматриваемая книга содержит интереснейшие сведения как о Фицджеральде, так и о Теобальде-Вольфе Тоне, который тоже сыграл значительную роль в ирландском восстании и кончил столь же печально. Он был благородный человек, горевший любовью к свободе, и некоторое время действовал среди французских республиканцев в качестве полномочного посла заговорщиков. Его дневник, изданный его сыном, содержит замечательные записи о его пребывании в Париже в период бури и натиска французской революции. В Ирландию он вернулся вместе с экспедицией, посланной туда Директорией с некоторым опозданием. Обстоятельный рассказ об этой экспедиции, имеющийся в книге Рейнольдса, крайне знаменателен и показывает, какое слабое сопротивление встретила бы высадка в Англии, если бы она была организована лучше, чем тогда. Можно подумать, что действие происходит в Китае, когда читаешь о том, как несколько сот самоуверенных французов, предводительствуемых генералом Эмбером, рыщут по всей стране и побеждают тысячи англичан. Не могу устоять перед соблазном и приведу следующее место:

«Когда 24 августа маркиз Корнуэльский получил известие о высадке французов, он отдал генерал-лейтенанту Леку приказ отправиться в Голве и принять командование над войсками, собирающимися в Коннауте. Итак, этот генерал отправился с

войском, которое ему удалось собрать, к Кестлбару, куда прибыл 26-го числа и где встретил генерал-майора Гетчинсона, прибывшего туда накануне вечером. Отряды, собранные таким образом в Кестлбаре, состояли из четырех тысяч человек регулярного войска йоменов и местной милиции, сопровождаемых сильным обозом артиллерии. Генерал Эмбер (командовавший французами) покинул Баллину 26-го числа с восемьюстами человек и двумя «змейками» \*, но, вместо того чтобы направиться по обыкновенной столбовой дороге через Фоксфорд, где находился генерал Телор с сильным корпусом, он у Барнаги, где стоял лишь незначительный отряд, свернул на горную дорогу, и в 7 часов утра 27-го был в двух милях от Кестлбара; тут, вблизи города, как выяснилось, стояли королевские английские войска, занявшие наивыгоднейшее положение. Все, казалось, обещало им легкую победу. Их было много, три-четыре тысячи человек, вполне обеспеченных артиллерией и провиантом, бодрых и свежих, тогда как у неприятеля было всего лишь восемьсот человек, две «змейки», и отряд был совершенно утомлен и обессилен тяжелым и крайне трудным походом по горам, длившимся, примерно, сутки. Королевская артиллерия, которой прекрасно командовал капитан Шортал, вначале причинила французам много вреда и некоторое время не позволяла им двинуться вперед, но когда французы увидели, что недолго смогут сопротивляться, если будут стоять слишком широким фронтом под пушечным огнем англичан, метко направляемым в них, они разделились на маленькие колонны и с такой неистовой отвагой ринулись вперед, что королевские войска через несколько минут отступили и, охваченные паническим страхом, стали разбегаться во все стороны; в крайнем смятении пробежали они через город и направились в Туам, место, находящееся в 30 милях от Кестлбара. Но даже и в Туаме, куда они попали ночью, они не сочли себя в полной безопасности, пробыли здесь ровно столько, сколько потребовалось, чтобы промочить горло, и продолжали свое позорное бегство до Атлона, находящегося 33-мя милями дальше, куда авангард прибыл во вторник 29-го в час дня. Так силен был их страх, что 36 миль они пробежали в 27 часов! Потери королев-

\* Пушки старого образца с очень длинным дулом.

ской армии составили 53 убитых, 35 раненых и 279 пленных. Потеряла она также десять тяжелых орудий и четыре полевые пушки. Каковы были потери французов, неизвестно. Французские войска вступили в Кестлбар, где спокойно пробыли до 4 сентября».

Но так как ожидаемая помощь не подоспела и вообще вся экспедиция велась по неудачному плану, то в конце концов ей пришлось потерпеть неудачу. Вольфа Тона, попавшего в руки англичан, судили военным судом и приговорили к повешению. Бедный малый, он не боялся смерти, в Париже, на Гревской площади, он достаточно наглядделся на казни, но он привык только к гильотинированию и питал непреодолимую антипатию к вешательной процедуре. Тщетно просил он, чтобы его хоть расстреляли, так как этот род смерти более подходил ему, ибо у него имелся патент французского офицера и на него следовало смотреть как на военнопленного. Нет, просьбе его не вняли, и несчастный, из отвращения к виселице, перерезал себе горло в тюрьме.

О милосердии со стороны английского правительства во времена ирландского восстания не могло быть и речи. Я не друг гильотины и не питаю особого предубеждения против виселицы, но, должен признаться, в течение всей французской революции вряд ли были такие ужасы, какие натворила в Ирландии английская военщина. Автор наш, будучи сторонником правительства, все же самыми верными красками описал, вернее, заклеил, это позорное хозяйничанье солдат. Да сохранит нас господь от такого постоя, который бесчинствовал в Кастель Кильки! Более всего тронула меня участь прекрасной арфы, которую англичане с особой яростью разбили в куски, потому что ведь арфа — эмблема Ирландии. С беспристрастием рисует автор и кровавую грубость мятежников, и ниже следующее описание носит печать отвратительнейшей правды.

«Инсургентов вполне характеризовал их способ ведения войны. Они располагались всегда на особенно возвышенных местах и называли это своим лагерем. Одна-две палатки или какое-нибудь другое сооружение давало кров их предводителям, прочие оставались под открытым небом: мужчины и женщины ложились рядом вперемежку, закутанные в лохмотья или в простыни, большинство же покрывалось на ночь тою самой

одеждой, какая была на них днем. Такой жизни способствовала и неизменно ясная погода, совершенно непривычная в Ирландии. И в этом обстоятельстве инсургенты видели особую милость провидения, им даже внушили — и они поверили — что не упадет ни единой капли дождя, пока они не станут хозяевами Ирландии. В этих лагерях, среди этой массы грубых, мятежно настроенных людей царили — как нетрудно себе представить — величайшая неурядица и всякого рода бесчинства. Ночью, когда человек преспокойно спал, у него крали ружье и другие вещи. Чтобы обезопасить себя от таких злоключений, люди взяли за правило ложиться спать всегда плашмя на живот и крепко привязывать к груди шляпу, башмаки и тому подобное. Кухня была невероятно грубая; скотине подбивали ноги, затем ее резали, каждый отрывал себе кусок мяса, какой ему хотелось, не снимая с него кожи, и жарил, скорее жег, на огромном костре, вместе с клочьями шкуры, оставшимися на нем. Голову, ноги и остатки скелета бросали тут же, и они гнили на том месте, где было убито животное. Если инсургентам не доставало кожи, они раздобывали книги и пользовались ими вместо седел, кладя раскрытую посередине книгу на спину лошади, а веревки заменяли подпругу и стремяна. Толстые фолианты, достававшиеся им во время грабежей, оказались в этом отношении особенно ценными. Так как запас снарядов был очень скудный, то пользовались и валунами, а то и пулями из затвердевшей глины. Предводители все время избегали нападать на неприятеля ночью, так как их люди никогда по-настоящему не следовали их приказаниям и больше повиновались собственному буйству и внушениям минуты. Во время битвы они следили друг за другом, так как каждый боялся, что в случае отступления, происходившего обычно быстро и неожиданно, остальные бросят его одного; поэтому они не любили сражаться ночью, когда никто не мог как следует присматривать за своими товарищами и каждый все время должен был беспокоиться, как бы они, прежде чем он это заметит, не бросились в бегство (это называют *make the run*) и не оставили его в руках тех, которые никогда не прощают; один не доверял другому. Нужно решительно заявить, что эти мятежники невиновны ни в одной жестокости или непристойной выходке по отношению к женщинам или детям; только пожар в Скеллабоге

и судьба Меки и его семьи в графстве Доун составляют исключение; не считая этих двух случаев, когда уже не смотрели ни на пол, ни на возраст, я не знаю примера, чтобы мятежники дурно обращались с женщиной. Боюсь, что их противникам мы не можем воздать такой же похвалы».

Это описание войны, которую вели ирландские инсургенты, вызвало у меня два соображения, которыми я вкратце поделюсь здесь. Прежде всего отмечу, что во время народного восстания книги могут весьма пригодиться, а именно — в качестве седел, о чем наперное еще не думали наши революционные деятели, иначе всякое книгописание не раздражало бы их так сильно. А затем отмечу, что Педди в борьбе с Джоном Буллем всегда будет в накладе и что поэтому последний не так легко утратит свое господство над Ирландией. Быть может, ирландец менее храбр, чем англичанин? Нет, у него, пожалуй, даже больше личной отваги. Но чувство индивидуальности в нем настолько преобладает, что, будучи весьма храбрым в одиночку, он робок и ненадежен во всяком объединении, где должен доверять своему товарищу и подчиняться общей воле. Этот индивидуализм, быть может, характерная черта того кельтского племени, что составляет ядро ирландского народа. У обитателей Бретани мы встречаем то же самое явление, и гениальный Мишле в своей истории французской революции не без основания всюду указывал на то, как знаменательно выступает эта характерная черта индивидуализма в жизни и стремлениях знаменитых бретонцев. Они проявили себя благодаря почти фантастической борьбе индивидуального духа с установленным авторитетом, благодаря защите прав личности. Германское племя более склонно к дисциплине и лучше сражается и думает в строю, но зато и к подневольному положению оно более склонно, чем племя кельтское. Слияние обоих элементов, германского и кельтского, всегда будет давать превосходный результат, и Англия, так же как и Ирландия, выиграет не только в политическом, но и в моральном отношении, если когда-нибудь они составят единое органическое целое.

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ ГЕЙНЕ  
В «ЛЮТЕЦИЮ»

Париж, 4 февраля

Оппозиция в своей ограниченности все еще утверждает, что назначение Гизо посланником в Лондон вполне приятно королю и что он только делал вид, будто его принуждают отозвать Себастиани, его старого друга-заговорщика. В действительности же это назначение состоялось совершенно вопреки высочайшей воле короля; свое недовольство Гизо он проявляет без всякого стеснения и, наверно, исподтишка сыграет с новым посланником не одну злую шутку. Для политической роли Гизо это выступление на дипломатическое поприще чрезвычайно важно. Или он попадет в Лондоне в невидимые сети и, барахтаясь в них у всех на виду, вызовет смех, или же докажет свои государственные таланты и достигнет в этом отношении уровня Тьера. Пожалуй, теперь господин Гизо заслужит свои дипломатические шпоры и тем рыцарственнее сможет, по возвращении из Лондона, вступить в бой с Тьером и Луи-Филиппом. В конце концов должна будет решиться борьба этих трех человек за действительное председательствование в совете. До сих пор король все еще узурпирует это место и управляет с помощью приказчиков, которые называют себя ответственными министрами. В следующем письме я к этому вернусь. — Браком герцога Немурского все еще заняты и двор и город (архаический стиль!), преимущественно, впрочем, двор, этот большой полип, что тысячью хоботов присосался к бюджету, не думая о Корменене, который уже точит в темноте свой нож. Этот памфлетист, который не может простить королевской фамилии, что ему не за что ее благодарить, вызывает в недрах ее большие страдания, чем, может быть, сам предполагает. Король больше не желает платить пенсию герцогу Немурскому, по той простой причине, что он больше не может ее платить. Двор страшно обременен долгами; как уверял меня вчера один банкир, долгу, может быть, больше, чем на двадцать миллионов. У короля мало денег, и для него двойная беда, что широкая публика думает противоположное и ропщет на его великую скудость, меж тем как *haute finance*, у которой он хотел бы приза-

нять, прекрасно знает печальную тайну. Вследствие этих денежных затруднений Ротшильд пользуется крайней предупредительностью двора; несколько сот лет тому назад король французский просто-напросто велел бы вырвать ему зубы, чтобы подвигнуть на заем. Но наивные нравы средневековья погибли в потоке революции, и теперь господин Ротшильд, барон и кавалер ордена Изабеллы, может спокойно прогуливаться по Тюильри и показывать королю, терпящему нужду в деньгах, зубы, не рискуя ни одним корешком. — У короля нет денег, и кредит его сейчас не блестящий. Он собирается устроить заем и должен заложить земли своей сестры, Mademoiselle Аделаида, несмотря на большую нежность к брату, не соглашается еще на эту жертву. — Впрочем, долги короля — самого почетного свойства; в большинстве своем они происходят от его страсти к постройкам и произведению искусства. Это — царственное свойство, и оно напоминает его великого предка, который оставил ему Версаль, разоривший его самого. Невозможно представить себе, какие суммы уже поглотила историческая галлерей. — При таких обстоятельствах брак герцога Немурского дает королю желанный повод — потребовать дотацию для принца и не платить ему больше тех 20 000 франков, которые он дает ему каждый месяц. Теперь король предоставит своему августейшему сыну только квартиру и стол, а во всем остальном будет ссылаться на дотацию. В герцоге эти стцовские решения отнюдь не возбуждают недовольства, как можно было бы предположить, напротив, он находит их вполне разумными, ибо герцог Немурский очень бережлив, очень домовит. Это — свойство, унаследованное им от своего царственного отца еще при жизни его, и тот не мешает ему в полной мере наслаждаться этим свойством. — Так как принц, собирающийся жениться, должен обзавестись своим домом, то множество искателей мест стучится уже в его двери (выражение фигуральное, ибо невыстроенный дом не имеет ведь и дверей!), и один просит места администратора, другой — места казначея, третий — места библиотекаря. Первые два места уже заняты, и как только палата утвердит просимую сумму, казначей примет деньги, администратор же начнет их выдавать. — Сегодня я еще не читал газет и не знаю, насколько продвинулись переговоры о дотации. Но знаю одно: что король с героической неутомимостью будет

заботиться о денежных делах своих детей. Министров эта отеческая любовь ставит в большое затруднение; только маршал Сульт поддерживает ее с безусловным рвением. Никто не умеет лучше оценить упорство короля в денежных вопросах, чем этот седовласый герой, всенародно объявивший однажды, что будет защищать до последней капли крови каждое су своего жалования. — По случаю брака герцога Немурского при дворе с неделю тому назад происходил исключительно торжественный прием, на котором приближенные ко двору приносили, как полагается, свои более или менее искренние поздравления. Там было более шестидесяти дам, большею частью перезрелых и пожилых, пепельно-серый завядший цветник, из которого, улыбаясь, выглядывало всего два-три молодых лица. Среди них была белокурая красавица, которая весьма сильно трогала сердце его королевского высочества герцога Орлеанского до его брака, а потом также приводила в волнение и сердце герцога Немурского, но при этом сама лишилась покоя, бедняжка! Лицо ее, напоминающее мне всегда цветущие и радостные женские образы ее земляка Рубенса, покрывала теперь печальная бледность. И губы ее, которые она то и дело облизывала милым язычком, лишены были того свежего колорита, что обычно действовал на лакомых королевских сыновей, как спелые вишни. Тот, кто мог читать в ее глазах, открывал в них филиппики, куда более злые, чем те, что когда-либо произносил против монархов и монарших прехотей самый озлобленный трибун. — На прошлой неделе нас покинул Генрих Лаубе, который вместе со своей женой, очень образованной и умной дамой, приехал сюда прошлым летом, объездил большую часть французских провинций, предпринял также недолгую поездку в Африку и несколько месяцев тому назад снова вернулся в Париж. Здесь он занимался преимущественно историческими исследованиями, для которых архивы открыли ему свои ценные материалы. Превосходное критическое чутье этого человека и ясное понимание всех явлений действительной жизни, его познания и взгляды создадут, наверно, ценную книгу. Здесь получены только два первых тома «Истории немецкой литературы» Лаубе, и общее суждение об этом труде еще невозможно. Если выполнение будет соответствовать началу и общему плану, то публика получит здесь сочинение

какого не было до сих пор в нашей литературе и в котором ощущается большая потребность. «История немецкой литературы» Бутервека устарела и не доведена до новейшего периода, первые явления которого были указаны в ней только полемически; и все же эту книгу надо считать единственной, где широкой публике даются основательные фактические сведения. Другие попытки не охватывают литературы в ее целом, или являются только сводкой рассуждений, сухих заметок, или даже относятся к области хрестоматий. Розенкранц, умнейший и проницательнейший среди современных историков литературы, писал, правда, весьма удачно о немецкой литературе, но не в общей связи всех эпох; средневековью он посвятил особый труд, а что до более поздних эпох немецкого литературного мира, то в своей большой книге он коснулся лишь поэзии, да и то в слишком кратком очерке. Поэтому труд Лаубе явится той книгой, в которой как раз нуждается широкая публика, а именно — подробным изложением всей немецкой литературной жизни с древнейших времен и до нынешнего дня, поучительным, как учебник, благодаря точности и основательности, и занимательным, как беллетристическое произведение, благодаря гармонической прелести художественного языка. Талант и характер соединились здесь, и их сочетание дает отраднейший результат. Дело в том, что Лаубе одарен не только эстетическими способностями, силою описания, фантазией и проницательностью, но также честностью, прямотушием, добросовестностью; слова его — правдивое выражение его честного немецкого сердца. — Лаубе дает нам отрадное доказательство того, что и правда может быть остроумной. А нам — увы! — нужно такое утешение, в дни, когда остроумная ложь чванится в своем блистательнейшем самодовольстве.

Париж, 20 ноября

Служение — в природе человека. Не будем спорить о том, какой вид служения благороднее: германец, служивший личности, столь же достоин уважения, как и римлянин, служивший земле, и верноподданничество первого, равно как и любовь к отечеству у второго, стоят не на более низкой ступени, чем служение сверхчувственной идее, например, служение богу у евреев. Даже наши радикальнейшие эмансипаторы не могут отрешиться

от врожденной склонности к служению: они служат жажде — свергнуть иго, служат нетерпению, сбросившему путы, и Робеспьер однажды воскликнул: «Я слуга свободы!» — Сейчас у свободы в лакейской мало верных слуг, но тем больше блестящих прислужников: гайдуки превосходного телесного роста, маленькие дерзкие жокеи, ненадежные скороходы, грубые кучера, лейб-егеря и т. д. Эти люди считают, что они слишком хороши, на самом же деле они, может быть, слишком плохи, чтобы служить личности, и вот из праздности они поступают в услужение к идее за поденную плату, или даже затем, чтобы при случае своровать, или же, если побольше дадут на водку, изменчески предать интересы дома. Если бы не было мне известно, что господствующая идея наших дней — а я назову ее по имени: демократия — коренится в почве Франции глубже, чем всякая иная власть, то я очень опасался бы за ее будущее, ибо вблизи ее я замечаю весьма двусмысленные лица, я вижу, как толпа лакеев старого режима замаскировалась в ее ливрею, и под украшенной галунами шляпой их мажордома я заметил тонзуру. — Не подлежит сомнению, что идея демократии господствует во Франции. Огромный сбыт, который находят демократические брошюры, — вернейшее доказательство. Правительство ежедневно конфискует их. Самыми значительными за последнее время были брошюры Луи Блана и Ламене. О первом я уже говорил на этих страницах: это умнейшая головка своей партии и честнейшее сердце. О блестящих талантах аббата Ламене мне даже и не приходится рассказывать. Я не сомневаюсь, что у него честные намерения, в частности — в отношении католической религии, для которой он хлопочет о союзе с демократией, ибо он полагает, что господство над миром достанется ей. Римская курия не поняла великого священника; суровость, с которой она отвергла его благонамеренное усердие, как бы то ни было, достойна порицания. Бедный Ламене! Я понимаю, какую скорбь причинили ему его же собратья, отнесшиеся к нему с такой беспощадностью, к нему, борцу за веру, который, ради спасения ее, бртался с ересью и подвергал себя опасности вечных загробных мук! Ему, римско-католическому Ламене, пришлось в конце концов отречься от Рима, и это, разумеется, было величайшим горем в его жизни, от которого он исходит кровью. Если только

он не раскается в этом героическом самопожертвовании! Уже теперь он ночью не может спать: он видит всюду маленьких чертенят, пляшущих и прыгающих со свечами вокруг его ложа; он видит, как огонь охватывает занавески постели и адское пламя объемлет его; трепещущий, стуча зубами, он заползает под одеяло, пока не кончится навождение, потом горько плачет. Ум не может защитить его от страхов, которые внушает ему вера детских лет, пустившая глубокие корни; так рассказывают его друзья. Враги, как это всегда бывает, более высокого мнения о силе его ума. Несколько дней тому назад конфисковали «l'Évangile du peuple»\*, где радикальнейшее учение о свободе и равенстве выводится из Библии и где божественный нагорный проповедник изображен членом партии Горы 1794 года. Автор, которого зовут Эскирос, хороший человек, несколько женственный по своей природе, мечтательно-кроткий, как пасторская дочка в лучах луны, но при этом воодушевленный деятельным благочестием, словно сестра милосердия. Эта деятельная доброта премило сказвалась в другом его сочинении, недавно изданном под заглавием: «Les vierges folles». «Неразумными девами» он называет разряд женщин, правда, в достаточной мере неразумных, однако сомнительных девственниц; щекотливая, но очень важная тема, которая рано или поздно должна подвергнуться во Франции серьезному обсуждению. — «Revue démocratique»\*\*, которая несколько дней тому назад тоже была конфискована, относится к самым диким продуктам радикализма, и при чтении ее у всякого, у кого есть голова, волосы встают дыбом. Она в первую очередь направлена против собственности и в самых резких тонах обсуждает конечные выводы из господствующей идеи. Тут мы видим не расфранченных камердинеров этой идеи, а конюхов, в поношенных кожаных куртках, со скребницами и пучками сена, воняющих навозом. Мне стало особенно жутко, когда я увидел, что и здесь религиозный фанатизм пьет на брудершафт с фанатизмом политическим. В названной «Revue démocratique» я нашел — подумайте только! — экстравагантнейшее толкование Апокалипсиса. Заглавие этой статьи: «Le Cataclysme, prochain as-

\* «Евангелие народа»

\*\* «Демократическое обозрение».

complissement des Prophéties de Jean l'Evangéliste, apôtre du Peuple par Jésus» \*.

Как пример бессмыслицы, я процитирую следующие места, притом во французском оригинале, ибо самое замечательное — как раз то, что подобные вещи пишутся теперь по-французски — по-немецки это звучит не так странно. Слушайте: в VIII—XVI главах Апокалипсиса автор находит: «Septième sceau, ou révolution française. Les sept périodes de cette révolution ou les sept anges avec les sept coupes ampres et les sept trompettes. Les années 1789, 92, 95, 99 et 1804 sont les sept premières coupes, versée au son des cinq premières trompettes. En 92 tombe du ciel l'étoile absinthe, Rope-apsinthos, ou Robespierre; en 1804 vole l'aigle de la guerre» \*\*.

В IX—XVI главах автор находит: «Armées impériales françaises, commandées par Apoléon l'exterminateur, ou Napoléon. Coalition des rois contre la France. Bataille des nations dans les plaines d'Armagdon ou l'Allemagne. La sixième coupe ou trompette est le signal des malheurs de 1812 à 1814» \*\*\*.

Не смейтесь над современными якобинцами; их безумие много ужаснее и много опаснее безумия их отцов. Если père Duchêne и гневался так bougrement patriotique \*\*\*\*, то все же гнев его далеко не был столь опасен, как эта смесь сумасшествия земного и небесного, санкюлотизма и апокалипсиса, которую представляет «Revue démocratique». Я дрожу при мысли о возможности переворота во Франции. Теперь в Comité du Salut public\*\*\*\*\* уселись бы люди куда более страшные, чем Робеспьер, чем горькая

\* «Катаклизм, пророчества Иоанна Евангелиста, апостола Иисусова, которые вскоре должны исполниться».

\*\* «Седьмая печать, или французская революция. Семь периодов этой революции, или семь ангелов с семью чашами и семью трубами. Годы 1789, 1792, 1795, 1799 и 1804 — семь первых чаш, пролитых под звуки первых пяти труб. В 1792 году падает с неба звезда полынь, Ропе-апсинтос, или Робеспьер; в 1804 — взлетает орел войны».

\*\*\* «Армии французской империи, предводительствуемые Аполеоном-губителем, или Наполеоном. Союз королей против Франции. Битва народов в долинах Армагаддона, или Германии. Шестая чаша или труба — знак бедствий с 1812 по 1814 год».

\*\*\*\* С таким чертовским патриотизмом.

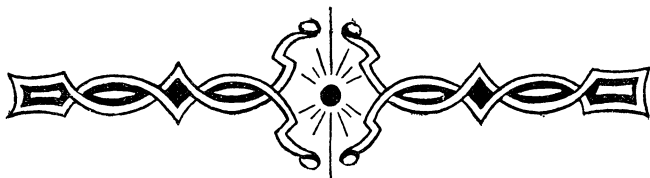
\*\*\*\*\* Комитете общественного спасения

Ропе-апсинтос. Он был в сущности всего только болтун-мирянин, адвокат. Но представьте себе Торквемаду, повязанного трехцветным шарфом, и в шляпе с перьями, как *représentant du peuple* \*.

«Я покажу вам, что такое священник! — сказал однажды аббат Ламене, и я никак не могу забыть эти слова. Они важнее всего, что говорилось вчера в палате перов, едва ли даже не важнее, чем речь господина Гизо. О том, как все взволнованы ею, вам с достаточной подробностью сообщат газеты. Я вообще воздерживаюсь от всяческих суждений по поводу прений в палате, — они напечатаны, и вы сами можете о них судить. Они, как я предсказывал, начались исследованием вопроса — оскорблена ли Франция Англией. Господин Гизо говорит: нет. Мне хочется спросить его: сколько же пощечин требуется для оскорбления? Прения об адресе королю достигнут в палате крайней степени резкости. Национальная партия, всплывающая на место свергнутой парламентской партии, произнесет жуткую вступительную речь.

\* представитель народа, народный депутат.





### ВАРИАНТЫ К «ЛЮТЕЦИИ»

В основу положен текст отдельного немецкого издания 1854 г. Материалы, из которых взяты приводимые ниже варианты и добавления, — следующие:

1. «Всеобщая Аугсбургская газета», где первоначально печатались корреспонденции Гейне;

2. Французское издание «Лютеции»: «Lutèce. Lettres sur la vie politique, artistique et sociale de la France par Henri Heine. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, 1855;

3. Рукописи отдельных статей, входящих в состав «Лютеции».

Стр. 18. *Вместо слов:* они едва могут похвалиться тем, что видели в лицо своих врагов — *во фр. изд. вариант:* и храбрость их могла обрушиться только на дворцовую мебель.

Стр. 18. *Вместо строк 26—31 от слов:* ибо в то время до заслугу — *во фр. изд. вариант:* ибо в то время председатель совета господин Тьер барабанным боем пробудил от летаргического сна добрую нашу Германию и вовлек ее в великое движение европейской политической жизни; господин Тьер так громко бил ворю, что мы не смогли больше заснуть и так и остались с тех пор на ногах. Если когда-нибудь мы станем народом, господин Тьер сможет сказать, что он этому не препятствовал, и немецкая история вменит ему это в заслугу.

Стр. 18. *После слова французов — во фр. изд. добавление:* Ее агенты проползали в зарейнскую печать, эксплуатируя политическую неопытность моих немцев, так-таки вообразивших, что французы посягают не только на короны их германских корольков, но также и на картофельные поля их подданных и что они желают овладеть Рейнскими провинциями, так как хотят пить наш добрый рейнвейн. О боже мой, нет, французы

охотно оставят нам наш картофель — ведь у них есть перигорские трюфеля, и они могут обойтись без нашего рейнвейна — ведь у них есть шампанское. Франции не в чем завидовать нам, и воинственные поползновения, которых мы опасались, были сфабрикованы в Англии.

Стр. 19. *После слова* предательство — *во фр. изд. добавление:* Моя неприязнь к коварному Альбиону, как говорили некогда, уже не существует теперь, когда произошло столько изменений. Я менее всего — враг этого великого английского народа, который сумел с тех пор завоевать если не доверие, то мою сердечнейшую симпатию. Но в той же мере, в какой англичане, в качестве отдельных личностей, являются надежными друзьями, в такой же мере следует остерегаться их как нации, или, вернее, как правительства. Я вполне готов дать здесь *apologie\** в английском смысле слова, и так сказать принести повинную во всех памфлетах, которыми я угощал английский народ, когда писал эту книгу; но я не решаюсь опустить их теперь, потому что страстные страницы, которые я печатаю вновь во всей их первоначальной резкости, должны в глазах читателя воскресить те страсти, о которых он не сможет создать себе представления после тех великих переворотов, что погасили и поглотили даже наши воспоминания.

Стр. 21. *После слов* О господи! — *во фр. изд. добавление:* я — основатель новой религии! Ведь мне было достаточно и существующих религий, более чем достаточно!

Стр. 21. *Начиная строкой 11 и до конца стр. 22 (до конца «Посвящения») — во фр. изд. вариант:* Но все-таки — где же теперь неутомимый путешественник, этот германский вечный жид, этот везде и нигде, которого можно почти что принять за миф? Казанский «Fremdenblatt», заслуживающая достаточного доверия монгольская газета, увернет, что знаменитый автор «Писем умершего» едет сейчас в Китай, чтобы посмотреть на китайцев, пока не поздно и пока этот фарфоровый народ еще окончательно не разбили грубые руки рыжеволосых варваров. Да, Небесная империя разбивается на части, и ее серебряные колокольчики, звеневшие столь забавно, звучат теперь, как

\* извинение

погребальный звон. Скоро китайцев и китайщину можно будет видеть только на наших чайных чашках, наших ширмах, наших веерах и наших этажерках: мандарины с длинными косами, что украшали наши камины и так весело раскачивали свои толстые животы, порой высовывая из смеющегося рта розовые и острые языки, эти бедные болванчики, как будто знают про горе своей родины: вид у них грустный, и кажется, что сердце их разрывается от тоски. Ужасна эта фарфоровая агония. Но уходят из жизни не одни лишь китайские болванчики. Умирает весь старый мир и торопится, чтобы его скорей похоронили. Уходят короли, уходят боги и увы! уходят болванчики!

Серьезно размышляя о способах, которыми я мог бы доставить вам эту книгу, ваша светлость, я наталкиваюсь на мысль — послать ее вам «до востребования» в Тимбукту. Я слышал, что вы часто бываете в этом городе, должно быть, представляющем собой нечто вроде черного Берлина; так как это — город еще не вполне открытый, то мне вполне понятно, что он доставляет вам все удовольствия полного инкогнито и что вы можете там по своему усмотрению оправляться от скуки, когда утомитесь этим белым Тимбукту, который называется Берлин.

Но где бы вы ни были — на востоке или на западе, на берегах Сенегала или Шпрее, в Пекине или в Лаузитце, не все ли равно! Всюду, где бы вы ни трусили рысцой или мчались галопом, мысли мои будут вслед за вами трусить рысцой и мчаться галопом и нашептывать вам на ухо забавные вещи. Они скажут вам также, как сильно я люблю вас и как восхищаюсь вами, сколько благих пожеланий я шлю вам, где бы вы ни были! А теперь, ваша светлость, молю бога, чтобы он хранил вас целым и невредимым.

Генрих Гейне.

Париж, 23 августа 1854 г.

Стр. 24. Начиная строкой 30, от слов: Оттого-то ему должен особенно до стр. 27, строки 30, до слов: человеческого сада (т. е. до конца I статьи) — в рукописи вариант: Оттого-то ему особенно должен не нравиться Гизо, который никогда не спорит, а вечно поучает и, доказав свой тезис, требует точных аргументов в пользу противного мнения, выслушивает короля

с едва ли не внушающей смущение строгостью и порой одобрительно кивает ему, словно школьнику, хорошо сдавшему экзамен. С Тьером королю еще труднее. Этот вовсе не дает ему говорить, захваченный потоком собственной речи; Тьер может говорить с утра до полуночи, неутомимый, искрящийся все новыми блестящими мыслями, все новыми молниями ума, развлекая слушателей, поучая, ослепляя: хотелось бы сказать — словесный фейерверк. До сих пор король — фактический министр, настоящий глава совета, руководитель всей политики, и если он и сменит нынешних министров по названию и заменит их другими соломенными чучелами, все же он будет сохранять единовластвующее положение, пока исключительные обстоятельства не вынудят его отречься в пользу Гизо или Тьера. Он может выбрать одного из этих двух. Но так как он в подобных случаях повинуетя отнюдь не личным симпатиям, а силе обстоятельств, так как он покоряется только внешней необходимости, условиям своего положения, то мы и должны внимательно следить за ним, если хотим дать ответ на этот постоянный, пошлый, скучный и все же столь важный вопрос: кто же из них в конце концов станет правящим министром — Гизо или Тьер? Тут мы прежде всего должны иметь в виду положение, которое король, с самого начала своего царствования, занял по отношению к иностранным государствам и которое занимает и сейчас. О своих иностранных делах он издавна заботился гораздо больше, чем о внутренних, которые кажутся ему теперь вполне благополучными; и, пожалуй, он прав, что отечественные противники неопасны, пока разразившаяся военная буря не раздует изветлеющих искр партийного раздора. Поэтому, со времени Июльской революции, все его стремления были — мир, во что бы то ни стало мир, и гарантию спокойствия Франции, целостности своей короны и своей шеи он видел в согласии с иностранными кабинетами, с высокой олигархией, которая правит Европой. — Самосохранение — врожденный инстинкт всякого существа, так сказать, главный его закон, и только высшие существа преодолевают низменный инстинкт самосохранения и бросаются в пропасти энтузиазма, где погибает тело, но душа торжествует бессмертные победы. Поэтому — не будем несправедливы к Луи-Филиппу, — он поступает в согласии со своей при-

родой, и менее всего должны были бы французы ожидать от него бескорыстного взлета, ибо, действительно, он именно тот человек, которого они искали, он настоящий представитель той буржуазии, что начала революцию в лето 1789 и завершила ее в 1830 и короля избрала по своему образу и подобию: хорошего отца семейства, защитника собственности, буржуазно-добродетельных нравов, без предрассудков в отношении родовой знати, просвещенного в вопросах религии, либерального, терпимого, домовитого, умеющего промышлять, дородного, многосведущего — особенно в благородной науке арифметики, словом — честного человека. Если бы французы избрали королем любого бакалейного торговца с улицы Сен-Дени, он при тех же условиях действовал бы не иначе, чем Луи-Филипп, и также принес бы в жертву интересам своей особы и своего дома все национальные и государственные интересы. Этот бакалейный торговец с улицы Сен-Дени, которому изысканная речь и куртуазные манеры были бы менее знакомы, чем правнуку Людовика Святого, стал бы куда более неуклюжим языком кланчить дружбы иностранных держав и начал бы, может быть, коленопреклоненно молить высоких монархов: «О, пощадите меня! Простите, что я, так сказать, вошел на французский трон, что храбрейший и умнейший народ — нет, я хотел сказать: горсточка в тридцать миллионов мятежников и безбожников избрала меня своим королем! Простите, что все Траяны, Антонины и Марки-Аврелии этого мира, в том числе и Великий Могол, должны были бы трепетать предо мною, если бы я захотел того! Простите, что я внял ложным советам и принял из проклятых рук мятежников корону и относящиеся к ней коронные драгоценности и суммы на содержание двора. Я был неопытен! Всемилоостивейше прошу вас, не принуждайте меня вести войны, преопасные для вас, я хотел сказать: для человечества, как это делал корсиканец; — я в угоду вам сделаю все, что только смогу угадать по вашим глазам...» Нет, Луи-Филипп, мы должны сказать это к его чести, никогда не говорил таким неуклюжим языком, он никогда не давал повода к обвинению в такой бестактности! Он сумел — более пристойными манерами и более подходящим тоном — достичь союза и даже вступить в родство с европейской олигархией. Она, правда, не

чувствует к нему особенной любви, но она приняла его в свое лоно — из соображений особенно милостивых. Он оказывает ей такие большие услуги! Англия с помощью 30 000 ящиков опиума, от которых Китай отказывается самым вежливым образом, не усыпила бы и не ослабила бы так удачно французский народ, как это делает Луи-Филипп своей правительственной системой. Всеми цепями, какие дарят ему железные копи его севера, русский император не сумел бы так хорошо сковать французов, как это делает Луи-Филипп с помощью своей презренной правительственной системы, имеющей в основе самые дурные, самые корыстные интересы. Да, он оказывает европейской олигархии величайшие услуги и домогается ее одобрения и подчиняется всем ее симпатиям и антипатиям. Зная их, мы легко догадаемся, как будет поступать Луи-Филипп в тех случаях, когда ему будет предстоять выбор. — Как самые высокие, так и самые низкие члены европейской олигархии, этого сиятельного цеха правителей, руководствуются в своих симпатиях и антипатиях отнюдь не слепой прихотью, а тайным инстинктом, который с полной определенностью им подсказывает, кто в душе расположен или не расположен к ним, кто к ним принадлежит — по чувствам и образу мыслей, из орлиной гордости или собачьей преданности, благодаря глупости или благодаря уму: словом, тут не помогут ни притворство, ни холопское усердие, ни притворные речи, ни притворные дела, — они инстинктом знают, с кем имеют дело. Так кто же им приятнее — Тьер или Гизо? Тут не имеют значения ни факты, ни слова; пускай бы Тьер говорил, как какой-нибудь Дре-Брезе, и вел себя, как преданный придворный лакей, и пускай бы Гизо говорил, как Марат, и вел себя, как Друг народа, — все-таки европейская олигархия склонилась бы в пользу Гизо, если бы Луи-Филипп предоставил ей решить — кого из них ему избрать министром. Верный инстинкт подсказывает ей, что Тьер — человек революции, что всем ее пламенем пылает его грудь, что бы ни говорили его уста, что бы ни подписывала его рука — не важно! И верный инстинкт подсказывает ей также, что в сердце Гизо коренится холодное почтение к господствующей действительности, что в сущности он — жреческая, или, вернее, клерикальная натура, во власти духовного высокомерия и аристократических

вожделений, что он не принадлежит народу и что им можно воспользоваться, как подходящим субъектом. «Хотим Варавву!», — крикнут Луи-Филиппу, как только ему придется выбирать между Тьером и Гизо. — Да, в виду этих соображений я заключаю, что мы гораздо ближе к министерству Гизо, чем к министерству Тьера. Но оно не сможет долго продержаться, как я покажу это в другом месте. Принесенный в жертву Тьер станет в политическом отношении еще могущественнее, чем прежде, и получит перевес, и тем скорее взлетит вверх. Убейте его нынче, и вот — истинно говорю вам — на третий день он воскреснет в величайшей славе! В этом смысле он, после Луи-Филиппа, самый значительный политический характер среди французов, и поэтому мы вскоре поговорим о нем с тем большей обстоятельностью. Сегодня удовольствуемся сообщением, что Тьер, несмотря на большую занятость в палате, неумоимо продолжает работать над историей Наполеона и скоро кончает самый блестящий ее отдел — консульство. Один из царедворцев его таланта (а число их много больше, чем число царедворцев его власти) говорил мне с лстивой наглостью, что он, насколько возможно, поддерживает презренное министерство Сульта, чтобы господин Тьер стал министром не раньше, чем он закончит свою историю Наполеона. — С этой точки зрения нам также все равно — получит ли герцог Броглио портфель министра иностранных дел, о чем ходят слухи, — слухи, внушающие нам, впрочем, очень сильное сомнение. Мы сомневаемся в них по той весьма простой причине, что они вызваны всего навсего прибытием сюда самого герцога Броглио. Оно, однако, отнюдь не стоит в связи, как сочиняют, с назначением Гизо на пост посланника в Лондоне. Ибо при размеренном образе жизни и точности доктринера-герцога день и дата его отъезда из Италии и его прибытия в Париж были назначены за два месяца вперед, а он прибыл не раньше и не позже, чем его ожидали. К тому же, Сульт отнюдь не склонен принять портфель военного министерства, самого подходящего для него, и уступить герцогу Броглио портфель министра иностранных дел; все мы — люди, и больше всего любим заниматься тем, что нам не годится, чего мы не понимаем и что ставит нас в смешное положение.

Стр. 25. *Вместо слов:* Тяжеловесно и с трудом взбирается

он наверх — *во фр. изд. вариант:* он лезет на нее так неуклюже и с такими страшными усилиями, что кажется, будто медведь карабкается на улей.

Стр. 30. *После слов:* уже в молодости — *во фр. изд. добавление:* когда он был маленьким яacobинцем.

Стр. 31. *После слова* тирадами — *в «Аугсб. газ.» добавление:* Тьер — не честолюбец, так же как и Виктор Гюго; господин де-Ламартин, напротив, честолюбец как в политическом, так и в поэтическом отношении.

Стр. 34. *Вместо строк 12—14:* и что следовательно во времена бедствия во главе государства станут лишь кум-кожевник да кум-колбасник — *во фр. изд. вариант:* и таким образом в дни народного бедствия и опасности общественными делами смогут вестать только добродетельные лавочники, честные колпачники и другие добрые люди из того же теста.

Стр. 34. *После слова* сомнению — *в «Аугсб. газ.» и в рукописи добавление:* Важнейший орган республиканцев — «Revue du Progrès». Луи Блан, его главный редактор, бесспорно самая выдающаяся голова своей партии [*вариант в рукописи:* бесспорно выдающаяся голова, или, вернее, выдающаяся головка]. Ростом он очень мал, почти что похож на школьника, у него красные щечки и почти ни одного волоса на лице; но умственно он превосходит всех своих товарищей по партии, и взор его глубоко проникает в те бездны, где гнездятся и настороженно таятся социальные вопросы. Он — человек с большим будущим, ибо он понимает прошлое. — Он, как я сказал, самая выдающаяся голова своей партии, и я не особенно удивился, когда на этой неделе узнал о расколе между ним и его республиканскими соредакторами. Луи Блан по поводу бальзаковского «Vautrin» прямо заявил, что театральная цензура необходима. Возмущенные таким гнусным мнением, такой антияcobинской ересью, Феликс Пиа и Огюст Люше отказались от редактирования «Revue du Progrès». Оба они — не только люди, достойные уважения, но и писатели очень талантливые; несколько лет тому назад они написали драму, которую театральная цензура запретила.

Стр. 35. *После слова* республиканцем — *во фр. изд. добавление:* Он напоминает того солдата-австрийца, который кричал:

«Полковник, я взял пленника!», но когда полковник приказал ему привести пленника, ответил: «Не могу, он меня не пускает!»

Стр. 36. *После слов за республику!* — в «Аугсб. газ.» *добавление*: Просвещенный банкир, говоривший мне это, — ни великий барон фон-Ротшильд, ни маленький господин Кенигсвартер; вряд ли даже нужно это замечание, так как у первого — это знает всякий — денег столько, что оба его кармана полны, второй же слишком неумен, чтобы уметь объяснить, почему он попеременно раз двадцать в день становится то роялистом, то республиканцем.

Стр. 37. *После слова поступок (конец статьи IV)* — в «Аугсб. газ.» *добавление*: Его противники уже нашептывают это друг другу. Напротив, друзья замечают в нем кротость, которая увеличивается с каждым днем. Человек этот живет в сознании важного долга, своей ответственности перед современниками и потомками, и смуте злободневных страстей он всегда будет противопоставлять мудрое спокойствие государственного деятеля.

Стр. 40. *После слова умысел* — в «Аугсб. газ.» *добавление*: представление не прерывалось шумом, который обычно возникает при представлении драм Виктора Гюго.

Стр. 40. *После слова театре* — *добавление*: Аплодисменты, раздававшиеся все же часто и достаточно громко, были тем почетнее. Во время пятого действия послышалось несколько злоумышленных звуков, а ведь в этом действии гораздо больше драматических и поэтических красот, чем в предыдущих, где стремление избежать всего резкого почти что перешло в прискорбную робость.

О достоинстве пьесы вообще я не позволю себе здесь никакого суждения. Довольно того, что автор — Жорж Занд и произведение в напечатанном виде через несколько дней сможет подвергнуться критике всей Европы. Такова привилегия, которой пользуются большие репутации: их судит суд присяжных, не сбиваемый с толку кучкой литературных евнухов, свистящие голосишки которых раздаются с задворков партера или газеты.

Стр. 44. *После слова* нравственность — в «*Аугсб. газ.*» *добавление*: Я хотел было сказать, что методы его коллеги, Жорж Занд, — совсем другие, что у этого писателя — определенная цель, которую он преследует во всех своих произведениях; я даже хотел сказать, что не одобряю этой цели, но я во-время спохватываюсь, так как подобные замечания были бы очень неуместны в такой момент, когда все враги автора «*Лелии*» хором нападают на нее во Французском театре. Но, чорт возьми, чего ей надо было тут? Неужели она не знает, что свисток можно купить за один су, что самый жалкий дурак может быть виртуозом на этом инструменте? Мы встречали и таких, которые свистели так, как если бы они были равными Паганини.

Стр. 49. *Вместо строк 1—15, от слов:* Жорж Занд в прозе *до слов:* называем естественным — в *рукописи вариант*: Действительно, подобно тому как Жорж Занд в области прозы превосходит всех остальных французских беллетристов, так Альфред де-Мюссе является величайшим *poète lyrique*. Следующее место занимает Беранже. Сопернику их обоих, Виктору Гюго, третьему крупному французскому лирику, далеко до первых двух, чьи стихи отмечены такой прекрасной правдивостью, гармонией и грацией. Всем известно, в какой прискорбной мере лишен этих качеств Виктор Гюго. Ему недостает вкуса, который настолько распространен у французов, что его отсутствие, быть может, представляется оригинальным; ему нехватает того, что мы, немцы, называем естественностью.

Стр. 52. *Вместо слов:* наших братьев-христиан — во *фр. изд.*: крещеных псов.

Стр. 53—54. *Вместо строк 34—2:* представляется французам началом реабилитации их оскорбленной народной чести. Наполеон — их *point d'honneur* — в «*Аугсб. газ.*» *вариант*: представляется французам как частное дело их страны, как реабилитация их оскорбленной национальной гордости, как пластырь, задним числом наклепленный на рану Ватерлоо! *Затем там же* («*Аугсб. газ.*») *следует добавление*: Вы заблуждаетесь: в лице того, кто умер на св. Елене, оскорблена была не Франция, но человечество, и на похороны, которые теперь должны состояться, следует смотреть не как на поражение иностранных

держав, но как на победу человечества. — Боролись с живым, а не с мертвым, и если его так долго не возвращали французам, то это вина не еропейских монархов, а кучки великобританских егерей, конюхов и охотников на лисиц, сломавших себе тем временем шею или перерезавших себе горло, как, например, благородный Лондондерри, или же погибших иным путем, убитых временем и портером. Мы в Германии уже давно отдали великому императору дань почитания и теперь имеем право на известное хладнокровие, глядя на почести, оказываемые ему сейчас. Откровенно говоря, французы в этом деле ведут себя, как дети, у которых отняли и которым снова возвращают игрушку: как только она окажется у них в руках, они с хохотом разломают и растопчут ее, и я уже предвижу, сколько будет отпущено скверных острот, когда приблизится великая процессия с реликвиями св. Елены. Теперь они бредят им, добросердечно-легкомысленные французы. Они так недовольны живыми, что бог весть чего ожидают от мертвого. Вы заблуждаетесь. Вы найдете в нем человека очень тихого.

С т р. 55. *После слов:* гнилого дерева (*конец статьи VII*) — в «*Augsb. gaz.*» *добавление:* По поводу событий в Дамаске завязалась странная, почти забавная полемика между «*Univers*» и «*Quotidienne*», отличающейся от «*Univers*» некоторым рыцарством: «*Quotidienne*», орган чистых легитимистов, приверженцев старшей линии, естественно, праждует с той частью духовенства, которая примкнула к младшей линии Бурбонов, к правящей династии.

С т р. 56. *После слов:* с орлеанизмом — во *фр. изд:* *добавление:* Не думаю ни того, ни другого.

С т р. 56. *Вместо строк 32—34, от слов:* если он поможет до слова республику — в «*Augsb. gaz.*» *вариант:* «Восстановленным Бонапартом владела бы умилительная благодарность, немощная креатура воздавала бы своему мощному создателю почести тем более высокие, чем более она нуждалась бы в его постоянной поддержке. К тому же, во Франции бонапартистский строй ввести легче, чем республику; первому ни буржуазия, ни армия не стали бы оказывать столь смелого сопротивления, как республике. Буржуазии нужен только надежный защитник

собственности. А что до армии, то в криках «Vive l'empereur!» столько сверкающих эполет, столько герцогских мантий, столько контрибуций, словом — это блистательнейшая приманка для хищников и честолюбцев.

Стр. 64. *Вместо* строк 19—23, *от слов:* Point d'argent *до* Достаточно того — *во фр. изд. вариант:* у нас не хватает духа — говорить об этом бедном Бенжамене Констане, что изрыгал проклятия императору и чьи богохульства вновь напечатала «Gazette». Людей этих больше не существует, этого довольно.

Стр. 64. *После слова* известно — *в «Аугсб. газ.» добавление:* И этот республиканец из Швица тоже брал деньги, деньги от Луи-Филиппа, — вскоре после Июльской революции.

Стр. 65. *Вместо слов:* в люксембургской больнице — *во фр. изд. вариант:* в политической богадельне, называемой: Люксембургский дворец.

Стр. 69. *После слова* синагоги — *во фр. изд. добавление:* Что поделаешь? — продолжает он, и понемногу морщины на его лбу расходятся, и напускная серьезность исчезает. — Что поделаешь? У каждого свой вкус.

Стр. 69. *Вместо* строк 28—33, *от слов:* например, с графом Монталамбером *до слов:* столь же умно, сколь и коварно — *во фр. изд. вариант:* В частности, он в добром согласии с графом Монталамбером, вождем, или, скорее, знаменосцем воинствующей когорты неонезуитов, журнал которых «L'Univers» он редактирует. Это орган самого передового отряда самых отсталых ханжей, и редакторы его, отличающиеся как умом и эрудицией, так и коварством, надо сознаться, порой превосходят своих либеральных противников, этих добрых малых, благонамеренных и плохо пишущих, так сказать, мелкую буржуазию мысли.

Стр. 72. *Вместо* строк 28—30, *от слов:* что мир в близком будущем *до слова* монархию — *во фр. изд. вариант:* что в очень близком будущем мир явится достоянием или республиканцев, или казаков.

Стр. 85. *Вместо* строк 27—29, *от слов:* С окончанием его *до* во Франции — *во фр. изд. вариант:* Чем кончится этот сло-

весный поединок? Мне кажется весьма вероятным, что вместе с борьбой этих двух знаменитых фехтмейстеров трибуны кончится и весь парламентский строй во Франции и что он сменится грубыми схватками санкюлотизма или солдатчины, бьющей в барабан и грохочущей саблями.

Стр. 89. *После слов:* господин Тьер — в «*Аугсб. газ.*» *добавление:* на случай, если будет утрачен Алижир и французскому честолюбию придется искать себе пищи в другом месте.

Стр. 94. *Вместо строк 15—17, от слов:* вполне возможно до со временем исчезнет — *во фр. изд. вариант:* К англичанам относятся слова Библии: «Имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат, курносы — и не чуют никаких запахов». Но сильны ли они? Это теперь важный вопрос. Нет, сила их очень сомнительна. Хотя и банально сравнивать Англию с Карфагеном, тем не менее нельзя отрицать, что она остается все тем же Карфагеном, но только без Аннибала. Войска ее — наемные. Нельзя отрицать, что английский солдат — храбр, что храбрость его — непобедима и что вражеские пули он презирает так же, как должен презирать самого себя, это жалкое оружие, продавшееся за кусок beef \* и публично наказываемое розгами; честь несовместима с поркой. Офицеры их отважны, но в них мало военного; они купили себе чин, и война для них — дело, в которое они вложили деньги и которое они ведут с невозмутимым хладнокровием, присущим всем английским коммерсантам. Английское дворянство — мужественно, и та часть его, которая служит во флоте, даже унаследовала черты своих предков, французских норманнов. Но что мне сказать о народе в целом и об этой буржуазии, которая, так сказать, является официальной нацией?

Стр. 101. *После слова* войне — в «*Аугсб. газ.*» *добавление:* Что до меня, то я не верю в возможность войны, и, как вы знаете, я никогда не сомневался в сохранении мира. Но все-таки существенно знать, как отнесся бы народ к вспышке военных действий. А в этом отношении я замечаю в народе удивительнейшую проницательность. Французы не обольщают себя насчет опасностей, грозящих им как изнутри, так и извне. Но так как они отчетливо представляют себе свое положение и хорошо

\* Говядины.

знают, чего хотят, они начнут действовать с величайшей быстротой. Я уверен, они прежде всего отделаются от той партии прошлого, которая так враждебна новой Франции, партии, которую нельзя было обезоружить ни великодушием, ни здравым смыслом и которая, при малейшей надежде на нашествие иноземцев, пустит в ход старые козни и, как уверяют, опять возбуждает шуанов в Вандее к международной войне. Люди, ездившие туда, уверяют, что там были стычки, но эти незрелые попытки быстро были подавлены. Мне важно было разузнать, что здесь думают о короле, и я с радостью заметил, что все уверены в его неизменном сочувствии своему народу и что ни малейшее подозрение в антинациональных симпатиях не тяготеет на нем. Известно, правда, что он любит мир (да какой же честный человек его не любит?), но известно также, что войны он боится не как трус.

В самом деле, Луи-Филипп — герой, но в духе Одиссея, который не любил сражаться, если можно было обойтись дипломатией слова, однако бился так же храбро, как какой-нибудь Аякс или Ахилл, если слова не помогали и приходилось браться за меч или за лук. Существует даже такое мнение, что в крайнем случае он прибегнет к весьма террористической обороне.

Стр. 104. *После слова* верой — в «*Аугсб. газ.*» добавление: В этом отношении многое изменилось. Ламене сам — бретонец, и учение его, может быть, продукт родной почвы. Духовенству пришлось примириться с династией новой мысли, когда оно отказалось от надежды восстановить династию старых мыслей. Не будем несправедливы: для того, чтобы осчастливить род людской, надо иметь возможность руководить им, а средства для достижения этой важной цели приобретаются лишь путем союза с властями. Учение Ламене имеет страшнейшее значение не только для Франции, но и для всей Европы, особую же роль сыграло бы оно в случае войны с четверным союзом. Я давно уже обратил ваше внимание на то, что французское министерство имеет всякие виды на эту партию, и не только щадит ее, но по временам и льстит ей. Что бы ни говорили, Тьер — великий государственный деятель, и при его религиозном индифферентизме ему легко может притти в голову — воспользоваться и религией, этой вестницей благого мира, как средством разру-

шения. Вообще в случае войны обнаружались бы такие явления, о которых мы сейчас еще не имеем и понятия, и страшна переживаемая минута, когда мир всего земного шара зависит от малейшего промаха.

Стр. 104. *Вместо строк 23—24:* Сейчас — нет, однако злой демон снова на свободе и тревожит умы — в *«Аугсб. газ.»* вариант: Сейчас — нет, но боюсь, что вскоре. Ибо война — уже в каждом сердце.

Стр. 104. *После слов:* тревожит умы — в *«Аугсб. газ.»* добавление: Кто пробудил этого демона? Думаю, что эгоизм англичан так же виноват в этом, как и легкомыслие французов. Действительно, один из крупнейших государственных деятелей уверял меня недель шесть тому назад, будто хитрый Брунов соблазнил англичан тем, что указал им в перспективе на гибель французского флота как на естественный результат наступающих осложнений и столкновений. И странное дело! По всей Нормандии, как я уже писал вам из Гранвиля, да и в Бретани тоже, словно легенда, распространилось мнение, что Англия вступила в союз с русскими интересами, предательски завидуя цветущему развитию французского флота. Народ в своем поразительном ясновидении угадывает то, что чует тончайший дипломатический нос.

Стр. 106. *Вместо строк 15—22, от слова успехи до слова приговор — в «Аугсб. газ.» вариант и вставка:* Может быть, поражение бонапартистов в такой же мере является удачей для республиканцев, в какой оно является неудачей для приверженцев Орлеанской династии; между ними и республикой нет больше никакой промежуточной партии, и тем резче будет их столкновение. Легитимисты страшно рады бонапартистской неудаче, так как Наполеона они ненавидят еще больше, чем республику и Луи-Филиппа, да они и думают, что Генрих V — теперь единственный претендент. Действительно, принц Луи Бонапарт навеки погиб, не из-за глупости, которую сделал в Булони, но из-за другой, гораздо большей глупости, которую он совершил, избрав своим защитником господина Берье, хитрого адвоката карлистов. Тут, в Париже, царит сейчас угрюмо-печальное расположение духа. Войска проходят

через город, а в воздухе пугающе-торопливо звенят телеграфные провода. Дело принца Людовика будет окончено на-днях и отнюдь не привлекает любопытства толпы. Бедный принц терпит фиаско, меж тем как дело госпожи Лафарж, после того как состоялся обвинительный приговор, возбуждает еще более страстные толки.

Стр. 106. *Вместо строк 16—17:* О благородный Шахриар и воистину демократический Прокруст! — *во фр. изд. вариант:* О благородный Шахриар, любящая душа, и ты, великий республиканец Прокруст!

Стр. 111. *После слова держав — в «Аугсб. газ.» добавление:* Какая рука будет в силах обуздать мятежные страсти народа и не будет бояться — пасть их жертвой!

Стр. 111. *Вместо строк 28—30, от слова Уверяют до слова колики — в «Аугсб. газ.» вариант:* Говорилось также, что в Лондон отослан ультиматум, страшно наперченный. Сегодня носятся противоречивые слухи. Статья в «*Courrier français*», направленная непосредственно против короля, приводит в замешательство все головы.

Стр. 111. *Вместо строк 30—32, от слов:* Что из всего этого выйдет *до слов:* режут воздух (*конец статьи XXII*) — *во фр. изд. вариант:* Я только что разговаривал с биржевым маклером, у которого очень тонкое обоняние и который имел честь и возможность приблизиться на минуту к господину Ротшильду; он уверяет меня, что барон страдает очень сильными коликами и что рента завтра упадет еще больше, как только на бирже станет известна эта новость. Но чем кончатся все эти опасения и зыбкие надежды, эта непрерывная тревога? Гроза все приближается. В воздухе слышен уже шелест крыл и звон медных щитов валкирий, колдуний-богинь, решающих исход битвы.

Стр. 111. *После слов:* режут воздух — *в «Аугсб. газ.» добавление:* На этих столбцах мы всегда открыто высказывали наше пристрастие к Тьеру и никогда не скрывали нашего не-расположения к Гизо; мы безусловно хвалили только характер Гизо, как человека, и охотно приносили дань уважения его личности, порицая государственного деятеля. Сможем ли мы

и к последнему отнестись с полнейшим беспристрастием? Мы честно попробуем это. Сейчас это наш важнейший долг.

Стр. 112. *После слова* Цезаря — *во фр. изд. добавление:* или как у кардинала Ретцского.

Стр. 112. *Вместо* строк 35—36: во что бы то ни стало избавиться от великого вооружителя» — *во фр. изд. вариант:* избавиться от своего слишком воинственного министра, этого злополучного вооружителя, этого вождя всех барабанщиков (по причинам, о которых вы догадываетесь, я воздерживаюсь от слова тамбур-мажор), должен был, повторяю я, отделаться от этого вождя всех барабанщиков, бывшего военную зорю столь же легкомысленно, сколь и оглушительно.

Стр. 115. *После слова* познания — *во фр. изд. добавление:* Подобные заявления всегда обманчивы, и жадность всегда берет верх над честностью, когда наступает критический момент и приходится делить большую добычу. Это должно случиться, когда падет Османское государство, медленная агония которого — самая страшная вещь. Коронованные коршуны кружат над умирающим, а потом будут драться, разрывая труп на части. Кому достанется самая драгоценная добыча? России или Англии или Австрии? На долю Франции придется только отвращение, вызванное этим зрелищем. Это называют восточным вопросом.

Стр. 115. *Вместо* строк 27—30, *от слова* Портрет *до слов:* злых языков (*конец статьи XXIV*) — *в «Аугсб. газ.» вариант:* Этот портрет выше всяких похвал, он недавно появился в немецком художественном магазине Ритнера на бульваре Сен-Мартен, где сейчас должно появиться множество прекрасных вещей, например, «Рыбаки» Робера. Недавно, когда господин Ритнер любезно разрешил мне посмотреть на этот шедевр граверного мастерства, уже почти готовый, и речь зашла о портрете Тьера, он заметил, что его клиенты в провинции и за границей требуют по 15 экземпляров портрета господина Тьера; между тем им бывает достаточно одного экземпляра каждого портрета других великих людей.

Стр. 117. *После слова* индивидуализму — *во фр. изд. добавление:* отвращение, тайный источник которого, быть может, в зависти, возбуждаемой всяким превосходством — умственным

и даже физическим; да, говорят, что этот человек завидует даже тем, кто выше его ростом.

Стр. 118. *Вместо строк 9—11, после слов:* Правда, все мы братья *до* бóльшая порция — *во фр. изд. вариант:* Правда, что люди равны, но желудки наши неравны, и у некоторых из нас — аристократический вкус, и самой добродетельной картошке иные предпочитают трюфеля.

Стр. 118. *После слова:* ноша — *во фр. изд. добавление:* Хотя господин Блан и стремится к республиканской строгости, тем не менее он не свободен от того детского тщеславия, которое всегда встречается у людей маленького роста. Ему хотелось бы блистать в женском кругу, а эти ветреные существа, эти порочные создания, смеются ему в лицо; пусть он взбирается на ходули фразы, дамы не принимают его всерьез и безобразному трибуну предпочитают какого-нибудь длинноусого кретина. Однако этот трибун также ухаживает за своей репутацией великого патриота, за своей популярностью, как его соперники за своими усами; он заботится о ней как нельзя лучше, натирает ее, подстригает, завивает, закручивает и раскручивает и любезничает с ничтожнейшим журналистиком, который может вставить в свою газетку несколько рекламных строчек в его пользу. Те, кто желает сделать ему самый приятный комплимент, сравнивают его с господином Тьером, который, правда, ростом не гигант, но все-таки слишком высокого роста — и физически и духовно, — чтобы его всерьез можно было сравнивать с господином Бланом. Один республиканец, без всяких притязаний на вежливость, как и подобает людям с убеждениями, однажды совсем грубо сказал Луи Блану: «Не льсти себе сходством с господином Тьером. Между вами обоими все-таки большая разница; господин Тьер похож на тебя, гражданин, как монетка в десять су похожа на совсем маленькую монетку в пять су.

Стр. 119—120. *Вместо строк 37—2, от слов:* в его наклонности к игре и музыке *до* великого адвоката — *во фр. изд. вариант:* в энтузиазм, который рождает в нем искусства, изящная словесность, музыка, словом — благородная игра ума и случая; — но он не заставит нас поверить в анекдоты, которыми кормит республиканских ротовеев.

Стр. 122. *После слов:* всему миру—в «Аугсб. газ.» *добавление:* Как все крупные личности, он рад был согласить свои частные интересы с благом своих современников, и таким образом в нем развилось убеждение, что война — несчастье не только для него, но и для всего человечества, и на всю свою борьбу за сохранение мира, на все опасности, в которые она вовлекает его, на все обиды, которым он подвергается, он смотрит, как на мученичество. Может быть, он прав, может быть, он страдает за нас всех — не клеветайте, по крайней мере, на его слезы! — Это был грустный факт, вызвавший самые плачевные истолкования.

Стр. 122. *После слова* Июля — в «Аугсб. газ.» *добавление:* это мы видели в дни первой революции.

Стр. 122. *После слова* превращение (*конец статьи XXVI*) — в «Аугсб. Газ.» *добавление:* Победа, которую министерство одержало вчера в палате, не так значительна, как можно было бы заключить по триумфальному крику его газет. Выбор президента и вице-президента свидетельствует, правда, о некоторой вялости, но в сущности не имеет значения. Французские депутаты — совершенно такие же французы, как и все остальные, и события так же приводят их в страстное волнение. Пусть только сообщат какое-нибудь известие, оскорбляющее национальное чувство, — и умеренность самых умеренных исчезнет бесследно. Люди, на которых рассчитывает министерство, принадлежат в большинстве к тому «болоту», которое характеризуется добродетельным свойством — оно до тех пор поддерживает правительство, пока последнее не подвергается достаточно сильным нападкам. Сегодня «болото» против Тьера, завтра оно будет за него — но не будем нашими суждениями предвосхищать события.

Стр. 124, строка 6 *вместо* Предсказывают — в «Аугсб. газ.» *вариант:* Ламартин предсказывает...

Стр. 124. *После слова* толпы — в «Аугсб. газ.» *добавление:* Я упомянул о Ламартине, великом поэте; этому человеку и в области политики предстоит великая будущность. Я не люблю его; но мы отнесемся к нему с полным беспристрастием, когда

при обсуждении восточных дел раздастся его благородный голос.

Стр. 125. *Вместо строк 5—15, от слов:* И еще много до прекрасный (*конец статьи XXVII*)—*во фр. изд. вариант:* Им, русским, неважно, что англичане со все большей жадностью пожирают Индию и что в конце концов они завладеют даже и Китаем: настанет день, когда их заставят выпустить свою добычу и отдать ее русским, которые укрепляются в Крыму, которые уже стали хозяевами Черного моря и преследуют все одну и ту же цель — обладание Босфором, Константинополем. На древнюю Византию устремлены жадные взоры всех московитов: завоевание этого города — для них не только политическая, но и религиозная миссия; и с высоких берегов Босфора царь их покорит все народы земного шара скипетру из русской кожи, скипетру, более гибкому и более крепкому, чем сталь, и называемому: кнут. Правда ли, что Константинополь имеет такое мировое значение и что обладание этим городом может решить судьбу мира? Один из моих друзей недавно говорил: «В Риме — ключи от царства небесного, а в Константинополе — ключи от царства земного: кто завладеет им, тот будет царить над целым миром». Что за ужасный вопрос — этот восточный вопрос!

Стр. 127. *После слова прогресса — в «Аугсб. газ.» добавление:* Враги революции оценивают его в этом отношении гораздо правильнее, нежели наши радикалы; они поняли, что, защищая власть средних классов от натиска пролетариев, он своими реформами в области народного просвещения всё же подготавливал низшие классы к тому, чтобы со временем, путем постепенного развития, без насильственной внезапности, они приняли благотворное и благодетельное участие в правлении. *За этим следует точка и новый абзац, начинающийся словами:* Будущее воздаст ему.

Стр. 130. *Вместо строк 19—26, от слов:* Воинственные стремления до помпу — в «Аугсб. газ.» *вариант:* Правда, народ галльский никогда не умел таить своих воинственных наклонностей. Но теперь они, если и не совсем угасли, то уж чуточку поостыли, и настроение народа на похоронах императора Наполеона могло бы служить новым доказательством тому.

Касаясь здесь императорских похорон, я отнюдь не собираюсь вверить тем корреспондентам, которые в этом удивительном зрелище усмотрели только...

Стр. 130. *Вместо* строк 32—33: Старые завоеватели умерли за это время — в «*Augsb. gaz.*» *вариант*: Империя так же мертва, как и сам император, и погребена вместе с ним под куполом Dôme des Invalides.

Стр. 132. *После слов* на свору — в *рукописи добавление*. Что же касается ужасного союза, то, очевидно, до него еще далеко, и неприязнь к англичанам, даже доведенная до крайней ненависти, все-таки не могла бы разжечь в рассерженной Франции слишком пламенного энтузиазма по отношению к русским. Сейчас оба эти народа в равной мере неприятны французам, и недавно один депутат с берегов Гаронны — я это слышал — выразился следующим образом: «Я хотел бы, чтоб русские пожрали англичан и подавились бы ими!»

Стр. 133. *После слова* подкупать — в *рукописи вариант*: Он не грубый деспот и не пресмыкающийся плут, и не один писатель мог бы быть хорошим писателем, если бы обладал долей ума Мехмета-Али.

Стр. 133, строки 34—35. *Вместо слов*: На обвинения филантропов — в *рукописи вариант*: На обвинение наших неподкупленных (не скажу: неподкупных) филантропов.

Стр. 134. *От слов*: С падением Мехмета-Али — до стр. 135, строка 29, *слова дня (конец статьи ХХХ)* — в *рукописи вариант*: Упомянув здесь о господине Кремье, не могу не заметить, между прочим, что он в скором времени сдает в печать дневник своего путешествия на восток и что это сочинение составит, наверно, интересную параллель к «*Legatio ad Caium*»\* Филона. Существует в самом деле большое сходство между той и другой миссией, и Адольф Кремье, так же как и ученый александриец, увековечил свое имя в летописях несчастного народа, который не может умереть. Это сознание с избытком вознаграждает этого прекрасного человека за те подозрения, которым подверглось на-днях в одной северонемецкой газете бескорыстие его деятельности. Кремье — один из благороднейших рыца-

\* «Посольство к Каю» (см. примеч.).

рей человечности и это признают лучшие среди его современников. История его жизни, в том виде как она со всей подробностью изложена в «Biographies des Contemporains célèbres»\* — не что иное, как непрерывная защита гонимых всех вероисповеданий. Безвинно страдавший всегда находил в нем защитника, готового помочь, невзирая на различия сословия и веры, кто бы ни был обвиняемый — католик или еврей, п—р Франции или поденщик. Иные фарисеи, может быть, и злы на него, так как он любит музыку, в особенности итальянскую, любит хороших лошадей, также и трагедии Расина, и был воспитателем одной актрисы, которую зовут — девица Рашель. Но эти угрюмые фанатики должны были бы извинить ему его жизнерадостность и его языческие вкусы хотя бы за то рвение, с которым он защищал их собственные бороды и члены от дамасских палачей. — Не могу кончить этого письма, не упомянув вкратце, что в Париже со времени штурма Бейрута еще не бывало такого злобного расположения духа, как сейчас, когда вопрос об укреплениях и письма, приписываемые королю, всколыхнули в душе народа все возможные обиды. Гизо прав, считая, что опасность, угрожающая извне, гораздо меньше, чем опасность изнутри. Я вернусь еще к двум указанным причинам волнения, как только закончатся дебаты по поводу укреплений и начнется процесс о подложных письмах. Я говорю: «подложные. письма», так как убежден в подделке, доверяясь в этом отношении не той внешней критике, которая находится в руках так называемых экспертов и в высшей степени обманчива, а той внутренней критике, которая свои аргументы находит в уме писателя.

С т р. 136. *После слова Французы — во фр. изд. добавление:* придворные комедианты господа бога.

С т р. 138—139. *Вместо* с т р о к 35—3, *от слов:* Французские либералы *до* гораздо опаснее — *в «Аугсб. газ.» вариант:* В 1814 и 1815 годах победа была одержана не над революцией, а над ее венценосным могильщиком, и в манифестах, которыми объявляли, что война велась только против Наполеона Бонапарта, было гораздо больше правды, чем могли думать их авторы. Французские либералы были в то время совершенно правы, не высту-

\* «Биографии знаменитых современников».

пив на защиту свободолюбивцы-императора, ибо для революции он был много опаснее.

Стр. 141. *Вместо строк 17—25, от слов:* чем в Бурбонах до убеждения — в «Аугсб. газ.» *вариант:* чем в старшей линии Бурбонов. Во всей армии не окажется подпоручика, который был бы так воодушевлен любовью к отечеству, как нынешний герцог Орлеанский или его братья, принцы чистой францужской крови. Это служит известным залогом монархического будущего теперешней династии, ибо любовь к Франции французы ценят больше всего.

Но это отлично знают и враги короля, и они сплутовали, удачно и подло, бросив с помощью подложных писем тень на его патриотические убеждения.

Стр. 143. *После слов:* лучших из них (*конец статьи XXXI*)— *во фр. изд. добавление:* Бывают бедовые дети, но бывают и бедовые матери, и вы, мамаша, вы из их числа. *В том же месте в «Аугсб. газ.» добавление:* Мы намерены каждому отдать справедливость и не будем требовать от господина Тьера вещей, которые вовсе не в его характере и несовместимы с его судьбой. Мы хвалили его патриотизм, признаем и его гениальность. Достаточно странно то, что эти разнородные достоинства сочтались в этом человеке. Да, он не только патриотический француз, но и гениальный человек, и порой, когда он осознал это, он забывает свои узко местные национальные чувства, его охватывает предчувствие, так сказать, космополитизма в веках, и в одну из таких минут он сказал замечательные слова: «Я люблю мое столетие, потому что оно — моя родина во времени».

Стр. 144. *Место от слов:* но мне кажется до союзника — в «Аугсб. газ.» *отсутствует, вместо того добавление:* Мы увидим, что будет для него сделано и добьются ли для него полной наследственности в его пашалыке, обеспечат ли ему ее. Но даже если наследственность для Мехмета-Али и воплотится в действительность, все-таки власть его погублена вконец, и он никогда больше не будет в силах уравновесить собою власть султана, как прежде, когда, быть может, именно благодаря равновесию, в котором находились противники, сохранялось спокойствие турецких провинций. Наместники их оставались на тороне

слабого господина, потому что боялись бесконечно сильного вассала; а может быть, они выжидали исхода великого поединка, не решаясь ни на отпадение, ни на переход, сдерживаемые почтением, которое внушал им былой победитель. Настоящее в известной мере покорялось авторитету прошлого. Теперь связующая цепь распалась, всякий знает, что паша никогда не достигнет единодержавия, каждый знает также, что хваленая верховная мощь султана — лишь блестящий призрак власти, восточная гипербола, галлюцинация западных протоколов, и турецкое государство распадается теперь на части, как некогда старый халифат. — Но можно ли будет при этих условиях упрочить спокойствие на Востоке — так, чтобы влияние конфликтов не простерлось на нас? Боюсь, пресловутое замирение, ослабившее папу и не усилившее султана, явится сигналом общего распада османского государства, и начнется борьба за наследство!

Стр. 144—148. *От слов:* Да, так называемый до мне неизвестно (*конец статьи XXXII*) — в «*Аугсб. газ.*» *отсутствуют. Вместо того — следующее:* Чем кончится борьба с Америкой? Во всяком случае, исход будет не блестящий. Даже если бы в лице Мак-Леода весь английский народ оказался, так сказать, повешенным in effigie, Джону Буллоу еще основательно пришлось бы подумать, прежде чем по-настоящему начать бокс с Джонатаном. Он прежде всего — расчетливый делец, и дело чести не является для него неотразимой приманкой, если в материальном отношении можно больше проиграть, нежели выиграть, как в данном случае. Хотя мы и не особенно любим эти две нации эгоизма, все же мы не хотим, чтобы дело дошло до войны. Война — заразительная болезнь.

Стр. 146. *Вместо строк 24—26, от слов:* позволил себе до соболь — *во фр. изд. вариант:* осмелился предложить моему брату в Аполлоне, господину Ротшильду, — сказать: Constantinopolis вместо Константинополь и срифмовать это слово с metropolis, говоря, например: Constantinopolis, будущая metropolis русских.

Стр. 161. *Вместо строк 14—18, от слов:* Он такой же до бить фонари — в «*Аугсб. газ.*» *вариант:* Все его существо отмечено чем-то немецким, но немецким в лучшем смысле слова:

он высокоучен, высокочестен, человечен, всесторонен. Мы, немцы, гордились бы Гизо, если бы он в самом деле был нашим соотечественником, — так уж, по крайней мере, поскольку речь заходит о его личных достоинствах, будем справедливы к нему как французскому министру. Не могу надивиться, как могли почтенные люди в Германии додуматься до того, что немецкой прессе следует чего-то опасаться от вмешательства этого человека. Не знаю, как обстоит дело с обвинениями «Верхненемецкой Газеты»; но знаю, что мы имеем дело с заблуждением и злонамеренными домыслами, если Гизо считают инициатором ограничений, которыми местные цензурные власти грожат немецкой газете. Подобный упрек я прочел в 113-м номере «Всеобщей Газеты», полученном здесь вчера. Я не имею чести быть в близких отношениях с господином Гизо, иначе я мог бы ответить на этот недостойный упрек более определенными данными. Во всяком случае, могу утверждать следующее: господин Гизо, более, чем кто бы то ни было во Франции, симпатизирует независимости немецкой литературы и свободному развитию немецкого духа, и, сознавая это, он так уверен в нашей разумной признательности, что сделал недавно одному из моих соотечественников наивный комплимент: «Немец никогда не сочтет меня реакционером».

Стр. 163. *Вместо строк 10—12, от слов:* но чтение до цепь идей — *во фр. изд. вариант:* но простое чтение никогда не сможет заменить живого впечатления, которое оратор, подобный Минье, производит своей пламенной речью; это музыка мыслей, которые следуют друг за другом, связанные гирляндами цветов реторики.

Стр. 167. *После слов:* пришел конец — *в «Аугсб. газ.» добавление:* Давно понял это Луи-Филипп, и поэтому основал свою власть не на идеальном чувстве почтения, а на реальных потребностях и голой необходимости. Французы не могут обойтись без него, и с его существованием связано и их существование. Тот самый мещанин, по мнению которого не стоит труда — защищать честь короля от клеветы, который и сам за жарким и стаканом вина обрушивается на него, все-таки при первом же вове барабана поспешит с ружьем и саблей, чтобы защищать

Луи-Филиппа, залог его политического благополучия и собственности, находящийся в опасности. Мы не можем не упомянуть по этому поводу, что один из легитимистских журналов «La France» — со страшным раздражением нападал на нас за то, что мы на страницах «Всеобщей Газеты» осмелились защищать короля. На эти нападки мы только бегло ответим, что мы очень далеки от всякого участия во внутренних партийных битвах, происходящих во Франции. В наших сообщениях на страницах этой газеты мы ставим себе целью прежде всего подлинное уяснение дел и людей, событий и отношений, причем мы можем похвастаться величайшим беспристрастием, если только дело не касается отечественных интересов и они не оказывают своего влияния на наше уmonoстроение. Кто может остаться вполне свободным от таких влияний? Так, может быть, наши симпатии к французским государственным деятелям, в том числе и к Луи-Филиппу, порой возрастают оттого, что мы приписываем им благотворные для Франции намерения. Боюсь, я не раз еще поддамся искушению и благосклонно отзовусь о монархе, который предотвратил ужасы войны и которому мы обязаны тем, что можем, пользуясь миром, утвердить союз между Францией и Германией. Во всяком случае, это — союз гораздо более естественный, чем союз с Англией или Россией, — две крайности, от которых здесь мало-помалу отказываются. Ведь тайный ужас всякий раз охватывал французов, когда дело шло о сближении с Россией; сильную боязнь внушают им объятия того северного медведя, с которым они лично познакомились на московских ледяных полях. С Англией они тоже нисколько не желают связываться, получив недавно образчик коварства Альбиона. И к тому же они не верят в прочность английского правительства и думают, что оно гораздо ближе к падению, чем это есть в действительности. Наклонное состояние британского государства вводит их в заблуждение. В конце концов, она все-таки рухнет, эта кривая башня! Туземные кроты неустанно подрывают ее фундамент, а под конец придут северные медведи и начнут трясти ее свирепыми лапами. Француз мог бы пожелать в душе: пусть бы, наконец, обрушилась кривая башня и под своими развалинами погребла медведей-победителей!

Стр. 168. *После слов:* путем интриг — в «Аугсб. газ.» *добавление:* Скорее следовало бы вам приковать его там железной цепью.

Стр. 176. *Вместо строк 2—7, от слов:* между империалистически грубым Сультом до чем надо — во фр. изд. *вариант:* между своими коллегами, а именно — Сультом, необразованным и нечутким служакой, однако, большим любителем картин Мурильо, которые ему ничего не стоят, затем — Гюманом, буржуа-промышленником с головой, набитой меркантильными цифрами, и, наконец, Вильменом, безграмотным ритором, легкомысленным остроумцем, который покопался в пыли отцов церкви, чтобы приобрести известный запах религиозной эрудиции, — тем не менее от него уже за несколько шагов разит вольтерьянством, от которого он отрекся.

Стр. 177. *После слов:* беспокоящие его — в «Аугсб. газ.» *добавление:* Этот труд, как уверяет меня его издатель, в руках которого уже находится большая часть сочинения, за последнее время очень подвинулся вперед. Издатель книги — господин Дюбоше, один из благороднейших и правдивейших людей, каких я знаю. Злонамеренность поэтому должна будет признать, что я черпаю сведения не из нечистого источника. Другие заслуживающие доверия лица, близкие к Тьеру, уверяли меня, что он день и ночь занят своей книгой. Его самого я не видел, после того как он вернулся из Германии, но с радостью слышу, что благодаря своему пребыванию там он не только осуществил свои историографические цели, но и достиг более верного понимания немецких дел, чем раньше, когда был министром. Он с большой любовью и безусловным уважением говорит о немецком народе, и мнение о нашей родине, которое он составил себе там, будет, верно, иметь благотворное влияние — независимо от того, станет ли он снова у кормила государства или будет держать грифель историка.

Стр. 181. *Вместо строк 12—14, от слов:* Итак, песня до тяжести постоя — во фр. изд. *вариант:* Итак, песня кончится господством сабли, и человеческое общество еще раз угостят грохотом славы с ее бесконечными Te Deum laudamus\*, плошками

\* «Тебя, господа, хвалим»

для иллюминаций, героями с большими золотыми эполетами и неумолчными пушечными выстрелами!

Стр. 181. *После слова коммунистами (конец статьи XXXIX) — в «Аугсб. газ.» добавление:* Со стороны плебеев, сидящих в палате, рядом с зачерствевшими патрициями, также не приходится ожидать кротости; за малыми исключениями, они постоянно стараются отречься от своего революционного происхождения и, не колеблясь, предают осуждению собственную же кровь. Или, может быть, некое врожденное холопство сказывается у этих новых людей, как только они достигают своей великой цели — трибуната, садясь в качестве перов рядом со своими бывшими господами? Старая покорность снова охватывает их души, из-под горностаевой мантии показывается кусок ливреи, и они при обсуждении всякого вопроса невольно подчиняются домашним интересам этих милостивых господ. — Осуждение Дюпоти принесет перству несказанный вред. — Перство сейчас дискредитировано и вызывает ненависть в народе. В числе новоизбранных перов есть, правда, два имени, против которых мало что можно возразить; но похлебка не становится от этого ни жирнее, ни вкуснее. Список уже напечатан во всех газетах, и я воздерживаюсь от особого обсуждения. Лишь относительно господина Беньо замечу здесь вскользь, что этот новый пер, должно быть, прекрасно знает наш немецкий язык и вообще немецкий уклад, так как до юношеских лет он воспитывался в Германии, именно в Дюссельдорфе, где учился в гимназии, отличаясь прилежанием и честностью. Мне всегда становится как-то отраднее и спокойнее, когда среди членов французского правительства я вижу личности, относительно которых уверен, что они знают немецкий язык и с Германией знакомы не только по слухам. — Сильное недовольство вызывает назначение господина де-Мюра и господина де-Шавиньи, легитимистов, перешедших на сторону правительства; последний был секретарем господина Полиньяка. — Всюду говорится о том, что и господин Бенуа Фульда возвысят до звания пера, и более чем вероятно, что мы в скором времени переживем это потешно-печальное зрелище. Этого еще не хватает бедным перам, чтобы в глазах всего света стать посмешищем. Вообще не хватает этой блистательной победы самого сухого и самого черствого денежного

материализма! Джемса Ротшильда подымайте как угодно высоко — он человек, и в груди у него человеческое сердце. Но этот Бенуа Фульд! «National» пишет сегодня, что банкир Фульд — единственный, кто на открытии заседаний палаты подал руку генерал-прокурору Эберу. «Mr. Fould (прибавляет он) ressemble beaucoup à un discours d'accusateur public».\*

Стр. 183. *Вместо строк 27—29, от слов:* летних месяцев *до* с удовольствием (*конец статьи XL*) — в «Аугсб. газ.» *вариант:* Уж не говорит ли это в пользу правительств, гнет которых, очевидно, никогда не был особенно страшен, если сопротивление ему оказывали только тогда, когда погода была хорошая и драться можно было с удовольствием?

Стр. 205. *От слов:* Тогда ужасное колесо *до* и интригах кабинетов — в «Аугсб. Газ.» *вариант:* Поэтому так бесконечно важно, чтобы характер новой палаты выказался как можно скорее и чтобы мы узнали, удержится ли Гизо у кормила государственного корабля. Если же этого не произойдет и оппозиция получит перевес, то агитаторы со всеми удобствами будут выжидать благоприятной конъюнктуры, которая неизбежно наступит в ходе сессии, и на некоторое время у нас будет покой. Правда, это будет очень жуткий, гнетущий, отвратительный покой, еще более невыносимый, чем волнение. Если же Гизо удержится и деятели движения не смогут больше льстить себя надеждой, что наконец-то будет убрана эта гранитная глыба, которой забаррикадировался порядок, — тогда жестокое нетерпение, пожалуй, толкнет их на самые отчаянные попытки. Дни июля — жарки и опасны; но сейчас всякое восстание, применяющее насилие, должно потерпеть неудачу, более плачевную, чем когда бы то ни было. Ибо Гизо, в железном сознании своей цели, будет непоколебимо верен своей системе, доводя все выводы до конца. Да, он человек системы — результата его политических исследований, и сила его и величие состоят именно в том, что он ни на йоту не отступает от нее. Бесстрашный и бескорыстный, как мысль, будет он побеждать мятежников, которые и сами не знают, чего хотят, неясно представляют себе, в чем дело,

\* «Господин Фульд очень похож на речь общественного обвинителя».

или даже рассчитывают в мутной воде рыбу удить. — Одного только противника должен по-настоящему бояться Гизо: этот противник — тот грядущий Гизо, тот коммунистический Гизо, что не появился еще, но, верно, когда-нибудь властно выступит вперед и тоже будет бесстрашен и бескорыстен, как мысль; ибо, так же как Гизо отождествляет себя с системой буржуазного государства, так и тот будет отождествлять себя с системой господства пролетариата и последовательности противопоставит последовательность.

С т р. 206. *Вместо с т р о к 21—27, от слов:* я говорю о Германии *до* решительные поражения — в «*Аугсб. газ.*» вариант: независимо от их воли, хитрая змея Альбиона, выгоды своей ради, натравит их друг на друга, а потом белый северный медведь будет утолять свою жадность, пожирая умирающих и искалеченных соперников. Правда, и ему будет приходиться охота — покусать да подушить эту змею, но она всякий раз будет ускользать от его лап и, более или менее невредимая, укрываться в свое недоступное водяное гнездо. А у него, у медведя, — такие надежные убежища в царстве его необъятных дебрей, ледяных просторов и степей. Англию и Россию в обыкновенной политической войне не могут уничтожить до основания даже самые решительные поражения.

С т р. 207. *После слов:* на спине — в «*Аугсб. газ.*» добавление: Сегодня настроение уже несколько спокойнее, чем вчера. Консерваторы оправились от первого испуга, и оппозиция понимает, что обогатилась только надеждами, но что до победы еще далеко. Министерство все-таки может держаться, хотя и с весьма незначительным, опасно скудным большинством. В начале будущего месяца, когда будут выбирать президента, выяснится нечто более определенное. Если на сей раз в депутаты выбрано столько несомненных легитимистов, это, пожалуй, послужит на пользу правительству. Эти новые союзники нравственно парализуют радикалов, министерство же укрепляется в общественном мнении, так как ему, для борьбы с этой легитимистской оппозицией, по необходимости придется брать оружие из старого арсенала революции. Но пламя раздуто вновь, раздуто в Париже, центре цивилизации, очаге, искры от которого разносятся по всему

миру. Сегодня еще парижане радуются своему деянию, но уже завтра они, быть может, испугаются, и самодовольство сразу же сменится унынием.

Стр. 210. *После слов:* своим республиканизмом — в «Аугсб. газ.» *добавление:* Да, монархия торжествовала великую победу, и притом на той же самой площади Согласия, где некогда претерпела позорнейшее поражение.

Стр. 212. *После слова* вероятным — в «Аугсб. газ.» *добавление:* Но благодетельные боги решили иначе. Они пожелали, чтобы будущий король французский мог сохранить чистую любовь к своему народу и чтобы ему также не пришлось ненавидеть соотечественников своей матери: крови его отца не пролила ни рука француза, ни рука немца. В этой мысли — краткое утешение.

Стр. 213. *Вместо строк 14—21, от слов:* Его желание до супруга — в «Аугсб. газ.» *вариант:* Это желание не встретит возражений; оппозиция настроена слишком патриотически, чтобы вопрос о существовании Франции смешивать со своими партийными интересами и тем самым подвергать отечество ужаснейшим опасностям. Герцог Немурский будет регентом.

Стр. 213. *После слова* регентств — в «Аугсб. газ.» *добавление:* и публика совершенно согласна с ним. Еще в годы расцвета Христины Испанской он утверждал, что это регентство плохо кончится.

Стр. 216. *После слов:* в тяжелых преступлениях — в «Аугсб. Газ.» *добавление:* Несколько недель тому назад я встретил на бульваре пожилого человека, беспечное лицо которого бросилось мне в глаза. «Знаете, кто это? — сказал мне мой спутник. — Это господин Полиньяк, тот самый, что виновен в смерти стольких тысяч парижан и стоивший мне жизни отца и брата! Двенадцать лет тому назад народ в своей неостывшей ярости рад был бы разорвать его на части, а теперь этот человек спокойно может разгуливать по бульвару».

Стр. 216. *После слова* горю — в «Аугсб. газ.» *добавление:* Отступники снова обратили к нему свои симпатии.

Стр. 220. *После слов* низших классов — в «*Аугсб. газ.*» *добавление:* А это не так просто, и для этого требуется точка зрения, которую можно приобрести лишь на месте: по ту сторону канала. То, что я мимоходом сообщу сегодня, не что иное, как беглое указание, бледное отображение разговоров за обедом и за чаем, которые я поневоле должен был слушать в Булони, но которые, пожалуй, были не вовсе лишены значения, ибо каждый англичанин знаком с политикой своей страны и среди кучи скучных подробностей у него всегда окажется что-нибудь более или менее значительное. Я только что употребил выражение «политика своей страны»; у англичан это не что иное, как множество мнений о материальных интересах Англии и правильная оценка положения в иностранных государствах, поскольку оно может быть полезно или вредно для торговли и благосостояния Англии. Замечательно, что все они, от премьер-министра до самого захудалого портного, с величайшей точностью осведомлены об этом и при каждом событии сразу же определяют, что теряет или что выигрывает Англия, какую пользу или какой вред оно может принести милой Англии. И действительно, тут инстинкт их эгоизма достоин изумления. Этим они очень резко отличаются от французов, которые редко согласны между собой в мнениях о материальных интересах своей страны, выказывают блестящее невежество в области фактов и постоянно заняты только идеями и спорят только об идеях. Французские политики, сочетающие английскую положительность с французским идеализмом, очень редки. В этом отношении Гизо выделяется блистательнее, чем кто бы то ни было. Англичане, разговоры которых о Гизо мне пришлось слышать, отнюдь не выказывали к нему такой большой симпатии, как принято думать; напротив, они были очень недовольны им, они горько жаловались, они утверждали, что всякий другой министр не стал бы оказывать им такого почтения, не предоставил бы им гораздо больше материальных преимуществ, и только о величии его, как государственного деятеля, они говорили с беспристрастным уважением. Они восхваляли его consistency \* и обычно сравнивали с сэром Робертом Пилем,

\* стойкость

которому, по-моему, однако, до Гизо, как до звезды небесной далеко — именно потому, что Гизо не только располагает всеми фактическими знаниями, но что в голове у него есть идеи, о которых англичанин и понятия не имеет. Да, он о них не имеет понятия, и в этом — несчастье Англии, ибо спасти тут могут только идеи, как всегда в безнадежных случаях. Как плачевно было признание Пиля, говорившего о своем бессилии в замечательной речи, в день закрытия парламента!

Стр. 221. *После слова голод — в рукописи зачеркнутое добавление:* Или, может быть, величайшая идея англичан сказалась в том, что лорду Веллингтону страха ради доверили командование всеми вооруженными силами? Печальный исход! В руку старому палачу вы снова вложили меч, и он с достаточной жестокостью оправдывает свою бесчестную славу на тех бедных грешниках, бедняках, чья единственная вина — бедность; но отсрочка, которую вам удастся выиграть, — отсрочка перед казнью.

Стр. 228. *После слов:* А во-вторых... — в «Аугсб. газ.» *добавление:* Германия, несмотря на свою раздробленность, — величайшая в мире сила, и сила эта поразительно растет. Германия с каждым днем становится сильнее, национальное чувство придает ей несокрушимое внутреннее единство, и, должно быть, симптомом возрастающего значения нашего народа является то, что англичане, прежде платившие субсидии только государям, возмещают теперь расходы на печатание и немецким трибунам, которые пером защищают берега Рейна.

Стр. 230. *После слова жизни — в «Аугсб. газ.» добавление:* Да, только небу известно это, не нам, напрасно пытающимся, в нетерпении томительнейшей скорби, узнать преступников, не нам, слепцам, бредущим ощупью и нередко ранящим невиннейших собратьев по страданию. Мы всегда совершенно правы в отношении факта, а именно — что отравление было и что мы заболели от него; но что до личностей, на которых падают наши подозрения, то тут ошибки происходят на каждом шагу, и порой полезно бывает высказаться по этому поводу. Порою это даже долг, и с этой точки зрения я должен сделать следующее пояснительное примечание к заключительным словам последнего

письма. Дело в том, что в этих заключительных словах я вовсе не хотел бросить тень на чистый образ мыслей, правдивость и достоинство кого бы то ни было из немецких трибунов, защищающих наш Рейн, я только хотел указать на развитие системы, которую по ту сторону канала применяют против Франции с самого начала революции; эта система — исторически доказанный факт. Я имел в виду только ту британскую услужливость, которая, если сама и не стреляет, то по крайней мере поставляет бомбы, как было в Барселоне. Я считаю своим долгом сделать это замечание; раздор между так называемыми националами и рационалами с каждым днем становится все резче, и последние должны именно тем доказать свое благоразумие, что их вражда к идее не будет обрушиваться на ее служителей. Подобно тому как римляне, готовясь штурмовать город, прежде молили богов покинуть этот город, чтобы во время боя не нанести вреда какому-нибудь божеству, — так мы, ведущие борьбу с божествами, с идеями, должны, наоборот, остерегаться — как бы в разгар битвы не ранить их служителей — людей!

Стр. 235. *Вместо слов:* Моле — это он сам — *во фр. изд. вариант:* В этом отношении король напоминает мне одного мальчика, которому я хотел купить игрушку. Когда я спросил его, что лучше купить — китайца или турка, малыш мне ответил: «Я лучше хочу красненькую деревянную лошадку со свистком в спине».

Если Луи-Филипп говорит: «Позвольте мне взять Моле», не надо забывать, что Моле — это он сам.

Стр. 254—256. *Вместо строк 10—13, от слов:* Не только для постройки *до* в какой угодно сфере — *в «Аугсб. газ.» вариант:* Только бы Ротшильду удалось сговориться с палатой насчет Северной железной дороги. Мелочный дух партийности проявляет тут большую деятельность, создавая затруднения и стараясь парализовать необходимое в таком деле предпринимательское рвение. Палата, раздосадованная всякого рода частными придирками, будет критиковать предложенные ротшильдовским обществом условия, и тут возникнут неприятнейшие колебания и задержки. Все взоры сейчас устремлены на дом Ротшильда являющийся надежным и достойным пред-

ставителем общества, которое образовалось для постройки этой железной дороги. Заслуживает внимания, что дом Ротшильда, деятельность и ресурсы которого приходили раньше на помощь только правительственным потребностям, теперь чаще становится во главе крупных национальных предприятий, содействуя промышленности и народному благосостоянию своими огромными капиталами и своим непомерным кредитом. Большинство членов этого дома, или, вернее, этого рода, собралось сейчас в Париже; но тайны этого конгресса сохраняются слишком хорошо, чтобы можно было что-нибудь сообщить. Среди этих Ротшильдов царит большое единогласие. Странно, они вступают в браки только с членами своей семьи, и степени родства скрещиваются так, что историографу когда-нибудь трудно будет распутать этот клубок. Глава, или, скорее, голова семьи, — барон Джемс, — замечательный человек, своеобразные способности которого сказываются, правда, только в финансовых делах, но который благодаря своей наблюдательности или инстинкту умеет, если не оценивать, то выискивать способности в любой сфере.

Стр. 257. *После слов* железную дорогу — в «*Аугсб. газ.*» *добавление:* которая идет по правому берегу, где никогда не бывает несчастий.

Стр. 257. *Вместо строк 2—13, от слова* Поэзия *до* железной дороги — в «*Аугсб. газ.*» *вариант:* Благосклонность господина Ротшильда не распространяется только на поэзию, как французскую, так и немецкую, ни на одного из великих современников; Ротшильд любит только Шекспира, Расина, Гете — все покойных поэтов, просветленных гениев, избавленных от всякой земной нужды в деньгах. Кстати — по поводу поэзии: не могу не заметить здесь мимоходом, что господин Понсар — менее всего великий поэт. Глупость и пристрастие подняли его на щит и также быстро уронят. Я только по выдержкам знаком с его «*Лукрецией*», о которой много говорилось, но во всяком случае, я нашел, что от поэзии, заключающейся в этой пьесе, французы не заболеют расстройством желудка. Между тем, эта трагедия воскрешает старые, заросшие пылью спорные вопросы о классическом и романтическом, — спор, который для немецкого зрителя просто-напросто скучен.

Стр. 261. *Вместо строк 28—32, от слов:* Здесь они видели Назенштерна *до* супругами — *во фр. изд. вариант:* Здесь во плоти являлся им тот знаменитый господин, у которого больше костей, чем плоти, и который обладает самым длинным во Франкфурте носом. Там можно было встретить немецкую баронессу и даже немецкую графиню. Кревинкельские дипломаты, украшенные кушачком ордена, показывались там в сопровождении своих супругов, более или менее двурогих, и дочерей с белокурыми волосами, белокурыми зубами и белокурыми руками.

Стр. 263—268 *Вместо строк 12—3, от слов:* Гизо продержится *до* нужно время — *в рукописи вариант:* Сейчас царит жуткая тишина. Все демоны, все боги и черти партийного раздора, все страсти революции и контр-революции решили встретиться у гроба Луи-Филиппа, и там снова начнется старый танец смерти. Достаточно ли силен и умен герцог Немурский, чтобы дать отпор опасностям, которые ждут его? Враги династии, республиканцы и легитимисты, пускают в ход все средства и не пренебрегают даже клеветой, чтобы внушить публике отрицательное мнение. Рвение и усердие, с которым эти люди отказывают молодому принцу в каком бы то ни было уме и характере, — может быть, лучшее доказательство того, что они считают его более сильным, чем им хотелось бы. К чему заранее так напрягать силы ради какого-то слабого существа, которое ведь не окажет в дальнейшем никакого сопротивления? Быть может, заблуждение идет здесь рука об руку с обманом? Проницательность Луи-Филиппа, который, во всяком случае, имел лучшую возможность оценить принца, чем мы, стоящие вдалеке от него или приближающиеся к нему только в официальных случаях, служит гарантией способностей будущего регента; огромное бремя, благополучие всей своей семьи он не доверил бы таким ненадежным плечам. Ведь вначале и самого Луи-Филиппа не считали орлом, мы не сразу увидели, как он расправил гигантские крылья своего превосходства. Легко может случиться, что герцог Немурский приготовит врагам существующего строя подобный же сюрприз. Министерство Гизо, повидимому, упрочилось на долгое время, в результате крупной победы, которую этот исключительный человек одержал всецело благодаря всемогуществу своего слова, Речь, которой он поверг

во прах благородного Ламартина, а вместе с ним и всю оппозицию, навеки запечатлеется в анналах человеческого духа, больше того, она относится к значительнейшим историческим событиям. Это было одно из тех слов-деяний, о которых Гегель сказал: «Речи являются поступками, и притом очень важными, действенными поступками. Правда, люди часто говорят — «это были только слова», стараясь тем самым доказать их невинность. Такие речи — просто болтовня, а болтовня имеет то важное преимущество, что она невинна. Но речь народа к народу или речь народа к монарху — это существенные элементы истории». За день до того Гизо исключительно напомнил мне великого учителя — Гегеля, когда совершенно гегелевскими словами заговорил в палате об установлении упорядоченного спокойного мирного строя, в котором мы нуждаемся теперь, чтобы можно было переварить завоевания революции, чтобы абстрактные принципы проникли в конкретные отношения, чтобы свобода воплотилась в массах. Это становление свободы, претворившейся в народ, возможное только при упорядоченном мирном строе, не менее важно, разумеется, чем провозглашение принципов, которое, во всяком случае, является более легкой работой. Либеральными законами еще немного сказано, хотя бы их провозглашали под звуки труб и литавр и вырезывали на скрижалях. Но в том-то и состоит прискорбное заблуждение наших трибунов, что для них самое важное — оторвать от пурпурной мантии государственной власти больший или меньший лоскут свободы, они уже довольны, если только указ, провозглашающий какой-нибудь демократический закон, является в «Moniteur», отпечатанный черным по белому. Печатная бумажка — для них все. По этому поводу мне вспоминается, что, когда двенадцать лет тому назад я посетил старика Лафайета, он на прощание сунул мне в руку какую-то бумажку, и при этом у него был вид настоящего доктора-чудодея. Бумажка же представляла собой «Декларацию прав человека», которую старик, шестьдесят лет тому назад, привез с собой из Америки и на которую он все еще смотрел как на универсальную панацею, способную радикально исцелить весь мир. Нет, больному нельзя помочь одним лишь рецептом, хотя он тоже необходим: тут нужны еще приготовления аптекаря, заботы хорошей сиделки и спокойное влияние времени. — Гизо про-

держится еще некоторое время; и это, по многим другим соображениям — счастье для Франции. Эти вечные смены министров — большое зло для страны, которая более всякой другой нуждается в равновесии. Вследствие непрочности своего положения министры не могут браться за осуществление широких, общепользовных планов, и все их силы поглощает жажда самосохранения. Их величайшее несчастье — не столько их зависимость от королевской воли, которой нравится безраздельное властвование, а скорее их зависимость от так называемых консерваторов, этих конституционных янычар, которые по своей прихоти назначают и смещают здесь министров. Если министр возбудил их немилость, они сразу же начинают барабанить по своим суповым кастрюлям, собираются в своих ортах и обсуждают и душиат министерство. Немилость этих людей, действительно, называется обычно супно-кастрюльными интересами: это, собственно, они правят Францией, так как ни один министр не смеет отказать им в чем бы то ни было — ни в должности, ни в льготе, ни в месте консула для зятя, ни в привилегии на табачную торговлю для вдовы их швейцара. — Эта постоянная лихорадочная смена министров — хроническая болезнь, которую прежде всего нужно излечить. Или, может быть, эти непрерывные перемены в личном составе высших государственных сановников являются для непостоянных французов суррогатом частой смены династий, зла еще большего, к которому они, кажется, уже привыкли.

Стр. 277. После слова инсинуации — в рукописи зачеркнутое добавление: Редакция, быть может, думала также, что упоминание моего имени в этой статье ни в коем случае не сможет мне особенно повредить, — ведь сама она знала, что мне очень легко было опровергнуть нелепое обвинение, — как бы то ни было, она не раз имела доказательства того, что обвинение в раболопной продажности весьма плохо вяжется с моей личностью, и ей достаточно было известно, что я за многие годы не написал ни одной строки, которая хоть отчасти могла бы оправдать упрек в идеализации управления Гизо или предположение о министерском кумовстве.

Стр. 293—294. Вместо строк 25—5, от слов: и то и

другое *до* к религии в «*Агусб. газ.*» вариант: правда, и то и другое — только лозунги, но ведь часто за лозунгами скрывается мысль или воля, которая еще не чувствует себя достаточно зрелой, чтобы свободно выступить вперед. По своему истинному значению этот спор — не что иное, как стародавняя оппозиция, в которой государство находилось к церкви.

Стр. 295. После слова клеветники — в «*Агусб. газ.*» добавление (заметим между прочим, что ни на кого не клеветали так беспощадно, как на этого несчастного герцога).

Стр. 296. Вместо строк 5—9, от слов: То обстоятельство *до* Орлеанского дома — в «*Агусб. газ.*» вариант: Герцог Немурский, говорят, не уступает ему своим просвещенным образом мыслей; говорят, он в этом отношении весь в отца. Слишком резкие противоречия сглаживаются, может быть, благодаря тому обстоятельству, что мать наследного принца Франции — протестантка; также бесконечно важно то, что Луи-Филипп еще при жизни мог распорядиться воспитанием своего внука. Известно, в какой форме это было сделано. Подозрения со стороны тех, кому религия чужда, а блюстители ее — ненавистны, подозрения, ставшие столь роковыми для старшей династии, не коснутся Орлеанского дома.

Стр. 302. После слова: удобоваримым — в «*Газете Изящного Общества*» (*Zeitung für die Elegante Welt* — в дальнейшем сокращено: «*ZW*») добавление: В только что названной Академии, в той Секции Institut de France, которая проявляет наибольшую жизненность и заставляет стыдиться престарелых шуток, направленных против Академии, недавно были объявлены новые труды о немецкой философии, а также здесь вскоре будет увенчано одно из сочинений о Канте, написанных на конкурс. Традиционное открытое заседание, происходившее в прошлую субботу, было одним из тех прекрасных торжеств, которых я никогда не пропускаю. На этот раз оно было особенно удачно: Минье, *secrétaire perpetuel*, говорил об умершем академике, принимавшем большое участие в политическом и социальном движении Франции, и таким образом, историограф революции находился в своей сфере и мог, так сказать, дать волю могучим водометам своего ума.

Стр. 303—304. *Вместо* строк 33—26, *от слов*: Несмотря на незаметную жизнь Дону до поэмыкивают бубенчики (*конец статьи LXI*) — в «ZW» вариант: Если Минье в его «Notice historique» удалось возбудить такой интерес к судьбе этого незаметного человека, то это свидетельствует о его непревзойденном даре изложения. Я сказал бы, что на этот раз соус был лучше рыбы. Только Минье умеет так наглядно в ясном обзоре очертить запутаннейшие отношения, в немногих чертах резюмировать целую эпоху и найти слова, характеризующие лица и события. Результаты кропотливейших исследований и размышлений, точно начинка, как бы невзначай, заполняют короткие вводные предложения; большая диалектика, большой ум, большой блеск, но все — подлинное, нигде никакой подделки. Удивительная гармония формы и содержания, и не знаешь, чему больше удивляться — мыслям или стилю, драгоценным камням или их драгоценной оправе. Да, хотя работы Минье свидетельствуют об ученом рвении и глубокомыслии, напоминающем Германию, изложение все же так отчетливо, прозрачно, сжато, соразмерно, логично, как это возможно только у француза. В даровании Минье мы видим свойства обеих наций. В его внешнем облике мы замечаем подобное же явление. Он белокур, и у него голубые глаза, как у сына севера, но южное происхождение сказывается все же в грации и уверенности его движений. Он один из красивейших мужчин, и, между нами будь сказано, публика, наполняющая большой зал дворца Мазарини, всякий раз, когда объявлен бывает доклад Минье, состоит, главным образом, из более или менее молодых дам, которые часто приезжают туда за несколько часов, чтобы занять лучшие места, откуда *secrétaire perpétuel* можно так же хорошо видеть, как и слышать. Большинство его коллег — люди, наружность которых не вызвала столь благосклонного отношения со стороны матери природы, а то даже оказалась в весьма обидном пренебрежении. Не могу без смеха подумать о том, как отозвалась о некоторых из членов уважаемой корпорации молодая особа, рядом со мной сидевшая недавно в Академии. Она сказала: «Должно быть, эти господа очень учены, потому что они очень уродливы». Вероятно, публика нередко выводит такое заключение, и в этом, быть может, ключ к некоторым ученым репутациям. В том засе-

дании, когда Минье говорил о Дону, большую речь произнес также и господин Порталис. Небо! что за оратор! Он напомнил мне Демосфена. А именно — я вспомнил, что Демосфен, старавшийся в молодости преодолеть слабость своего голоса и упражняясь в речи, брал камни в рот. Господин Порталис говорил так, словно у него был полон рот камней, и ни я, ни кто бы то ни было из слушателей ничего не мог понять в его речи.

Париж, весна 1843.

Стр. 307. *Вместо заглавия:* Коммунизм, философия и духовенство — в «ZW»: Борьба и бойцы.

Стр. 317. *После слов:* сановников Франции — в «ZW» *добавление:* как, например, Моле, Гизо, Тьер, руки которого так же чисты, как руки революционеров, прославленных им.

Стр. 322. *После слов:* его ума — в «ZW» *добавление:* что я безусловно считаю его величайшим философом Франции после Декарта.

Стр. 323. *После слова* иронии — во фр. изд. *добавление:* Впрочем, французский перевод Спинозы весьма ценный труд. Имя переводчика — Сессе.

Стр. 341. *После слова* популярен — в «Auesb. газ.» *добавление:* Так как ему, этому регенту, предстоит столь великое будущее и личность его может иметь влияние на судьбу всей Европы, я смотрел на него с несколько обостренной внимательностью и старался на его внешнем облике уловить печать его характера. Но меня, занятого этим недостоверным наблюдением, прежде всего обезоружила тихая грация, словно обвевавшая эту стройно-изящную юношескую фигуру, и еще прекрасный сострадательный взгляд, который покоился на страдальческих фигурах, собравшихся здесь печально многочисленной толпой. В этом взгляде не было решительно ничего официального, ничего заученного, это был чистый, правдивый луч благородной человеческой души. Притом же сострадание, угадывавшееся во взгляде герцога Немурского, говорило о какой-то трогательной скромности, скромность же, как говорят, вообще является самой прекрасной, наиболее четко выраженной чертой его характера. Эту скромность мы находили и в его брате, герцоге Орлеанском, который так при-скорбно рано пал на поле жизненной битвы.

Стр. 341. *Вместо строк 31—34, от слова Говорят до достигнет власти — в «Аугсб. газ.» вариант:* у герцога Немурского скорее вид государственного человека, но такого, у которого есть совесть и который с рассудительностью сочетает благороднейшие намерения. Если мою мысль пояснять примером, то пример я охотнее всего взял бы из области поэзии, и мне кажется, Гете уже отчасти изобразил этих двух принцев под именами Эгмонта и герцога Оранского. Лица, близкие к нему, говорили мне, что принц Немурский обладает очень большими познаниями и ясно представляет себе положение дел на родине и за границей; он неустанно старается узнать что-нибудь новое от всякого сведущего человека, но сам оказывается мало сообщительным, и неизвестно, что причиной — скромность или скрытность. Они хвалят его положительность, резко выраженное его свойство; обещания он дает редко и с большой осмотрительностью, но на его слово можно положиться как на скалу. Он, говорят, хороший солдат, полный хладнокровнейшей отваги, но не особенно воинственный. Он страстно любит свою семью, и умный отец знал, чьим рукам он доверил благополучие Орлеанского дома. Но какие гарантии может он дать интересам Франции и человечества вообще? Думаю, самые надежные; во всяком случае, скажем это открыто, более надежные, чем мог бы нам дать его покойный брат. Он менее популярен, чем был тот, и следовательно, на многое не решится, если завоевания революции придут в столкновение с нуждами правительства. Любимые регенты, пользующиеся слепым доверием, порой бывают очень опасны для свободы. Герцогу Немурскому известно, что он возбуждает подозрительное внимание, и поэтому он будет остерегаться всякого рискованного поступка. И поэтому, когда он достигнет власти...

Стр. 342. *После слова упражнения — в «Аугсб. газ.» добавление:* На горцев он производит сильное впечатление ловкостью и смелостью, с которыми взбирается на самые крутые вершины; в долине Гаварни, в Роландовом ущельи, показывают почти отвесные утесы, по которым взбирался принц. Он отличный охотник и недавно, говорят, подверг медведя большой опасности.

Стр. 343. *После слов: de la loi — в «Аугсб. газ.» добавление:* и я прекрасно понимаю слова одной маленькой француженки, которую прошлой зимой так страшно возмутило, что жандармов приходится видеть даже в церкви, в благочестивом доме божьем, где хочется предаться благоговейным чувствам: «Это зрелище, — говорила она, — разрушает для меня всякую поэзию».

Стр. 343. *Вместо строк 12—14, от слова приготовленного до префекта — в «Аугсб. газ.» вариант:* ждавшего его на вершине Pic du Midi. *Там же добавление:* Бедный принц, подумал я, ты очень заблуждаешься, думая, что можешь теперь, в уединении и никем не замечаемый, предаваться мечтаниям, ты попал в руки жандармов, и самому тебе когда-нибудь придется быть верховным жандармом, чей долг — заботиться о спокойствии в стране. Бедный принц!

Стр. 344. *После слов: войны с Францией (конец корреспонденций «Из Пиренеев») — в «Аугсб. газ.» добавление:* Некоторое разнообразие внесли в здешнюю скуку сплетни, хроника выборов, нашедших скандальное эхо и в наших горах. Оппозиция снова потерпела поражение в Департаменте Верхних Пиренеев, и это можно было предвидеть, принимая во внимание политический индифферентизм и безграничную жадность к деньгам, царящие здесь. Кандидат прогрессивной партии, забаллотированный в Тарбе, говорят, честный, прекрасный человек, которого превозносят за его убеждения и неизменное упорство, хотя и у него, так же как у стольких других героев мысли, убеждение — только умственный застой, а постоянство — физическая слабость. Эти люди верны принципам, которым они принесли уже столько жертв, по той же причине, по которой иные не могут расстаться с любовницей; они не порывают с ней, потому что ведь она так дорого обошлась им.

В газетах уже достаточно говорилось о том, что господин Ахилл Фульд выбран в Тарбе и в новой палате депутатов снова будет представителем Верхних Пиренеев. Боже сохрани меня сообщать здесь подробности об этом избрании или о самой личности. Человек этот не лучше и не хуже, чем сотни других, которые вместе с ним на зеленых скамьях Пале-Бурбон будут составлять согласное большинство. Избранник, впрочем, консер-

ватор, не сторонник министерства, и он издавна протезировал не Гизо, а господина Моле. Возвышение его до стпени депутатов доставляет мне подлинное удовольствие, по той совсем простой причине, что тем самым окончательно санкционируется принцип гражданского равноправия израильтян. Правда, и закон и общественное мнение здесь, во Франции, давно уже признали, что евреи, отмеченные талантом или благородным образом мыслей, должны иметь доступ ко всем государственным должностям. Как ни веротерпимо кажется это признание, все же я нахожу в нем кислостый привкус застарелого предрассудка. Да, до тех пор пока евреи, не отличающиеся ни талантом, ни благородным образом мыслей, не будут допускаться к этим должностям, подобно тысячам христиан, не способных ни думать, ни чувствовать, а только считать, — до тех пор предрассудок не будет вырван с корнем, и все еще будет царить старый гнет! Но средневековая нетерпимость бесследно исчезнет, как только евреи, исключительно благодаря деньгам, без всяких особых заслуг, будут достигать должности депутата, высшей почетной должности во Франции, и в этом отношении избрание господина Ахилла Фульда — окончательная победа принципа гражданского равенства.

Кроме Фульда, этим летом были выбраны в депутаты еще два последователя закона Моисеева, имена которых звучат так же хорошо и так же напоминают звон монет. В какой мере способствуют эти двое развитию демократического принципа равенства? Это тоже два банкира с миллионным состоянием, и в моих исторических исследованиях о национальном богатстве евреев от Авраама до наших дней я буду иметь случай поговорить о господине Бенуа Фульде и господине фон-Эйхтале. *Honni soit qui mal y pense!*\* Во избежание недоразумений, сразу же замечу, что результаты моих исследований о национальном богатстве евреев очень лестны для этих последних и служат к их величайшей чести. Дело в том, что Израиль своим богатством всецело обязан той прекрасной вере, которой он был преда тысячелетия. Евреи почитали высшее существо, незримо царящее в небесах, меж тем как язычники, неспособные возвыситься до чистой ду-

\* «Повор тому, кто дурно об этом подумает».

ховности, создавали себе различных золотых и серебряных богов, которым поклонялись на земле. Если бы эти слепцы-язычники превратили в наличные деньги все то золото и серебро, которое они растрачивали на постыдное идолослужение, и отдавали бы в рост, то стали бы такими же богатыми, как евреи, умевшие более выгодно поместить свое золото и серебро, быть может, в ассиро-вавилонские государственные займы, в навуходоноровские облигации, в акции Египетского канала, в пятипроцентные сидонские и всякие иные классические бумаги, на коих почивало благословение господне, как почит оно на бумагах современных.

#### ВАРИАНТЫ К КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 1840 ГОДА

С т р. 383. *После слов:* начнет их выдавать — *в рукописи зачеркнутое добавление:* [Для заведывания библиотекой] [Должность библиотекаря лучше всего мог бы исправлять столяр или токарь. Ибо библиотека принца состоит пока что только из полок красного дерева].

С т р. 384. *После слов:* О денежных делах своих детей — *в рукописи зачеркнутое добавление:* Деньги — его девиз. Теперь он требует денег для герцога Немурского, впоследствии он их будет требовать для герцога Жуанвильского, потом для герцога Омальского, затем для герцога Монпансье; он будет требовать денег также и для их жен, а если долготерпеливое небо настолько продлит ему жизнь, то и для милых внуков. Если бы он был отцом своих подданных, как счастлив был бы народ французский! Каждый француз получил бы дотацию в несколько сот тысяч франков.



## **КОММЕНТАРИИ**





## ЛЮТЕЦИЯ

В основу «Лютеции» положены статьи на французские темы, которые Гейне в 1840—1843 гг. печатал в аугсбургской «Всеобщей Газете» — эти статьи являлись как бы продолжением «Французских дел». Только в 1852 г. Гейне приходит к мысли собрать все эти статьи и выпустить их отдельным изданием. С помощью барона Котта, издателя «Всеобщей Газеты», Гейне получает в распоряжение все эти старые свои статьи и заново просматривает их. Результатами просмотра он, очевидно, доволен, хотя и жалуется, что цензурой эти статьи были чрезвычайно изуродованы и что редакция в свое время не стеснялась вносить в них свои собственные добавления. К счастью, нашлись черновики, по которым Гейне может восстановить первоначальный текст. Но в том же 1852 г. Гейне не пришел с издателем своим Кампе ни к какому соглашению относительно новой книги. Только с июля 1854 г. началось печатание у Кампе переработанной и значительно расширенной «Лютеции» Гейне. «Лютеция» заняла второй и третий тома изданных в этом году «смешанных сочинений» Генриха Гейне — *Vermischte Schriften von Heinrich Heine, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1854, 3 Bd.* В 1855 г. «Лютеция» появилась на французском языке в издании Мишеля Леви — *Lutèce, Lettres sur la vie politique, artistique et sociale de la France par Henri Heine. Paris, Michel Lévy frères, éditeurs, 1855.*

Гейне считал «Лютецию» существенным произведением и ставил ее значительно выше «Французских дел». Он говорил о том, что «Французские дела» однообразны по теме, близки по своему характеру к голой хронике, лишены юмора, в то время как «Лютеция» является произведением гораздо более богатым, образцовым по стилю и носящим следы политической и социальной опытности автора. «Лютеция», по словам Гейне, есть результат того знания Франции, которое он приобрел за четверть века пребывания в ней. Особо подчеркивал Гейне, высказываясь о «Лютеции», то обстоятельство, что в его статьях была как бы предвосхищена февральская революция, опрокинувшая режим Луи-Филиппа. Хотя события, описанные в этой книге, и относятся главным образом к периоду 1840—1843 гг., но книга эта, по мнению

Гейне, является как бы «подготовительной школой революции»; истинный герой ее это не король Луи-Филипп, но «социальное движение».

«Лютеция» по выходе своем в свет отдельной книгой не получила признания в немецкой прессе, которая вообще стремилась развенчать Гейне-писателя — послемартовские реакционные настроения достаточно овладели немецкой прессой, и Гейне представлялся немецкой буржуазии носителем опасных для нее тенденций. В журнале Густава Фрейтага и Юлиана Шмидта, этих идеологов торжествующего филистерства, отмечался как единственная заслуга Гейне — хороший стиль, политические убеждения Гейне были объявлены вещью несерьезной, случайной прихотью ума (журнал «Grenzbote», 1854, Bd. IV). В другом журнале критик Герман Маркграф ставил Генриху Гейне на вид его франкофильство и недостаток немецкого патриотизма; в то время как французы «проглотили Эльзас и Лотарингию», Гейне все-таки позволяет себе хвалить их. Маркграф считает, что все дело в еврейском происхождении Гейне.

Конечно, политические взгляды Гейне имели много недостатков, но в совсем другом смысле, чем это казалось немецким либералам. Мы имеем в виду отношение Гейне к коммунизму в этот период, как оно проявилось в «Лютеции» и в приложениях к ней. Гейне признает в коммунизме силу, которой принадлежит будущее, и в то же время боится ее. Он видит в коммунистическом движении масс угрозу культуре, и то благословляет спасительное варварство, которое, по его мнению, принесет с собой победа рабочих, то иронизирует по поводу некоторых смешных сторон современных ему социалистических учений. Уравнительный коммунизм и утопическая литература гейневской эпохи давали немало поводов для подобной иронии, но коммунизм Маркса и Энгельса, научный коммунизм, остался для Гейне до конца непонятым. Об отношении Гейне к коммунизму и материализму см. предисловие к I, VII тт. собр. соч. настоящего издания.

#### ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ

Стр. 3. *Лютеция* — Париж. Этим именем назывался город галлов-паризиев, расположенный на островке реки Сены (теперешний квартал Сите, или остров Нотр-Дам), в эпоху завоевания Галлии Цезарем (I век до н. э.).

Стр. 6. «*А разве я лежу на ложе из роз?*» — вопрос, приписываемый исторической традицией мексиканскому императору Монтезуме: подвергаясь вместе со своими приближенными пытке горячими угольями по приказанию Кортесса и стойчески перенося мучения, он ответил этими словами на вопли одного из своих вельмож,

Стр. 11. *Песня о свободном Рейне*, «*Sie sollen ihn nicht haben*» (Им, т. е. французам, не владеть Рейном!), была сочинена Николаем Беккером (1810—1845), посредственным прусским поэтом, под влиянием шовинистической агитации французской военной партии в 1840 г. Песня эта получила широчайшее распространение в Германии и вызвала ответное патриотическое стихотворение Альфреда де-Мюссе: «Мы уже владели им, вашим немецким Рейном» (*Nous l'avons eu, votre Rhin allemand*).

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ПОСВЯЩЕНИЕ

Стр. 15. *Пюклер-Мускау* Герман-Людвиг-Генрих, князь, (1785—1871) — немецкий писатель и путешественник, известный в свое время садовод. В 1830 г. он выпустил анонимные «Письма умершего», о которых упоминает Гейне в своем «Посвящении».

Стр. 17. «*Парламентский период*» — период с 1840 по 1848 г. правления Луи-Филиппа. После того как пало министерство Моле (1836—1839), вследствие поражения правительства на общих выборах в палату, и министерство Сульта (1839—1840), вследствие отказа палаты в дотации сыну короля герцогу Немурскому (по случаю его свадьбы), Луи-Филипп призвал к власти Тьера (министерство 1 марта) и после отставки последнего в октябре 1840 г., вызванной несогласием короля с его воинственными планами, поручил составление правительства Гизо под номинальным председательством Сульта. Это так называемое «правительство 29 ноября» продержалось до самой февральской революции, пользуясь доверием парламента.

Стр. 18. *Нас, как народ, Тьер снова поставил на ноги*. Придя к власти 1 марта 1840 г., Тьер решил поддержать восстание египетского паши Мехмета-Али против Турции, но натолкнулся на сопротивление образованного по лондонскому соглашению союза Англии, России и Австрии. Тогда он начал подготовку к войне против этих держав. Шовинистическое настроение буржуазной прессы и общественности Франции подняло патристически-объединительный дух в раздробленной тогда Германии. См. выше примеч. к словам «Песня о свободном Рейне».

— *Восточный вопрос*, т. е. вопрос о судьбах Турции в связи с политическими и торговыми интересами западных держав (особенно Англии и Франции) и России Николая I, чрезвычайно обострился во время восстания Мехмета-Али, так как дело грозило распадом Турции. В частности, вмешательства Франции особенно опасалась английская буржуазия, имевшая значительные интересы в Египте и поспешившая предупредить фран-

цузскую интервенцию упомянутым выше лондонским соглашением о союзе с Россией и немецкими державами.

Стр. 19. *Катастрофа 24 февраля* — начало Февральской революции 1848 года.

Стр. 20. *Приношу сов в Афины*. Сова считалась у древних греков священной птицей богини мудрости Афины, а тем самым и эмблемой мудрости.

— *Анахарсис* — скифский философ VI века до н. э., по преданию, путешествовавший по цивилизованным странам тогдашней Греции и пытавшийся перенести греческие воззрения к себе на родину. Это шуточное сравнение Пюклера с Анахарсисом Гейне усиливает, уподобляя его греческому философу-цинику Диогену (IV век до н. э.), будто бы днем разгуливавшему с зажженным фонарем в поисках «человека».

— *Сандомир* — небольшой польский город, в то время принадлежавший Австрии; *Сандомих* — подразумевается Берлин. «Сандомих» — это каламбур: Берлин лежит в песках «Sand»), в берлинском диалекте говорят вместо «mir» — «mich» отсюда сопоставление Сандомир, Сандомих).

— *Сильный ветер, дующий из Бранденбургских ворот* — иронический намек на прусскую реакцию: *Бранденбургские ворота* — триумфальная арка в Берлине.

— *Длинноногий гут-гут...* Ср. XIX главу первоначальной редакции «Атта-Троль».

Стр. 21. *Эсфирь Стенхон* (1776—1839) — английская путешеница по турецкому Востоку, поселившаяся в Ливане.

— *Жадный до странствий Везде и Нигде*. Гейне смеется над легковесностью путевых заметок Пюклера.

— *Посмотреть на китайцев, пока не поздно*. Гейне имеет в виду военные экспедиции и насильственное коммерческое проникновение в Китай европейских держав, в частности, так называемую «опиумную» войну, которую Англия вела с Китаем в 1841—1842 гг., французский эксплуататорский договор 1844 г. и т. п.

— *Рыжеволосые варвары*. Так китайский богдыхан называл англичан во время «опиумной войны».

— *Гора Каф, птица Симург, экс-визирь* и т. д. Гора Каф — Кавказ, на котором живет Симург — птица из персидской мифологии, бывшая около 70 000 лет «Визирем». *Птица Симург*, он же *экс-визирь* — это Меттерних (1773—1859), многолетний руководитель австрийской политики, с 1815 по 1848 г. глава европейской реакции. Султаны, носившие белые мундиры и красные штаны, — австрийские императоры.

Стр. 22. *Кюриц* — одно из любимых Гейне имен захолустных местечек.

## I

Стр. 23. *Священное масло Реймса*. В Реймсе совершалось помазание французских королей. Последним короновался в Реймсе Карл X, причем был соблюден даже средневековый обычай возложения королем рук на больных в целях их исцеления.

Стр. 25. *Антипатия иноземных держав к Тьеру*. См. выше примеч. к словам «нас, как народ...»

Стр. 26. *У якобинцев, доверивших мне почетный пост при-  
вратника*. Вместе со своим отцом, Филиппом Орлеанским, Луи-Филипп, носивший в то время титул герцога Шартрского, вступил в первый период революции 1789 года в клуб якобинцев.

— *Маркиз Лафайет, желавший сделать из меня лучшую республику*. В дни провозглашения Луи-Филиппа королем в июле 1830 г. Лафайет, защищая его кандидатуру против республиканцев, заявил, будто герцог Орлеанский будет лучшею из республик. Лафайет отрицал этот факт. Фраза приписывалась также Одилону Барро.

## II

Стр. 28. *Имя министра просвещения* — Виктор Кузен. См. Гейне, т. IV наст. изд., стр. 714.

— *Шестые boeuf gras* — старинный французский обычай водить во время масленицы в торжественной процессии убранного лентами откормленного быка с вызолоченными рогами.

## III

Стр. 30. *При решении вопроса о дотации*. См. выше, примеч. к словам «парламентский период».

— *Большинство во французской палате*. После вступления на престол Луи-Филипп внес некоторые изменения в хартию 1814 года, в том числе было увеличено и представительство от населения в палате депутатов. Увеличение это, однако, только способствовало росту влияния пришедшей к власти буржуазии, так как число избирателей (*peux legal*) продолжало составлять ничтожное меньшинство граждан вследствие чрезвычайно высокого имущественного ценза.

Стр. 31. *Дали ему требуемые деньги*. Речь идет об отпуске средств для тайного правительственного фонда.

## IV

Стр. 33. *Кабе Этьен* (1788—1856) — французский коммунист-утопист, автор «Икарии». Его история революции, написанная чрезвычайно доступно и проникнутая якобинской идеологией, имела очень большой успех среди рабочих и ремесленников.

Стр. 33. *Кормлен* Луи де-ла-Ге (1788—1868) — французский публицист и политический деятель, под псевдонимом Тимон публиковавший едкие памфлеты против правительства Луи-Филиппа. Особенно досталось Луи-Филиппу в «Письмах о гражданском листе».

— *Буонаротти* Филипп-Мишель (1761—1837) — родом итальянец, французский революционер-якобинец, примкнувший к Бабефу. Уцелев после разгрома бабувистского движения, он опубликовал свою книгу об «Учении и заговоре Бабефа», являющуюся исключительно ценным источником для истории бабувизма.

Стр. 34. *Кум-кожесвик да кум-колбасник* — персонажи из комедии Аристофана «Всадники».

Стр. 35. *Нынешний Питт*, *нынешний Кобург*. Во время Великой французской революции имена премьер-министра Англии Уильяма Питта-младшего и главнокомандующего австрийской интервенционной армией герцога Кобургского сделались нарицательными для обозначения заклятых врагов революции, которым приписывались все ее затруднения.

Стр. 36. *Ужасный священник* — Фелисите-Робер де-Ламене (1782—1854), французский священник-публицист, вначале вождь католического либерального движения, впоследствии христианский социалист, вышедший из католической церкви после осуждения папой его учения.

Стр. 37. *Фенрис, Гела* — образы скандинавской мифологии.

## V

Стр. 39. *Бельгийские контрафакции*. Вследствие отсутствия между Францией и Бельгией литературной конвенции, которая бы ограждала права авторов, бельгийские издатели выпускали сочинения французских писателей, не платя им гонорара.

— *Бальзак, которому это так плохо удалось*. Гейне имеет в виду неудачу, постигшую пьесу Бальзака «Вотрен», поставленную 14 марта 1840 г. и немедленно запрещенную за то, что один из актеров загримировался под Луи-Филиппа.

Стр. 40. *Римляны... не было видно во Французском театре*. Римлянами называются в шутку во Франции оплачиваемые автором или театральной администрацией клакеры.

— *Скриб* Огюстен-Эжен (1791—1861) — французский драматург, автор многочисленных чрезвычайно сценичных, хотя и неглубоких пьес, до сих пор сохранившихся в театральном репертуаре.

— «*Как свинья с золотым кольцом в носу*». Это выражение встречается в Библии: во 2-й книге царств 19, 28, в книге Иова 40, 26, Исаии 37, 29.

Стр. 41. *Подмостки Пале-Бурбон и Люксембурга* — проницательский намек на парламентскую трибуну палаты депутатов и палаты перов.

Стр. 42. *Мелузина* — фея, о которой повествуют рыцарские романы. Она взяла с женившегося на ней герцога Раймондена Лузиньяна обещание, что он не будет видеть ее по субботам. Нарушив это обещание, Раймонден увидел, что она раз в неделю превращается в полуженщину-полузмею. После этого она исчезла во рвах выстроенного для нее мужем замка и давала о себе знать жалобными криками всякий раз, как кому-нибудь из Лузиньянов угрожала смерть.

Стр. 43. *Монтескье* Шарль-Луи, барон де-Секонда (1689—1755) — автор «Духа законов», «Персидских писем», «Причин величия и падения Римской империи» и др. Гейне имеет в виду XIII главу 5-й книги «Духа законов».

Стр. 44. *Занд* Карл (1795—1820) — немецкий студент, убивший писателя Коцебу, политического агента России, за его предательство. Был обезглавлен в Манингейме.

— *Сандо* Жюль (1811—1883) — французский романист, автор ряда стилистически высоко стоящих произведений.

Стр. 45. *Шамиссо*. См. Гейне, т. IV наст. изд., стр. 671.

Стр. 48. *Пьер Леру* (1797—1871) — французский социалист автор книги «Человечество, его принцип и будущее», в которой он излагал свою систему, представлявшую собою смесь сенсимонизма с философскими идеями пифагорейства и буддизма. Поэтому Гейне и называет его в насмешку философским капуцином.

— *Коспоязычный сочинитель романсов* — Иосиф Дессауэр (1784—1876); отзыв Гейне о нем, как о музыканте, несправедлив.

## VI

Стр. 51. *Дамасские евреи*. В 1840 г. в Дамаске был кем-то убит монах-напуцин Фра Томазо. Католическими монахами был пущен слух, что здесь имело место так называемое ритуальное убийство. Евреев обвиняли католические изуверы также и в том, что, прокрадываясь в церкви, они прокалывают ножами гостию, от чего из последних изливается кровь, так что вновь как будто распинается Христос. Дамасский губернатор арестовал и пытал несколько десятков евреев, из которых только семь вышли из тюрьмы. Позиция, занятая в возмутительном дамасском деле французским консулом графом Ратти-Мантоном, весьма характерна для тогдашних французских клерикалов. В дальнейших корреспонденциях Гейне вскрывает политический смысл отношения к этому инциденту правительства Тьера. Энергичное вмешательство в это дело французского политика Кремье, англий

ского еврея-филантропа Монтефиоре и банкира Джемса Ротшильда привело к изданию султаном фирмана о запрещении обвинять евреев в ритуальном убийстве.

Стр. 52. «*Bibliotheca prompta a Lucio Ferrario*» (точно «*Prompta Bibliotheca canonica*», Болонья, 1746) — энциклопедия церковных законов и истории; была составлена францисканским ученым богословом Люцио Феррарис (1687—1763).

## VII

Стр. 53. *Официальное сообщение, касающееся перенесения смертных останков Наполеона*. Решение правительства Тьера перенести прах Наполеона с острова св. Елены, где он находился со дня его смерти в 1821 г., было вызвано стремлением поднять национальное чувство в стране в связи с внешнеполитическими осложнениями, связанными с обострением восточного вопроса.

Стр. 54. *Наших милых кехененян*. Кехененяне — зеваки (др. греч.).

— *Монталамбер* Шарль-Форбс, граф (1810—1870) — французский политический деятель и публицист, один из самых влиятельных представителей либерального католицизма. Издавал вместе с Ламене «*L'avenir*», но после осуждения их деятельности папой Григорием XVI, в противоположность Ламене, подчинился папскому решению и в последующей своей деятельности выступал в качестве горячего выразителя ультрамонтанских взглядов.

— *Бывший редактор «National»*, т. е. Тьер.

## VIII

Стр. 55. *Алжирские дела*. Правительство Луи-Филиппа унаследовало от Карла X войну с Алжиром, затянутую министерством Полиньяка для отвлечения французского народа от внутренних дел и обеспечения своей реакционной политики путем внешнеполитических успехов. Борьба с алжирским деем оказалась, однако, затяжной, и как раз в 1840 г. положение французских экспедиционных войск в Алжире внушало серьезные опасения. В своей речи в палате, о которой говорит Гейне, Тьер осветил этот вопрос.

## IX

Стр. 59. *Самаи и Гиллель* — еврейские богословы начала нашей эры, основатели школ, находившихся между собою в непримиримой борьбе: Самаи был представителем строгого религиозного формализма и ортодоксии, в то время как Гиллель смягчал суровые предписания Ветхого Завета.

— *Ротшильд* Джемс, барон (1792—1868) — тогдашний глава парижского банковского дома Ротшильдов, обладатель

огромного состояния в 600 миллионов франков, второй, после короля Луи-Филиппа, богач во Франции, пользовавшийся большим политическим влиянием.

Стр. 59. *Фульд* Бенуа — глава (вместе со своим младшим братом) парижского банкирского дома Фульд-Оппенгеймеров. Нападки Гейне на Фульдов доставили ему много неприятностей.

— *Кремьё* Адольф (1796—1880) — французский адвокат и политический деятель, член палаты депутатов с 1842 г., один из вождей либеральной оппозиции и противник Гизо, впоследствии член временного правительства в 1848 г. Основатель и президент «Всемирного еврейского союза», преследовавшего цели просвещения евреев на Востоке.

Стр. 60. *Во времена Валуа*. Династия французских королей из рода Валуа правила Францией с 1328 по 1589 год.

Стр. 62. *Мы знаем эту тактику*. Во время травли Молодой Германией, поднятой Менцелем и приведшей к преследованиям писателей, объединившихся под этим названием, одним из приемов, пущенных в ход реакционерами, было обвинение их в том, что они являются проводниками еврейского влияния в немецкой литературе и публицистике.

## X

Стр. 62. *Жалкое решение насчет необходимых издержек*. Вместо испрашивавшихся правительством на перевезение праха Наполеона двух миллионов франков палата депутатов отпустила только один.

Стр. 63. *Бенжамен Констан* (1767—1830) — французский политический деятель, глава либеральной партии в эпоху Реставрации. В 1802 г., будучи членом Трибунала, резко выступал против Первого консула (Наполеона Бонапарта) и вынужден был удалиться из Франции.

— *Грубиянский период* — конец XV и XVI (преимущественно) века в немецкой литературе. Название происходит от книги Дедекинда (ум. 1598) «Грубиян», в которой в сатирической форме выведены были грубые нравы немцев того времени.

— *Иерусалимский пилигрим* — Шатобриан. Гейне называет его так в насмешку над его сочинением «Путешествие из Парижа в Иерусалим».

Стр. 64. *Ее покойному отцу*. Мадам де-Сталь была дочерью известного Жака Неккера (1732—1804), парижского банкира и министра финансов при Людовике XVI и в начале революции 1789 г.

— *«Не будет денег, не будет и швейцарцев»* — игра слов: мадам де-Сталь была родом из Швейцарии, а из швейцарцев в

дореволюционной Франции состояла отборная наемная гвардия Бурбонов.

Стр. 64. *Карл V* — император Священной римской империи германской нации (1519—1556). Отказавшись от престола, он удалился в монастырь, но не отказывался при случае от влияния на политику своих преемников — сына Филиппа, короля испанского, и брата Фердинанда, императора германского. Репетиция своих похорон, якобы устроенная Карлом, относится к числу исторических легенд.

Стр. 65. *Байльи Сильвен* (1736—1793) — французский астроном и литератор, председатель Учредительного собрания в 1789 г. и мер Парижа после взятия Бастилии. Казнен во время террора в 1793 г.

— *Люксембургская больница* — проническое выражение по адресу палаты перов.

## XI

Стр. 69. *Гаруспики* — древнеримские жрецы-гадатели. Гейне имеет в виду рассказ Цицерона в его «De divinatione» (2, 24, 51) о том, что гаруспики, сами нисколько не верившие в свои предсказания, улыбались (улыбка авгуров) друг другу, когда их никто не видел.

— *Ультрамонтанская шайка* — католическая партия. Ультрамонтанами (сторонниками загорной, т. е. заальпийской церковной ориентации) назывались во Франции ортодоксальные католики, безусловно подчинявшиеся папскому авторитету в отличие от галликан, отстаивавших самостоятельное значение французской католической церковной общины.

Стр. 72. *Чей предшественник...* — Григорий V, патриарх константинопольский. Во время греческого восстания 1821 г. против него было возбуждено обвинение в измене Турции. На Пасху 1821 г. он был низложен, после чего в его подворье ворвалась толпа турок, настроенных магометанским духовенством, и повесила его на воротах.

Стр. 73. *Цехин* — золотая монета венецианского происхождения. Египетские цехины времени Мехмета-Али делались из низкопробного золота и стоили несколько больше двух золотых рублей.

## ПОЗДНЕЙШАЯ ЗАМЕТКА

Стр. 74. *Генерал-прокурор Гебер*. Мишель-Пьер-Алексис Гебер (1799—1887) — член палаты депутатов с 1832 г., впоследствии министр юстиции в кабинете Гизо (1847—1848), консерватор.

— «*Sib rosa*» (лат.) — под розой, в интимной обстановке, конфиденциально.

Стр. 75. *Благородный и любимый друг моей юности* — Георг-Фридрих Кольб (1800—1884), немецкий публицист и статистик, демократ.

Стр. 76. *Депутат Верхних Пиренеев* — Ахилл Фульд (1800—1867), младший брат Бенуа Фульда, финансист и крупный политический деятель-консерватор. Впоследствии, при Наполеоне III, был министром финансов.

## XII

Стр. 76. *Спонтини* Гаспаро-Луиджи-Пачифико (1774—1851). См. Гейне, т. IV, стр. 673 наст. изд.

Стр. 78. *Мейербер*. См. примеч. к VI тому сочинений Гейне.

Стр. 79. *Рельштаб* Людвиг (1799—1860)—немецкий романист, драматург и музыкальный критик. Он был автором ряда резких полемических статей, направленных против Спонтини в бытность последнего директором Берлинской королевской оперы и впоследствии. Шуточное сравнение Рельштаба с Гудсоном Лоу имеет в виду репутацию этого губернатора острова св. Елены как сурового тюремщика Наполеона, якобы способствовавшего смерти последнего.

— *Джакомо* — Мейербер.

Стр. 82. *Шарантон* — местность недалеко от Парижа, известная домом для умиленных. Имя Шарантон стало во Франции (как и Бисетр) нарицательным для таких учреждений.

— *Вебер* Карл-Мария (1786—1826) — немецкий композитор романтического направления, автор составившей эпоху в немецкой музыке XIX века оперы «Фрейшюц» (Волшебный стрелок).

— *Беллини* Винченцо (1801—1835) — итальянский композитор, автор многочисленных опер, пользовавшихся большой популярностью, но, так же как оперы Спонтини, хотя и в меньшей степени, отнесенных музыкой Мейербера.

— *Доницетти* Гаэтано (1797—1848), *Россини* Джоакино (1792—1868), *Галеви* Фромантель (1799—1862) — итальянские и французский композиторы, чьи оперы пользовались огромным успехом в свое время и отчасти удержались в репертуаре и до сих пор («Дон-Пасквале» Доницетти, «Севильский цирюльник» Россини, «Жидовка» Галеви). *Мендельсон-Бартольди* Феликс (1809—1847) — немецкий композитор, автор симфоний, ораторий, музыки к драмам, фортепианных произведений, скрипичного концерта и др.

Стр. 83. *Музыкальный Картуш* — Мейербер. Картуш (собственно Луи - Доминик Бургиньон, род. в Париже в 1693 и колесован там же на Гревской площади в 1721 г.), знаменитый вор и преследователь шайки, отличавшийся исключительной смелостью и дер-

зостью; его имя стало нарицательным для выдающихся воров и бандитов.

Стр. 84. *«Эмма ди-Росбурго»* — опера Мейербера (1820 г.), имевшая при своем появлении крупный успех в Италии но встреченная враждебно немецкой критикой, ставившей автору в вину уклонение от традиций немецкой музыки и переход к итальянщине.

### XIII

Стр. 85. *Салоны господ Эрара и Герца*. Эрар и Герц — известные фабриканты фортепиано в Париже; в принадлежавших им концертных залах протекала в то время в значительной мере музыкальная жизнь Парижа.

— *Господин Гизо... вернется из Лондона*. Гизо был назначен послом в Лондон после падения министерства Моле в 1839 г. Несмотря на англофильство Гизо и хорошие связи в Лондоне, он потерпел крупное дипломатическое поражение в связи с образованием, вопреки его усилиям, четверного союза, направленного против Мехмета-Али и Франции (см. выше), и был отозван.

— *Господин Гизо сделал большую ошибку, приняв участие в коалиции*. Гейне имеет в виду коалицию, составившуюся в 1838 г. против министерства Моле из легитимистов, части доктринеров, левого центра и династической левой.

### XIV

Стр. 86. *Представляют теперь историю жизни Бюргера*. Гейне имеет в виду мелодраму братьев Коньяр «Ленора, или мертвецы быстро несутся», написанную на сюжет из жизни немецкого поэта (1747—1794), автора известной баллады «Ленора».

Стр. 87. *Кости июльских героев*. Июльские герои — революционеры, павшие на баррикадах и улицах в дни Июльской революции 1830 года. В их честь воздвигнута в Париже колонна на площади Бастилии в 50 метров вышиною.

— *Восстание в Барселоне*. Во время длившейся несколько лет войны из-за права наследования испанской короны (после смерти короля Фердинанда VII в 1833 г. королевой была провозглашена его малолетняя дочь Изабелла под регентством своей матери, королевы Христины, что вызвало восстание претендента на трон Дон-Карлоса, брата умершего Фердинанда VII) Барселона была одним из наиболее активных участников движения против правительства Христины.

— *Сирийское восстание*. Гейне имеет в виду восстание маронитов (христианская секта в Сирии) против Мехмета-Али. Когда англичане высадили в Сирии корпус в 9 000 солдат, маро-

ниты оказали ему существенную поддержку, и с их помощью английский десант нанес египетским войскам Мехмета-Али несколько поражений.

Стр. 89. *Господин Кошле* — французский генеральный консул в Александрии.

## XV

Стр. 90. *Соглашение между Англией, Россией и т. д.* См. выше примеч. к стр. 85.

— *«Коварный Альбион»*. Альбионом называли Англию в древности, возможно, из-за белизны ее прибрежных скал.

## XVI

Стр. 92. *Премия Монтиона*. Жан-Батист-Антуан Оже, барон де-Монтион (1733—1820), французский экономист и крупный богач, учредил ряд премий, в том числе и премию за добродетель.

— *Бритоголовый упрямец-пуританин*. Так Гейне называет в насмешку Гизо, который был кальвинистом. *Вероломные кавалеры* — английское правительство. Продолжая ироническое сравнение Гизо с пуританином, Гейне применяет к одержавшим над ним дипломатическую победу англичанам имя кавалеров, т. е. приверженцев короля английского Карла I и противников Кромвеля и пуритан во время английской революции XVII века.

Стр. 93. *Видок Франсуа-Эжен* (1775—1858) — известный вор и фальшивомонетчик, перешедший на службу в полицию в качестве сыщика. Благодаря большой ловкости и отличному знанию преступного мира преуспевал на своей новой должности, пока не был прогнан со службы за то, что, совершив дерзкую кражу, долго водил за нос префекта парижской полиции, направляя его розыски по ложным следам.

— *Треднидл-стрит* — улица в Лондоне.

— *Тальони Мария* (1804—1884) — знаменитая балерина, пользовавшаяся исключительным успехом в Париже эпохи Луи-Филиппа.

— *Штраус Иоганн* (1804—1849) — музыкант, автор многочисленных вальсов, пользовавшихся мировой популярностью, родоначальник целой династии композиторов легкого жанра.

Стр. 95. *Похоронная колесница июльских героев*. Останки жертв июльских дней 1830 года были торжественно перенесены на площадь Бастилии и погребены там под Июльской колонной.

## XVII

Стр. 96. *Пальмерстон* Генри-Джон-Темпл, виконт (1784—1865) — английский политический деятель-виг, министр иностран-

ных дел в 1840 г., бывший инициатором соглашения четырех держав.

Стр. 96. *Бульвар Капуцинов* — улица в Париже, где помещалось в то время министерство иностранных дел.

## XVIII

Стр. 98. *Десант принца Луи*. Гейне говорит о попытке принца Луи-Наполеона Бонапарта, будущего императора Наполеона III, высадиться в Булони 5 августа 1840 г. с целью поднять восстание против Луи-Филиппа и захватить его престол. Попытка не удалась: Луи Бонапарт был арестован и заключен в крепость Гам, откуда бежал через несколько лет.

Стр. 100. *Джентри* — английское мелкопоместное дворянство.

Стр. 101. *Красный колпак*, или красная фригийская шапка — головной убор патриотов Великой французской революции, символ революционности.

## XIX

Стр. 103. *Госпожа де-Севинье*. Мария де-Рабютен-Шанталь, маркиза Севинье (1626—1696) — французская писательница, автор известных писем к своей дочери мадам де-Гриньян, являющихся не только первоклассным литературным памятником, но и важным историческим источником для изучения социальных условий Франции ее времени.

Стр. 104. *Генрих V*. Так роялисты, легитимисты и сам претендент называли внука Карла X, графа Шамбора.

— *Кадудаль* Жорж и *Шаретт* Франсуа-Атанас — шуаны, вожди вандейской контрреволюции во время Великой французской революции.

## XX

Стр. 105. *Книга Варуха* — книга одного из еврейских пророков, ученика пророка Иезекииля. «Читали ли вы книгу Варуха?» — поговорка, служащая для выражения удивления по поводу открытия чего-то нового, до того неизвестного. Происхождение ее объясняется тем, что однажды Лафонтен, взяв Библию у Расина, наткнулся на книгу пророка Варуха, которая ему очень понравилась. «Кто же такой был этот Варух? — спросил он у Расина, — ведь это прекрасный талант». В последующие дни он обращался ко всем знакомым с вопросом: «Читали ли вы» и т. д.

— *Пуэжула* Жан-Жозеф-Франсе (1808—1880) — французский историк.

Стр. 106. *Госпожа Лафарж* (1816—1852) была обвинена в отравлении своего мужа и осуждена судом, но протестовала, утверждая, что невиновна. *Мария Капель* — ее девичье имя.

Стр. 106. *Распайль* Франсуа-Венсан (1794—1878) — французский политический деятель и революционер-республиканец, имик по профессии.

Стр. 107. *Орфила* Матье-Жозеф-Бонавентюр (1787—1853) — французский врач и химик, специалист по судебной медицине. Выступал в качестве эксперта на процессе Лафарж.

## XXI

Стр. 108. *Гром бейрутских пушек*. 20 сентября 1840 г. соединенные английская, австрийская и турецкая эскадры бомбардировали Бейрут в течение нескольких дней, после чего десанты с кораблей заняли город.

## XXII

Стр. 110. *Труба Беллоны* — военная труба (*Беллона* — имя древнеримской богини войны).

Стр. 111. *На бирже Тортони* — шутка: кафе Тортони на углу Бульвара Итальянцев и Улицы Тетбу в Париже было местом, где встречались парижские литераторы и политики и обменивались злободневными новостями и слухами.

— *Лаланд* — французский адмирал, командовавший эскадрой Средиземного моря.

— *Крылья валькирий режут воздух*. В германской мифологии полет валькирий, воинственных дочерей бога Вотана признак начала сражения.

## XXIII

Стр. 111. *Тьер сходит со сцены*. В конце октября 1840 г. Тьер из-за несогласия с его политикой Луи-Филиппа, не хотевшего ввязываться в войну со всей Европой, вышел в отставку и уступил место министерству, главою которого был номинально маршал Султ, фактически же Гизо.

Стр. 112. *В короля стреляют*. 15 октября 1840 г. в короля стрелял (неудачно) некто Дарме: это было одно из многих покушений на Луи-Филиппа.

Стр. 113. *Лондонский трактат*. См. выше примеч. к стр. 85.

## XXIV

Стр. 115. *Каламатта* Луи (1801—1869) — французский гравер, родом итальянец.

## XXV

Стр. 116. *Поццо-ди-Борго* Шарль-Андре (1764—1842) — корсиканский адвокат, член первого Учредительного собрания во Франции, оставивший Францию и поступивший на русскую службу. Он был одним из ближайших советников Александра I и ярким врагом Наполеона. После падения Империи был во время Реставрации русским послом в Париже.

Стр. 117. *Луи Феликс* (1810—1889) — французский революционер и писатель. Перед революцией 1848 года был одним из редакторов радикальной «*Reforme*», в Учредительном собрании 1848 года занимал место на скамьях социалистов. Будучи изгнан из Франции после переворота Наполеона III, принимал участие в европейском революционном движении и в дни Парижской коммуны был членом Комитета общественного спасения. После победы версальцев бежал и был заочно приговорен к смерти. Вернувшись после общей амнистии коммунаров, за год до смерти был избран в палату депутатов.

Стр. 118. *Новый Ликург* — ироническое сравнение Луи Блана с древним спартанским законодателем Ликургом, которому традиция приписывает кодификацию суровых спартанских нравов.

— *Боско*. См. коммент. к т. VII.

Стр. 120. *Штаблер* — персонаж венской народной комедии, то же, что немецкий Гансвурст или русский Петрушка.

— *Гражданину Встречному и гражданину Поперечному*. У Гейне выражение *крети и плети* означает равношерстное собрание людей, сброд.

## XXVI

Стр. 122. *Рейнеке-Лис* — лисица, фигурирующая в качестве главного действующего лица в старинном немецком и французском эпосе, олицетворяющего коварство, хитрость и фальшь. Слезы Рейнеке-Лиса — слезы притворные.

## XXVII

Стр. 123. *Рождение герцога Шартрского*. Герцог Роберт Шартрский (1840—1910) был вторым сыном наследника Луи-Филиппа, герцога Орлеанского.

— «*Сострадание, нагой младенец*» — цитата из Шекспировского «*Макбета*» (д. I, сцена 7).

Стр. 124. *И для нее наступит 10 августа*. День 10 августа 1792 г. был днем восстания парижского населения, окончившегося отрешением Людовика XVI от власти и заключением его в тюрьму.

— *Ремсет или Мерсет* — города в графстве Кент в Англии, расположенные на берегу Темзы.

— *Тауэр-стрит* — улица в Лондоне.

## XXVIII

Стр. 125. *Гейнефеттер* Сабина (1809—1872) — выдающаяся певица, певшая с большим успехом на крупных европейских сценах.

Стр. 125. *Одеон* — театр в Париже, основанный в 1797 г. В нем ставились драматические пьесы классического и современного репертуара и происходили гастроли Итальянской оперы.

— *Рубини Джованни-Баттиста* (1795—1854) — итальянский тенор, пользовавшийся исключительным успехом в Париже.

— *Гризи Джулия* (1811—1869) — первоклассная итальянская певица.

Стр. 128. *Пропаганда газет*. Гейне имеет в виду шовинистическую пропаганду французских газет в связи с восточным вопросом и лондонским трактатом четырех держав.

## XXIX

Стр. 131. *Елисейские поля* — улица в Париже: через нее пролегал маршрут похоронной процессии с гробом Наполеона I.

— *Джеймс Уатт, бумагопрядильщик*. Здесь, повидимому, описка: Уатт был механиком, усовершенствовавшим паровую машину, но не бумагопрядильщиком.

## XXX

Стр. 132. *Лорд Брум*. Генри Брум (1778—1868) — английский литератор и политический деятель-виг, один из крупных деятелей движения в пользу парламентской реформы, блестящий оратор. Был министром в кабинете Грея.

Стр. 134. *Нынешний гонфалоньер веры магометанской*. Гонфалоньер (итал.) — знаменосец. Этот титул носили в средние века во Флоренции и Сиенне городские головы. Здесь Гейне иронически называет этим именем тогдашнего турецкого султана Абдул-Меджида (1823—1861), вступившего на престол в 1839 г., в разгар движения Мехмета-Али.

Стр. 135. *Император России* — Николай I.

## XXXI

Стр. 136. *Мишье Франсуа-Огюст-Мари* (1796—1884) — французский историк, автор известной «Истории французской революции», занявшей почетное место в историографии.

Стр. 137. *Решение палаты о укреплении Парижа*. Это решение было принято палатой после долгих дебатов, сопровождавшихся большим возбуждением общественного мнения. Законопроект был внесен еще Тьером в связи с той воинственной политикой, которую он затевал. Особенно резкие нападки этот проект возбуждал со стороны радикально-демократических кругов, доказывавших ненужность укреплений с точки зрения внешней опасности и предсказывавших, что укрепления эти сыграют роль

в грядущей борьбе буржуазии с революцией, что и оправдалось впоследствии в дни Коммуны.

Стр. 139. *Араго* Доминик-Франсуа (1786—1853) — французский астроном и физик, популярный политический деятель-радикал. Во временном правительстве после Февральской революции 1848 года он занимал пост военного и морского министра.

Стр. 141. *Малапартус* — укрепленный замок Рейнеке-Лиса в немецком эпосе.

### XXXII

Стр. 144. *Звезды, в которые нельзя больше верить, угасают* — ироническая цитата из одного стихотворения баварского короля Людвига I, характерная для его стиля.

— *Американские дела*. Гейне имеет в виду резкое обострение отношений между Англией и САСШ в связи с инсurreкционным движением в Канаде, находившем поддержку в Вашингтоне. Дело едва не дошло до войны.

— *Вопрос о Дарданеллах*. В 1833 г. Россия, оказавшая поддержку Турции против Мехмета-Али, получила по Ункияр-Скелесскому договору для своего военного флота право входить в Босфор и Дарданеллы, причем в договоре имелась секретная статья, по которой Турция обязывалась не допускать в проливы судов других держав. Англия тогда же заявила против этого протест, а в 1838 г., во время второго восстания Мехмета-Али, Россия вынуждена была отказаться от этого договора, и он был заменен «конвенцией о проливах» 13 июля 1841 г. (т. е. через три с половиной месяца после настоящей корреспонденции Гейне), согласно которой Турция, Россия, Англия, Франция, Австрия и Пруссия условились закрыть проливы для прохода военных судов всех наций как в мирное время, так и во время войны.

— *Рейс-Шлейс-Грейц* — одно из карликовых княжеств тогдашней Германии.

Стр. 147. *Биржевой спекулянт, оказавшийся здесь* — Штерн из Франкфурта. Ниже, в статье LVII, он фигурирует под именем Назенштерн (Штерн — звезда, Назе — нос), встречается также в «Бахарахском равнине» и в «Людвиге Берне».

Стр. 148. *Эта коллекция... составит Валгаллу*. Валгалла в скандинавской мифологии — дворец бога Вотана, в котором находят себе пристанище души королей и героев, убитых в сражениях. Валгалла регенсбургская — дворец баварского короля в Регенсбурге, в котором есть галерея мраморных бюстов германских королей и императоров.

— *Королевско-баварский лапидарный стиль* — вновь насмешка над поэтическими потугами Людвига I.

## XXXIII

Стр. 150. *Тальберг* Сигизмунд (1812—1871) — немецкий пианист, один из крупнейших мировых виртуозов, конкурировавший с Листом.

— *Вопреки обыкновениям, играл совершенно один.* До Листа концерты виртуозов сопровождалось участием других артистов, причем программы имели обыкновенно пестрый и случайный характер. Лист впервые ввел так называемые «*Klavierabende*», исполняя один всю программу.

Стр. 151. *Друг Бетховена* — Антон-Феликс Шиндлер (1795—1864), немецкий музыкант и первый биограф Бетховена. Он действительно был близким другом Бетховена и был ценным последним. Что он будто бы писал на своих визитных карточках «друг Бетховена», было сплетней. Ниже, в конце статьи LVII, Гейне берет это утверждение обратно.

Стр. 152. *Делер* Теодор (1814—1856) — немецкий пианист и композитор, долго живший в России и концертировавший с большим успехом в разных европейских городах.

— *Вьетан* Анри (1820—1881) — бельгийский скрипач и композитор скрипичных концертов. Уступая такому непревзойденному виртуозу, как Паганини, Вьетан был все же первоклассным скрипачом.

— *Паганини* Николо (1784—1840) — итальянский скрипач мирового значения и композитор.

— *Берио* Шарль (1802—1870) — бельгийский скрипач-виртуоз и композитор. Был женат на одной из величайших мировых певиц, рано умершей Марии *Малибран* (1808—1836), дочери знаменитого тенора Гарсиа и сестре Полины Виардо-Гарсиа. Огромная тесситура (от сопрано до контральто) и исключительная выразительность в связи с крупным драматическим талантом делали ее неподражаемой исполнительницей опер Россини, Беллини, Доницетти и др. Отсюда слова Гейне о ее душе, заключенной в Берио.

Стр. 153. *Эрнст* Генрих (1814—1865) — немецкий скрипач и композитор; *Арто* Александр-Жозеф (1815—1845) — бельгийский скрипач из плеяды Вьетана и Берио; *Гауман* Теодор (1807—1878) — бельгийский скрипач; *Франко-Мендес* Жак (р. 1812) — виолончелист и его брат Жозеф — скрипач.

— *Страна трешкоутов* — Голландия. *Трешкоут* — плоскодонное судно.

— *Батта* Александр (1816—1902) — голландский виолончелист.

— *Лёве* София (1815—1866) — немецкая оперная певица, сопрано.

Стр. 157. *Гиллер* Фердинанд (1811—1885) — немецкий композитор, дирижер и пианист-виртуоз.

## XXXIV

Стр. 159. *Сент-Эльм*. Эльзелина Ванайль де-Ионг, называвшая себя Ида де-Сент-Эльм и писавшая под псевдонимом «Современница» (1778—1845) — французская искательница приключений, автор мало достоверных воспоминаний, написанных с ее слов Малитурном или Нодье.

— *Благородный барон Ларошжаклен*. Гейне имеет в виду Огюста Ларошжаклена, младшего брата знаменитого вождя вандейцев, Анри Ларошжаклена. Огюст Ларошжаклен (1783—1868) во время Ста дней вел агитацию за восстание в той же Вандее.

Стр. 161. *Герен, Тикзен, Эйхгорн* — геттингенские профессора (первый — историк, вторые два — богословы) времени пребывания Гейне в Геттингенском университете. Все они в разное время были ректорами университета.

— *Вендская улица* — улица в Геттингене.

## XXXV

Стр. 162. *Мерлен-де-Дуэ* Филипп-Антуан (1754—1838) — французский юрист и политический деятель, член Конвента, термидорианец, впоследствии член Директории.

Стр. 163. *Code Napoléon* — свод законов, составленный при Наполеоне I, принимавшем непосредственное участие в работах составлявшей его комиссии. Этот кодекс представляет собою классическое изложение буржуазных правовых понятий, как они сложились в дореволюционную и революционную эпоху во Франции.

— *О призвании нашего времени к законодательству* — название вышедшего из печати в 1814 году сочинения знаменитого немецкого юриста Фридриха-Карла Савиньи (1779—1861).

Стр. 164. *Овербек* Фридрих (1789—1869) — немецкий художник, глава католико-романтической немецкой школы живописцев. Писал картины на религиозные темы.

Стр. 165. «*Tout comprendre c'est tout pardonner*» — афоризм французского философа XVII века Блеза Паскаля.

— *Ремюза* Франсуа-Мари-Шарль (1797—1875) — французский философ и политический деятель, министр внутренних дел в кабинете Тьера в 1840 г. Восторженный почитатель Гете, он перевел на французский язык «Клавиго», «Эгмонта», «Ери и Батели» и «Триумф чувствительности».

«*Песня Беккера*. См. выше примеч. к стр. 11,

## XXXVI

Стр. 166. *Галиньяни Уильям* (1798—1882) — английский издатель, принявший французское подданство. Будучи богатым человеком, основал в Нелли близ Парижа дом призрения для работников книги, печатников, литераторов, ученых и артистов. Его салон посещался представителями интеллектуальных кругов Парижа, в том числе и англичанами.

— *Билль о реформе* — законопроект о парламентской реформе в Англии. Речь идет о реформе, проведенной Робертом Пилем, возглавлявшим консервативный кабинет. Пред лицом нового нарастания революционного движения Пиль вынужден был отменить старый хлебный закон, не допускающий ввоза иностранного хлеба в Англию, обогащавший крупных землевладельцев и ложившийся тяжким бременем на мелкую буржуазию и промышленный пролетариат. Отмена хлебных законов разрядила накаленную атмосферу. Эти события и имеет в виду Гейне, говоря о тревоге англичан.

— *О'Коннель Даниил* (1775—1847) — ирландский политический деятель, основатель католической лиги, ставившей себе целью политическую эмансипацию Ирландии. В 1829 г. министерство Пили было вынуждено провести билль об эмансипации католиков, открывавший им доступ в парламент. О'Коннель прошел в палату общин и в дни общественного возбуждения, вызванного провалом первого билля о реформе, выступил с требованием отделения Ирландии от Великобритании. Это создало ему огромную популярность в Ирландии, впоследствии им утерянную: будучи противником вооруженного восстания против английской власти, возникновению идеи которого немало содействовал своей агитацией, он потерял влияние на радикальную часть ирландского движения. Не помог ему и процесс, возбужденный против него английским правительством и окончившийся его осуждением, отмененным, однако, палатой лордов.

— «*Пускай трещит...*» и т. д. — неточная цитата заключительных стихов «Мужества» Гете.

— *Гуровский Адам*, граф (1805—1866) — польский публицист, участник восстания 1830—1831 гг. Эмигрировав в Париж, он сперва писал против России, но в 1835 г. вдруг напечатал книгу «Правда о России», где доказывал, что Россия должна осуществить объединение славянства. Это повлекло за собой разрешение ему Николаем I возвращения в Россию и, разумеется, оттолкнуло от него польские и непольские революционные круги. В России он не ужился и в конце концов переселился в Сев. Америку. Его брат *Игнатий Гуровский* вызвал большой переполох в великосветских кругах Европы своей женитьбой

на двоюродной сестре королевы Изабеллы Испанской, донне Изабелле-Фернанде Кастильской.

Стр. 167. *Рашель* Элиза (1820—1858) — французская актриса, исполнительница трагических ролей в классическом репертуаре, обладавшая большими сценическими дарованиями и пользовавшаяся огромным успехом.

### XXXVII

Стр. 167. *Разница между Дюфором и Пасси*. Дюфор Арман-Жюль-Станислав (1798—1881) и Пасси Ипполит-Филибер (1793—1880) — французские политические деятели. Второй был одним из наиболее видных защитников свободной торговли. Оба неоднократно были министрами.

Стр. 170. *Гупиль и Ритнер* — владельцы магазина эстампов в Париже и издатели гравюр.

### XXXVIII

Стр. 174. *Луксорский обелиск* — обелиск, привезенный из Египта, где он, в паре с другим, оставшимся на месте, стоял у входа в храм бога Амона в Луксоре. Был доставлен в Париж в 1836 г. и до сих пор благополучно стоит на площади Согласия (до революции 1789 года называвшейся площадью Людовика XV).

Стр. 176. *Гюман* Жан-Жорж (1780—1842) — французский финансист, министр финансов в кабинете Сульта — Гизо. Он провел такое увеличение налогов при распределении их в 1841 г., что оно вызвало резкие протесты населения. В Клермон-Ферране дело дошло даже до кровавого столкновения между населением и войсками. Налог пришлось отменить.

— *Вильмен* Абель-Франсуа (1790—1870) — французский литератор, либеральный депутат и министр народного просвещения в кабинетах Тьера и Сульта — Гизо с 1839 по 1844 г. Он был автором известного в свое время «Курса французской литературы» и др.

— *Вандомская колонна* — сорокачетырехметровая колонна на площади того же имени в Париже, сооруженная в честь Великой армии в 1806 г. из бронзы от пушек, взятых у неприятеля. Она украшена на вершине статуей Наполеона. В 1871 г. она была свергнута коммунарами, а в 1875 восстановлена. Любопытно предсказание о ее свержении, высказываемое Гейне и полностью оправдавшееся.

Стр. 177. *Великая историческая книга* — «История консульства и империи» Тьера, большой исторический труд во многих томах, выходящий в свет с 1854 по 1862 г. Вынужденный отдых от политической деятельности дал Тьеру возможность закончить свою книгу.

Стр. 177. *Деларош* Поль (1797—1856) — французский художник, писавший большие полотна на различные исторические темы.

## XXXIX

Стр. 181. *Дюпоти* Мишель-Огюст (1797—1864) — французский публицист и политический деятель-республиканец, ведущий в печати резкую борьбу с Июльской монархией и Орлеанским домом. Когда в 1841 г. некто Кенель покушался на жизнь герцога Омальского (1822—1897), четвертого сына Луи-Филиппа, впоследствии известного генерала и историка, то правительство привлекло Дюпоти к ответственности по обвинению в «моральном соучастии» в этом покушении. Палата перов приговорила его к пяти годам тюремного заключения. Кампания протеста, поднятая оппозиционными газетами, осталась безрезультатной, и Дюпоти вышел на свободу только после амнистии 1844 года.

— *Филипписты* — перы, назначенные в палату Луи-Филиппом из числа сторонников Орлеанского дома.

## XL

Стр. 182. *Македонский тезка* — царь македонский Филипп II (359—336 до н. э.), отец Александра Великого.

Стр. 183. *Rector magnificus* — игра слов: этот титул носят ректоры немецких университетов; Гейне дает его Гизо, как, одновременно, и профессору и главе правительства.

— *Восстание Барбеса*. Арман Барбес (1809—1870) — французский революционер, соратник Бланки, вместе с которым входил в тайное Общество прав человека и гражданина, затем глава другого революционного Общества времен года. 12 мая 1839 г. Барбес сделал неудачную попытку восстания против правительства Луи-Филиппа. Палата перов приговорила Барбеса, как руководителя и зачинщика этой попытки, к смертной казни, но заступничество перед королем его сына, герцога Орлеанского, и писателя Виктора Гюго, бывшего членом палаты перов и голосовавшего против казни, спасло Барбеса: казнь была заменена ему пожизненным тюремным заключением, от которого его освободила Февральская революция.

## XLI

Стр. 184. *Лин и Кешен*. Лин (собственно Линь-цзе-суй) был кантонским генерал-губернатором, назначенным туда в 1839 г. в целях борьбы с контрабандной торговлей опиумом, которую вела в Китае английская Остиндская компания. Он арестовал резидентов компании и заставил их уничтожить весь груз опиума. Это вызвало интервенцию английского правительства окончившуюся очень печально для Китая Нанкинским договором

1842 г., окончательно открывшим китайский рынок для европейцев. Лин поплатился за эту неудачу ссылкой в Китайский Туркестан. Кешен (правильнее Ки-Шан) — министр китайского богдыхана, не разделявший воинственной политики Лина и советовавший пойти на соглашение с европейскими державами. Отсюда сопоставление китайских политиков с Тьером и Гизо в отношении последних к восточному вопросу.

Стр. 185. *Гернгутерская миролюбивость*. Гернгутерами (начальное их название — богемские братья) назывались последователи возникшей еще в конце средних веков христианской секты, настаивавшей на соблюдении первоначального евангельского учения без всяких позднейших католических церковных примесей и бывшей одной из непосредственных предшественниц Реформации. Между прочим, они отвергали, на основании евангельской нагорной проповеди, присягу, военную службу и исполнение государственных должностей.

## XLII

Стр. 185. «*Мы танцуем здесь на вулкане*». Имеется в виду фраза, сказанная Сальванди (Нарсис-Ахилл, 1795—1856, литератор и государственный деятель) Луи-Филиппу во время блестящего ночного праздника, устроенного Луи-Филиппом в честь неаполитанского короля.

Стр. 186. «*Le Siècle*» — ежедневная либеральная газета, издававшаяся в Париже с 1836 г. Ее редактор Перре подвергся каре, о которой говорит Гейне, за оскорбительный отзыв о палате пэров.

— *Гризи* Карлотта (1819—1899) — итальянская балерина, одна из крупнейших в плеяде знаменитых танцовщиц XIX века.

— *Улица Лепельтье*. Там помещалась в описываемое время Французская опера, называвшаяся тогда Королевской академией музыки.

— *Эльслер* Фанни (1810—1884) — австрийская балерина, пользовавшаяся мировой славой наряду с Тальони, Гризи и др.

— *Адам* Адольф (1803—1856) — французский композитор, автор многочисленных опер, среди них долго не сходявшего с репертуара «Почтальона из Лонжюмо» и балетов. Балет, о котором идет речь в тексте, называется «Жизель, или Виллисы». Он ставится на европейских сценах (в том числе и у нас) до сих пор. Сюжет его заимствован у Гейне (см. «Elementar-Geister» в 3-й книге «Салона»).

Стр. 187. *Дочь Иродиады* — Саломея, героиня евангельского сказания о смерти Иоанна Крестителя, обличавшего в безнравственности ее мать, жену царя Ирода. Иродиада, чтобы добиться

от мужа согласия на казнь Иоанна, попросила ее танцевать перед царем. Ирод, восхищенный танцами Саломей, разрешил ей просить у него в награду, чего она хочет, и та попросила голову Иоанна.

С т р. 187. *Французский балет отзывает почти галликанской церковью...* Гейне проводит шутливую параллель между более строгими, чем обычные католические, нравами галликанской церкви и даже янсенизмом (секта, возникшая во Франции в первой половине XVII века и осужденная папой), с одной стороны, и стилем французского балета, не допускавшего фривольных движений, — с другой.

— *Сады Ле-Нотра*. Андре Ле-Нотр (1613—1670) — французский архитектор, по планам которого были разбиты знаменитые сады версальского дворца, сады в Нейи, Медоне, Шантильи и др.

С т р. 188. *Великий Вестрис* — Гаэтан Вестрис (1729—1808), главный танцор Парижской оперы, прозванный за свое замечательное искусство «богом танцев».

С т р. 189. *Канкан* — эксцентрический танец, пущенный около 1840 г. в ход танцовщиком Шикаром; вследствие своей разнузданности и непристойности был вначале запрещаем и преследуем полицией. Временем расцвета канкана была эпоха Второй империи, когда его культивировала кадрили Клодоша, известная кабаретная танцовщица Ла-Гулю и т. д.

С т р. 190. *Робер Макер* — персонаж из знаменитой в свое время мелодрамы «L'auberge des Adrets» Бенжамена Антье, Сент-Амана и Полианга. Тип бесстыдного проходимца, вора и убийцы, ставший популярным благодаря превосходной игре Фредерика Леметра.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### XLIII

С т р. 199. *Источник Аретузы*. В греческой мифологии так назывался источник на острове Ортигии, близ Сиракуз, в который была превращена нимфа Аретуза богиней Дианой. Спасаясь от бога Алфея (он же река), она обратилась к Диане с мольбой о спасении, и богиня превратила ее в источник, сладкие воды которого не смешивались с горькосолоеною водою моря.

— *Темпловский холм* — ныне Крейцберг в предместьях Берлина Темпельгофе.

С т р. 200. *Пилье Леон* (1803—1868) — французский литератор и публицист, преемник Дюпоншеля по директорству в Парижской опере.

### XLIV

С т р. 201. *Кант, Калиостро, Сведенборг и Филадельфия*. Это высказывание Наполеона характерно для его презрения к «идео-

логам». Разумеется, здесь поставлены на одну доску люди очень различного значения. *Джузеппе Бальзано* (1743—1795), называвший себя графом Калиостро, был известным итальянским авантюристом: окултист, франк-масон, участник темного дела с ожерельем королевы Марии-Антуанетты, он окончил жизнь в римской тюрьме. Не было ничего общего между ним, философом Кантом и шведским философом-мистиком и визионером *Эммануилом Сведенборгом* (1688—1772), которому, однако, все же положительная наука обязана основанием науки кристаллографии. Наконец, *Яков Филадельфия* был просто известным фокусником и престижжитатором.

С т р. 202. *Д'Аржансон* Марк-Рене (1776—1842), маркиз. Происходя из семьи крупных французских сановников, занимавших в течение целого столетия руководящие посты в государстве, он примкнул к республиканской партии и принимал живое участие в ее деятельности.

— *Фихте материализма*. Смысл этого сравнения Дестюда-Траси с Фихте, немецким философом-идеалистом (1762—1814), заключается в том, что Фихте, исходя из системы Канта, исключил из нее понятие вещи в себе и дал систему чистого идеализма с полным устранением из нее материи, независимой от сознания.

С т р. 203. *Наш четверговластник Ирод* — Меттерних; Гейне уподобляет его тетрарху Палестины Ироду, избившему, по евангельскому сказанию, младенцев.

— *Первый парозод*. Изобретение парохода английским механиком Фультоном (1765—1815) в 1807 г. через короткое время нашло применение во Франции.

#### XLV

С т р. 204. *Семитическая порода*. Среди кандидатов в члены палаты депутатов на летних выборах 1842 г. было несколько евреев.

#### XLVI

С т р. 206. *О результате выборов вы узнаете из газет*. Выборы в палату в 1842 г. принесли значительное увеличение числа оппозиционных депутатов.

#### XLVII

С т р. 207. *Непредвиденная смерть*. 13 июля 1842 г. старший сын Луи-Филиппа и наследник престола герцог Фердинанд-Луи Орлеанский (род. 1810), возвращаясь из Нельи, был у ворот Майо в Париже выброшен из экипажа взбесившимися лошадьми. Его смерть вызвала большое возбуждение, так как он пользовался популярностью, особенно в армии.

С т р. 209. *Но таков на земле удел прекрасного* — неточная цитата из «Смерти Валленштейна» Шиллера.

Стр. 209. *Лафитт* Жак (1767—1844) — французский банкир, личный друг Луи-Филиппа, сыгравший крупную роль в деле возведения его на престол и бывший министром финансов в его первом кабинете.

Стр. 210. *Терамен* — один из персонажей трагедии Расина «Федра», воспитатель ее пасынка Ипполита. Гейне имеет в виду его монолог о смерти Ипполита, которого, как и сына Луи-Филиппа, разбили лошади, испугавшиеся морского чудовища.

## XLVIII

Стр. 211. *Герцог Немурский* — второй сын Луи-Филиппа, Луи-Шарль-Филипп (1814—1896).

Стр. 212. *Солон* (VII—VI век до н.э.) — афинский законодатель, причислявшийся в древней Греции к так называемым семи мудрецам. Изречением, которое приводит Гейне, он ответил на обращенный к нему вопрос лидийского царя Креза: кого он считает самым счастливым человеком на свете?

## XLIX

Стр. 213. *Герцогиня* — вдова Фердинанда-Луи Орлеанского урожденная принцесса Елена Мекленбургская, мать графа Парижского (1838—1894), будущего претендента на французский трон.

## LI

Стр. 220. *Индийская и китайская экспедиции*. В 1841 г. в Афганистане, занятом с 1839 г. английскими войсками, произошло восстание, причем был убит английский дипломатический агент в Кабуле, а экспедиционный корпус из 4 000 солдат под начальством генерала Эльфинстона вынужден был уйти из страны и погиб в горных проходах Гималаев. Англия отправила в Афганистан карательную экспедицию, стоившую больших денег. О китайской экспедиции см. выше примеч. к стр. 21.

Стр. 221. *Фельдмаршал милорд Веллингтон* — Артур-Колли-Уэллслей, лорд Веллингтон (1769—1852), английский генерал, победитель Наполеона при Ватерлоо в 1815 г., был премьер-министром от 1828 по 1830 г., затем министром иностранных дел в кабинете Пили в 1835 г. и вновь вступил во второе министерство Пили в 1841 г. министром без портфеля. Будучи в то же время главнокомандующим английской армии, он, по поручению правительства, руководил подавлением революционного движения, возникшего в связи с вопросом о хлебных законах, о парламентской реформе и с агитацией чартистов.

## LII

Стр. 226. *Пожар на Версальской железной дороге* — 8 мая 1842 г.

Стр. 226. *Полубанкир Лойзедорф* — выдуманная фамилия: *Лойзедорф* значит «вшивая деревня».

Стр. 227. *Rive gauche* и *rive droite* — левый и правый берег: так называются части Парижа, разделенного Сеной; в обеих были банкирские конторы.

— *Петроний*. В этой цитате из романа «Сатирикон» Петрония есть неточность: вместо *Страберий* надо читать *Тримальхион*.

— *Кровавая сцена, случившаяся в кабинете Mademoiselle Гейнефеттер*. Гейне говорит об убийстве, происшедшем в Брюсселе в квартире выдающейся певицы Катинки Гейнефеттер, сестры упоминавшейся выше Сабины Гейнефеттер. Двое ее возлюбленных — Комартен и Сире — поссорились и подрались бывшими при них тростями. В трости Комартена был скрыт стилет, на который наткнулся (по версии убийцы) Сире.

Стр. 228. *Пусть попробуют разделить княжество Лихтенштейн или Грейц-Шлейц*. Смысл шутки в том, что делить эти карликовые княжества было бы бессмысленно.

### LIII

Стр. 229. «*А старые парики?*» — сенаторы города Гамбурга.

Стр. 230. *Аквадофана* — яд, состав которого неясен (возможно, мышьяковистое соединение), которым некая сицилианка Тофана торговала в конце XVII и начале XVIII века, продавая его женщинам, заинтересованным в том, чтобы избавиться от мужей.

### LIV

Стр. 232. *Зала Тетбу* — помещение сен-симонистской парижской организации в улице Тетбу. Во главе этой общины стоял один из последователей Сен-Симона, Бартеlemi-Проспер *Анфантен* (1796—1864), инженер по профессии, придавший сен-симонизму религиозный уклон. Одним из его ближайших соратников был упоминаемый Гейне журналист Шарль *Дюверье* (1803—1866), который после процесса сен-симонистов, обвиненных правительством в нарушении общественной нравственности, отсидев некоторое время в тюрьме, обратился к драматургии, решив проповедывать со сцены идеи Сен-Симона и Анфантена. Впоследствии он основал Общество объявлений, был генеральным инспектором тюрем, затевал издание народной энциклопедии и т. д.

Стр. 233. *Моле Луи-Матье*, граф (1781—1855) — французский государственный деятель, представитель сторонников так называемого «сопротивления» реформам после Февральской революции и глава правительства, свергнутого коалицией Тьера — Гизо в 1838 г.

С т р. 234. *Герцог Альба* Фердинанд-Альварец де-Толедо (1508—1582) — испанский полководец, известный своей жестокой расправой с возмущавшимися при короле Филиппе II Испанском Нидерландами.

## LV

С т р. 236. *«Бургграфы»* — трехактная драма в стихах Виктора Гюго на сюжет из истории немецкого средневековья. Будучи поставлена на сцену в 1843 г., она не имела успеха.

С т р. 240. *Оле Буль* (1810—1880) — норвежский скрипач, ученик Шпора и Паганини, автор эксцентричных скрипичных пьес в роде «Быка, пожираемого тигром», имевших огромный успех в Америке, но возбуждавших справедливое возмущение у настоящих любителей музыки. Эти эксцентрические пьесы, исключительный техницизм в игре Оле Булля, различные шарлатанские выходы его создали ему скандальную известность. Упсальские студенты избили Булля.

— *Сивори* Камилло (1815—1894) — итальянский скрипач-виртуоз.

— *Дрейшюк* Александр (1818—1869) — немецкий пианист-виртуоз и композитор. Гастроли его в Париже в 1843 г. сопровождались большим и заслуженным успехом, вопреки характеристике его Гейне, как «страшного фортепианного колокольщика».

С т р. 241. *О которых Гете сказал бы...* Четверостишие, приведенное Гейне, не принадлежит Гете.

## LVI

С т р. 242. *Калькбреннер* Фридрих-Вильгельм (1784—1849) — немецкий пианист и композитор. В Париже он вместе с Камиллом Плейелем (1788—1855) владел, основанной Игнатием Плейелем фабрикой фортепиано, существующей до сих пор.

С т р. 243. *Торбо* — рыба из семейства камбаловых (плевронектиды), кушанье, весьма ценное гастрономами.

— *Корейф* Иоганн-Фердинанд (1783—1851) — немецкий врач и поэт, живший в Париже, затем в Берлине и снова в Париже. Выполнял дипломатические поручения.

— *Ликсис* Иоганн-Петер (1788—1874) — немецкий пианист и композитор, впервые выступавший в Париже в 1829 г.

С т р. 244. *Пансерон* Огюст-Матье (1795—1859) — французский композитор, автор многочисленных опер, духовных сочинений, различных пьес для всевозможных сольных инструментов.

— *Герц* Анри (1806—1888) — пианист, композитор и фабрикант фортепиано, профессор Парижской консерватории.

Стр. 245. *Халле* Карл (Шарль Алле) — немецко-французский пианист (1819—1895).

— *Вольф* Эдуард (1816—1880) — польский пианист и композитор, гастролы которого в Париже сопровождались большим успехом.

— *Хеллер* Стефан (1814—1888) — венгерский композитор и пианист.

Стр. 246. *Обер* Даниэль-Франсуа (1782—1871) — французский композитор, автор многочисленных опер, из которых наиболее известными были «Немая из Портичи» (Фенелла) и «Фра-Диаволо». В 1842 г. Обер был назначен директором Парижской консерватории.

— *Делавинь* Казимир (1793—1843) — французский поэт-драматург.

Стр. 247. *Крейцер* Конрадин (1782—1849) — немецкий дирижер и композитор, автор опер, из которых наиболее известной была опера «Ночлег в Гренаде», упоминаемая Гейне.

— *Опыт Рихарда Вагнера*. Гейне имеет в виду полную неудачу Вагнера в Париже: ему не удалось поставить там оперу «Риенци», не имела успеха увертюра «Фауст», и, чтобы выпутаться из крайних материальных затруднений, ему пришлось продать бездарному композитору Дицу, о котором Гейне упоминает выше, либретто написанной в семь недель оперы «Моряк-скиталец».

— *Дессауэр*. См. выше примеч. к стр. 48.

Стр. 248. *Старый Дессауэр* — принц Леопольд фон-Ангальт-Дессау (1676—1747), прусский генерал-фельдмаршал, полководец прусских королей Фридриха, Фридриха-Вильгельма I и Фридриха II. Гейне ошибается, называя его участником Семилетней войны, начавшейся в 1756 г., через девять лет после смерти старого Дессауэра, последняя кампания которого относится к 1744 г. В Семилетней войне участвовал его сын, тоже фельдмаршал, Мориц Дессау (1712—1760).

— *Старуха Моссон* — теща Мейербергера.

## LVII

Стр. 252. «*Лукреция*» — пятиактовая трагедия в стихах поставленная на сцене в 1843 г. Ее автор — французский поэт и драматург Франсуа *Понсар* (1814—1867).

Стр. 256. *Шеффер* Ари (1795—1858) — французский художник, один из первых представителей романтической школы в живописи.

— *Летрон* Жан-Антуан (1787—1848) — французский географ и археолог.

Стр. 256. *Дюпюитрен* Гильом (1777—1835) — французский хирург, один из крупнейших представителей французской медицины прошлого века.

— *Перейра* Эмиль (1800—1875) — французский железнодорожный деятель. В молодости сен-симонист, затем сотрудник газет «*Globe*» и «*Nationale*». Купив вместе со своим братом Исааком железную дорогу в Сен-Жермен, продававшуюся с торгов, положил начало огромному состоянию.

Стр. 259. *Август Лео* (ум. 1860) — парижский банкир.

Стр. 260. *Ионафан* — в Библии сын царя Саула, друг Давида; смерть его Давид воспел в песне.

Стр. 261. *Дайте обол Велизария*. Старая историческая традиция, в настоящее время отвергаемая, утверждала, что знаменитый полководец византийского императора Юстиниана Велизарий (ок. 494—565), неоднократно навлекавший на себя немилость своего повелителя, был, по его приказанию, ослеплен и жил подаяннем.

— *Цинцинат* — римский диктатор, о котором предание рассказывает, что, сложив с себя звание, он занимался у себя в деревне сельскими работами.

— *Господин фон-Гумбольдт* Александр. См. Гейне, т. VIII наст. изд.

— *Назенитерн*. См. выше примеч. к стр. 147.

Стр. 262. *Дреквалль* и *Менкедамм* — старинные улицы в Гамбурге.

## LVIII

Стр. 263. *Они собираются в своих парламентских ортах*. Орты — казармы янычаров, приближенной гвардии турецких султанов. Известно, что янычары не раз свергали и сажали на троны султанов. Отсюда сравнение парламентских скамей, занятых консерваторами, с ортами.

Стр. 264. *Господин профессор от 29 октября*, то есть Гизо. Дата 29 октября 1840 г. — день оставления Тьером министерства и прихода к власти Сульта—Гизо.

Стр. 265. *С помощью тех безнравственных средств...* Гизо прибегал к подкупу избирателей, к раздаче им разных выгодных должностей и т. п., что дает Гейне повод сравнивать его с английскими министрами Робертом Вальполом (1676—1745) и Робертом Пилем (1788—1850), тоже не брезговавшими никакими средствами для упрочения своей власти.

Стр. 266. *Барро* Одилон (1791—1873) — французский адвокат и политический деятель принадлежавший к оппозиции. Впоследствии, перед революцией 1848 года, он был одним из главных организаторов кампании банкетов.

Стр. 266. «Когда сломится порок...» — заключительные слова стихотворения Шиллера «Шекспировские тени».

#### РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Стр. 268. *Блоксберг* — гора в Гарце (иначе Брокен) самая высокая в Германии, на которой, по народным сказаниям, в Вальпургиеву ночь (на 1 мая) ведьмы справляют свой шабаш.

Стр. 269. *В Сен-Пелажи или в Мон-Сен-Мишель* — французские тюрьмы.

— *Угрюмая добродетель* — выражение Лессинга в «Эмилии Галотти» (1, 5) и «Натане Мудром» (2, 5).

— *Экстренное приложение*. 23 мая 1848 г. Гейне напечатал в «Аугсбургской газете» следующее объяснение:

«*Revue retrospective*» с некоторых пор радует республиканский мир публикацией бумаг из архивов прежнего правительства и опубликовало также, между прочим, счета министерства иностранных дел за время управления им Гизо. То обстоятельство, что там приведено было имя нижеподписавшегося в связи с значительными суммами, открыло широкое поле для гнуснейших подозрений, и коварные подтасовки, для которых в «*Revue retrospective*» не было никаких оснований, послужили некоему корреспонденту «Всеобщей газеты» предлогом для безоговорочного обвинения меня в том, что министерство Гизо якобы купило мое перо за определенную сумму, чтобы я оправдывал его мероприятия. Редакция «Всеобщей газеты» сопровождает эту корреспонденцию примечанием, в котором, наоборот, выражает мнение, что я будто бы получал поддержку не за то, что я писал, а за то, чего я не писал». Редакция «Всеобщей газеты», которая в течение двадцати лет имела достаточно случаев заметить — не столько благодаря тому что она печатала из присылавшегося мною, сколько, напротив, благодаря тому что она не печатала, — что я не холопствующий писатель, которому можно заплатить за молчание, — означенная редакция могла бы избавить меня от этой *levis nota*. Я посвящаю эти строки не статье корреспондента, а редакционному примечанию, и хочу в них с возможной определенностью разяснить мое отношение к министерству Гизо. Высшие интересы принуждают меня к этому: не мелкие интересы личной безопасности, не интересы даже моей чести. Над моею честью невластен первый попавшийся газетный корреспондент, и не первая попавшаяся ежедневная газета является ее трибуналом: только судом истории литературы могу я быть судим. Затем я не хочу также допустить, чтобы великодушные объясняли страхом и клеветали на него. Нет! Поддержка, которую я получал от министерства Гизо, не была данью; она была именно только поддержкой, она была — я называю вещь своим именем — великой милостыней, раздававшейся француз-

ским народом стольким тысячам чужеземцев, которые более или менее доблестно скомпрометировали себя на родине рвением к делу революции и нашли пристанище у гостеприимного очага Франции. Я принял вспомоществование вскоре после того, как появились прискорбные декреты Союзного сейма, целью которых было погубить меня, как предводителя некоей так называемой Молодой Германии, и в финансовом отношении, ибо они налагали запрет не только на изданные уже книги, но и на все, что впоследствии должно было выйти из-под моего пера, и таким образом лишали меня моей собственности и источников дохода, без суда и права. Тот факт, что выплата мне испрошенного вспомоществования была отнесена за счет кассы министерства иностранных дел, и притом за счет пенсионных фондов, не подчиненных публичному контролю, объяснялся прежде всего тем, что другие кассы о ту пору были перегружены. Может быть также, французское правительство не хотело явно поддерживать человека, всегда бывшего шипом в глазу немецких посольств и высылки которого они при случае всегда требовали. Всем известно, как настойчиво докучали мои королевско-прусские друзья такими требованиями французскому правительству. Господин Гизо, однако, упорно противился моей высылке и ежемесячно, регулярно, без перерывов выплачивал мне пенсию. Никогда не требовал он от меня ни малейшей услуги за это. Когда, вскоре после того как он принял портфель министра иностранных дел, я явился к нему засвидетельствовать свое уважение и поблагодарил его при этом за то, что, несмотря на мою радикальную окраску, он приказал продолжать мне выплату пенсии, он ответил с меланхолической добротой: «Я не такой человек, который мог бы отказать в куске хлеба немецкому поэту, живущему в изгнании». Эти слова господина Гизо сказал мне в ноябре 1840 г., и это был первый и в то же время последний раз в моей жизни, что я имел честь говорить с ним. Я доставил редакции «Revue retrospective» доказательства, подтверждающие правильность вышеприведенных объяснений, и на основании доступных ей подлинных источников она может теперь, как это подобает французской лояльности, высказаться о значении и происхождении пенсии, о которой идет речь.

Генрих Гейне.

Париж, 15 мая 1848 г.

Стр. 272. *Доктор Маркс*. Ссылка Гейне на Маркса неверна: Маркс к нему не приходил. Когда «Ретроспективное объяснение» появилось в печати, Маркс не стал опровергать его, не желая ставить больного и без того всячески преследуемого Гейне в тяжелое положение.

Стр. 273. *Дюбоше* Жан-Жюльсен (род. ок. 1798) — парижский издатель.

Стр. 275. *Годой* и Альварес де-Фариа, дон Мануэль (1767—1851) — испанский министр, прозванный «князем мира». У Гейне ошибка: он был любимцем не Фердинанда VII и его супруги, а короля Карла IV и его жены Марии-Луизы, фаворитом которой он был.

— *Тьерри* Огюстен (1795—1856) — французский историк, автор «Истории третьего сословия во Франции», «Истории завоевания Англии норманнами» и др. Его историческая концепция приближалась к историческому материализму. Гейне называет его несчастным потому, что переутомление от напряженной работы над источниками вызвало у него потерю зрения и паралич. Поэтому Гейне и говорит о нем, как о товарище по судьбе.

— *Немецкий ученый из Геттингена* — Клиндворт.

Стр. 276. *Положение другого соотечественника* — Вейля.

— *Полковник Густавсон* — имя, под которым жил в Германии и Швейцарии бывший король шведский (с 1792 по 1809) Густав IV (1778—1837), свергнутый с престола Адлеркрейцем в 1809 г.

— *Барон Экштейн* Фердинанд (1790—1861) — французский ученый и публицист, родом датчанин. Он был рьяным сторонником Реставрации.

— *Капфиг* Раймон (1802—1872) — французский историк, автор многочисленных, но малоценных книг.

Стр. 278. *Тулузский победитель* — маршал Сульт: сражение под Тулузой 14 апреля 1814 г. между ним и Веллингтоном было нерешительным, и либеральные газеты не были неправы, когда, как говорит ниже Гейне, утверждали, что Сульт победы не одержал.

Стр. 279. *Тьер... барабанным боем прервал наш сон*. См. выше примеч. к стр. 18.

— *Тирш* Фридрих-Вильгельм (1784—1860) — немецкий филолог-классик и педагог, приват-доцент в Геттингене в годы учения Гейне.

— *Печать Венеры и стрела*. В немецких газетах статьи постоянных корреспондентов обыкновенно не подписываются, а вместо подписи ставятся какие-нибудь условные знаки.

Стр. 283. «*Что окрашены, как спина зебры*» — из четвертой строфы стихотворения Гейне «Георг Гервег» в «Современных стихотворениях».

Стр. 284. *Рыцарственный принц* — герцог Орлеанский, наследник престола, умерший в 1842 г.

Стр. 285. *Великий историограф* — Тьер.

— *Царственная приятельница* — княгиня Христина Бельджойово (1808—1871), итальянская писательница, известная

деятельница в борьбе за национальное объединение Италии и непосредственная участница итальянской революции 1848 г.

Стр. 286. *Когда Арминий разбил Вара*. Бой в Тевтобургском лесу, произошел в 9 году н. э. между вождем германского племени херусков Арминием и легатом императора Августа Варом.

— *Черно-красно-золотая кокарда* — сочетание цветов старого германского флага, считавшегося символом освобождения и объединения Германии. Этот флаг был объявлен национальным в дни Франкфуртского парламента в 1848 г. Он был восстановлен Веймарской конституцией 1919 г. и отменен Гитлером.

— *Массман* Ганс-Фердинанд (1797—1874) — немецкий филолог-германист и пропагандист гимнастики.

## LIX

Стр. 288. *Ватто, Буше, Ванлоо* — художники XVII—XVIII вв.

— *Говорят, главную фигуру художник списал с своего дяди*. Дядя художника — банкир Лео, о финансовых влключениях которого Гейне повествовал выше.

Стр. 289. *Суперинтендант* — чин лютеранской церкви, соответствующий католическому епископу.

— *Верне* Орас (1789—1863) — французский художник, баталист по преимуществу.

Стр. 290. *Гомилетические упреки*. Гомилетикой называется отрасль богословия, трактующая вопросы церковного красноречия.

Стр. 291. *Парни* Эварист-Дезире де-Форж (1753—1814) — французский поэт, автор «Эротической поэзии» и фривольной «Войны богов», пародирующей Библию.

Стр. 292. *Notre dame de Lorette* — церковь в Париже, воздвигнутая в честь лореттской божьей матери (в Лоретте в Италии находится так называемый Дом богородицы, который чудесным образом перелетел в два приема из Назарета, сперва в Далмацию, а потом в Италию). Квартал, где построена эта церковь, называется, по ее имени, кварталом Нотр-дам-де-Лоретт. Во времена Второй империи обитательниц этого квартала, богатого женщинами легкого поведения, стали называть лоретками — словом, приобретшим потом общее значение.

— *Иосафатова долина* — долина между Иерусалимом и Масличной горой в Палестине, названная так по имени библейского царя Иосафата. В ней (буквальное значение слова Иосафат — суд божий), согласно религиозной догме, соберутся все мертвецы на Страшный суд.

## LX

Стр. 293. *Борьба с университетом*. Гейне имеет в виду многолетнюю ожесточенную борьбу за влияние на высшее образование во Франции, которую вели французские клерикалы, при поддержке римской курии и иезуитов, равно как и французского духовенства, с либералами, радикалами и республиканцами. Когда правые внесли в палату депутатов проект закона, фактически отдававшего образование в руки клерикалов под видом провозглашения принципа «свободы» преподавания, это вызвало протесты ряда ученых, в том числе историков-либералов, Жюль Мишле (1798—1874) и Эдгара Кине (1803—1875).

— *Игнатий Лойола* (1491—1556) — основатель иезуитского ордена.

Стр. 295. *Карла X, короля, личность которого заслуживала величайшего уважения*. Трудно представить себе, что Гейне серьезно дает такую характеристику Карлу X, упрямому и неумному ультрареакционеру, с 1789 г. — неудачному командиру эмигрантских войск и сомнительной храбрости человеку.

Стр. 297. *Collège de France* — название института в Париже, рассчитанного исключительно на вольнослушателей и построенного на системе публичных лекций по отдельным дисциплинам для всех желающих.

Стр. 300. *«Магабгарата»* — древний санскритский эпос; *«Эдда»* — скандинавский эпос.

— *«Агасфер»* — поэма историка Эдгара Кине, которую он сам характеризует, как «историю мира, бога в мире и, наконец, сомнения в мире» (1833).

— *Он ополчился на нас...* Статья Кине носила название «Литературное обозрение Германии» (1843 г., № 1).

Стр. 301. *Юнг Стиллинг* Иоганн-Генрих (1740—1817) — немецкий писатель-мистик, в молодости портной, затем врач.

— *Беме* Яков (1575—1624) — немецкий философ-мистик, по профессии сапожник.

— *Крейцер* Георг-Фридрих (1771—1858) — немецкий философ, профессор Гейдельбергского университета. В 1810—1824 гг. он выпустил в свет несколько томов своей наделавшей в ученом мире много шума книги «Символика и мифология древних народов, особенно греков».

— *Пумперникель* — сорт черного хлеба.

— *Зонненштейн* — замок в Пирне в Саксонии.

— *Эйленшпигель* — герой фламандской легенды XIV века. Приключения Тилля Эйленшпигеля много раз являлись сюжетом различных поэтических произведений.

## LXI

Стр. 302. *Баллани* Пьер-Симон (1776—1847) — французский публицист-легитимист, автор философско-исторических работ, проникнутых мистицизмом

— *Рекамье* Жюли (1777—1849). В ее салоне в Париже в эпоху Реставрации собирались «сливки» общества во главе с Шатобрианом.

— *Дону* Пьер-Клод-Франсуа (1761—1840) — французский политический деятель, ученый член конвента в эпоху революции и учредитель Французского института.

Стр. 304. *Éloge* — похвальная речь в честь умершего члена ученого учреждения, произносимая его преемником.

## ПРИЛОЖЕНИЯ К «ЛЮТЕЦИИ»

## КОММУНИЗМ, ФИЛОСОФИЯ И ДУХОВЕНСТВО

## I

Стр. 307. *Беотия* — древняя страна в Средней Греции, жителями которой упрочилась репутация людей недалеких.

— *Абдера* — древний город во Фракии. Название его жителей «абдериты» было у древних греков синонимом дураков.

— *Некоторые из этих галилеян*. Гейне говорит о так называемых «светочах Нерона», т. е. о сожжении в садах его дворца христиан, привязанных к столбам и обмазанных смолою, во время первого преследования христиан (64 г.).

Стр. 309. *Карно* Ипполит (1801—1888) — французский политический деятель, впоследствии член временного правительства в 1848 г., сын знаменитого члена конвента и отец президента Франции Сади Карно.

— *Рейно* Жан (1801—1863) — французский философ и политический деятель; сен-симонист и христианский социалист.

— *Колоссальный памфлет в тридцати томах* — «Энциклопедия» Даламбера и Дидро, выходившая с 1751 по 1772 г. Гейне называет ее памфлетом, имея в виду огромное политическое значение, которое имело это конденсированное выражение миросовершения передовой буржуазии XVIII века.

Стр. 310. *Жоффруа* Теодор (1796—1842) — французский философ-спиритуалист.

— *Сорбонна* — богословская школа в Париже, основанная в 1253 г. каноником Сорбоном и служившая в течение ряда столетий оплотом католического богословия, что не мешало ей иногда вступать в конфликты с папами, уличая их в ересь и политической реакции. Учредительное собрание прекратило

в 1790 г. существование Сорбонны, как богословской школы, а Наполеон, декретом от 1808 г., передал ее здания Парижскому университету.

Стр. 311. *Набожный человек, канонизированный Мольером* — Тартюф. Приводимые Гейне слова Тартюфа см. в 5-й сцене VI акта.

Стр. 312. *Интерполяция* — порча текста древних рукописей путем вставок, добавлений, перестановок и т. п., сплошь и рядом преследовавших цели приспособления авторской мысли к взглядам интерполятора. Таково, например, упоминание о Христе у Тацита, явно интерполированное каким-то христианским апологетом.

Стр. 314. *Краузе* Карл-Христиан-Фридрих (1781—1832) — немецкий философ, пытавшийся в своей системе «панентеизма» соединить пантеизм и теизм.

Стр. 318. *Сын плотника* — Иисус из Назарета.

## II

Стр. 319. *Compelle intrare* — слова из 23-го стиха XIV главы евангелия от Луки.

Стр. 321. *Основательная полемика*. Чрезвычайно разросшийся и обладавший огромными материальными средствами и разнообразными сильными связями иезуитский орден сделался в XVIII веке объектом преследований со стороны правительств различных стран Европы и в 1774 г. был закрыт папой.

— *Зачумляющие жизнь миазмы Пор-Рояля* — учение яansenистов, сосредоточенных в аббатстве Пор-Рояль в теперешнем департаменте Сены и Уазы. Вследствие резких нападков отшельников, как их называли, Пор-Рояля (Арно, Николь, Местр, де-Саси, позднее Паскаль) на официальную церковь и на иезуитов, близких к Людовику XIV и его жене мадам де-Ментенон, король закрыл аббатство в 1705 г., а через пять лет самое здание его было разрушено.

Стр. 322. *Слова, которыми он в Академии недавно возвестил перевод Спинозы*. Слова эти содержатся в речи, произнесенной Вильменом при вступлении в Академию.

## ТЮРЕМНАЯ РЕФОРМА И УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Стр. 327. *Министр внутренних дел* — граф Шарль-Мари Таннеги-Дюшатель (1803—1867).

— *Токеиль* Алексис, граф (1805—1859) — французский политический деятель и крупный историк, автор книг «Старый порядок и революция» и «Демократия в Америке». Он выступал по вопросу о законопроекте тюремной реформы в качестве докладчика от комиссии, выделенной палатой депутатов.

Стр. 327. *Де-Бомон-де-ла-Бонниньер* Гюстав-Огюст (1802—1866) — французский журналист и политический деятель, друг Тэкиля, с которым вместе, будучи прокурором, ездил в САСШ изучать пенитенциарную систему.

Стр. 328. *Эсхатологическая поэзия* — поэзия, проникнутая мотивами эсхатологии, т. е. гаданий о конечных целях человеческого существования, о будущем, ожидающем человека за гробом, и т. п. В поэзии Ламартина эти мотивы звучали часто: отсюда шутливое предположение Гейне.

Стр. 330. *Castrum doloris* — катафалк, воздвигаемый в католических церквах во время заупокойных месс.

— *Бауэр* Антон (1772—1843) — немецкий криминалист, профессор уголовного права в Марбурге и Геттингене. Гейне называет его ганноверским Ликургом, потому что он участвовал в разработке ганноверского уголовного кодекса. Его теорию Гейне называет неправильно: общепринятое название для нее — теория предупреждения.

Стр. 333. *Пенсильванская система* — система строго одиночного заключения, возникшая в 1776 г. в Филадельфии и основанная на квакерском убеждении в нравственном совершенстве человека, поставленного в так называемое естественное состояние, т. е. изолированного от всяких внешних влияний. В результате этого «естественного состояния» заключенные, лишенные какой бы то ни было деятельности и обреченные на молчание, сходили с ума или кончали самоубийством.

## ИЗ ПИРЕНЕЕВ

### I

Стр. 335. *Барез* — французская деревня в Пиренеях, курорт с серными источниками. Гейне лечился там от паралитических явлений.

Стр. 336. *Gâve* — название горных потоков в Пиренеях, отличающихся бурным течением.

— *Декамп* Александр-Габриэль (1803—1860) — французский художник-жанрист, писавший по преимуществу на восточные сюжеты.

— *Готье* Теофиль (1811—1872) — французский поэт, романист и критик, один из виднейших представителей романтизма.

Стр. 337. *Лелё*. Эту фамилию носили двое французских художников: Адольф (1812—1891) и Арман (1818—1885). Оба жанристы. Трудно сказать, какого из них имеет в виду Гейне.

Стр. 338. «*Мне совершенно все равно...*» — переложенные на прозу слова из пятой строфы «Песни маркитантки» Гейне.

## II

Стр. 339. *Жизнь здесь так же скучна, как на... берегах Лейны*, т. е. в Геттингене (город стоит на реке Лейне).

— *Дочь знаменитого Целлариуса*. Анри Целлариус, «профессор благородных танцев», обучал парижан в 40-х годах новому тогда танцу — польке. Увлечение полькой приняло необыкновенные размеры.

— *Леломм* — прима-балерина Парижской оперы.

Стр. 340. *Магдебург или Шпандау*. В этих городах Пруссии находились крепости, в которых содержались политические заключенные.

## III

Стр. 342. *Он отнюдь не напоминает своего двоюродного деда*, т. е. короля Людовика XIV.

Стр. 343. *С «Мессиадой» Клопштока в руке...* — соскучной поэмой немецкого поэта Фридриха-Готтлиба Клопштока (1724—1803).

Стр. 344. *Патриоты в пританеях принуждения*, т. е. в тюрьмах. Смысл игры слов в том, что в древних Афинах пританеи (места заседаний дежурных членов Совета пятисот) служили местом призрения для заслуженных деятелей государства.

— *Кельнский собор* был заложен еще в 1248 г. Его строили в течение нескольких столетий и не достроили. Под влиянием националистической агитации в Германии в начале XIX века возникла мысль о достройке собора, и в 1821 г. король прусский Фридрих-Вильгельм III ассигновал деньги на это дело. Образовалось общество, собиравшее средства на колоссальное предприятие, которое взял под свое покровительство преемник Фридриха-Вильгельма III, король Фридрих-Вильгельм IV, романтически-реакционным устремлениям которого достройка собора, долженствовавшего быть символом единства немецкой нации, была как нельзя более по душе. Гейне в своей «Германии» посвятил Кельнскому собору несколько язвительных строф, пророка неудачу достройки и превращение собора, после революции, в конюшню. Собор был достроен в 1880 г.

## МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕЗОН 1844 ГОДА

## Статья первая

Стр. 345. *Чудеса Мицраима* — чудеса Египта (в Библии Египет называется Мицраимом).

— *Мартин Джон* (1789—1854) — английский художник, автор картин «Падение Вавилона», «Пир Валтасара» и других, полных необузданной фантазии.

Стр. 346. *По поводу его симфонии, исполнявшейся в концертном зале Консерватории. «Шотландская симфония» в ла-минор, написанная в 1842 г.*

Стр. 347. *В частности, иды марта явились... днями весьма роковыми.* Гейне проводит шутливую параллель между роковыми для слушателей музыкальными «идами» марта 1844 г. и идами (15 марта) 44 г. до н. э., оказавшимися роковыми для убитого в этот день Юлия Цезаря.

Стр. 348. *Жанен Жюль (1804—1874) — французский критик и романист.*

— *Гогенцоллерн-гехингенский советник* — титул, полученный Листом от владетеля крошечного княжества Гогенцоллерн-Гехинген, присоединенного в 1850 г. к Пруссии.

— *Гамельнский крысолов.* См. Гейне, т. IV, стр. 681 наст. изд.

— *Беллони Гаэтано* — секретарь Франца Листа, сопровождавший его в поездках.

— *Современный Амфион.* Амфион — мифический музыкант, выстроивший стены древних Фив, камни которых укладывались под влиянием звуков его лиры. Лист дал концерт, сбор с которого пошел в фонд общества достройки Кельнского собора.

Стр. 349. *Абдериты на берегах Шпре.* Абдера у древних греков — «Город Глупов»; *абдериты* — берлинские дураки: Берлин стоит на реке Шпрее.

— *«Амур повелитель людей и богов!»* — стих из одного хора в трагедии «Антигона» Софокла.

Стр. 351. *Кантариды* — шпанские мухи; настойка из них является возбуждающим эротическим средством. Отсюда ниже слова о «вещах, имеющих, кажется, отношение к мистериям *bona dea*» (добрая богиня, имя, применявшееся в римской мифологии к распутной дочери бога Фавна).

Стр. 352. *Малые пророки.* Библейское деление пророков, книги которых включены в канон, на больших (Исаия, Иеремия, Езекиель и Даниил) и малых (Осия, Иоиль и т. д. — всего двенадцать). *Авакум* — один из «малых» пророков.

Стр. 353. *Шад* Иосиф (1812—1879) — посредственный пианист.

— *Эпиталама* — свадебная песнь у древних греков.

— *Один из трех знаменитейших пианистов недавно женился.* Тальберг женился на дочери Лабла а.

— *Замечательный пианист из Варшавы* — Эдуард Вольф.

— *Величайший скрипач* — Генрих Панофка (1807—1887).

Стр. 354. *Лафайет пуф.* Пуф — беззастенчиво раздутая реклама.

Стр. 354. *Порция сказала...* — неточная цитата из «Венецианского купца» Шекспира.

— *Земмельман* Зелигман Ипполит-Проспер (1817—1882) — французский виолончелист.

Стр. 355. *Король Артур*, *Дитрих Бернский* — герои средневековых сказаний и поэм.

### С т а т ь я   в т о р а я

Стр. 355. *Траттория* — итальянский кабачок, ресторан.

Стр. 356. *Равиоли с пармезаном* — пирожки с рубленным мясом и приностями, посыпанные шафранным сыром и подаваемые под соусом.

— *Дюпре* Жильбер-Луи (1806—1896) — тенор-премьер Парижской оперы.

Стр. 360. *Штольц* Розина (собственно Викторина Нёб) — певица (меццо-сопрано) Парижской оперы.

— *Джаскомо Макиавелли* — Мейербер; Гейне в шутку называет его Макиавелли, намекая на его ловкость и коварство.

— *Виардо-Гарсиа* Полина (1821—1910) — французская певица, дочь знаменитого тенора Мануэля Гарсиа и сестра Малибран. Обладая обширным контральто и большими сценическими дарованиями, она являлась одною из величайших певиц XIX века.

— *Марио Джузеппе*, граф Кандиа (1808—1883) — итальянский тенор, певец с мировым именем. Он был женат на певице Джулии Гризи.

— *Зала Вантадур* — итальянский театр в Париже, закрывшийся в 1878 г.

Стр. 361. *Персидский поэт* — Сади.

— *Делакруа* Эжен (1799—1863) — французский художник, глава романтической школы в живописи. Гейне называет его в шутку львиным живописцем потому, что известные его картины изображают охоту на львов.

Стр. 362. «*Золото-химера*!». Эти слова находятся в либретто оперы Мейербера «Роберт Дьявол», написанном Скрибом и Делавином.

Стр. 363. *Тома* Амбруаз (1811—1896) — французский композитор, автор нескольких опер, из которых наиболее популярной является до сих пор удерживающаяся в репертуаре «Миньона» (на сюжет из «Вильгельма Мейстера» Гете).

— *Монсиньи* Пьер-Александр (1729—1817) — французский композитор XVIII века.

— *Грёз* Жан-Батист (1725—1805) — французский художник XVIII века, жанрист и портретист.

П о з д н е й ш а я   з а м е т к а

Стр. 364. *Со времен славной памяти Густав-Адольфа*, т. е. с XVII века.

— *Линд* Дженни (1820—1887) — шведская певица (колоратурное сопрано), одна из величайших певиц XIX века, соперница Аделины Патти.

— *Персиани* Фанни (1812—1867) — итальянская певица.

Стр. 365. *Шекспир принадлежит нам*. Это утверждение содержится в книге «Драмы Шекспира» немецкого шекспиროлога Франца Горна (1781—1837), известного в свое время поэта и эстетика.

— *Укермарк* — северная часть Бранденбургской марки в Германии.

— *Ричардсон* Семуэль (1689—1761). См. Гейне, т. VII, наст. изд.

Стр. 366. «*Эта строгая добродетель...*» Гейне ошибочно приписывает эти слова одному из персонажей «Марии Стюарт» Шиллера (Паулету): они, и притом неточно, взяты им из «Натана Мудрого» (акт II, сцена 5) Лессинга.

ДОБАВЛЕНИЯ И ВАРИАНТЫ

ДОБАВЛЕНИЯ

ТОМАС РЕЙНОЛЬДС

Напечатано в Аугсбургской «Всеобщей газете» в 1841 г.

Стр. 371. «*Веверлей*» *Вальтер Скотта* — первый роман английского писателя Вальтер Скотта (1771—1831), вышедший в 1814 году и начавший собою серию романов из истории Англии и Шотландии. Сюжетом его является попытка якобитского (якобиты — приверженцы династии Стюартов) восстания 1745 г.

Стр. 372. *Революционная братия в Ирландии* — «Союз соединенных ирландцев», образовавшийся в 1791 г. и подготовлявший революцию в целях освобождения Ирландии от английского владычества. Союз этот был разгромлен английскими властями, но в 1797 г. возобновил свою деятельность. К началу 1798 г. Союз насчитывал уже до полумиллиона членов, но тут Рейнольдс выдал правительству тайну его структуры.

Стр. 373. *Зеленый Эрн* — старинное название Ирландии.

— *Orange-men* — оранжисты, партия английских протестантов, сосредоточивавшаяся, главным образом, в Ульстере и поддерживавшая английского короля Вильгельма III Оранского против ирландцев-католиков, восставших в 1689 г. в пользу свергнутого в 1688 г. короля Иакова II Стюарта.

Стр. 373. *Фитцджеральд* Эдвард, лорд (1763—1798) — ирландский революционер, выданный Рейнольдсом вместе с другими вождями заговора, раненный при аресте и умерший от ран в Ньюгетской тюрьме. Его биографию написал, о чем говорит Гейне, известный английский поэт Томас Мур (1779—1852).

Стр. 381. *Педди* — шутовское прозвище ирландцев; то же, что Михель для немцев, Жак-Боном для французов и т. п.

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ И 20 НОЯБРЯ 1840 ГОДА

Стр. 385. *Бутервек* Фридрих (1765—1828) — немецкий философ, автор книги «История поэзии» и красноречия у новых народов».

— *Розенкранц* Иоганн-Карл-Фридрих (1805—1879) — немецкий философ-гегелианец и историк литературы, автор книги «Руководство к общей истории поэзии».

Стр. 387. *Эскирос* Анри-Альфонс (1814—1876) — французский литератор и политический деятель, автор, кроме упомянутых у Гейне, книг о Шарлотте Корде, об Англии и др.

Стр. 388. *Ропе-апсинтос*. Абсент — полынная настойка.

#### ВАРИАНТЫ К «ЛЮТЕЦИИ»

Стр. 396. *Дре-Брезе*, 23 августа 1789 г. Людовик XVI, явившись в объединенное собрание трех сословий Генеральных штатов, предложил им разойтись и со следующего дня засесть, по традиции, отдельно. Когда король ушел, то духовенство и дворянство подчинились и вышли из зала. Видя, что депутаты третьего сословия остались на местах, церемониймейстер короля маркиз Анри-Эврё Дре-Брезе сказал: «Господа, согласно приказу короля, благоволите разойтись». На это последовал известный ответ Мирабо: «Идите и скажите вашему господину, что мы находимся здесь по воле народа и выйдем отсюда, только если нас принудят к этому штыками».

Стр. 397. «*Хотим Варавву*». По евангельскому рассказу, Понтий Пилат предложил требовавшим у него казни Иисуса казнить вместо него разбойника Варавву, но они предпочли освободить последнего.

— *Герцог Броглио* Ахилл-Шарль-Леонс-Виктор (1785—1870) — французский государственный деятель, несколько раз бывший министром в различных кабинетах Июльской монархии. Поста министра иностранных дел в тот период, о котором ведет речь Гейне, он не получил.

Стр. 398. *Люше* Огюст (1809—1872) — французский литератор и публицист, республиканец. Вместе с Феликсом Пиа он написал две драмы: «Разбойник и философ» и «Анго».

Стр. 407. *Кардинал Ретцский Жан-Франсуа-Поль де-Гонди* (1613—1679) — французский политический деятель, один из виднейших участников фронды (1648—1649).

Стр. 411. «*Legatio ad Caium*» *Филона*. Гейне имеет в виду путешествие депутации александрийских евреев, среди которых находился философ Филон, к римскому императору Каю Калигуле (I век н. э.) для изложения нужд александрийской еврейской общины. Называя это сочинение Филона в связи с депутацией к Калигуле. Гейне повторяет распространенную ошибку: сочинение Филона не имеет к Калигуле никакого отношения.

Стр. 414. *Мой брат в Аполлоне*. Банкир Джеймс Ротшильд пописывал стихи.

Стр. 418. *Беньо* Артю-Огюст (1797—1865) — французский историк и политический деятель, в 1841 г. назначенный членом палаты перов.

Стр. 421. *Полиньяк* Огюст-Жюль-Арман-Мари, князь (1780—1847) — французский государственный деятель-ультрареакционер, министр Карла X, подписавший знаменитые ордонансы, послужившие непосредственным поводом к революции июля 1830 г.

Стр. 431. *Порталис* Жозеф-Мари (1778—1858) — вице-председатель палаты перов при Луи-Филиппе.

#### ВАРИАНТЫ К КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 1840 ГОДА

Стр. 435. *Герцог Жуанвильский, герцог Омальский, герцог Монпансье* — младшие сыновья Луи-Филиппа.



## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Август Сильный — 45  
 Аввакум, пророк — 352  
 Авраам — 292, 434  
 Агарь — 292  
 Агриппа — 307  
 Адам, Адольф — 186, 187  
 Адан — 363  
 Аккурзи — 357  
 Александр Македонский — 32, 131  
 Альба — 234  
 Аменофис — 359  
 Анахарсис — 20  
 Ангилемская, герцогиня — 27  
 Анжели — 63  
 Аннибал — 403  
 Антигона — 346  
 Антонин — 26, 395  
 Анфантен — 232, 308  
 Аполлон — 414  
 Араго — 139  
 д'Аржансон — 202  
 Ариадна — 353  
 д'Арк Жанна — 159  
 Арминий — 286  
 Арто — 153  
 Атилла — 349  
 Ахилл — 35, 90, 356, 404  
 Аякс — 404  
  
 Бабеф — 33, 127  
 Байльи — 65  
 Балланш — 302  
 Бальзак — 39, 43  
 Барбес — 183  
 Барро — 266  
 Баснаж — 61  
  
 Батта — 153, 354  
 Бауэр — 330  
 Бах — 198  
 Беккер — 165  
 Беллини — 82  
 Беллони — 348, 352  
 Беме — 301  
 Бенкхед — 375  
 Беньо — 418  
 Берамже — 48, 239, 400  
 Берио — 152, 153  
 Берлиоз — 345  
 Берье — 31, 119, 121, 127, 159, 405  
 Бетховен — 150—154, 245, 248, 251, 262  
 Блан, Луи — 116—119, 139, 386, 398, 408  
 Бланки — 268  
 Бовалле — 40  
 Бомон — 327  
 Бонапарт — *см.* Наполеон  
 Бонапарты — 177  
 Боско — 118, 351  
 Бруглио, герцог — 397  
 Броджи — 355, 356  
 Брум — 132  
 Бруннов — 405  
 Брут — 8, 120, 269  
 Булль — 240, 354, 414  
 Буонаротти — 33  
 Бурбоны — 141, 188, 244, 413  
 Бутервек — 385  
 Буше — 288, 320  
 Бюргер — 86  
 Бюффон — 322

- Вагнер — 247  
 Валуа — 60  
 Вальполь — 265  
 Ванло — 288  
 Вар — 286, 301, 344  
 Варух, пророк — 105  
 Ватто — 288, 320  
 Вебер — 81, 82  
 Велизарий — 261  
 Веллингтон — 92, 132, 221, 423  
 Верне — 289, 291—293  
 Вестрис — 188, 189  
 Виардо-Гарсиа — 360, 361  
 Видок — 93  
 Вильгельм, король Англии — 373  
 Вильгельм Завоеватель — 95, 99, 289  
 Вильмен — 176, 322, 324, 325, 417  
 Витт, св. — 268  
 Вольтер — 45, 97  
 Вольф — 245  
 Вьетан — 152—154  
  
 Галеви — 82, 246, 357, 359  
 Галиньяни — 166  
 Ганноверский король — 355  
 Гауман — 153  
 Гебер — 74  
 Гегель — 55, 164, 298, 310, 329, 427  
 Гейне — 10, 22, 201, 247, 250, 335  
 Гейнефеттер — 125, 227, 228  
 Гендель — 198, 347  
 Генрих V — 104, 234, 405  
 Гервег — 350  
 Герен — 161  
 Герц — 85, 125, 244  
 Гете — 241, 257, 347, 425  
 Гетчинсон — 378  
 Гизо — 24, 25, 85, 86, 92, 111, 115, 126—128, 160, 161, 165, 168, 169, 174—176, 182—184, 204, 224, 225, 228, 232—235, 263, 266, 268, 269, 273—276, 278—282, 298, 299, 324, 382, 389, 394, 396, 397, 406, 412, 415, 419, 420, 422, 423, 426—428, 431, 434  
 Гиллель — 59  
 Гиллер — 157, 347  
 Годой — 275  
 Гомер — 257, 349  
 Горн — 365  
 Готье — 336  
 Гоффман — 3  
 Гоцци — 354  
 Грёз — 363  
 Гризи, Джулиа — 125, 360, 361, 364  
 Гризи, Карлотта — 186  
 Гудсон, Лоу — 79  
 Гумбольдт, Александр — 261  
 Гуний — 115, 170, 173, 178  
 Гуровский, Адам — 166, 180  
 Гуровский, Игнат — 166  
 Густав-Адольф — 364  
 Густавсон (Густав IV) — 276  
 Гуэн — 81—83, 157, 358  
 Гюго, Виктор — 49—51, 236, 237, 398—400  
 Гюман — 176, 417  
  
 Давид (пророк) — 271, 290  
 Давид, Жан-Луи — 170, 288  
 Данте — 9, 257  
 Дантон — 268  
 Декамп — 336, 337  
 Декарт — 431  
 Делавинь — 246  
 Делакруа — 361  
 Деларош — 177—179  
 Делер — 152, 352  
 Деллуа — 232  
 Дельмар — 61  
 Демосфен — 31, 431  
 Дессауэр — 247—250  
 Джонатан — 414  
 Дидро — 309  
 Диоген — 20  
 Лиц — 246  
 Доницетти — 82, 125, 246, 356, 357, 364, 367

- Дону — 302, 303, 431  
 Дорваль — 40  
 Дре-Брезе — 396  
 Дрейшок — 240, 242  
 Дюбоше — 273, 417  
 Дюверье — 232  
 Дюдеван (Дюдефан), Аврора —  
     *см.* Занд, Жорж  
 Дюдеван, Морис — 45  
 Дюдеван, Соланж — 45  
 Дюпен — 45, 118, 119  
 Дюпоншель — 78  
 Дюпоти — 181, 418  
 Дюпре — 356  
 Дюпоитрен — 256  
 Duchène — 388
- Ева — 43  
 Елизавета Английская — 179  
 Елизавета св. — 70, 71
- Жанен — 348  
 Жанлис — 26  
 Жуффруа — 310
- Занд, Жорж — 37, 38, 40, 44 —  
     49, 51, 399, 400  
 Занд, Карл — 44  
 Земмельман — 354
- Изабелла-Фернанда Испан-  
     ская — 167  
 Израиль — 71, 290  
 Иисус Назарянин 290  
 Иисус Христос 289, 299, 321,  
     322, 328, 364  
 Иоанн Богослов — 207, 388  
 Иоанн Креститель — 187  
 Иоанна Грей — 178  
 Иона (пророк) — 353  
 Ионафан — 260, 271  
 Ирод — 203  
 Иуда — 196, 289—293
- Кабанис — 202  
 Кабе — 33  
 Кадудаль — 104  
 Клио — 162
- Каламатта — 115  
 Калиостро — 201, 363  
 Калькбреннер 242—244  
 Кампе — 3  
 Каннинг — 166  
 Кант — 200, 201, 259, 325,  
     329, 429  
 Капель — 106  
 Капфиг — 276, 281  
 Карем — 256  
 Карл Великий — 131  
 Карл I — 178  
 Карл V — 64  
 Карл VI — 246  
 Карл X — 118, 119, 212, 295,  
     318  
 Карно, Ипполит — 309  
 Картуш — 83  
 Каслри — 373  
 Катон — 266  
 Кембден — 373  
 Кенигсвартер — 399  
 Кенигсмарк — 45  
 Кешен — 184  
 Кине — 293, 297, 299 — 301,  
     322  
 Клезингер — 45  
 Клеопатра — 43  
 Клопшток — 343  
 Кобург — 35  
 Кондильяк — 202  
 Констан, Бенжамен — 63, 64,  
     402  
 Корефф — 243  
 Корменен — 33, 382  
 Корнуэльский маркиз — 377  
 Кортес — 357  
 Коцебу — 44  
 Кошле — 89  
 Краузе — 314  
 Крейцер, Георг-Фридрих — 301  
 Крейцер, Конрадин — 247  
 Кремьё — 59, 60, 88, 134, 256,  
     411  
 Кромвель — 179  
 Кузен — 162—165, 309—314,  
     322—325  
 Кук — 374

- Лаблаш — 154  
 Лаланд — 111  
 де-Ламартин — 65, 105, 252, 328, 398, 409, 427  
 Ламене — 127, 182, 183, 386, 404  
 Ланье — 252  
 Ларошжаклен — 159  
 Ларошфуко — 202  
 Лау — 178  
 Лаубе — 48, 384, 385  
 Лафайет — 26, 65, 131, 202, 267, 354, 427  
 Лафарж — 106, 107, 406  
 Лафитт — 209  
 Лафонтен — 105  
 Леве — 153—155  
 Лек — 377  
 Лелё — 337  
 Леломм — 339  
 Ле-Нотр — 187  
 Лео — 259—261  
 Лепелетье — 186, 355, 356, 360, 366  
 Леру — 48, 201, 308, 309, 311—315  
 Летрон — 256  
 Ликурж — 118, 330  
 Лин — 184  
 Линд — 364—366  
 Лист — 48, 150, 151, 242, 348—351  
 Литтль — *см.* Мур  
 Лойола — 23, 293  
 Лонгмен — 371  
 фон-Лорен — 88  
 Луи, принц, Луи-Наполеон — 98, 405, 406  
 Луи-Филипп — 17, 23, 25—27, 30, 95, 113—115, 118—123, 140, 141, 159, 182, 184, 213—216, 224, 228, 233, 235, 256, 262, 263, 281, 282, 295, 301, 302, 318, 348, 382, 395—397, 402, 404, 405, 415, 416, 426, 429  
 Людовик IX — 395  
 Людовик XIII — 63  
 Людовик XIV — 187, 211, 256, 257, 304  
 Людовик XV — 174, 175, 211, 236  
 Людовик XVI — 27, 212, 294, 295  
 Людовик XVIII — 104, 294  
 Людовик, принц. — *см.* Луи, принц  
 Люше, Огюст — 398  
 Мазарини — 161, 301  
 Макиавелли — 360  
 Мак-Леод — 414  
 Малибран — 152  
 Мантон — *см.* Ратти-Мантон  
 Марат — 33, 106, 268, 300, 396  
 Марио — 360, 361  
 Мария-Антуанетта — 178  
 Мария Стюарт — 178, 179  
 Марк Аврелий — 26, 395  
 Марк Туллий — 31  
 Марк — 164, 165  
 Маркс — 272  
 Мартин — 345  
 Масман — 286, 365  
 Мейербер — 78—84, 125, 154—157, 244, 351, 357—359, 367  
 Мекки — 381  
 Мекленбург, Авраам — 260  
 Мекленбург, барон — 260  
 Мендельсон-Бартольди — 82, 197—200, 346, 347, 359  
 Мерлен-де-Дуэ — 162  
 Мерфи — 374—377  
 Мехмет-Али — 60, 73, 87, 88, 96, 133, 134, 144, 411, 413  
 Микель Анжело — 173  
 Минье — 136, 162, 163, 201, 273, 298, 302—304, 323, 415, 429, 430  
 Мишле — 293, 297—300, 322, 381  
 Моисей — 147, 328, 329, 359  
 Моле — 55, 233, 235, 424, 431, 434  
 Мольер — 311

- Монсиньи — 363  
Монталамбер — 54, 55, 69, 71, 402  
Монтескье — 43  
Монтион — 92  
Мориц Саксонский — 45  
Моссон — 248  
Моцарт — 154, 156, 245, 248, 347  
Мур — 373, 374  
Мурильо — 417  
Мюзар — 154  
Мюссе — 47—49, 400
- Навуходоносор — 261  
Назеништерн — 261  
Наполеон — 32, 53, 54, 56, 57, 62—65, 72, 79, 86, 89, 90, 92, 95, 110, 111, 113, 117, 130, 131, 138, 142, 163, 177, 178, 200, 202, 203, 221, 225, 231, 294, 303, 321, 350, 388, 397, 400, 401, 405, 410, 412  
Немурский герцог — 62, 211, 213, 232, 341—343, 382—384, 421, 426, 429, 431, 432  
Нерон — 307
- Обер — 246, 362  
Овербек — 164  
Одиссей — 404  
О Коннель — 166  
Оранский герцог — 432  
Орлеанский герцог, впоследствии король Луи-Филипп — см. Луи-Филипп.  
Орлеанский герцог, Фердинанд-Луи — 27, 207, 208, 210—212, 216, 296, 431  
Орлеанская герцогиня Елена — 213  
Орлеанская династия — 129, 141, 296, 405, 429, 432  
Орфила — 107, 125  
Оуэн — 331
- Павел апостол — 71  
Паганини — 152, 240, 354, 400
- Пален — 55  
Пальмерстон — 96  
Пансерон — 244  
Парижский граф — 213  
Парни — 291  
Патюрль — 171  
Паулет — 366  
Перейра — 256  
Перре — 186  
Персиани — 364  
Петроний — 227  
Пиа, Феликс — 117, 398  
Пиксис — 243, 244  
Пиль — 265, 422, 423  
Пилье — 200, 358, 366, 367  
Питт — 35, 268  
Платон — 312  
Плейел — 243  
Полен — 273  
Полиньяк — 418, 421  
Понсар — 252, 425  
Поццо-ди-Борго — 116  
Прокруст — 406  
Пужула — 105  
Пюклер-Мускау (Мюскау) — 15, 21
- Райан — 374—377  
Рандюэль — 50  
Расин — 412, 425  
Распайль — 106  
Ратти-Мантон — 52—55, 68, 89  
Рафаэль — 150, 173, 174  
Рашель — 167, 236, 412  
Ревекка — 292  
Рейно — 309  
Рейнольдс Томас, отец — 371—374, 377  
Рейнольдс Томас, сын — 371, 374  
Рекамье — 302  
Рельштаб — 79  
Ремюз — 313  
Ремюза — 165  
Ретцский, кардинал — 407  
Ритнер — 115, 170, 173, 178, 407  
Ричард III — 178

- Ричардсон — 365  
 Ришелье — 178  
 Робер — 170—174, 407  
 Робеспьер — 33, 106, 117, 268, 300, 303, 321, 386, 388  
 Розамель — 255  
 Розенкранц — 385  
 Роланд — 349  
 Ромилии — 60  
 Россини — 82, 83, 156, 196—199, 245, 256, 355, 367  
 Ротшильд — 59, 69, 111, 146—148, 252, 255—258, 383, 399, 406, 414, 419, 424, 425  
 Рубенс — 384  
 Рубини — 125, 154, 252, 351, 352  
 Руссо — 97, 117  
  
 Савская, царица — 20  
 Саковский — 84  
 Самаи — 59  
 Сандвич — 177  
 Сандо — 44  
 Сванн — 374—377  
 Сведенборг — 201  
 Свенске — 366  
 Себастьяни — 382  
 Семирамида — 345  
 Сен-Марс — 178  
 Сен-Симон — 220, 308, 315  
 Сент-Эльм — 159  
 Сервантес — 257, 272  
 Серр — 374—377  
 Ессе — 431  
 Сивори — 240, 242, 354  
 Сина — 152, 244  
 Скриб — 40, 200, 246, 247, 362  
 Солон — 212  
 Софокл — 257  
 Спиноза — 322, 323, 365, 431  
 Спонтини — 76—81, 83, 357—359, 367  
 Сталь — 63, 64  
 Стенхоп — 21  
 Стерлинг — 375  
 Страберий — 227  
  
 Сульт — 113, 114, 176, 278, 384, 397, 417  
  
 Талейран — 69, 243  
 Тальберг — 150, 245, 348  
 Тальони — 93, 186  
 Телор — 378  
 Тик — 346, 347  
 Тикзен — 161  
 Тирш — 279  
 Тит — 26, 367  
 Токвиль — 327  
 Тома — 363  
 Тон — 377, 379  
 Торквемада — 389  
 Траси — 201, 202  
 Траян — 26, 395  
 де-Ту — 178  
 Тьер — 18, 19, 24, 25, 27—32, 37, 53—58, 68—72, 85, 86, 89—92, 95, 104, 110—112, 114, 115, 140, 142, 143, 163, 184, 208, 225, 232, 233, 235, 266, 273, 279, 298, 299, 382, 391, 394, 396—398, 404, 406—409, 413, 417, 431  
 Тьерри — 275, 298  
  
 Уатт — 131  
  
 Фабий Кунктатор — 28  
 Фамарь — 289, 290, 292, 293  
 Феликс — 200  
 Фердинанд VII — 275  
 Филадельфия — 201, 351  
 Филипп Македонский — 31  
 Фихте — 202  
 Фицджеральд — 373—377  
 Фокс — 28  
 Фома — 69  
 Франко-Мендес — 153  
 Франц, император — 148  
 Франциск I — 169  
 Фульд, Венуа — 59, 70, 73, 74, 418, 419, 434  
 Фурье — 315, 316, 332

Халле — 245, 352  
Хеллер — 245  
Христина Испанская — 421

Цезарь Юлий — 112  
Целлариус — 339  
Цинцинат — 261  
Цицерон — 31, 69

Чичестер — 373

де-Шавиньи, — 418  
Шамиссо — 45  
Шаретт — 104  
Шартрский, герцог — 123  
Шатобриан — 63, 64, 209  
Шахриар — 106, 406  
Шекспир — 43, 123, 165, 257,  
365, 425  
Шеллинг — 55, 314  
Шеффер — 256  
Шлезингер — 153, 239, 248,  
249  
Шиндлер — 251  
Шопен — 48, 150, 245

Шортал — 378  
Штаберле — 120  
Штольц — 360  
Штраус — 93  
Шуберт, Камилл — 250  
Шуберт, Франц — 248, 250

Эбер — 419  
Эгмонт — 432  
Эдуард, король — 178  
Эйхгорн — 161  
Эйхталь — 434  
Экштейн — 276, 281  
Эльслер — 186  
Эмбер — 377, 378  
Эрар — 85, 125, 359  
Эрнст — 153, 240, 354, 355  
Эскирос — 387  
Эскулап — 338  
Эскюдье — 152  
Эссекс — 179

Юдифь — 290, 292  
Юнг Стиллинг — 301



## ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

|  |         |
|--|---------|
| Фронтиспис. Гравюра на дереве Л. С. Хижинского . .   | 1       |
| Титульный лист первого издания «Лютеции» 1854 г. . .   | 10—11   |
| Г. Гейне. Срисунка карандашом неизвестного художника,<br>конца 1847 г. (картинная галлерей в Дюссельдорфе) . | 64—65   |
| Г. Гейне. Статуэтка скульптора Бернгарда Зоффера . .   | 160—161 |
| Г. Гейне и его жена. С портрета маслом Э.-Б. Китца<br>1851 г. . . . .  | 256—257 |



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

### Лютеция

|  |     |
|--|-----|
| Предисловие к французскому изданию . . . . . | 3   |
| Часть первая . . . . .                       | 15  |
| Часть вторая . . . . .                       | 195 |

### Приложения к «Лютеции»

|   |     |
|---|-----|
| Коммунизм, философия и духовенство . . . . .            | 307 |
| Тюремная реформа и уголовное законодательство . . . . . | 327 |
| Из Пиренеев . . . . .                                   | 335 |
| Музыкальный сезон 1844 года . . . . .                   | 345 |
| Позднейшая заметка . . . . .                            | 364 |

### Добавления и варианты

|   |     |
|---|-----|
| Томас Рейнольдс . . . . .                                 | 371 |
| Корреспонденции не включенные Гейне в «Лютецию» . . . . . | 382 |
| Варианты к «Лютеции» . . . . .                            | 391 |
| Варианты к корреспонденции от 4 февраля . . . . .         | 435 |
| К о м м е н т а р и и . . . . .                           | 439 |
| У к а з а т е л ь и м е н . . . . .                       | 484 |

Редактор П. С. Вино-  
градская.  
Художественная редакция  
М. П. Сокольников.  
Литературно-техническое  
набл. В. В. Чешихина  
Технический редактор  
Л. А. Чалова.  
Наблюдатель на производ-  
стве Г. А. Батков.



Сдана в набор 28/X 1935 г.  
Подпис. к печ. 3/IV 1936 г.  
Вышла в свет IV 1936 г.  
Тираж 45 300. Уполномоч.  
Главлита № Б-12045. Ин-  
декс А-1. Изд. № 191. У-а.  
л. 25. Бум. 82×110 в 1/32.  
Бум. л. 7,75. Зак. № 157.



Отпечатано во 2-й тип.  
«Печатный двор» треста  
«Полиграфкнига». Ленин-  
град, Гатчинская, 26.  
Цена 8 р.  
Переплет 2 р.

# О П Е Ч А Т К И

| <i>Страница</i> | <i>Строка</i> | <i>Напечатано</i> | <i>Следует</i>  |
|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 159             | 3 сн.         | Само              | Самое           |
| 160             | 6 св.         | вызвало           | вызвали         |
| 249             | 12 сн.        | фраков            | франков         |
| 254             | 8 св.         | в Парижу          | к Парижу        |
| 374             | 2 сн.         | но                | он              |
| 398             | 8 св.         | честолюбец        | честолюбца      |
| 412             | 7 »           | п—р               | пэр             |
| 413             | 1 сн.         | тороне            | стороне         |
| 421             | 18 св.        | о с ществовании   | о существовании |
| 429             | 11 »          | <i>Агусб.</i>     | <i>Агусб.</i>   |
| 465             | 1 сн.         | 842 г.            | 1842 г.         |
| 477             | 1 »           | розу              | прозу           |
| 479             | 7 »           | древих            | древних         |



ГЕЙНЕ

9



Г Е Й Н Е

А. В. С. 1866

